

Сергей Калабухин
Владимир Соловьёв

Пути-дороги

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

УДК 82-3
ББК 84-4
К17

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Калабухин Сергей

К17 Пути-дороги / Сергей Калабухин, Владимир Соловьёв. — [б. м.] :
Издательские решения, 2024. — 478 с.
ISBN 978-5-0062-7525-6

«Лихие девяностые» годы двадцатого века. Карьерные взлёты и падения, любовь и предательство, политические споры, бандитизм, крах государства и ростки надежды на лучшее будущее — всё это отражено в судьбах простых людей провинциального русского города на страницах романа «Пути-дороги».

УДК 82-3
ББК 84-4

18+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Сергей Калабухин, 2024
© Владимир Соловьёв, 2024
ISBN 978-5-0062-7525-6 © Наталья Ковалёва, дизайн обложки, 2024

*Дорога так крута, трудна, опасна,
Так гложет душу бесов лживых вой...
Сомненья прочь, всё было не напрасно,
Дорога приведёт меня домой.*

Сергей Калабухин
Владимир Соловьёв

ПУТИ-ДОРОГИ

ПУТИ-ДОРОГИ

С. Калабухин
В. Соловьёв



Часть первая. Беспутье

*«В начале пути человек не всегда знает, куда
приведёт его избранная дорога».*

Г. Семенихин «Жили два друга»

ГЛАВА 1. 1989 ГОД

1

В полдень первой субботы июня 1989-го года к окошку билетной кассы на железнодорожной станции подмосковного Трёхреченска подошёл спортивного сложения симпатичный русоволосый мужчина лет тридцати.

– Один билет на любой ближайший поезд в любую сторону, – с грустной улыбкой попросил он.

– Куда? – с ленцой протянула миловидная кассирша.

– До ближайшего города.

– Умный очень? – нахмурилась кассирша. – Не мешайте работать, гражданин!

– И в мыслях не было вам мешать, – добродушно возразил мужчина. – Просто Трёхреченск меня сегодня не устраивает, хочу немного побыть туристом, а отпуск не скоро.

– Билет только туда или обратно тоже будете брать? – раздражённо уточнила кассирша.

– И обратно. – Мужчина протянул в окошко трёшку и печально вздохнул. – В гостиницах редко бывают свободные номера, а ночевать на вокзале мне что-то не хочется.

Вручив билет и сдачу, кассирша, внезапно смутилась под оценивающим взглядом серых глаз незнакомца и вежливо произнесла:

– Вторая платформа, отправление через семь минут.

Повернувшись к напарнице, работавшей у соседнего окошка кассы, она громко сказала:

– Видала, Кать? Турист-однодневка! Каких только дураков на свете не бывает...

Когда поезд, остановился у вокзала с раскинувшейся во всю ширь фасада надписью: «БЕЛОВОДСК» мужчина вышел на платформу и, жмурясь от яркого летнего солнышка, огляделся: до видука было далеко. Спрыгнув на рельсовый путь, он быстро пересёк его и со спортивной лёгкостью взобрался на платформу, примыкавшую к зданию вокзала. Пройдя сквозные двери здания, он очутился на просторной площади и сразу привлёк своим праздным видом внимание куривших у пивной палатки цыганок. Одна из них, подскочив к нему, скороговоркой забубнила:

— Давай погадаю, дорогой. Всю правду тебе скажу. Судьба твоя завидная, долго жить будешь, повидашь много, большая любовь у порога казённого дома тебя ждёт, всю правду про неё скажу, позолоти руку. — Из пестроты цыганского одеяния высунулась готовая к позолоте смуглая, прокуренная насквозь ладонь. — Позолоти, не бойся, дорогой. Сколько не жалко. Трёхкопеечную монету положи. Увидишь, одна сторона почернеет, значит, верное гаданье.

Мужчина достал из брючного кармана рублёвую бумажку, положил её на костлявую ладонь и попросил:

— Угадай, дорогая, дорогу до какого-нибудь книжного заведения.

— Не туда твоя дорога, дорогой. Любовь на пороге казённого дома тебя ждёт...

— Кого она не ждёт-то, дорогая? Ладно, не знаешь, где книги водятся угадай тогда, где краеведческий музей.

Лицо у цыганки посерело.

— Ну хоть к столовой какой-нибудь угадай, как добраться.

— Пойдёшь прямо, — оживилась цыганка, — дойдёшь до широкой дороги, перейдёшь её и увидишь памятник вождю, на столовую рукой покажет.

Поблагодарив, мужчина хотел идти, но цыганка мёртвой хваткой вцепилась в его руку:

— погоди, дорогой. Положи рублик — скажу, кто смертный враг твой, караулит он тебя, каждую твою ошибку караулит, положи рублик, дорогой.

— Вра-аг? У меня-я? — удивился мужчина. — Ты меня с кем-то путаешь, цыганка. На, возьми рубль, и всего доброго тебе.

Он двинулся было прочь, но прокуренные пальцы опять клещами вцепились в рукав его рубашки.

— погоди, дорогой. Я честная цыганка, я так деньги не беру. Идём в сторонку, всю правду тебе скажу.

Он шагнул следом за ней от тротуара и приготовился слушать правду.

— Положи ещё рублик, — начала цыганка, протянув уже освобождённую от двух рублей ладонь. — Положи, ценное будет гаданье, правду говорю.

Лицо мужчины, игравшее весельем, поскучнело.

— Ты повторяешься, — заметил он. — И рубликов у меня больше нет, одна пятёрка только осталась.

— Давай пятёрку, — не растерялась гадальщица, — я два рубля сдачи дам. — На её ладони возникли скомканные рублички.

Мужчина спортивно чётким движением схватил одну рубличку и сунул в свой карман.

— Квиты, — сказал он весело. — Рубль оставляю за предсказание дороги до столовой, а от второго освобождаю, раз ты честная.

Лицо несостоявшейся гадальщицы скривилось в ведьмину гримасу. Внезапным рывком она вырвала несколько волосков из шевелюры своего обидчика и, сжав их в когтистом кулачке, скороговоркой пробурчала заклинание:

— Смерть за твоей спиной, несчастный. Проклятый будешь, один будешь, страдать будешь.

— Спасибо на добром слове, — сказал он добродушно и пошёл, поглядывая по сторонам в ожидании предсказанного памятника.

Памятник действительно вскоре оказался, а за ним и столовая. Пообедав, мужчина разыскал книжный магазин и задержался здесь в техническом отделе, просматривая книги по теории и практике электротехники. Ни одна из книг не показала ему

достойной приобретения, и он собрался уже было уходить, как вдруг увидел в уголке витрины скромную брошюрку с нескромным наименованием: «Теория эфира». Судя по уценке стоимости, указанной на тыльной стороне обложки, успеха у покупательниц брошюрка не имела. Бегло её пролистав, он приобрёл её, пробив в кассе сорок пять копеек. Выйдя из магазина, он купил газету и завернул в неё «Теорию эфира» так бережно, точно это были куриные яйца или стеклянная посуда, потом так же бережно уложил покупку в сумку, и тут увидел неторопливо идущую блондинку. Он остановил её обаятельной улыбкой.

— Меня зовут Слава, — сказал он. — Фамилия у меня Левенцов. Я приезжий. Мне бы хотелось обогатить свой интеллект вашим краеведческим музеем. Вы мне не подскажете, где он?

Девушка, кокетливо стрельнув глазами, объяснила, где краеведческий музей.

— А у вас нет желания проводить меня до него? — поинтересовался он.

— Мне туда не по пути, — сказала девушка.

— Жаль. Но ради такой прелести я могу сам изменить путь. Вы куда-то торопитесь?

— Меня ждёт мой парень, мы едем на пляж. — Блондинка окинула Левенцова насмешливым взглядом. — Вам лучше с ним не встречаться: он ревнив, как Отелло и столь же чёрен.

— Негр? — удивился Левенцов. — Откуда он здесь взялся?

— Мы вместе учимся в нашем пединституте.

— Я, конечно, не расист, но позвольте спросить: чем же он вас привлёк? Неужто в Беловодске местные парни хуже приезжего африканца?

— А вы представьте: ослепительно белая простыня, а на ней угольно чёрное тело!

— Представил. И что?

— Разве вас эта картинка не возбуждает? — удивилась блондинка.

— Нет, — честно признался Слава.

— Вот поэтому нам с вами не по пути. — Лицо у блондинки разочарованно вытянулось. — Идите в свой замшелый музей!

— Спасибо за консультацию, — насмешливо улыбнувшись, чуть поклонился Левенцов. — Возможно, я позже тоже посету ваш пляж, но сейчас духовное мне ближе.

Насмешливо фыркнув, блондинка повернулась и зашагала прочь.

— Эй, Дездемона! — крикнул ей вслед Левенцов. — Отелло не был негром! Он был мавром, то есть арабом.

Краеведческий музей оказался заурядным заведением. В двух просторных комнатах были выставлены скучные, имеющиеся в любом городе экспонаты и документы, отражающие семьдесят лет советского периода истории, период же, охватывающий предшествующие четыреста лет городской истории, уместился в крохотном уголке одной из комнат. Слава Левенцов подошёл к музейному служителю с вопросом:

— Не могли бы вы сказать, откуда у города такое название: «Беловодск»?

— Потому что он на берегу реки «Белая», — ответил не задумываясь служитель.

— А почему так называется река?

Теперь служитель задумался.

— Всё ясно, — улыбнулся Левенцов, кивнув в сторону уголка, отражавшего четырёхвековую историю до 1917 года. — Там для ответов на такие мелкобуржуазные вопросики не нашлось местечка. Может, скажете тогда, как дойти до реки с таким экзотическим названием? Говорят, там есть пляж.

— Это далеко, лучше вам автобусом. Автовокзал в той стороне, мимо не пройдёте.

Трястись в самый солнцепёк в автобусе было малопривно, от жары и духоты не спасали даже полностью открытые окна. Водитель вывел машину на автомагистраль и та, дважды успев проскочить перекрёстки на жёлтый свет, удачно выскочила к нужному повороту под зелёный. Крутой спуск, полумрак тун-

неля под железнодорожную магистралью, опять солнце, окраинные домики в зелени садов, простор приречья. Остановка автобуса оказалась возле пляжа.

Река Левенцова разочаровала. Во-первых, вода в реке оказалась отнюдь не белой. Во-вторых, Белая была гораздо уже родной Оки, что не удивительно, так как этот мутный поток являлся всего лишь её притоком. Участок пляжа был засыпан тонким слоем грязного песка. По случаю субботы на пляже не было свободных мест. Оставить без присмотра в этом столпотворении одежду, деньги и документы Левенцов не рискнул. В дальнем конце пляжа он увидел расположившихся на простынях трёх женщин в пёстрых закрытых купальниках. Он подошёл к ним. Они оказались немолодыми, лет под сорок, играли в карты и курили какие-то экзотические длинные и тонкие сигареты.

— Присмотрите, пожалуйста, за моими вещами, — попросил их Левенцов.

Раздевшись, он пошёл к воде. Песчаная отмель была пологой, надо было метров двадцать преодолеть пешком по дну до глубины. Наконец Слава ощутил под ногами пустоту и, наслаждаясь прохладой воды, поплыл. Плыл долго, не разбирая направления, сконцентрировав всё внимание на удовольствии от процесса движения в воде. Потом, увидев, что его довольно далеко унесло течением, направился к другому берегу, подымавшемуся из воды крутым откосом. Левенцов с трудом взобрался на него, цепляясь за ветви низкорослого кустарника. Отсюда открывался живописный вид на городские окраины, на сверкавшие на солнце маковки церквей и башенки монастыря. Левенцов некоторое время с интересом смотрел на старинный одноэтажный Беловодск. Потом с разбега нырнул с обрыва в реку и поплыл назад.

Выйдя на пляж, Левенцов нашёл троицу приветливых женщин, согласившихся посторожить его вещи, молча ляпнулся рядом с ними на песок и улыбнулся. Не прошло и трёх минут, как женщины уже наперебой старались выказать ему расположение. Они пригласили его принять участие в карточной игре, но он

сказал, что ему жаль красть у жизни время на столь легкомысленное занятие. Тогда они достали из сумок пиво и закуску. От пива Левенцов не отказался. Из разговора выяснилось, что все три женщины безработные, потому что не желают унижать себя работой за гроши.

— Чем же вы живёте? — спросил Слава.

— Чем Бог пошлёт, — ответила одна, усмешливо переглянувшись с остальными.

Через полчаса, поняв, с кем имеет дело, Левенцов задумался: не остаться ли ему в Беловодске на ночь? Судя по всему, у него есть шанс весело и нестандартно провести ночь в компании трёх зрелых красоток без комплексов. С другой стороны, у него нет уверенности, что он достойно сможет показать себя, полностью удовлетворив потребности всех трёх весьма искушённых дам. Да и наличные финансы у него в кармане, как говорится, «поют романсы». Конечно, в этом городе Левенцова никто не знает, и возможный его провал и позор вряд ли дойдут до родного Трёхреченска...

«А зачем мне это? — опомнился Слава. — Стоило ли уезжать чёрт знает куда, ради того, что я в любой момент могу получить без каких-либо хлопот дома?» И он решительно объявил, что ему пора уходить. Женщины искренно расстроились. На прощанье они сунули ему клочок бумаги с номерами телефонов. Слава поблагодарил и пошёл к остановке автобуса. Там он разорвал бумажку с телефонами на мелкие клочки, сдунув их с ладони в урну.

Левенцов вернулся в Беловодск и долго бродил по старым и новым кварталам города. Древние стены кремля ещё в царские времена были разобраны жителями по кирпичику, из которых понастроили дома и сараи, благополучно пережившие революции и войны. Новые кварталы были застроены пятиэтажными «хрущобами» или типовыми девятиэтажками. Церкви и монастыри Левенцова не интересовали. Отдохнув на скамейке в парке и понаблюдав, как по аллеям и вокруг фонтана гуляют молодые мамы с младенцами в колясках, Левенцов

вернулся на вокзал, чтобы первым же поездом вернуться в Трёхреченск. Но тут понял, что не видел, каков Беловодск по ту сторону рельсовых путей. Натруженные за день ноги гудели, но Левенцов мужественно начал подъём на виадук.

Спустившись с другой стороны, он очутился в тени вековых лип. В глубину сквера шла аллея, она привела его к четырём расположенным вплитык друг к другу магазинам. Двери трёх из них, продовольственного, промтоварного и молочного, были уже на замке. Из дверей работающей пока булочной-кондитерской выскочила девочка лет пяти, следом за ней вышла молодая женщина с двумя нагруженными доверху хозяйственными сумками. Он сделал шаг навстречу:

— Мадам, похоже, нам с вами не разминуться. Мне вас цыганка нагадала как раз на пороге казённого дома встретить.

Женщина, быстро на него взглянув, потупилась. У неё была редкой чистоты и атласности кожа на лице и открытой части груди. Отдав должное этой прелести, не забыл он оценить и остальное. Сложена, как величаявая славянка. И лицо приятное, не то чтобы очень уж красивое, а именно приятное, даже милое, даже более чем милое.

— Нет-нет, — остановил он её, — не пытайтесь меня обойти, не получится: цыганка, которая мне вас нагадала, кристально честная была.

— Я устала, извините, — ответила женщина.

— А я, думаете, не устал? — возразил он. — С утра на ногах. Да против судьбы усталость не подмога. Давайте ваши сумки, они вам тяжелы.

— Не надо, мы привычны.

Он присел на корточки перед девочкой, глядевшей на него во все глаза, представился:

— Меня зовут дядя Слава. А вас, барышня, как?

— Ксюша. — Девочка солнечно улынулась и протянула ему руку.

Поцеловав её крохотные пальчики, он скосил глаза на стоявшую в растерянности женщину:

— Это твоя мама?

Ксюша утвердительно кивнула. Женщина пошла к аллее. Он догнал её.

— Давайте отнесём сумки и поужинаем в ресторане, — предложил он вкрадчиво.

— Нет, — последовал уверенный ответ.

— Тогда в кино?

— Нет.

— Ну хоть в интимной близости-то не откажете?

— Нет.

— Я так и знал, — улыбнулся он.

Женщина, спохватившись, покраснела, но улыбка у мужчины была такая обаятельная, что ей ничего не оставалось, как ответить беззащитной, целомудренной улыбкой.

— Давайте ваши сумки, — он выхватил их у неё и, не оглядываясь, пошёл к виадуку.

Ксюша радостно поскакала впереди. Спустившись на другом конце виадука, он обернулся. Женщина, глядя себе под ноги, остановилась. Не поднимая глаз, она с неловкостью произнесла:

— Не провожайте меня дальше. Я замужем.

— Какая прелесть! — восхитился он. — Вы всерьёз полагаете, что это веский довод?

— Не провожайте, — мягко повторила она и медленно стала поднимать к нему глаза.

Под воздействием этого замедленного их движения Левенцов ощутил нечто странное. Пронеслись как будто очень важные, но ускользнувшие из памяти провалы лет прежде, чем его и её взгляды наконец соединились. Её глаза с поволокой смотрели затуманенно и немного томно, словно преодолевая дымку непомерного пространства. «Продавщица так смотреть не может, — подумалось ему. — Точно разглядывает моих дедов, прадедов и что под землёй, и что за облаками». Медленно и устало она протянула к нему руки. Он отдал ей сумки и изумлённо произнёс.

— Какие у вас глаза!

– Какие? – доверчивая нотка просочилась в её голос.

– Затрудняюсь в точности сказать. Сказать «красивые» слишком мало. Будь я художником, назвал бы неземными. Но я человек технический, поэтому скажу конкретней: они у вас инопланетные: от их взгляда родная планета уходит из-под ног... Ладно, идите кормить мужа. Счастья вам.

– И вам счастья, – сказала она как будто с облегчением.

– Одну минуту, – окликнул он, когда она пошла.

Она обернулась, глянула «инопланетным» взглядом.

– Как вас зовут?

– Наташа.

– Фамилию не скажете?

– Фадеева.

– А я Слава Левенцов.

Подскочила Ксюша, протянула на прощанье руку. Он поцеловал ей пальчики и, заговорщицки подмигнув, сказал:

– Пока.

Солнце садилось, когда Слава Левенцов вышел из последнего вагона электрички и направился не к лестнице виадука, а к концу платформы главного вокзала Трёхреченска. У этого конца между рельсами был настил из бетонных плит, служивший внештатным переходом. От перехода шёл ближайший путь к расположенной неподалёку от вокзала девятиэтажке, где Левенцов снимал жилплощадь, «пещерку у вокзала», как он её называл.

По окончании института Левенцова распределили в один из московских НИИ. Придя в отдел кадров, Вячеслав узнал, что его ждут мизерная зарплата и отсутствие каких-либо перспектив получения жилья, даже собственного общежития в этом научном заведении не было.

– А где же мне жить? – спросил пожилого кадровика Левенцов.

– Так вы же, судя по анкете, родом из Подмосковья, – прозвучало в ответ. – В чём проблема? У нас почти половина со-

трудников ездят на работу из области. Другие за счастье считают распределение в Москву, стремятся любым способом здесь закрепиться, а вы претензии какие-то предъявляете!

— Электричка от Трёхреченска до Москвы идёт два с лишним часа, да от вокзала до НИИ почти час добираться. Я минимум семь часов в сутки на одну только дорогу на работу и обратно буду тратить. А с такой зарплатой, что вы мне предлагаете, все деньги будут уходить на оплату съёмного жилья, билеты на транспорт, хлеб и воду. Мне такого «счастья» не надо!

После долгих споров с начальником отдела кадров, хождения по кабинетам начальников разного уровня и даже скандала в профильном министерстве Левенцов добился отмены распределения и получения свободного выбора места работы. Он вернулся в родной Трёхреченск и обошёл все местные предприятия. Его готовы были взять везде, но опять же без предоставления жилья. Комната в общежитии положена только иногородним сотрудникам, а Левенцов к таковым не относился. А пока Вячеслав получал высшее образование в московском институте, его младшая сестра успела выйти замуж и родить двойню, так что в их бревенчатой халупе на окраине города ютились старики-родители, сестра с мужем и их дети. Левенцову пришлось ночевать на сеновале в сарае. Хорошо, тогда было лето, но, когда пришли осенние холода, Вячеславу пришлось перебраться в кухню и спать там на сдвинутых стульях. Такое положение не устраивало никого и в первую очередь самого Левенцова. Вот тогда он стал внимательно читать объявления о сдаче квартир, сменил несколько адресов и хозяев, пока не снял комнату в двухкомнатной квартире одинокого отставного военного лётчика Глеба Ивановича Татищева, «пещерку у вокзала».

Быстро миновав малолюдную в этот поздний час привокзальную площадь, Левенцов уже через несколько минут был в своей «пещерке». О жилом её назначении напоминала лишь кровать. Остальное помещение занимали кульман, развешанные на проволоках у потолка чертежи, электросхемы, массивный самодельный стол с токарным станком и слесарными тисками,

стеллажи вдоль стен с механическими и электрическими приборами, словно в производственной какой-то мастерской. Окинув это техническое убранство весёлыми глазами, Левенцов поздоровался с ним вслух:

– Привет!

После тёплого душа он пошёл на кухню, где поздоровался с содержимым холодильника: то был приличный кусок варёной колбасы. Вячеслав съел колбасу, обильно сдабривая её острым томатным соусом, потом вернулся в комнату и повалился спать.

2

В десятом часу утра Левенцов поднялся, сделал гимнастику, принял холодный душ и пошёл на кухню здороваться с содержимым холодильника. Содержимое скучно ответило на приветствие лишь скрючившимся от пожилого возраста кусочком сыра. Зато в кухонном шкафу обнаружился приличный запас чая. Завтрак получился необременительный для желудка и поощрительный для интеллекта.

– Ну-с, что имеем? – жизнерадостно произнёс Левенцов, вернувшись в комнату. – За десять лет не очень, прямо скажем, упорного труда двенадцать образцов, ни один из которых не отвечает требованиям. Пусть так. Но нам тридцать пять лет всего, до выноса вперёд ногами успеем что-нибудь. Тем более, государственные мужи уверяют, будто перестройка обеспечит зелёную улицу изобретательству. Мы, конечно, без комплексов и государственным мужам не верим, тем более их жёнам, а всё-таки приступим к изобретению тринадцатого образца.

И достав толстую рабочую тетрадь и кипу листов с выписками, он углубился в интеллектуальную работу.

В шестом часу вечера, несмотря на увлечённость делом, ему захотелось есть. Он обследовал карманы. Было семь рублей. «Неплохо, – подумал он, – особенно если учесть, что до полочки всего два дня».

Путь к ближнему продовольственному магазину пролегал мимо вино-водочного. Это был единственный в городе вино-водочный, продолжавший работать и по воскресеньям, несмотря на яростную антиалкогольную кампанию. После того, как первый государственный муж объявил, что в результате сделанной им перестройки трезвость стала нормой жизни, очередь у магазина перестала кончатся даже ночью. Левенцов замедлил шаг. Потом не заметил даже, как протиснулся к стоявшему в очереди близко к двери знакомому лицу. Знакомое лицо, поняв с полувзгляда, кивком пригласило вклиниться в очередь впереди себя. Через полчаса Левенцов располагал двумя бутылками девятнадцатиградусного «Хереса». И ещё больше рубля оставалось на закуску. В продовольственном магазине очередь отсутствовала только в двух отделах: хлебном и рыбном. В хлебном он взял батон белого за двадцать пять копеек, в рыбном — банку ивасей за семьдесят.

Не заходя в свою комнату, он постучал в дверь соседней, которую занимал хозяин квартиры, сорокашестилетний отставной военный лётчик Глеб Иванович Татищев.

— Входи, — раздался из-за двери хриплый, но всё-таки красивый баритон Татищева.

Войдя, Левенцов увидел привычную картину: Глеб Иваныч бегал с дымящейся сигаретой во рту по комнате и ругался с телевизором. Его тёмные глаза зло горели, седеющие усы зло топорщились.

— Идиоты! — сообщил он, кивнув на работающий телевизор. — На безалкогольных свадьбах у них веселее! Фруктовые соки вместо водки! Как будто мы не знаем, что гости втихаря уже махнули, чтобы дотерпеть до ухода телевизионщиков! Пропагандисты хреновы! Сами-то на своих свадьбах водку кушают, за продажную пропаганду не по две, небось, бутылки получают, как мы, простой народ. А нас художественной самодеятельностью кормят: смотрите, как в безалкогольных худколлективах беззубые старухи песни поют. Тошнит хуже, чем от водки.

— Когда ты последний раз водку-то пил? — сказал Левенцов, помещая на столе рядом с переполненной окурками пепельницей бутылки с «Хересом» и немудрёную закуску. — С тех пор, как я у тебя живу, мы только вино потребляем. А их указы нам не указ!

— А ещё, знаешь, Слава, от чего тошнит? — не унимался Татищев. — От иностранщины. Ага. Прямо задолбали этими своими «консолидациями» и «плюрализмами». А ещё больше «регионом» — через каждое слово его повторяют, точно матершинники. Перестройщика что-ль передразнивают? Чует моё сердце, к недоброму ведут они народ, не зря так полюбили иностранщину.

— А ты их выключи, — посоветовал Левенцов. — А иностранщину наши правители во все времена любили. Роман Толстого «Война и мир» помнишь? Как там русские дворяне между собой исключительно на французском языке шпыхали...

Татищев выключил ненавистный телевизор. Левенцов растворил настёжю окно. В прокуренную комнату хлынул шум железнодорожного и автобусного вокзалов, рёв автомашин с шоссе и рычание бульдозеров, сносивших по другую сторону дороги старые строения, на месте которых замышлялся крытый рынок. Татищев быстро порезал на толстые куски чёрствый батон и ловко вскрыл консервную банку с ивасями. Приятели устроились за столом на табуретках, приступили к вину, и уличного грохота как не бывало.

— Неплохо, — сказал Левенцов, приканчивая мелкими глотками свой стакан. — Вообще-то странно: виноградники, говорят, все вырубили, а вино в продаже неподдельное. Случись такая вырубка у капиталистов, живо цену на него взвинтили бы, и мы с тобой натурального вина даже бы не понюхали. А тут пусть дают только две бутылки в одни руки, зато не хуже, чем у государственных мужей.

— Ой ли?

— Во всяком случае, не суррогат.

— Отведаем ещё и суррогата. Мне-то не привыкать: я за время службы в таких местах побывал, в которых и техническому спирту бывали рады. Ага. А вот ты, гурман подмосковный, что будешь делать?

— Вот интересно, Глеб, отчего ты такой пессимист? Пенсия у тебя больше, чем у меня зарплата. Крыша над головой есть, своя к тому же. Комнату вот мне сдаёшь. Выпивай себе, закусывай, газеты с книжками почитывай и в ус не дуй!

— Думаешь, сладко очень в ус не дуть? Ты вот инженер, изобретаешь что-то, а тут в голове ни шиша, одни военные премудрости. Ага. Последние пять лет я вообще политработником служил, поэтому хотел устроиться на работу по линии политпросвещения, да не берут! Видать, из моды эта линия выходит. А без дела тяжко. Иной раз день по году тянется. Я ж тебе комнату почему сдал? Денег мне, как ты правильно заметил, и так с лихвой хватает. Ага. С тех пор, как Веронька моя померла, остался я один, как перст, на этом свете. Поговорить не с кем, душу отвести, а ты закроешься в своей комнате и не видать тебя, и не слышать. С телевизором вот начал уже разговаривать...

— А ты, Глеб, почаще из «пещерки» выходи. На природу выезжай или в другой город, с женщиной познакомься какой-нибудь...

— Наездился я, Слава. Всю страну, пока служил, объездил. А насчёт женщин скажу: они для меня после смерти моей Вероньки не существуют. Ага. Ни к чему это. Надо свой крест нести...

Разговор складывался невесёлый. Разливая по последней, Левенцов сделал попытку закончить его на положительной ноте:

— Знаешь, Глеб, жил когда-то древнеримский писатель Апулей. Вот он оставил нам такую мудрость: «Первую чашу пьём мы для утоления жажды, вторую — для увеселения, третью — для наслаждения, а четвёртую — для сумасшествия». Вот мы с тобой выпьем сейчас по третьей чаше, то бишь — стакану, и остановимся, потому что обе бутылки пусты. Забавно, что, ограничив норму отпуска спиртного двумя бутылками

в одни руки, государство сегодня спасло нас от сумасшествия...

Но Татищев только раздражённо хмыкнул, залпом осушил свой стакан и вновь включил телевизор. Допивая вино, Левенцов вдруг вспомнил о Людмиле.

Людмила Петровна Николаева, пышная сорокадвухлетняя блондинка, заведовала продовольственной ресторанной базой, и в силу этого обстоятельства в её двухкомнатной квартире, кроме излишеств, вроде осетровой икры и балыков, имелось также всё необходимое, чтобы пережить десяток российских перестроек. Но не в силу этого обстоятельства вспомнил о ней Левенцов. Он вспоминал о любвеобильной Людмиле лишь в минуты, как говорили ранее, томления духа из-за каких-либо житейских неприятностей или томления плоти из-за долгого воздержания, особенно если и то, и другое было сопряжено с воздействием спиртного. Видимо, причиной возникновения подобного рефлекса у Левенцова явились обстоятельства его знакомства с Людмилой Николаевой.

В их Конструкторском отделе промышленной автоматики (КОПА), а точнее – в Бюро гидравлических систем, где отбывал рабочее время Слава Левенцов, ровно три года назад появилась новая сотрудница – Алла Скобцева. Её прислали по распределению после окончания института. Оформили Аллу инженером-конструктором, но по факту она работала простой чертёжницей, оформляя по ГОСТу чужие чертежи. Да и кто доверит самостоятельную работу молодому специалисту, да ещё девушке!

Слава Левенцов обычно являлся убеждённым противником служебных романов, но девушка была столь симпатична и соблазнительна, что он не выдержал и начал атаку, которая плавно перешла в осаду. Алла держалась стойко.

Под Новый год среди сотрудников отдела возникла идея скинуться и коллективно отметить праздник в ресторане. Решить все организационные вопросы поручили парторгу, профоргу и председателю общества трезвости отдела Егору Агаповичу Сорокину, а тот взял себе в помощь Славу Левенцова. Но оказа-

лось, что идея отметить Новый год в ресторане пришла не только сотрудникам КОПА и все залы, даже в небольших кафе, были уже забронированы.

Грустные «организаторы», потеряв всяческую надежду на успех своей миссии, пришли в родные «Три тополя», куда сотрудники отдела каждый рабочий день ходят обедать. Сорокин изначально не хотел устраивать вечеринку в заведении, где его подопечные известны персоналу как интеллигентные, воспитанные люди, элита конструкторской мысли. Сам Егор Агапович спиртное никогда не употреблял и не собирался этого делать во время празднества. Но как поведут себя другие сотрудники отдела после нескольких тостов? Не уронят ли некоторые из них авторитет КОПА в глазах ресторанных работников?

Славу Левенцова беспокоили иные мысли. Он твёрдо решил подпоить на вечеринке Аллу Скобцеву и, наконец-то, пробить её оборону, а тут такой облом с ресторанами! Решительно отстранив от дела Сорокина, он на максимум включил своё обаяние и, вежливо постучав, вошёл в кабинет директора ресторана «Три тополя». Там за столом, напротив друг друга, сидели две женщины бальзаковского возраста, одна из которых показалась Левенцову смутно знакомой. На столе стояли початая бутылка молдавского коньяка, две рюмки со следами губной помады, лежали коробка шоколадных конфет и полупустая пачка болгарских сигарет «Стюардесса», в пепельнице дымился окурок.

– В чём дело? – вскинулась директор. – Почему вламываетесь в кабинет без разрешения?

Опешивший Левенцов забормотал извинения, сказал, что стучал. Но побагровевшая начальница, застигнутая за распитием спиртного в рабочее время, просто кипела от злости.

– Немедленно покиньте мой кабинет!

– Катюша, успокойся, – вдруг пришла на помощь Левенцову «знакомая» женщина. – Молодой человек действительно стучал. Давай его выслушаем, может, у него что-то важное.

Благодарно улыбнувшись неожиданной защитнице, Левенцов изложил своё дело.

– Ничем не могу помочь, – злорадно ответила директор. – Зал уже снят на все предновогодние вечера. Вам надо было раньше проявлять прыть, молодой человек.

– А на сколько человек вы планировали банкет? – поинтересовалась «знакомая».

– Да не так уж нас много, – со вспыхнувшей надеждой ответил Левенцов. – У одних не с кем оставить детей, у других – стариков. Некоторые считают Новый год семейным праздником и всегда отмечают его дома. Так что, по предварительным оценкам, хотели прийти не более пятнадцати человек.

– Что ж, тридцатого декабря в «Тополях» будет отмечать Новый год наша небольшая компания. – «Знакомая» повернулась к подруге. – Если мы потеснимся, ты ведь найдёшь места для ещё пятнадцати человек?

– Ты – хозяйка вечера, тебе и решать! – неохотно согласилась директор. – Места, конечно, всем хватит, и твоим, и инженерам.

– И ресторану дополнительные деньги! – примирительно заключила «знакомая» и потянулась к бутылке. – Берите стул и присаживайтесь, молодой человек. Пора нам познакомиться, наконец, поближе. Меня зовут Люда, это, как вы уже поняли, Катя, директор «Тополей»...

Новогодний вечер в ресторане «Три тополя» не оправдал надежд Славы Левенцова. Ему удалось несколько подпоить Аллу Скобцеву и даже немного потискать её во время медленных танцев, но и только. Более того, они вдруг неожиданно поссорились из-за пустяка: Слава пренебрежительно высказался о какой-то попсовой певичке, под чью песню они с Аллой в этот момент танцевали. Левенцов вообще презирал попсу и признавал исключительно классическую рок-музыку, а потому ещё в студенческие времена в Москве собрал немалую коллекцию магнитофонных записей таких групп, как «Битлс», «Дип Пёрпл», «Пинк Флойд», «Йес», «Генезис» и других, менее знаменитых исполнителей. Жалкие попытки отечественных подражателей зарубежным кумирам вызвали у Славы лишь презрительную улыбку.

Представители же советской эстрады для него вообще не существовали. Было бы из-за чего ссориться! Но Алла «закусила удила», заявила, что Слава ничего не понимает в современной музыке, решительно прервала танец и даже пересела за другой стол.

В Левенцове тоже разыгралась гордость: он знал, что нравится женщинам, не раз убеждался в этом на практике, а тут какая-то смазливая девчонка не только строит из себя неприступную крепость, но и поучает его в сфере, в которой Слава считал себя знатоком. Решив утереть нахалке нос, он оценивающим взглядом окинул зал и тут же наткнулся на насмешливо-призывную улыбку Людмилы. «А почему бы нет? — спросил себя Левенцов. — Конечно, она явно старше меня, но выглядит вполне аппетитно. Да и выбирать сейчас особо не из кого». Остаток вечера он назло Скобцовой общался и танцевал только с Людмилой. А когда, окончательно осмелев, Левенцов попытался затащить Людмилу в директорский кабинет, она жарко шепнула:

— Не здесь, милый! Поедем ко мне.

В такси они жадно целовались и оторвались друг от друга лишь тогда, когда водитель, устало хмурясь, громко сказал, что они уже приехали. Расплатившись, Левенцов вылез из машины и остолбенел: это был его дом с «пещеркой» на пятом этаже, где в своей комнате в одиночестве наверняка в кресле перед телевизором сейчас дремлет Татищев.

— Так до сих пор и не узнал меня, милый? — с укором спросила Людмила. — Да, я тоже живу в этом доме и в этом подъезде, только на втором этаже. Я давно тебя заметила и даже несколько раз вроде как случайно сталкивалась с тобой у входа, но ты меня в упор не замечал. Один раз я даже прокатилась с тобой в лифте, но ты и тогда смотрел вроде как сквозь меня. Даже не спросил, на какой мне этаж, просто выбрал свой пятый, и, когда лифт остановился, молча вышел, а я, жутко обиженная, поехала вниз на свой второй.

— Не может быть! — сконфуженно сказал Левенцов. — Впрочем, теперь я понимаю, почему при нашей встрече в каби-

нете директора ресторана твоё лицо показалось мне знакомым. Просто, когда я о чём-либо сильно задумываюсь, то двигаюсь, как бы на автомате, ничего и никого не замечая вокруг. Прости поросёнка!

— Нет уж, — увлекая Левенцова в подъезд, решительно ответила Людмила, — ты сначала постарайся как следует заглядеть свою вину передо мной, а потом уже поговорим о прощении.

И Левенцову тогда пришлось стараться почти до рассвета...

Спустившись на второй этаж, Слава в сомнении остановился перед дверью Людмилиной квартиры: звонить или не звонить? Но рука, заждавшись разумного решения, сама надавила на кнопку. Дверь отворилась. Людмила стояла на пороге с картинно повисшими руками, ожидая поцелуев. При виде её голых, вызывающе плотских рук, запрокинутой томно головы с рассыпанными вокруг шеи рыжими волосами и особенно плотоядного блеска её зелёных глаз Левенцова бросило в жар. Но он решил продемонстрировать стойкость и выдержку. Осторожно обойдя Людмилу, он снял ботинки, прошёл в комнату и опустился на диван перед включённым телевизором. Людмила села рядом, навалилась горячим телом. Он в рассеянности отодвинулся и, напустив на себя грустный вид, сказал:

— Я у тебя в последний раз.

Это сообщение не вызвало в ней абсолютно никаких эмоций. Слава сообразил, что по пьянке, видно, уже говорил такие вещи, и Людмила выработала иммунитет.

— Я правду говорю, — сказал он неуверенно. — Нечестно с моей стороны приходить к тебе.

— Почему, милый? — безмятежно удивилась она.

— Я не могу жениться.

— Почему? Разве ты больной? Ты норма-альный. — Она плотоядно улыбнулась. — Или тебя смущает разница в возрасте?

— Не в этом дело, — возразил он терпеливо. — Дело в том, Люда, что у меня есть Дело.

— А у кого дел нет? Дел у всех хватает.

— То дела, а у меня — Дело. Дело жизни. Одно единственное, которое я не променяю ни на какие прочие дела, в том числе и на семейную жизнь, хотя бы даже и с такой замечательной женщиной, как ты.

— Не понимаю, — искренно призналась она. — Дай бог каждому, конечно, всего одно лишь дело, только так не бывает, на дню и то по десять дел.

— Которые на дню по десять — не дела, а суета сует, Людочка! Суета ради собственной уютной жизни. А цель моего Дела — чтобы все люди стали лучше жить. Понимаешь?

Она отрицательно качнула головой. Потом спросила:

— А какая тебе польза, милый, что другие станут жить лучше?

— Во! В этом всё и дело! Мне лично пользы никакой. Мне, наоборот, зарплаты не хватает, потому что больше половины из неё идёт на Дело, и на семью не остаётся ни копейки. Мне надо оставаться одному.

В глазах Людмилы мелькнуло будто понимание. Но после долгой паузы она с наигранным спокойствием проговорила:

— Врёшь ты всё. Плохо человеку одному. И разве я тебе обуза? Зарплаты мне твоей не нужно.

Она поднялась и ушла в спальню. Вернулась в одной коротенькой прозраченькой сорочке. И плоть Левенцова в очередной раз победила его разум.

Ранним утром Людмила потащила Славу на кухню, где на стол было накрыто, как для праздничного ужина. Между делом, как бы невзначай, она задала привычный свой вопрос:

— Когда придёшь?

— Тебе надо расширять словарный запас, Люда, — ответил он. — Тем более в свете вчера мною сказанного.

Она остановилась у плиты с беспомощно повисшими руками, с жалким взглядом не желающих верить глаз. Спросила с тихой обречённостью:

— Что же не сказал, какое у тебя единственное дело?

– Да по части техники, – ответил он, смутясь. – Одну вещь изобретаю. Планировал электрический движок, способный конкурировать с нынешним автомобильным, но чувствую, надо брать шире...

– Уж не машину ли собираешься купить? – глаза у Людмилы блеснули одобрительно.

– Не совсем правильно ты поняла. Машины в их нынешнем виде я не люблю, поэтому хочу заменить их экологически чистыми электромобилями.

– Интересно, – сказала она как будто с пониманием, затем спросила. – Ты, окончательно решил? Правда, больше не придёшь?

– Правда. Я же трезвый сейчас и вполне отвечаю за свои слова. Будь великодушной, Люда, не серчай.

– Нет, – возразила она напряжённым голосом, – такую жестокость нельзя простить. Мало того, что ты всегда приходишь ко мне под градусом, так ещё и относишься как к дешёвой, вернее, бесплатной шлюхе! Три года молчал, пользовался мною, когда приспичит, а теперь неожиданно о каком-то важном деле вспомнил! – И вдруг её глаза сверкнули. – Будьте прокляты и ты, и твоё дурацкое Дело! Пусть это дело сожрёт когда-нибудь твоё семейное счастье.

Упав на стул, Людмила истерично зарыдала. Слава воровски на цыпочках прошёл в переднюю, осторожно отвёл защёлку замка и опрометью бросился вверх по лестнице. Татищев, судя по тишине в его комнате, ещё спал. Левенцов не испытывал ни раскаяния, ни угрызений совести, ни жалости к покинутой Людмиле. Груз обаявавшей связи был сброшен наконец, и это веселило душу. Но когда Слава стал бриться, ему вдруг вспомнились слова цыганки: «Проклятый будешь, один будешь, страдать будешь». Левенцов даже бритью приостановил, поражённый сбывшимся по первому пункту предсказанием. Но неприятное воспоминание быстро позабылось под наплывом связанного с ним приятного – о Наташе. И он, наконец, понял, откуда у него взялись силы на оконча-

тельный разрыв с Людмилой. А в проклятия Левенцов не верил.

3

За минуту до восьми ноль-ноль Левенцов проскочил проходную и, переведя шаг в прогулочный режим, двинулся к осточертевшему трёхэтажному корпусу с табличкой у дверей: «Конструкторский отдел промышленной автоматики». На первом этаже уже визжали станки экспериментального цеха. Бюро гидравлических систем находится на втором этаже, здесь у Левенцова тоже оборудована своя «пещерка»: рабочее место в дальнем от входной двери углу, стол впритык к обеим стенам, а с тыла прикрывает кульман. На доске кульмана уже который месяц висит очередной проектный чертёж топливной системы для судового двигателя. Левенцов косо глянул на него. Это был парадокс: в КОПА приходилось «убивать» лучшее время суток без всякой надежды принести пользу человечеству, и за это ему платили деньги, а дома он занимался Делом, которое, верил, принесёт пользу человечеству, но деньги платил за это сам. Вот и сегодня придётся убить минимум восемь часов. Четыреста восемьдесят минут. Двадцать восемь тысяч восемьсот секунд, каждая из которых тянется по часу... Облокоотясь о стол, он устроил голову в ладонях и скоро задремал.

Левенцова разбудил Егор Агапович Сорокин.

— Профсоюзное собрание сегодня, — сообщил он. — Принятие соцобязательств. Ты не думаешь по своей теме взять?

— Нет, — отрицательно помотал головой Левенцов. — Не думаю, я давно уже не думаю. Как только пересеку проходную в эту сторону, так сразу и не думаю. Без пользы, понимаете?

У парторга, профорга и председателя общества трезвости Сорокина был абсолютно трезвый взгляд на вещи, поэтому многих вещей он совершенно не понимал, как не понял теперь и сказанного ему коллегой.

— Наглеешь ты, чем дальше, тем больше, Левенцов! — сердито сказал Егор Агапович. — Вот уже и спишь на работе. Придётся, видимо, мне поставить вопрос о твоём недостойном поведении на ближайшем партийном собрании. Да и пользы от тебя как от конструктора в работе бюро что-то не видно. Как ни посмотрю, у тебя на кульмане один и тот же чертёж уже который месяц без каких-либо изменений висит.

— Беспартийный я, товарищ Сорокин, — зло усмехнулся Левенцов. — Вы как парторг бюро прекрасно это знаете. Так что ваше партийное собрание меня волнует мало. И насчёт моей работы не вам судить. Вы хоть знаете, в чём она заключается? Да и не только моя! В модернизации давно созданного!

— И что плохого в модернизации? — удивился Сорокин.

— Вы, Егор Агапыч, как коммунист должны бы знать, с чего начиналась советская промышленность. Помните, был такой лозунг: «Догнать и перегнать Америку!»? Даже первые советские станки по этому лозунгу называли — «ДиП». Почти семьдесят лет с тех пор прошло, а мы не только не догнали, но и продолжаем всё больше отставать. Почему?

— А то ты не знаешь, умник! — возмущился Сорокин. — Сколько всего нам пришлось за эти семьдесят лет преодолеть: Гражданская война, разруха, Отечественная война и вновь разруха, а восстанавливать-то пришлось не только свою страну, но и братские страны Европы, вставшие на путь строительства социализма. И ещё помощь народам Африки и Азии, скинувшим оковы колониализма. А Америка все эти годы только наживалась. Но в космос, всё же, первыми вышли мы! Так что, дай срок — догоним и перегоним.

— Да, всё это было и есть, — признал Левенцов. — Но я имел в виду совершенно иные трудности, мешающие нам догнать и перегнать. Системные, и потому непреодолимые. Нельзя, уважаемый товарищ Сорокин, победить в гонке, занимаясь только модернизациями, требуется скачок, изобретение и внедрение нового! Америка не зря скупает по всему миру лучшие научные умы и технические патенты. Вот вы мой чертёж обругали, а он

вовсе не мой. Ему более двадцати лет, и я должен его как-то улучшить за счёт внедрения новых современных материалов и технологий. А мне обрыдло улучшать чужое, я хочу разрабатывать своё, новое! Уйду я, пожалуй, на третий этаж, в бюро электроники, там сейчас, говорят, микропроцессоры внедряют...

— Внедряют, — подтвердил Сорокин. — Раньше ламповые и релейные схемы управления заменяли на транзисторные и микросхемы, теперь микропроцессоры в ход пошли. А ты и в этом разбираешься? Только ведь и там по сути модернизацией занимаются, а не изобретательством. И тебе придётся с самых низов начинать, как новичку, из простых лягушек, так сказать, пробиваться. А вот если станешь Главным конструктором, тогда и будешь разрабатывать своё, — насмешливо бросил Сорокин. — А пока что, говорят, все твои изобретения идут прямоком в мусорную корзину.

— Да, идут, — горько усмехнулся Левенцов. — А знаете, почему? Все они «зарубались», потому что не отвечали стандартам ГОСТа, ОСТа, правилам Регистра, Требованиям Минсудпрома, Минрыбхоза, Минморфлота по унификации, стандартизации, технологичности, экономичности и прочей «ичности».

— Вот оно и выходит, что ты сам виноват, — с удовлетворением отметил Сорокин. — Стандарты и правила не просто так существуют. И раз уж ты считаешь себя настоящим конструктором, изволь их соблюдать. И пока ты член коллектива, а не кустарь-одиночка, тебе придётся, как и всем нам, взять на себя определённые соцобязательства. Вот хотя бы научись соблюдать стандарты и правила. А Америку мы и без твоих изобретений перегоним! — поставил точку в споре Егор Агапович и величественно удалился.

Левенцов поднялся и подошёл к Скобцовой Алле. Она заканчивала чертёж форсунки. Стоя за её спиной, он залюбовался: юная Алла работала, как прожжённый профессионал — сноровисто, быстро, цепко и вместе с тем раскованно. Длинные красивые пальцы левой её руки, словно бы едва касаясь, обхватывали поворотный механизм линейки, пальцы правой

так же изящно держали профессионально заточенный карандаш. Голова склонена с величественной грацией. Светлые волосы без излишних выкрутасов были собраны у затылка заколкой. Энергия и свежесть ощущались в её стройненькой фигурке. Скользя взглядом по красиво облегающей бёдра юбке, он вдруг отметил, что Алла рослая, а производит впечатление миниатюрной.

Она оглянулась.

— Отлично! — кивнул он на чертёж. — У тебя талант, ты далеко пойдёшь.

Она махнула пальцами с забавно беспечным выражением, как если бы сказала: «Надо как-то время убивать», а вслух произнесла:

— Далеко ходить я не люблю.

— Тогда ты не просто талантлива — ты гениальна.

— Что есть, то есть! — спокойно сказала Алла. — А вот ты ведёшь себя глупо. Впрочем, как всегда...

— Скобцева, мы же давно помирились! — поморщился Слава. — Зачем этот наезд?

— Если б не помирились, ты бы слова от меня не услышал. — Алла положила на стол карандаш и повернулась к Левенцову. — Вот скажи, зачем ты провоцируешь парторга, да ещё таким глупым способом? Он ведь легко может добиться того, что ты очутишься не на третьем этаже, а за воротами с волчьим билетом в руках.

— Руки у него короткие! — зло буркнул Слава. — Сейчас не тридцать седьмой год...

— Да, сейчас не тридцать седьмой, — кивнула Алла. — Тогда бы тебя просто расстреляли за саботаж, вредительство, антисоветскую пропаганду и сон на рабочем месте. Егор Агапович Сорокин — хороший, добрый человек. И чего он только нянчится с тобой, как с неразумным дитятей, не пойму...

— Скобцева, ты следи за базаром, как выражаются в определённых кругах. Сон на рабочем месте признаю, а всё остальное...

– Удивляюсь я тебе, Левенцов! – сказала Алла. – Ты старше меня лет на десять, наверно, а не понимаешь элементарных вещей!

– Каких, например?

– Ну, хотя бы, разницу между капиталистическим американским и нашим советским производством. Ты вот хаешь модернизацию и почему-то уверен, что Америка обгоняет нас исключительно за счёт быстрого внедрения новых изобретений. Так? Или я неправильно поняла твою недавнюю тираду на этот счёт?

Левенцов кивнул.

– Да, изобретения в Америке внедряются быстрее, чем у нас, – продолжила Алла. – Ты прав, что виновата в этом разница политических систем. Но ты совершенно не понимаешь, что так называемая «вина» нашей системы в торможении внедрения новшеств на самом деле направлена на общее благо всего народа.

– Как это? – Изумлению Левенцова не было предела.

– «Элементарно, Ватсон!» – голосом Шерлока Холмса в изображении артиста Ливанова снисходительно ответила Алла. – Включи, наконец, мозги! И у нас, и у них производство конвейерного типа. И у нас, и у них широко применяют модернизацию и стандартизацию. Почему же у них изобретения внедряются быстрее?

Левенцов поразился, что сам он никогда не задумывался над этим. Наконец он с видом победителя выдал:

– Единственная разница, которую я вижу, это принцип производства продукции: у них – конкуренция, у нас – плановое хозяйство. Конкуренция заставляет капиталиста искать, находить и быстро внедрять новые технические решения, для него это вопрос выживания. А у нас конкуренции нет, торопиться незачем.

– А если ещё подумать? – снисходительно прищурилась Алла. – Или после бессонной ночи с твоей перезрелой старушкой у тебя голова совсем не варит?

– С ка-какой старушкой?

– С той самой, на которую на той новогодней вечеринке ты меня променял. Трёхреченск – город небольшой, тут невозможно надолго что-либо скрыть. С чего бы молодому мужику в понедельник, после двух выходных, засыпать с утра прямо на рабочем месте? Вывод напрашивается вполне определённый...

– Во-первых, Скобцева, это ты меня тогда отшила, – хмуро возразил Левенцов. – Во-вторых, не подменяй тему: что в моём ответе тебя не устраивает?

– То, на что указал тебе Сорокин: ты скользишь по верхам явлений, даже не пытаешься копнуть глубже, не вникаешь в их причины. Да, конкуренция – сильный стимул, но разве у нас она отсутствует? А что же такое, по-твоему, пресловутое «соревнование двух систем», если не конкуренция? Причём в глобальном масштабе, а не только между однородными предприятиями. Эх, Левенцов, как же ты меня разочаровал...

У Славы вдруг заболела голова. Он никак не мог смириться с фактом, что его макает мордой в дерьмо молодая девица, об интеллектуальных способностях которой он до этого был самого низкого мнения. Он позорно молчал, не находя достойных аргументов, а Алла тоном учительницы объясняла ему очевидные вещи.

– При конвейерном производстве жизненно необходимы стандартизация и модернизация. В процессе эксплуатации, например, автомобиля, всегда выявляются какие-нибудь недостатки конструкции или технологии. Для их устранения нужно всего лишь перенастроить несколько этапов конвейера и выпустить на рынок модернизированную модель машины. Когда же требуется изготовить совершенно новую модель, приходится организовывать и новый конвейер! Ведь и на старую модель найдётся покупатель, да и запчасти должны производиться для ремонта. Но затраты на новый конвейер можно значительно снизить, если в новой модели удастся применить часть деталей старой. Вот почему так важна стандартизация, от которой ты, Левенцов, столь высокомерно воротишь нос!

Идём далее. Капиталист может потратить часть прибыли на создание нового конвейера для быстрого внедрения, выражаясь твоей терминологией, изобретения. А мы такой возможности не имеем, потому что у нас действительно плановое производство и к тому же жуткий дефицит буквально на всё! Почему, спросишь ты? Потому что у нас массовое производство. Люди годами стоят в очереди на покупку автомобиля, а мы эти машины ещё и экспортируем! Выкроить при таких условиях средства на внедрение изобретений, то бишь создание новых конвейеров производства чего-либо, невероятно трудно. Нам бы поскорее хотя бы давно разработанными вещами насытить рынок. И всё же и у нас в стране появляются новые модели машин, телевизоров, тепловозов, космических кораблей и всего прочего.

— Довольно! — взмолился Левенцов. — Сдаюсь. Вы с Сорокиным умные, я — дурак! Давай завязывать этот ликбез, окружающий народ уже давно оттопырил уши и забыл о работе.

Вернувшись на своё рабочее место, Левенцов остался один на один со служебным временем. Служебное время являло собой нечто прямо противоположное времени в обычном понимании. Если время в обычном понимании было чем-то ускользающим и неосязаемым, то служебное, наоборот, осязалось так прилипчиво, что хотелось дать ему по роже. Левенцов давно оставил попытки обмануть служебное время, убегая мыслями к домашним разработкам. Служебное время, точно сторожевой пёс, ненавидящий всё неслужебное, загоняло мысль в загон служебных. Восемь часов. Четыреста восемьдесят минут. Двадцать восемь тысяч восемьсот секунд, каждая из которых тянется по часу...

«Что это я мучаюсь-то? — осенило вдруг Левенцова. — Почему бы мне действительно всерьёз не покумекать над этим проклятым чертежом, давно висящим на моём кульмане, в плане усовершенствования топливной системы судового двигателя, не выходя при этом за заданные рамки?»

Неожиданно для себя он увлёкся решением поставленной Заказчиком задачи и даже вздрогнул от неожиданности, когда раздался рядом голос Аллы:

– Левенцов, что это с тобой? С чего вдруг столь ударный труд, да ещё в понедельник? Ты на обед-то собираешься или как?

– Или как, – мрачно ответил Слава. – У меня деньги кончились...

– Десяти рублей достаточно? Больше у меня с собой нет. – Алла вынула из сумки десятку.

– Однако! – признательно изумился он. – С такой купюрой и в ресторан не стыдно. Не составишь компанию? В «Трёх тополях», говорят, марочное сухонькое подают.

– Вперёд, к «Трёх тополям»! – воскликнула с улыбкой Алла. – Но сухонькое пить сейчас не рекомендую, рабочий день ещё не кончился, да и профсоюзное собрание потом ещё будет. Сорокин теперь тебя в покое не оставит и малейший запашок учует.

– Сами-то наши начальнички, небось, как всегда пива надуются в столовке при Доме приезжих... – недовольно пробурчал Левенцов.

После собрания, продлившегося почти час, Левенцов в благодарность за червонец решил проводить Скобцеву домой. Они медленно шли по улицам, осыпаемые тополиным пухом, как вдруг Алла сказала:

– Я, Слав, написала заявление на увольнение. Бизнесом займусь. Тянуть в бюро лямку за гроши не для меня, я пожить хочу.

– Не понял, ты бизнесом заняться хочешь или пожить? Совместить два этих противоположных полюса, по-моему, никак не можно.

– Увижу, что не можно, брошу бизнес.

– Не так всё просто, девочка. Бизнес – это деньги, а деньги для неокрепшей молодой души – наркотик. Живи лучше простыми радостями, они надёжней. Ты такая юная, у тебя такой весёлый ум, такая красота, здоровье – чего тебе ещё? Нет ценней валюты!

- Разве природной валюте денежная повредит?
 - Ещё как!
 - Не верю, я уже решила.
 - Тогда удачи тебе в бизнесе. Но жаль. Мне тебя в отделе будет не хватать.
 - Только в отделе, Слав?
 - Не знаю...
- Алла, достав из сумки пачку «Космоса», закурила.
- Ты давно куришь? – спросил Левенцов.
 - Нет, балуюсь иногда, – сказала она и беззаботно хлопнула пальцами о ладонь. – Замуж как выйду, так и брошу. Только замуж, видно, мне не светит.
 - Отчего же? Ни внешностью, ни умом Бог вроде не обидел.
 - Ума лишку малость дал – мне с двадцатипятилетними младенцами неинтересно. А тридцатипятилетние разобраны.
 - Не все, – возразил он. – Меня вот не «разобрали».
 - А интересно, почему?
 - Потому что у меня есть дело, которое я ставлю даже выше женщины.
 - А если полюбишь?
 - Убегу тогда.
 - Откажешься от счастья? Ты безумец!
 - Благодарю за комплимент, но я его не заслуживаю. Просто я отдаю себе отчёт в том, что личное счастье без всеобщего невозможно. А поскольку до всеобщего ещё не близко, любое дело, приближающее к нему, приблизит к собственному счастью вернее, чем любимая женщина.
 - Интересно. А ты не откроешь мне, какое у тебя Дело?
 - Открою. Я изобретаю сверхэнергоёмкий электрический аккумулятор, способный вытеснить бензиновые двигатели.
 - И ты думаешь сделать это в одиночку? Насколько я знаю, целые КБ и у нас, и за рубежом над этим бьются, а ничего путного пока не выходит.
 - Зато я не завишу от заказчика, не связан уозостью программ. Не получится аккумулятор, что-нибудь получше, может,

выйдет, например, энергетический источник на каком-то новом принципе, сверхмощный и сверхминиатюрный. Кладёшь такой источник размером со спичечную коробку в свою сумку, и тебе не страшны стихии. Он обеспечит и отоплением, и освещением, и добудет пищу, а с помощью промежуточных устройств перенесёт куда угодно. Не лишняя вещь в приближении общественной гармонии.

— Никогда бы не подумала, что ты такой романтик, Слава, у тебя такая здоровая ирония по отношению к окружающему...

— Ты полагаешь, только к окружающему?

— Нет, я знаю, ты и к себе беспощадно ироничен. Тем более странно... Неужели ты вправду веришь, что изобретения могут нас приблизить к счастью? Мой отец рассказывал об ужасах чернобыльской аварии. Он добровольно туда поехал, он был врачом. Других спасал, а сам не уберёгся... Когда он умирал, я проклинала изобретателей атомной энергии.

— Девочка... — произнёс Левенцов с оттенком укоризны. — Я понимаю твоё горе. Но зачем так огульно об изобретателях? Знаешь, мне тридцать пять уже. Ни кола, ни двора, ни семьи, ни близкого человека. Мои родители погибли в автокатастрофе, сестёр, братьев нет. Я, как проклятый, сажусь каждый вечер к рабочему столу и до ночи ломаю голову над безнадёжным делом, которое, как ты заметила, вряд ли сделает человечество счастливей. Знаешь, какие непростые монологи на этот счёт крутятся у меня в голове даже ночью в сновидениях! Иногда думаешь, может, я наркоман от изобретательства...

Проводив Аллу, Левенцов вдруг увидел, как замечательно хорошо на улице. Дневная жара сменилась уже вечерним ласковым теплом, схлынул транспортно-людской поток, было тихо. Улица, по которой он в рассеянности брёл, проходила мимо парка. Он завернул в него и в тени деревьев вспомнил про аллею, на которой встретился с Наташей. Он попытался вспомнить её лицо — не удалось: в памяти складывалось нечто притягательно приятное, но расплывчатое, без конкретных очертаний. Отчёт-

ливо вспомнился только её голос. Какое целомудренное было в этом голосе спокойствие и какие чеканной ясности согласные, смягчаемые придыханием! И неисчерпаемая нежность. Прямо как автономное живое существо воспринимался её голос. Как одушевлённая ласка женщины, счастливо утомлённой наслаждением. Женщина этого чуточку стыдилась, и это так мило отражалось в голосе...

Вспоминать Наташу было приятней, чем трудиться над изобретением. И Левенцов неожиданно подумал: «Гитару бы, в приятели шута, пить с ним вино всю ночь, грустить, глядеть на звёзды, песни петь да затевать проказы во дворце принцессы!»

4

Алла скинула в прихожей туфли, прошла на кухню, потом в библиотеку. Алевтина Владимировна Скобцева, её мать, сидела в кресле у окна с раскрытой книгой. Алла, неслышно подошла по толстому ковру и мягко повернула книгу вверх обложкой. Это был роман Стендаля: «Пармская обитель».

— Охота тебе такую старомодчину читать! — пожала Алла плечами.

Пятидесятилетняя Алевтина Владимировна, сохранившая редкую в такие годы привлекательность лица и женственно полнеющего тела, глянула на дочь своими вдумчивыми, красивыми глазами и сказала:

— Если бы над чтением этой «старомодчины» дала себе труд посидеть нынешняя молодёжь, глядишь, перестали бы днём водкой торговать, а вечером «новомодчину» смотреть по телевизору.

— Тебе бы легче стало, мам?

— Да хоть бы лавки их цыганские исчезли с улиц, и на том спасибо. А то дают на глаза, как фальшивая нота на уши.

— Мам, я подыскала место, — сообщила Алла. — С понедельника к работе приступлю.

– Сгораю от любопытства.

– Продавщицей в коммерческой лавке, мам.

Лицо у Алевтины Владимировны потемнело.

– Лучше не работай вовсе. Продержимся как-нибудь, пока по душе что-нибудь не сыщешь. Мы с твоим отцом четыре года жили на стипендию да тебя ещё растили и, как видишь, ничего, не померли.

– Я же не насовсем в продавщицы, мам, я своё дело заведу, я...

– Не юродствуй! – На лице у Алевтины Владимировны проступили розовые пятна. – Водкой она будет торговать!

– Не водкой, мам, там промтовары.

– А тряпками что, лучше? Добро бы ещё тряпки у них на человеческую одежду походили, а то действительно ведь тряпки размалёванные. Клоуны в такие одеваются, чтоб пошнее было.

– Я в такие не ряжусь.

– Конечно, тебя образовали, воспитали, вкус привили эстетический, а ты из благодарности клоунским вкусам хочешь поспособствовать. Не стыдно, дочь? Покойный твой отец...

– Оставь в покое покойного отца, мам. Всё равно я не переменяю решения. Скоро твоей зарплаты, мам, хорошо, если на баранку к чаю хватит. На шее у тебя сидеть я не желаю. И баранкой довольствоваться не хочу. И ты по-другому взглянешь, когда у нас ни в чём не станет недостатка. До тебя просто не дошло ещё, что мир переменялся, сегодня надо выбирать одно из двух: или эстетические вкусы, или блага.

– Господи, о каких ты благах говоришь? У меня есть память о твоём отце, о Родине, которая была, пока не появились коммерсанты, о светлых идеалах, которые для нас были поважнее, чем баранка к чаю. У меня есть крыша над головой, нам с твоим отцом её бесплатно дали. У меня есть всё, какие ещё блага? Впрочем, кажется, уже не всё. Единственную мою дочь бес попутал! Уж лучше возвращайся, доченька в КОПА. Или устройся няней, медсестрой, уборщицей, дояркой, кем угодно,

только не торговкой. Это то же воровство, неужели ты не понимаешь?..

— Библиотеку, мам, придётся заложить на время, мне нужен начальный капитал.

Алевтина Владимировна посмотрела на дочь недоверчивым, долгим взглядом, потом поднялась и пошла из библиотеки в спальню. Немного спустя пошла за нею Алла. Сев рядом с матерью на диван, Алла обняла её, виновато-ласково сказала:

— Вот увидишь, мам, всё будет хорошо.

И действительно, продавщицей в «комке» Алла проработала всего три месяца, цепко вглядываясь, вслушиваясь, вникая, она получила представление о конъюнктуре и, главное, наметила точки приложения капитала в планируемом обогащении. Незавидную стезю новоявленных российских корабейников Алла рассчитывала обойти. Она поглядывала на них, таскавших с тупыми лицами огромные саквояжи с вокзала на рынок и обратно, с тем раздражительным сочувствием, какое вызывает неразумный щенок или котёнок, выпрашивающий милосердие у двере, из которой его вытолкнули. Нет, ущербная игра не для неё.

Алла вышла на один радиозаводик, свёртывающий в финансовых тисках производство устаревшего образца проигрывателей. Пришлось идти на риск. Она заложила свои и мамы золотые вещи, папину библиотеку, заняла ещё уйму денег и налегке отправилась на тот заводик самолётом. Действуя где красноречием, где деньгами, где личным обаянием, ей удалось перекупить у заказчика одну из последних партий. Отправив проигрыватели железной дорогой, она налегке вернулась домой.

Груз пришёл через трое суток. Все эти дни мать демонстративно не разговаривала с ней. Зато успех предприятия превзошёл все ожидания. Предложенные магазинам проигрыватели были охотно приняты и распроданы в пять дней. Алла выкупила и золотые вещи, и библиотеку, и с долгами расплатилась, а с вырученной суммой вышла на производившую дублёнки фабрику, находившуюся всего в тысяче километров от их города. Рекогносцировка

показала, что заказчик здесь покруче, чем на радиозаводике, за перекупку можно было и здоровьем поплатиться. Алла вышла на директора. Он оказался бравым мужчиной лет пятидесяти.

– Одна ночь, и партия дублёнок ваша по установленной цене, – заявил он напрямик.

– Цену мы подрегулируем, – ответила она. – Я не за дублёнку имею в виду цену, а за ночь. Не партию, а ранг постоянного заказчика для меня, и ночь ваша. Только непременно условие – предохранитель.

– Принимается, – сказал директор.

Выйдя наутро после беспокойной ночи из гостиницы, Алла заглянула в магазин фото-музыкальных товаров и не поверила глазам: в продаже были пластинки с мелодиями тридцатых-пятидесятых годов! Она закупила все, что были в магазине, отправив их домой по железной дороге в одном контейнере с дублёнками.

Пластинки разошлись в два дня по «бешеной» цене. Алле как-то не пришло в голову, что покупали их те, кому приходилось выбирать: или чай с баранкой, но без музыки, или чай с музыкой, но без баранки. Сбыт дублёнок занял больше месяца, потому что приходилось осторожничать, на рынке Алла и не мыслила высвечиваться с ними, сбывала через знакомых, приобретённых во время работы продавщицей. Чистая выручка опять превзошла все ожидания. Теперь у неё был капитал, с которым не стыдно выйти в зарубежье.

5

Наташа с Ксюшей пришли с работы домой в девятом часу вечера. Николай, как всегда, лежал на диване в одежде и ботинках, только плевал на пол не раз в пятиминутку, как обычно, а гораздо чаще. Такое изменение режима показывало, что он или чем-то сильно опечален, или не принял во весь день хотя бы граммов сто одеколona.

Ксюша тут же бросилась в драку с сиамской кошкой Муркой. На плевки отца она внимания не обращала. Он всегда плевался.

Он даже ночью, если бывал пьян не до «отключки», специально просыпался, чтобы плюнуть.

— Случилось что? — встревоженно спросила мужа Наташа.

Скосив к жене порыжевшие от трезвого дня глаза, он в очередной раз плюнул и сердито буркнул:

— Завтра отправляют.

— А говорил, участковый дал отсрочку.

— Ага, верь ему! Ты, говорит, помнишь, о чём мы вчера с тобой говорили? А я говорю: «Я тебя вчера в упор не видел». А он говорит: «Ну тогда собирайся». Оказывается, он меня вчера пьяного до дома вёл, а я и не помню. На два года. В Удмуртию. Лагерь, говорит, в живописном месте.

— А где эта Удмуртия? — спросила Наташа. — На севере, юге или востоке от нас?

— А тебе не всё равно? Приготовь мои шмотки и пожрать что-нибудь в дорогу. — Николай привычно сплюнул. — Завтра к часу надо быть у психушки...

Наташа, опустившись на стул, с осуждением глядела на рыжие, непролазно густые, нечёсанные космы мужа.

— Так устала сегодня, — пожаловалась она. — Машина за машиной: то сахар, то конфеты... Хорошо, что завтра у меня на работе по графику выходной, хоть провожу тебя.

Муж сплюнул. Наташа, вздрогнув от прострела в натруженной поясице, принялась выкидывать из шкафа на пол нестиранное бельё. Николай, прищутив один глаз, другой скосил на неё:

— Ты не очень, там казённое дадут.

Наташа молча отмахнулась. Всю ночь она стирала, штопала, готовила съестное. Утром Николай ушёл попрощаться с друзьями, и назад те принесли его в «отключке». В себя он пришёл лишь незадолго до отправления на сборный пункт. Наташа стала выговаривать мужу за безответственность.

— Напоследок, — возразил он грустно. — Два года теперь выпить не дадут. А то и насовсем излечут. Посесть ведь можно, как подумаешь.

Время на сборном пункте тянулось медленно. Провожавшие украдкой наливали алкоголикам «на посошок». Наташа ничего на посошок взять не догадалась, и муж учащённо плевался. Она с трудом подавляла зевоту от бессонной ночи, не зная, о чём приличествует говорить при проводах в антиалкогольный лагерь. Наконец подошёл автобус.

– Напиши, если что будет надо, – сказала Наташа на прощанье.

– Дура! Что мне надо, ты не пришлешь. А если и пришлешь, всё равно не передадут. Ксюшу береги и себя. – Муж ткнул лицом ей в плечо, и она еле разобрала приглушённое «прости»...

Наташа долго смотрела вслед ушедшему автобусу. Потом вспомнила об оставшейся дома без присмотра Ксюше. Из-за навалившихся внезапно хлопот с проводами мужа Наташа не смогла отвести дочь в детсад. Но Ксюша, как оказалось, в одиночестве не скучала: она самозабвенно дралась с Муркой.

Отсутствие мужа ощутилось в десятом часу вечера. Обычно в это время он приходил с работы. Он работал слесарем на автобазае, и там у них было принято после окончания рабочего дня поговорить о политике. Когда выпивка кончалась, кто-нибудь из шофёров садился за руль и мчался за добавкой. Для продолжения разговора. Когда кончалась добавка, ехали за следующей. В общем, домой муж приходил в десятом часу вечера. Наташа вдруг осознала всю безмерность срока, в продолжение которого не будет мужа. Неумоимо, как всегда, носилась по полу, по стенам и чуть ли не по потолку вперегонки с сиамской кошкой Ксюша. По обыкновению, бубнил не выключавшийся вечерами телевизор. Но без лежавшего на диване мужа стало пусто. Вспомнилось его прощальное «прости». Вспомнилась его прямо ребяческая радость, когда она давала ему утром пять рублей на опохмелку.

Несмотря на бессонную предыдущую ночь, Наташа долго не могла заснуть без привычного мужниного храпа. В пять утра гнусаво запищал будильник. Не открывая глаз, она нажала кноп-

ку, чтобы он замолк, и несколько минут лежала, сопротивляясь властной силе жестокого слова «надо».

Когда, сдав Ксюшу с рук на руки нянечке в детском саду, Наташа пришла в магазин, у приёмного окна во дворе уже стояла машина с чёрным хлебом. Замзаведующей Лукьяновна, предав анафеме опаздывающего грузчика, приказала начинать разгрузку без него.

Грузчик Саша пришёл, когда машину уже разгрузили. Увидев в широком проёме задней двери его худенькую, малорослую фигурку, продавщицы дружно прыснули. Не рассмеяться при виде его испуганно-сосредоточенного пьяного лица было невозможно. Года полтора назад Саша, всегда слегка нетрезвый, запнулся о порог задней двери и упал вместе с коробкой, в которой было четыре трёхлитровых банки гранатового сока. Банки вдребезги разбились. Саше пришлось за них платить из своего кармана, вдобавок он сильно ушибся. С тех пор он переходил этот порог со всеми доступными ему мерами предосторожности. В шаге от непредсказуемого препятствия он остановился и носком дырявого ботинка стал ощупывать прилегающую к порогу территорию, как если бы это была лужа неизвестной глубины. Убедившись, что «неглубоко», он перенёс через порог правую ступню и короткими рывками подтянул к порогу левую. Потом, сосредоточась, перебросил и её через порог и, сразу про него забыв, зашагал без напряжения, как посуху.

— Всё ржёте, лошадушки, — добродушно поприветствовал он продолжавших смеяться продавщиц.

Замзаведующей Лукьяновна, грузно переваливаясь на непомерно толстых ногах, двинулась на Сашу, точно крепостная башня. Приблизясь на дистанцию в три шага, дала залп отборной брани, от которой пятидесятилетний Саша стеснительно потупился. Мощную «артподготовку» Лукьяновна завершила угрожающей фразой, которой заканчивались все её посвящённые грузчику монологи:

— Ставлю перед заведующей вопрос о твоём увольнении.

Едва открыли магазин, как пришла машина с белым хлебом. В помощь грузчику Лукьяновна направила Наташу. Лотки с хлебом выскальзывали из пьяных Сашиных рук, батоны сыпались на землю, под машину. Он с кряхтением садился на помост и, неуклюже нагибаясь, вылавливал их оттуда, словно рыбу, остриём крюка, прямым назначением которого было доставать лотки от дальнего борта машины. «Поймав» батон, Саша рукавом халата старательно размазывал пятнышки мазута по всей его поверхности, потом начинал «охотиться» за следующим. Поэтому они затратили на разгрузку больше часа против тридцати минут по норме. Как раз пришла Лариса Гелиевна, заведующая магазином, и устроила им разнос. Саша после этого пошёл с бурчанием на двор курить. Наташа встала за прилавок в хлебном отделе, сменив Лукьяновну.

Утренний поток народа схлынул, время потянулось медленно. Люба, отпуская по соседству кофе, соки, булочную мелочь, пожаловалась на духоту.

– Да, жарко, – согласилась с ней Наташа.

– Вчера было не так жарко, правда?

– Да, сегодня жарче.

– Я не люблю, когда жарко.

– Я тоже.

– Время полдесятого всего.

– Да, скорей бы обед.

– До обеда ещё глаза вытаращишь.

– Только бы не привезли чего, я так устала. Обе ночи не спала. Мужа на два года в ЛТП отправила.

– Счастливая, – восхитилась Люба. – Мне бы своего куда отправить. Хоть бы на недельку.

Жуткий вопль и последовавший за ним залп разъярённой брани прервал их разговор. Кричала работавшая в кондитерском Лукьяновна. Саша, у которого немного тряслись с похмелья руки, высыпал пятьдесят килограммов сахарного песка не в контейнер под прилавком, как намеревался, а Лукьяновне на больные ноги. Лукьяновна разбушевалась не на шутку. Саша

благоразумно удалился, поэтому её гнев перешёл на покупателей.

В обеденный перерыв Наташа пошла в столовую. Есть в такую жару не хотелось, можно было обойтись булкой с кофе, но она давно заметила, что перерыв не ощущается, если остаться обедать в магазине. Лучше бегом по жаре в столовую и обратно, чем неприятно поджатые губы заведующей да пустые разговоры. Когда она вернулась из столовой, во дворе стояли две машины: одна — с соками, вторая — с печеньем трёх сортов и индийским чаем. Вся наличная живая сила была брошена на разгрузку, лишь Лукьяновна осталась «держатъ оборону» на всех прилавках.

В третьем часу пустили поступивший чай в продажу. Талоны на чай ещё не напечатали, пришлось отпускать его вместе с сахаром по «сахарным» талонам. Лукьяновна написала объявление: «Чай отпускается на два сахарных талона пачка», — и прикрепила его на самом видном месте на витрине. Как по волшебству, мгновенно набежал народ. Сначала Лукьяновна отвечала на вопросы мирно. Но вот одна старуха, протиснувшись к витрине и прочитав объявление, сняла очки и посмотрела на Лукьяновну с улыбкой превосходства.

— Тут написано: чай на сахарные талоны. А сахар тогда на какие?

Захлебнувшись ненавистью, Лукьяновна не ответила. Тогда старуха сделала надменное лицо.

— Обманываете народ! Себя небось не забываете!

В ответ Лукьяновна, не выдержав, дала матерный залп. К витрине продралась ещё одна старуха, в магазине хорошо известная. Материлась она изошрённое Лукьяновны, и прокуренный бас у неё был погуще, и не боялась она никого, поскольку, будучи героиней войны, имела справку, что по причине контузии может доходить до состояния, в котором за свои действия не отвечает. Дуэль между нею и Лукьяновной закончилась сокрушительным поражением последней. А героиня войны продемонстрировала неплохие вокальные способности, запев негритянским басом:

— И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и шутить...

В помощь Лукьяновне Лариса Гелиевна перебросила на «чайный фронт» Наташу. Грузчик Саша между тем, обливаясь потом и бурча проклятия в чей-то смутный адрес, еле поспевал подтаскивать к прилавку мешки с сахарным песком.

В пять часов Наташа привычно пошла отпрашиваться на двадцать минут, чтобы сходить в детсад за Ксюшей. Лариса Гелиевна, как обычно, недовольно покривила губы.

С приходом Ксюши магазинная кошка в панике вскарабкалась по отвесной каменной стене под потолок. Ксюша накинула на шею Саше верёвочную петлю и стала водить его, счастливо покорного, по хозяйственной половине магазина между стоп коробок, ящиков, мешков. Заливистый и беззаботный Ксюшин смех, чуть от небольшой простуды с хрипотцой, и всё же нежный, донёсся до торгового зала и преобразил в улыбки лица уставших продавщиц.

Без одной минуты в семь приятно звякнул крюк на двери — кончена работа... Через полчаса, сопровождаемая крутящейся, как спутник, дочерью, Наташа вышла в тишину вечерней улицы. Тишина казалась фантастической. Было странно, что редкие прохожие не лезут с чеками под нос. Как будто из знойной пыли она вдруг окунулась в чистую, ласковую воду. Расслабься, она ощутила усталость во всём теле.

Дома они сварили с дочерью сосисок с картошкой и поужинали. Ксюша принялась носиться вперегонки с Муркой. Наташа, включив телевизор, разделась, разобрала постель и, полулёжа на подушке стала смотреть кинофильм, но не досмотрела, сон сморил.

Ночью снился муж. Он плевался и настойчиво что-то ей доказывал, непрерывно повторяя: «Дура!» Это любимое его к ней обращение звучало во сне так ласково, что она в тоске проснулась, будильник показывал половину третьего. Стоял он не на тумбочке возле кровати, а на книжной полке над столом — это означало, что на работу не вставать сегодня. Вместо ненавистного будильника разбудит утром Ксюша. Они приготовят

что-нибудь вкусненькое на завтрак, потом, может быть, шитьём займутся. «Хорошо как! — изумилась Наташа, сладко потянувшись. — Целый день свободный! Никто не будет утром клянчить пять рублей на опохмелку, ни о ком не надо беспокоиться, как бы не попал в милицию, или не избили...» В дремотном её сознании греховно шевельнулась мысль: «Без мужа лучше!»

6

Томили духота и неподатливая изобретательская идея. Левенцов пошёл к Татищеву. У того и дверь, и окно были раскрыты настежь, и всё равно сигаретный дым стоял так густо, что некурящий Левенцов закашлялся. Татищев, в чёрных семейных трусах и голубой майке, зло смотрел на экран телевизора, показывали «Прожектор перестройки». При появлении Левенцова он щёлкнул выключателем и раздражённо пожаловался:

— В детство впали с этими своими хозрасчётами, бригадными подрядами, починами, прямо ликбез устраивают. Научи дурака богу молиться, так он лоб расшибёт!

— Какого дурака ты имеешь в виду, Глеб? — поинтересовался Слава. Передвинув одну из табуреток от стола к окну, он сел.

— Того, у которого на лбу клеймо от рождения имеется! — рявкнул Татищев. — В газетных фото эту кляксу ретушируют, но в век телевидения сатанинскую метку на лысине спрятать нельзя.

— Не пойму, чего ты злишься, Глеб? — удивился Левенцов. — Тебе-то какое дело до хозрасчётов и подрядов? По-моему, глупостью было их до сих пор не применять...

— Да? А ты знаешь, почему у нас в стране нет безработицы?

— Потому что, «кто не работает, тот не ест», — попытался отшутиться Левенцов.

— В том-то и дело, что ест! — прикурив от окурка новую сигарету, язвительно прохрипел Татищев. — Любой лентяй или пьяница прекрасно знает, что ему будут платить зарплату просто в силу того факта, что он приходит на работу и отбывает на ра-

бочем месте весь срок. Он может весь рабочий день бить баклуши, и никто его за это не уволит, потому что в трудовом кодексе нет такой статьи! Ага. А если он всё же умудрится совершить какой-то проступок, за который его всё же уволят, бездельник легко устроится на работу в другом месте, потому что ему не смогут отказать при наличии соответствующей его специальности вакансии!

– Не улавливаю связи...

– Простой пример, и ты уловишь. Допустим, некая рабочая бригада решила перейти на подряд. Она должна будет выполнить некий объём работ в определённый срок, за что получит конкретную сумму денег, которую поделит между членами бригады. Что, по-твоему, в первую очередь сделают члены бригады?

– Избавятся от бездельников? – догадался Левенцов.

– Вот именно! И не только от бездельников: многие штатные расписания у нас непомерно раздуты, и кроме того некоторые члены бригады вполне успешно смогут совмещать разные специальности. Чем меньше народу, тем больше зарплата! Ага. А куда прикажешь девать сокращённых работников, если у нас везде начнут внедрять бригадный подряд? Я, как ты знаешь, и раньше не смог найти себе работу, но у меня хотя бы есть пенсия! Что прикажешь делать с толпой безработных?

– Знаешь, Глеб, – серьёзно начал Левенцов, – мне абсолютно не жаль бездельников. Я не знаю, как, но нынешнюю систему давно надо менять. Про рабочие бригады ничего сказать не могу, а вот с инженерами у нас ситуация аховая! Вот я сам перед тобой – живой этому пример. Ну, не буду повторяться, ты мою ситуацию давно прекрасно знаешь. До недавнего времени со мной рядом в бюро работала молодая умная девушка, Алла Скобцева. Она три года после окончания института работала и уволилась. Решила заняться бизнесом. Догадываешься, почему?

– Видать, не ту специальность выбрала...

– Не угадал. Я от скуки на работе начал ходить в нашу заводскую библиотеку, сказал начальству, что ищу и изучаю новые

разработки по нашей теме. Нельзя же отставать от прогресса. В читальном зале кроме технической литературы я обнаружил подшивки газет и популярных журналов, в которых мне на глаза попались поразившие меня статьи. Я даже сделал некоторые выписки. Ты ведь наверняка слышал по своему любимому телеящику речи о том, что инженеров у нас слишком много: в четыре раза больше, чем в США. «Их так много, а пользы от них так мало», — твердят по радио и в прессе. Даже в кино можно видеть, как инженеры убивают рабочее время в курилках или за чаепитием, и это не выдумка, самая настоящая правда, своими глазами каждый день у нас в отделе вижу. А регулярные командировки инженерных и научных кадров на овощные базы и уборку урожая в колхозы и совхозы! Песню Высоцкого помнишь: «А твои подружки, Зин, всё вяжут шапочки для зим...»? Да, почти все женщины в нашем бюро открыто вяжут в рабочее время шапки, шарфы, свитера, носки и варежки. Не от лени, а от безделья. Алле Скобцовой ещё повезло: ей дали работу чертёжницы. А она, наивная, думала, что будет инженером-конструктором...

— Вот и я о том! — аж подпрыгнул от возбуждения Татищев. — Рушит Горбачёв завоевания социализма. Наши предки бились за то, чтобы дать народу образование и гарантированный кусок хлеба. Сначала партия внедряла всеобщее среднее образование, потом решили сделать широко доступным и высшее. Возможно, чуток переборщили, не требуется советской промышленности столько инженеров. Что ж теперь, всех лишних за ворота? В одну очередь с лентяями и алкашами? Возродить Биржу труда, как в Европе и Америке?

Левенцов достал из кармана потрёпанную записную книжку.

— На самом деле, Глеб, в СССР сейчас занято в народном хозяйстве в четыре раза, а в науке в два раза меньше специалистов с высшим образованием, чем в США!

— Не может быть!

— И вряд ли хозяева разрешают своим работникам гонять на работе балду и вязать зимние вещи. — Левенцов открыл за-

писную книжку, быстро нашёл нужную страницу. — Теперь о квалификации наших инженеров. По данным всесоюзного социологического исследования, по полученной в вузе специальности работают сорок четыре процента инженеров-механиков, пятьдесят семь инженеров-технологов, шестьдесят шесть процентов инженеров-электриков, девяносто один процент врачей. При этом шестьдесят процентов рабочего времени инженеры НИИ тратят на низко квалифицированные работы, овощные базы, колхозы, строительство, а также различные общественные кампании: ДНД, спортивные соревнования, сандружины и тому подобное.

Но и это ещё не всё! Собственно, творческой инженерной работой имеют возможность заниматься только десять процентов инженеров. Я, как ты понимаешь, в эту категорию не вхожу. Почти половина инженеров выполняет работу, по содержанию не требующую инженерной квалификации. Двадцать пять процентов поддерживают функционирование техники, пятьдесят пять процентов обслуживают организационно-управленческую систему, двадцать процентов являются непосредственными организаторами и руководителями. А сколько у нас «инженеров по кадрам», «по труду», «по озеленению»?

Я уж не говорю о том, что более половины наших инженеров — женщины, от которых, честно говоря, никто и не ждёт никаких научных или инженерных разработок. Да и у кого хватит совести их в этом упрекнуть, зная, что головы их заняты думами: чем накормить и во что одеть семью. Многие женщины из нашего бюро каждую субботу мотаются в Москву, убивают выходные дни в очередях за продуктами, одеждой, стиральным порошком...

Сейчас у нас перестройка, но пока отношение к инженеру практически не изменилось. Да, инженерам подняли оклады. Можно ещё больше увеличить зарплаты за счёт сокращения «лишних», как в «бригадном подряде». Кстати, у нас и так ежегодно находят и сокращают «лишних» ИТР!

Левенцов замолчал и убрал записную книжку в карман.

— Вот так-то, Глеб! — невесело усмехнулся он. — Такая ситуация сложилась давно, и как её разрешить, я не представляю. А ты о каких-то лентях и алкашах переживаешь...

Татищев молчал, мрачно глядя на Левенцова. Наконец, сказал:

— Не складывается что-то: как же тогда мы их в космосе опередили и в атомной сфере, если они сами такие умные да ещё со всего мира учёных сманивают?

Левенцов усмехнулся.

— Вот поэтому они нас так люто и ненавидят и испокон веков стараются уничтожить! Потому и твердят о «загадочной русской душе». Сколько русских открытий и изобретений, не нашедших признания у нас, ушло за бесценку на Запад или было нагло украдено, а потом наши чиновники вынуждены были за валюту покупать сделанную на их основе продукцию! Я боюсь, Глеб, что и мои труды ждёт такая же участь...

Последнее время меня стали мучать сомнения, живу ли я, когда забываюсь над своими разработками. Знал бы точно, что не живу, бросил бы. Гулял бы, женщин бы любил... — неожиданно пожаловался Слава. — От жизни отречься глупо, земные радости не зря дарованы, но скажи, разве ты не жил за штурвалом самолёта?

— Чепуха, — буркнул Глеб Иванович. — За штурвалом жизнь не слаще, чем у станка. Жил я, когда возвращался домой со службы, это да. Особенно если в непогоду. Ввалишься, бывало, в квартиру весь промёрзший, а дочь как закричит: «Папка присол!» — и больше, кажется, ничего не нужно. С разбега в мои спецбрюки — ляп. А жена ФЭН свой достаёт, молнию на куртке у меня из ледяной корки выплавить. А Роза, кошка наша, с поднятым хвостом кругами ходит, знает, что деликатесы из НЗ сейчас в ход пойдут. НЗ на случай пурги все в городке держали. Ага.

Знаешь, что такое пурга на Новой Земле? Сейчас скажу. По неделе, бывало, из дома нос не высунешь. Люди в трёх шагах от дома замерзали. Ничего не видно, так снегом крутит. И не слышно: ветер воет. И с ног сбивает. Раз Коля Сахаров, мой

сослуживец, звонит в пургу по телефону: нет ли у меня дома чего выпить, а то, мол, от пурги скучает. «Есть, — отвечаю, — только бери с собой лопату дверь из-под снега доставать». Я навстречу ему изнутри с лопатой. Вижу просвет уже, и вдруг слышу Колин вопль. Глухой такой вопль, замогильный прямо. Ага. Выкопался я, смотрю, Колю моего ветром приклеило к сугробу. Он из дома в шинели вместо куртки вышел впопыхах, так вот шинель ему на голову задрало, и носом в сугроб. Мужик под два метра ростом, богатырь, а только и смог, что продержаться до моего подхода, вцепившись изо всех сил пальцами в сугроб. На Новой Земле лежалый снег, что камень! Лежит Коля и кричит, на помощь зовёт. Не услышь я и не подоспей вовремя, перетащило бы его через сугроб — ищи потом Колю в поле. Ага.

Розу, кошку нашу, я как раз в такую же пургу у подъезда подобрал. Полумёртвая была, потом такая умница, красавица оказалась! За сутки нас о пурге предупреждала. Ага. Бывало, начнёт Вера на улицу Маринку собирать, а Роза хвост трубой, шерсть дыбом, спину горбом и рычит, как тигр, к двери Маринку не пускает. Значит, жди пургу. Ни разу не ошиблась. А в хорошую погоду всегда с Маринкой вместе. Вроде и не интересно, как там детвора резвится, а стоит Маринке за угол дома скрыться, сейчас же на другое место переходит, чтобы из поля зрения её не выпускать. От собак её оберегала. Как бешеная, на них кидалась. Ага. Своих, правда, не трогала, чужих только. Одну незнакомую ей лайку на моих глазах инвалидом сделала. Та раньше медведей белых не боялась, а тут кинулась ей эта зверюга на загривок и до тех пор трепала, пока в полное расстройство нервную систему у собаки не привела. И всё же не уберегла Маринку...

Татищев замолчал и позабыл про сигарету, продолжавшую дымиться в его пальцах. Глаза его сделались далёкими, про гостя он забыл.

Левенцов тихо встал и удалился в свою комнату, где ждал рабочий стол с чертежами, книгами, набросками. Он сел за него, но тут же поднялся и в бездумье подошёл к окну, по-

глядел через дорогу. Кирпичная кладка стен будущего рынка возвышалась уже на полметра над землёй. Может, прав Татищев, и настоящее счастье возможно только в гармоничной семье? На ум Левенцову пришли строки из Крыловской басни: «За счастьем, кажется, ты по пятам несёшься, а как на деле с ним сочтёшься, — попался, как ворона в суп...» А как же упоение от неожиданно пришедшей в голову технической идеи, огромная радость и удовлетворение от её успешного воплощения в рабочий образец? Радость и счастье, видимо, всё же далеко не одно и то же, потому и обозначаются разными словами. Эту горькую правду подтверждает и жизненный опыт самого Левенцова: никакие научные открытия, никакие изобретения сами по себе счастья людям не принесут. Счастье, видимо, даруется иллюзией, а не реальностью. Ради чего тогда мучиться проклятым Делом, если знаешь, что его завершение никому, кроме тебя самого радости не даст? Да и сам ты, правду говоря, испытываешь радость, только пока делаешь, а как остановился... Дело, выходит, не в самом Деле. Но в чём?

Так всегда. На каждый новый вопрос налил десяток новых, выстраивалась заколдованная цепочка, из которой невозможно было вырваться. Вырваться Левенцову удалось лишь с помощью иллюзии: он вспомнил о Фадеевой Наташе.

7

Через месяц после отправки мужа в ЛТП Наташа получила известие о его смерти. Какой-то очумевший от трезвой жизни алкоголик ударил его молотком по голове. В похоронных хлопотах для слёз не оставалось времени. Когда же, похоронив, она собралась наконец отдать должное умершему слезами, обнаружилось, что она или разучилась плакать, или опоздала с этим. Наташу это неприятно поразило. Укоры совести так беспокоили её, что она даже обрадовалась выходу на работу после недельного перерыва.

Грузчик Саша был, как всегда, слегка опохмелившись, и Лукьяновна кляла его и грозилась поставить перед заведующей вопрос о его увольнении. Пришла машина с белым хлебом. Разгрузив её на пару с Сашей, Наташа почувствовала, что и похороны, и укоры совести в связи с так и не оплаканным ею мужем ушли куда-то, стали полузабытым сном.

Толпа народа уже нетерпеливо стучала в дверь снаружи, требуя открытия. Толпа не знала, что у кассирши технические неполадки с животом. Лукьяновна не велела открывать, пока кассирша не выйдет из уборной. Но кассирша не выходила. Лукьяновна свирепо крикнула:

– Открывай!

Наташа сняла с дверной скобы замок и встала за прилавок в хлебном отделе. Толпа ринулась к ней, торопясь взять «интервью»:

– Хлеб мягкий?

– Средний, – отвечала, уводя в сторону глаза, Наташа.

– Что значит, средний?

– Ну... Не очень мягкий.

– А чёрный?

– Тоже не очень.

– Так он у вас вчерашний, что ли?

– Да.

– Машину только разгрузили, а хлеб вчерашний! Почему?

– Такой привезли.

– А почему в ваш магазин никогда мягкого хлеба не привозят?

Наташе было стыдно лгать. Но что поделаешь, если заведующая не разрешает пускать в продажу свежий хлеб, пока не продан весь вчерашний.

Взяв «интервью», особо рьяные обожатели свежего хлеба покинули магазин, остальные встали в очередь у кассы. Но кассирша всё ещё сидела в туалете. А толпа по-прежнему не знала, что у неё технические неполадки с животом. В толпе поднялся ропот, переходивший в бунт. Магазин открыли на пять минут

позже, хлеб вчерашний, а тут ещё и кассиршу жди! Когда же появившаяся наконец кассирша, подойдя и открыв дверцу кассы, сделала вдруг непонятное толпе лицо и, ни слова не сказав, опять умчалась, народному терпению пришёл конец. Посыпались угрозы пожаловаться в горисполком, написать в газету, потребовали жалобную книгу. Лукьяновна села сама за кассу, и инцидент был таким образом исчерпан.

Тут из хозяйственной половины магазина донёлся жуткий Сашин вопль. Наташа, выбежав в приёмное помещение, увидела Сашу сидящим на полу с разбитой головой в окружении рассыпанных буханок чёрного хлеба, который он выгружал с машины.

– Об тележку? – спросила она сочувственно.

Саша, размазывая кровь по голове далёким от стерильности рукавом халата, утвердительно кивнул. Сваренная из металлических уголков тележка, на направляющие которой он устанавливал лотки, была сконструирована таким образом, что человек среднего роста, вдвигая в неё лоток, непременно разбивал себе голову о верхний уголок каркаса всякий раз, как забывал о нём. У конструктора тележки была, видимо, задумка тестировать внимательность у работников прилавка. В пользу этой версии говорило отсутствие амортизирующей окантовки на каркасе. Не только Саша, с его феноменальной невнимательностью, разбивал себе здесь голову. Разбивали и продавщицы. И даже профессионально сверхвнимательные кассирши. А один раз, сунувшись за тортом «Сказка», разбила себе голову об тележку сама Лариса Гелиевна. Но у женщин были причёски и спецкошники на голове, смягчавшие удар, а у Саши регион, которым он соприкасался с железякой, был абсолютно голым, без единой волосинки. Даже образовавшийся в этом регионе от контактов с железякой бугорок не спасал во всякий следующий контакт от кровопролития. Видимо, по этой причине из всех работников магазина только он изредка задумывался, отчего это никого, и его в том числе, не интересует, почему тележка именно такая, а не другая, и проходила ли она испытания при сдаче в эксплуатацию Продторгу.

После обеденного перерыва пришли две машины: одна с пряниками и печеньем, вторая с соками. Наташа помогала Саше разгружать их. Выбитая из ритма недельным перерывом, она сильно устала. Когда заведующая ушла, она взяла стул из её комнаты и, поставив его за прилавком, села. Но Лариса Гелиевна неожиданно зачем-то возвратилась. Увидев Наташу сидящей, она подняла истошный крик. Накричавшись, опять ушла, избавив Наташу от неприятной процедуры выпрашивания двадцати минут, необходимых для отлучки в детсад за Ксюшей. Но вот наконец весело звякнул крюк на двери. Ещё один рабочий день окончен.

Выйдя с дочерью на улицу, Наташа вспомнила об убиенном муже. Но усталость была так велика, что мысли о нём расплывались в нечто неопределённое, безрадостное и в то же время беспечальное, и это не казалось уже ей кошунственным. «Живым — живое», — рассудительно подумала она.

Заметив исчезновение только что скакавшей рядом дочери, она глянула вперёд и замерла на месте. Перед Ксюшей сидел на корточках Слава Левенцов и о чём-то с ней беседовал. В одной руке Ксюша держала поднесённую им шоколадку, другая её рука лежала на его плече. Наташа ощутила прилив крови к голове, из тела разом выскочила усталость.

Левенцов поднялся. Она двинулась к нему с опущенными глазами, ощущая, как дрожат и подгибаются ноги. Подойдя, подняла глаза и ясно увидела в его взгляде ласку.

— Здравствуйте, — тихо произнесла она.

— Здравствуйте. Но я уже здоровался сегодня с вами.

В удивлении у неё слегка поднялись брови.

— Мысленно. Я заходил к вам в магазин и смотрел, как вы работаете.

Щёки у неё сделались пунцовыми.

— Белый халат вам так к лицу, — продолжил он. — Вы в нём похожи на обаятельного медицинского работника. Впрочем, вам, похоже, всё к лицу. Как и этот траурный наряд. Простите. Мне про ваше горе Ксюша сообщила. Давайте сумку, я вас провожу.

– Не надо, прошу вас, – встрепенулась она.

– Через виадук хотя бы.

Когда они перешли через виадук, Наташа остановилась и сказала:

– Не провожайте дальше.

Левенцов молча возвратил ей сумку, поцеловал пальчики у Ксюши и пошёл к вокзалу.

– Подождите! – крикнула она.

Он вернулся. Её глаза в волнении то вскидывались на него, то опускались. Наконец Наташа спросила, запинаясь:

– Вы не в этом городе живёте?

– Не в этом.

– Вы женаты?

– Слава Богу, нет.

– А сюда вы приезжаете...

– Единственно ради вас.

– Вы... – Наташа смешалась, смолкла и лишь с мольбой смотрела на него.

– Можно, я приеду к вам ещё? – попросил он мягко.

Лицо у неё посветлело, она с явным облегчением произнесла:

– Я вам буду рада. Но только... через год, не раньше.

ГЛАВА 2. 1991 ГОД

1

Начатая в 1985-ом году очередная Российская перестройка успешно завершилась в 1991-ом: в продовольственных магазинах осталась одна лишь ячневая крупа, в промтоварных — одни расчёски. Затеявший перестройку государственный муж говорил между тем по телевизору: «Мы идём правильным путём, товарищи!» Но хотя говорил он это бодрым голосом, народ видел, что уверенность в нём пошатнулась. Чтобы развалить всё до конца, нужен был свежий государственный муж, прежний явно приотмился.

Свежий муж сыскался. Народ охотно связал с ним надежды на светлое будущее, потому что, в отличие от прежнего, только и долдонившего об интенсификации, интеграции да консолидации, новый коротко и ясно поклялся за год обеспечить каждую российскую семью коттеджем, участком земли и минимум одним автомобилем. Как было такому государственному мужу не поверить! Большинство сослуживцев безучастного к политическим перипетиям Левенцова безоглядно поверило. Коммунисты отдела, за исключением начальника, его зама и Сорокина, один за другим покинули ряды КПСС.

Парторг Сорокин утратил в одночасье и чин председателя общества трезвости, и чин профорга. Чин профорга у него перехватил ставленник отделских «демократов», а руководимое им общество трезвости после введения продталонов на вино распалось. Удары судьбы потрясли Егора Агаповича. Он на глазах утрачивал неутомимость. Продталоны на вино он намеревался выбросить, но узнав, что «отovarить» их в городе всё равно невозможно по причине отсутствия вина, назло кому-то сохранил.

Стоя как-то в очереди за яйцами, Сорокин увидел, как к магазину подкатил автофургон. Очередь за яйцами мгновенно рассосалась, все бросились на улицу к закрытому ещё окошку. Взяв яйца, Сорокин поинтересовался, какой продукт будут в том окошке выдавать.

— Водку! — с радостным возбуждением ответили ему.

Какой-то мужчина ходил вдоль очереди и предлагал по десятке за каждый водочный талон. Сорокин ринулся было к этому мужчине, но вспомнил, что он коммунист, и спекулировать не имеет права. Тогда дьявол подскочил к другому его уху и стал нащёптывать про дефицитность непознанного Сорокиным продукта. И Егора Агаповича как будто приковало к очереди. Через пару часов у него оказались две бутылки водки. Придя домой, он поставил их на стол и долго глядел на них пустыми глазами.

Ни разу в жизни Сорокин не пробовал спиртного. Он даже от лекарств отказывался, если они были на спирту. Но дьявол продолжал нащёптывать про дефицитность. И захотелось вдруг попробовать. Как надо употреблять в пищу водку, Сорокин не знал, но слышал, что лучше залпом. Так он и сделал. Налил полный стакан и выпил залпом. Оказалось, совсем не трудно. Он даже не поморщился, как некоторые, считающие себя опытными выпивохами. Через пять минут Егор Агапович с гордостью подумал, какой он, оказывается, рубаха-парень. Ещё через несколько минут пришло осознание того факта, что в материалистической природе нет ничего такого, что было бы ему не по плечу. А ещё через некоторое время ему открылось, что стоит сейчас организовать демонстрацию протеста против нарождающейся «демократии», как жизнь вернётся на круги своя.

Выпив для храбрости ещё стакан, Сорокин пошёл на улицу организовывать демонстрацию. Где и с кем он «демонстрировал», Егору Агаповичу не запомнилось. Наутро он проснулся в городском медвытрезвителе. Через полмесяца на предприятие пришла из милиции бумага, содержание которой злопыхатели распространили через призму собственного видения. И ближайšie сотрудники Сорокина узнали, что парторг и бывший

председатель общества трезвости, оказывается, тихий пьяница, не вылезавший в свободное от работы время из медвытрезвителя. Начальник исключил Сорокина из КПСС, оставшись в партии вдвоём со своим замом. Для Сорокина это была последняя, роковая капля. Он наварил дома самогонки и запил, начисто забыв про службу. Через месяц его уволили по 33 статье.

Со смакованием «обсасывали» это происшествие в отделе. «Всех их, партократов, в шею гнать!» – слышалось в курилках, коридорах, туалетах и на рабочих местах. Служивцев Левенцова с головой накрыла эйфория освобождения от тоталитарного режима. Инициативные организовали даже сбор подписей под телеграммой в поддержку нового государственного мужа. Тех, кто отказывался ставить подпись, клеймили старым «добрым» определением «враг народа».

Приближалось 17-е марта 1991 года, день всенародного референдума по вопросу, сохранить или не стоит СССР и ввести ли в РСФСР чин президента. Татищев, более обычного возбуждённый в ожидании решающего дня, спросил у Левенцова, «да» или «нет» думает он ставить семнадцатого в бюллетене.

– Ни «да», ни «нет» не думаю, – ответил Вячеслав. – Семнадцатого будет выходной, и я отправлюсь в лес на лыжную прогулку закрывать сезон. Приглашаю и тебя, полезней для здоровья.

– Это когда решается судьба Отечества! – возмутился Татищев.

– Глеб, ты что, всерьёз, что ли, эти политические игры принимаешь? – удивился Левенцов. – На все невзгоды мира надо отвечать улыбкой, ибо серьёзная точка зрения на жизнь, как свидетельствует опыт, ведёт к банкротству. Самое великое делается со временем не важней, чем тень от дыма.

– Важнее тени от дыма только «перпетуум-мобиле», который ты изобретаешь, – произнёс Татищев мстительно.

– Зачем ты так, Глеб? – обиделся Левенцов. – Думаешь, я не болею за отечество? Болею. Да ведь когда Время вынесет свой приговор, обжаловать его на референдумах бесполезно.

Если бы за сохранение империй Александра Македонского, Чингис Хана, Тимура Тамерлана, британской, Римской и всех прочих проголосовали на референдуме, думаешь, они бы не распались?

— На те империи мне наплевать, я не в них живу, — возразил Татищев.

За день до референдума Глеб Иванович накупил в киоске кипу газет и принялся их читать.

— Безмозглые! — ругался он в процессе чтения не столько по адресу одобряющих развал Союза, сколько на тех, кто агитировал за сохранение СССР так в лоб, так примитивно, такими осточертевшими лозунговыми штампами, что невольно возникало желание поступить наоборот. — Ничему их, безмозглых, жизнь не научила!

В первом часу ночи, вконец расстроенный, он взялся было за «Аргументы и факты», но читать уже не смог, глаза резало от усталости. Он решил проглядеть лишь заголовки. Его внимание привлекла фотография, взятая «Аргументами и фактами» из американского журнала «Лайф». На переднем плане фотографии рука полицейского сковывала наручниками вывернутые за спину руки у мужчины, уличённого, как поясняла короткая приписка, в потреблении и торговле наркотиками. С дальнего плана фотографии смотрела, горестно прижав к губам кулачок, пятилетняя дочь этого мужчины. Невинная детская любовь к отцу в её глазах, была так кричаще перемешана со стыдом и ужасом, таким взрослым было страдание, застывшее в лице и во всей её не по-детски сжавшейся фигурке, что бывший офицер Советской армии Глеб Иванович Татищев, внезапно, как ребёнок, всхлипнул.

— За что же дети-то страдают? — сказал он. — За что страдает эта бедная девочка в Соединённых Штатах? Что же за жизнь-то такая пошла? Почему? И разве что-нибудь изменится, если я за СССР проголосую?

Через день, в воскресенье 17 марта в десятом часу утра Левенцов постучал к Татищеву, тот лежал ещё в постели.

— Я передумал закрывать сегодня лыжный сезон, — жизнерадостно объявил от порога Левенцов. — Ты прав, Глеб, гражд-

данский долг надобно исполнить. Вставай, пойдём голосовать, погода чудная.

— Знаешь, я тоже передумал, — смущённо пробурчал в ответ Татищев. — Ты прав, ничего мы своими голосами не изменим.

— Ну раз и ты так теперь считаешь, я тоже, пожалуй, не пойду. В конце концов такие вещи профессиональные политики решать должны, а не народ, у народа своих забот хватает. Винные талоны у тебя ещё остались?

— Нет, один сырный остался.

— Ладно, пойду тогда свои попробую отоварить. Давай сюда сырный, закуска тоже не помешает. Жди, я быстро.

Через час Левенцов вернулся веселее прежнего.

— Смотри, — сказал он, выставив на стол четыре бутылки дешёвого портвейна и стограммовый кусок сыра.

— Раньше ты и марочному так не радовался, — съехидничал Татищев.

— Что поделаешь, радуюсь тому, что бог послал.

По первому стакану они выпили без закуски. Потом поделили пополам сыр. Затем Левенцов, покопавшись в своём холодильнике, нашёл три яйца. Сделали яишенку. Татищев нашёл ещё банку «салата закусочного», так что сервировка для постперестроечного времени, выражаясь на американо-русском, получилась очень даже ничего. Они выпили по третьему и закусили. Потом Левенцов стал потягивать постперестроечное вино, как марочное. Поглядывая между глотками в окно на подводимое уже под крышу здание будущего рынка, он в задумчивости произнёс:

— Как ты считаешь, Глеб, что безнравственней: спать с незамужней, но нелюбимом женщиной или с любимой, но замужней? Татищев, подумав минут пять, сказал:

— Юрка Гагарин по этому моменту так высказывался: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Ага!

— Я тоже так считаю, — поведал с грустным видом Левенцов. — А у меня вот и любимая, и свободная, да ехать далеко.

– Настаивает на браке? – сочувственно спросил Татищев.
– Да нет, такого разговора не было. Она просто велела приехать через год. Прошло уж два почти, а я чем дальше, тем больше боюсь ехать.

– Зря-я! Съезди да поговори, ага. Может, она тоже брак не обожает.

– Да нет, она не из таких.

– Тогда сам дурак. Ага.

Прикончив все бутылки, они пошли гулять на улицу. К вечеру приобрели на купленные с рук талоны ещё вина.

Наутро Левенцов, проснувшись, к стыду своему опять обнаружил себя в постели Людмилы. С похоронным выражением лица он поднялся, без сопротивления что-то съел на кухне, выпил кофе.

– Когда придёшь? – спросила Людмила, едва он заторопился на работу.

– Через год, – ответил он. – Не раньше.

И не успела ошарашенная Людмила спросить, что это значит, как он выскочил из квартиры и стремглав скатился вниз по лестнице.

2

Жизнь делалась несладкой, это ясно виделось по мрачнейшим лицам покупателей. Наташа и за собой заметила, что улыбаться стала реже, а смеяться, кажется, и вовсе разучилась. И сотрудницы, даже самые смешливые, смеяться перестали. И грузчик Саша невесёлый. И несноснее день ото дня характер у Ларисы Гелиевны. Её мелочные придирки угнетали. Она даже Лукьяновну, своего зама, доводила такими придирками до сердечных приступов. Скверно было на работе. К моменту закрытия вечером накапливалась такая душевная усталость, что по пути домой Наташе не доставало сил отвечать на вопросы Ксюши, та, повзрослев, не скакала туда-сюда, как прежде, а чинно шла рядом и беспрестанно задавала и задавала наив-

ные свои вопросы. Отвечая ей невпопад, Наташа взглядывала иногда вперёд с надеждой, но нет, загадочный Слава Левенцов не появлялся больше.

Продторг между тем лихорадило в преддверии перемен, связанных с приватизацией торговых точек. Однажды Наташа пошла на общее собрание в Продторге. Речей было много, одна другой непонятней. Работникам предлагалось внести денежные взносы в планируемое на базе Продторга товарищество с ограниченной ответственностью. Обещались фантастические дивиденды в будущем. Один из выступавших обратил на себя внимание. Это был директор хлебозавода Борис Павлович Кулагин. Обращаясь не столько к сидящим в зале рядовым работникам, сколько к столу президиума, за которым было продторговое руководство, он предложил взять на баланс хлебозавода 43-ий магазин. То, что речь идёт о магазине, в котором она работает, до Наташи дошло, лишь когда сидевшая в первом ряду Лариса Гелиевна возмущённо крикнула:

– Ещё чего! Нам и в Продторге хорошо.

– Вам – это кому: лично вам, Лариса Гелиевна или коллективу магазина? – улыбнулся Борис Павлович и, глянув в зал, спросил:

– Есть тут представители коллектива сорок третьего?

Наташа подняла руку.

– Ба, Лариса Гелиевна, не стыдно вам таких красавиц в тени держать? – воскликнул директор хлебозавода и игривым голосом добавил. – Лоб расшибу, но выцарапаю вас у Продторга. Как ваша фамилия, красавица?

– Фадеева, – смущённо ответила Наташа.

– А зовут?

– Наташа.

– Ну так как, Фадеева Наташа, под мою юрисдикцию пойдёте? – Кулагин смотрел на неё с откровенным любованием.

– Это не от меня зависит, – ответила она.

На следующий день, в самый разгар работы, когда пошёл народ с завода, Лариса Гелиевна крикнула Наташу к телефону.

– Фадеева? – услышала она в трубке голос директора хлебозавода.

– Да, я.

Лариса Гелиевна стояла рядом, сверля раздражёнными глазами.

– Имею предложение к тебе, – сказал Кулагин. – Поскольку магазин рано или поздно перейдёт ко мне, я обязан позаботиться о твоём профессиональном росте...

В незанятое трубкой ухо доносились возмущённые крики очереди из торгового салона. Лицо Ларисы Гелиевны багровело.

– Простите, я очень занята сейчас, – сказала Наташа в трубку, – покупатели там кричат.

– Запиши телефон. Как освободишься, непременно позвони. – И Кулагин продиктовал ей номер телефона.

Когда схлынул народ и ушла в Продторг заведующая, Наташа набрала продиктованный Борисом Павловичем номер телефона. Услышав властное директорское «Слушаю», она представилась:

– Это Фадеева Наташа.

– Прекрасно! – голос в трубке стал игривым. – Так вот Наташа, заботясь о профессиональном росте своих будущих кадров, я забил вакантное место для тебя на бухгалтерские курсы. Бухгалтер нынче всё равно что канцлер в прошлом веке – сверх престижно, перспективно. Возражения имеются?

– Нет, я очень вам признательна, но...

– Потом будешь благодарить. Завтра с паспортом и документом об образовании... У тебя десятилетка?

– Да. И торговое училище ещё.

– Прекрасно. С этими документами завтра к десяти утра приходи к вечерней школе, знаешь, где она?

– Да.

– На втором этаже там приёмная комиссия. Скажешь, ты от Кулагина, и отдавай документы, больше от тебя ничего пока не требуется.

На следующий день Наташу без единого вопроса зачислили на бухгалтерские курсы. Учёба должна была начаться в сентяб-

ре, занятия планировались в вечерние часы. Наташа написала заявление Ларисе Гелиевне с просьбой сократить ей рабочее время в дни занятий. Разгневанная Лариса Гелиевна заявление не подписала. Наташа решила позвонить Кулагину.

– Нет проблем, – жизнерадостно воскликнул тот, узнав о её неудаче. – Подожди, не клади трубку.

Наташа услышала, как Кулагин набирает номер на другом телефоне.

– Привет, Вась, это я. Как головка после вчерашнего? – спросил он ласково. – Норма-ально? Слушай, и у меня на удивление. Это потому, что коньяком запили вместо кофе. Слушай, к тебе завтра придёт обаятельная продавщица из вашего сорок третьего магазина, Фадеева Наталья. Ей заведующая заявление там какое-то не подписывает, взгляни. Да... – Наташе неудобно было подслушивать чужой разговор, но повесить трубку она не решалась. – Э, нет, Вась, я вперёд. Да, слушай, ты не забыл, что у Фемидыча послезавтра именины? Как у какого Фемидыча? А говоришь, головка в норме! Нельзя, Вась, про Фемиду забывать, хоть и с опохмеля, я вот ему про твою забывчивость-то доложу. Хотя его люди и так наш разговор сейчас записывают. А-а, вспомнил! Насчёт подношения подумай. Я думаю уже... Так насчёт Фадеевой Натальи из сорок третьего не забудь. Она заявление к тебе придёт подписывать, не забудешь? Ну бывай.

Кулагин вновь заговорил с Наташей.

– Алло, Фадеева, ты ещё здесь? Иди завтра со своим заявлением к директору Продторга Василию Петровичу Цуканову. Я его предупредил о тебе.

– Спасибо, Борис Павлович! – пролепетала Наташа и с облегчением повесила трубку.

Назавтра Наташа пришла к директору Продторга. Цуканов в полсекунды пробежал глазами её заявление и, ничего не спросив, черкнул на нём размашисто: «Просьбу удовлетворить».

Сентябрь уже был близок. Наташа с Ксюшей готовились к предстоящей им обеим учёбе. После завтрака, как на празд-

ник, шли они в город высматривать и приобретать к началу занятий учебники, тетради, карандаши, линейки, авторучки. Вернувшись с покупками домой, радостно листали приобретённые книги. Ксюша, знавшая уже алфавит, училась самостоятельно читать. Они даже телевизор перестали включать по вечерам.

И вот пришло первое сентября. Утром Ксюша поднялась раным-рано и сразу начала собираться к выходу в «большой свет». Целый час крутилась перед зеркалом. Подходя к школе, они увидели море цветов. Погода была чудесной. Празднично одетые учительницы с добрыми улыбками собирали своих первоклашек. А вечером ощутила себя первоклассницей и Наташа. Занятия бухгалтерских курсов проводились в одном из классов городской вечерней школы.

Скоро, однако, Наташа почувствовала, как трудно совмещать работу с вечерним обучением. В свободные от работы дни надо было выполнять домашние задания. На отдых времени не оставалось. Работа – курсы – сон, и больше ничего. Хорошо, что хоть дочка выросла, никаких забот с ней, всё сама умеет.

В октябре дохнуло холодом, будильник стал пищать ещё гнусавее. На курсах после магазина клонило в сон, а поздним вечером, когда Наташа укладывалась спать, в голове промелькивало: «Ну кончу курсы. Ну повезёт устроиться бухгалтером. А дальше? Ксюша вырастет, замуж выйдет, и останусь я одна-одинёшенька». Всякий раз в связи с такими мыслями она вспоминала Славу Левенцова. Это было удивительно. Покойный муж, как живой, перед глазами, но давно в ней никаких чувств не пробуждает, а Славин облик и вспомнить-то как следует не удаётся, однако стоит лишь о нём подумать, всё вокруг сразу милым делается.

А на работе только и разговору было, что о слухах по приватизации торговли. Однажды в обеденный перерыв появился Борис Павлович Кулагин. Молодцевато выскочил из машины и по-спортивному пружинящими шагами направился прямо к двери. Наташа открыла ему и опустила глаза, увидев любование в его энергичном взгляде.

– Где начальство, девушки? – властно спросил он у Лукьяновны.

– В Продторге, – буркнула Лукьяновна. – К четырём придёт, сказала.

– Прекрасно, обойдёмся без неё. У меня имеется предложение к трудовому коллективу. Как вы знаете, грядёт обвальная приватизация, ваш Продторг – закоренелый консерватор. Ваше руководство будет до последнего тянуть. А чем раньше этот вопрос решить, тем лучше. Предлагаю перейти под юрисдикцию моего хлебозавода. Если вы проголосуете за переход ко мне, то так оно и будет. Собрание в Продторге по этому вопросу завтра. Всё в ваших руках, подумайте.

Остановив взгляд на Наташе, Кулагин попросил:

– Закрой за мной, пожалуйста.

Наташа в смущении застыла на стуле, но сидевшая рядом Люба подтолкнула её, и она встала и пошла к выходу, Кулагин следом. Отодвинув засов, Наташа распахнула дверь и медленно подняла глаза на Кулагина.

– Надоело ходить в подневольных здесь? – проговорил он тихим, вкрадчивым, но дружелюбным голосом. – Потерпи немного, одна перспективная задумка есть.

Вернувшаяся из Продторга Лариса Гелиевна, узнав о посещении Кулагина, принялась страшать:

– Он вам тут золотые горы, верно, наобещал за переход к нему? А знаете, почему у него на заводе зарплата большая? Потому что он муку по мафиозным каналам по дешёвке достаёт. Раньше за это посадили бы, а теперь всем наплевать. А вы подумали, что будет, если ему каналы эти перекроют? Чем он тогда зарплату будет вам платить? Вышвырнет вас на улицу и умоет руки. Сам-то он не пропадёт, миллионы уже нахапал. А вы что будете делать? Нет, девочки, и не берите в голову переходить. Продторг – это надёжно, держитесь за Продторг. Директор у нас человек дальновидный, в авантюры не полезет и интересы наши соблюдёт. Со временем акционируемся, дивизи-

денды станем получать, первыми людьми станем в городе, вот увидите.

Перспектива стать первыми людьми продавщиц заморозила, и на завтра большинство из них проголосовало против отделения от Продторга. Лариса Гелиевна торжествовала.

Атмосфера в магазине день ото дня делалась всё хуже. Наташа, избегая тяжёлых мыслей, мечтала о несбыточном, о собственном магазине, пусть самом маленьком, но своём. Она бы очень хорошо всё в нём устроила. Главное, чтобы коллектив был как одна семья. Чтобы так же уютно было на работе, как и дома. И чтобы и тело не перетруждалось. Она бы не стала, как Лариса Гелиевна, следить, как бы кто не присел без дела. Она, напротив, следила бы за тем, чтобы сотрудники не забывали устраивать раз в час десятиминутный отдых, для этого достаточно иметь в резерве одного профессионального работника. Обидно было, что мечта эта вряд ли когда-нибудь сбудется. Но были и другие, не казавшиеся такими сказочными, мечты, и среди них первая — о Славе Левенцове.

ГЛАВА 3. 1992 ГОД

1

«Опять два выходных, как песок сквозь пальцы!» — с грустью думал Левенцов, глядя воскресным апрельским вечером в окно на рыночный массивный корпус. Огромный козырёк гофрированной крыши рынка холодно отражал тёплые лучи опускавшегося солнца. После долгих зимних сумерек с их тусклыми оранжевыми фонарями и чёрным снегом по обочинам шоссе яркий солнечный свет в восемь вечера казался нереальным, возникало ощущение какой-то светлой невесомости и одновременно какого-то успокаивающего беспокойства, так бывает, когда хочешь вспомнить что-то очень важное, связанное с глубинным смыслом жизни и никак не можешь.

Но стоило перевести взгляд на землю, и светлое чувство пропало. Всё обозримое пространство за окном было усеяно рваными клочьями бумаги, разломанными ящиками, битым бутылочным стеклом, пробками и прочим мусором. У рынка, сданного в эксплуатацию и вступившего, как и всё многострадальное отечество, в рыночные отношения, недоставало средств на дворников. Рынок планировался под изобилие сельскохозяйственной продукции, городские власти имели неосторожность поверить государственным мужам, которые клялись, что освобождённый от совхозных пут российский фермер завалит рынок мясом, овощами, коровьим и птичьим молоком. Фермер ни с птичьим, ни с коровьим, ни даже с козьим молоком на рынок не явился. Фермеру было не до рынка, собственную шкуру бы спасти. Вместо баснословного дохода рынок, как и всё прочее, стал приносить в городскую казну одни убытки. За отсутствием производителей городские власти пустили на рынок

спекулянтов. И мёртвый рынок вместе с прилегающей к нему огромной территорией, как по мановению волшебной палочки, ожил. Откуда что взялось: от марсианских ковров до тульских пистолетов! Такую продукцию, однако, покупатель каждый день не ел, рынок загружался лишь по субботам и воскресеньям, поэтому на дворников вырученных денег не хватало.

Ветер разносил бумажные клочья во все стороны, вынуждая дворников расположенных поблизости домов прибегать к нелитературным выражениям. Одну из берёзок под окном у Левенцова раздавил автомобиль, та же участь была уготована и остальным берёзкам, мест для стоянки автомашин возле рынка не хватало, водители ставили их впритык друг к другу у домов. Под окнами справляли малую нужду. Лучше было не смотреть в окно воскресным вечером.

Левенцов пошёл к Татищеву, тот ругался с телевизором.

— Нет, ты посмотри, что творится на телевидении: дикторы все вдруг стали картавые, шепелявые, сопящие и заикающиеся! А ведущие многих программ просто не умеют коротко и ясно излагать свои мысли, а тем более чужие.

— А ты не слушай, Глеб. И газеты не читай. Чтобы настроение себе испортить, денег на газеты не надо тратить, достаточно вон взглянуть через дорогу.

— А как они измываются над русским языком! — не унился Татищев. — Точно младенцев кашей, кормят этими своими акциями, приватизациями, западными цивилизациями! Когда хозрасчётами, починами, подрядами кормили, и то не так противно было. От одной дури ушли, в другую кинулись. Ага. Тогда для партократов счастливое будущее строили, теперь для бизнесменов. Тьфу, слово-то какое мерзкое: «бизнесе-ен!» Ещё одно мне уж больно нравится, как его... А, во: «менеджмент», язык сломаешь. Ведь есть же русское слово: «управление», чего оно не нравится-то им, зачем язык-то выворачивать? Дилерами, брокерами, маркетингами сыплют. Ага. Под видом борьбы с коммунистами разрушают русскую культуру...

– Брось, Глеб! – отмахнулся Левенцов. – Ничего с русским языком и культурой не случится. Вспомни историю. Было уже такое. Сразу после Октябрьской революции то же самое происходило под лозунгами борьбы с капитализмом. Ленин и позднее Сталин в открытую отрицали значение русской культуры. Ленин начал уничтожение и высылку русских деятелей культуры, искусства, науки, а Сталин завершил этот процесс более радикальными методами, создав затем «советские литературу, искусство, науку», «народных академиков и писателей». Тогда тоже русский язык заполнили всякие наркомпросы, ревкомы, колхозы, гипромаштажи и тому подобные словообразования. Волна накатила и схлынула. Русский язык устоял. Или ты ратуешь за возврат дореволюционных стандартов русского языка?

– Тебе, Слава, я вижу, на всё плевать. Спрятал голову в изобретательство своё, и хоть потоп!

– Ох, и ехидный ты, Глеб, всё бы тебе подковырнуть! Не прячу я голову под крыло. Зарплаты, правда, стало не хватать на поездки по городам и весям, зато пешком больше стал гулять. Информации об отечестве, во всяком случае, больше получаю, чем ты из телевизора.

– И что тебе говорит твоя информация?

– Говорит, что жива Россия.

– А куда нашу Россию ведут? – вспыхнул Татищев. – Смотреть противно, как всякие недоумки умиляются распрекрасным, по их мнению, дореволюционным прошлым: «Расстегайчиков-с, блинчиков-с с сёмужинкой-с пожалуйста-с!» Ладно, Чехову, Куприну, Вересаеву не верят, почитали бы об этом прошлом обыкновенную статистику. Три четверти населения безграмотны, повальное невежество, болезни, голод, нищета, а им, видите ли, «расстегайчики-с» увиделись! «Конфетки-бараночки, словно лебеди, саночки...» Слушать тошно.

– Ну и не слушай! – вновь посоветовал Левенцов. – Зачем ты себя истязашь высказываниями явных идиотов? Побереги нервы, Глеб, не так уж у нас всё плохо. Да, сейчас вместо панельных девятиэтажек для трудящихся стали строить двухэтаж-

ные коттеджи для бизнесменов. Ну и что? Особой опасности для отечества в том я не вижу, всё равно же после очередной революции трудящиеся потом эти коттеджи у новых буржуев отберут. Решётки вот только на окнах многовато стало...

— Спасибо, это хоть заметил. Не просто многовато решёток нынче, а все окна первых этажей зарешечены, я хоть и не часто по городу хожу, но это-то заметил. Люди сами себя за решётки посадили, а ты опасности не видишь?

— Пока не вижу. Нам с тобой, Глеб, на пятом этаже бояться нечего. Кстати, там за окном болтается рекламный лозунг, видел?

— Нет, я их и при советской власти не особо разглядывал, а нынешние и подавно не читаю.

— Я тоже советские не читал, но вот почему-то до сих пор помню, что партия — это ум, честь и, кажется, совесть народа. А тот лозунг, про который я тебе говорю, обещает сделать наши ваучеры золотыми. Ты свой ваучер ещё не пропил?

— Нет, — обеспокоился Татищев. — Я и забыл про него. А что?

— Да они всё дешевают. Золотыми их вряд ли сделают. Давай в следующий выходной пропьём?

— Давай! — оживился Татищев. — А насчёт замены транспарантов, знаешь, что скажу? Сейчас скажу. Те, прежние, про «ум и совесть», народ воспринимал как безобидную забаву пристроившихся к власти маразматиков. Ага. А новые не безобидны, потому что прославляют паразитические способы обогащения. Приобщают к западной цивилизации, то есть. Ага. Я недавно прочёл: оказывается, в романо-германских языках нет аналога русскому слову «совесть». У них там вместо совести «сознание», а это ведь как небо от земли! И после этого нам талдычат, что они цивилизация! И эта сознательная «бессовестная» цивилизация учит нас, как жить!

— А помнишь, Глеб, как ты радовался в девяносто первом, в августе?

— Кто ж тогда мог знать, как обернётся! Теперь-то вижу: не наши тогда победили... Иной раз так бы и грохнул телеви-

зор оземь! Ага. Ты вот счастливый, не смотришь его, а я видел, как они аплодировали одной своей «не нашей», когда она с государственной трибуны брякнула насчёт художников: «К станку их!» Ещё видел, с какими фашистскими улыбками провозглашали: «Место под солнцем заслуживает лишь сильнейший!» У них прямо звериная ненависть ко всему хорошему, что сделано Советской властью! Я тебе так скажу, вражды к их западной цивилизации я не имею, но я русский, я русскую цивилизацию люблю. Особенно за нестяжательство, которое наши «ненаши» теперь на смех поднимают... Чего ты улыбаешься?

– Выражение понравилось: «наши ненаши». Я долго голову ломал, как поточнее обругать, извини за выражение «музыкантов», которые русские мелодии обрабатывают, то бишь уродуют под западный стиль. «Наши ненаши» – точнее не придумаешь. А знаешь, на Западе есть немало такого, что можно обозначить обратным выражением: «не наши наши». В музыке – испанские танцы или итальянские песни, например. В литературе – американский «Гекльберри Финн» Марк Твена или испанский «Дон-Кихот» Сервантеса. Сколько таких славных донкихотов на Руси!

– Согласен. Только наши «ненаши» там другое увидали: коттеджи, «мерседесы», казино, жратву... Откуда только это дерьмо у нас берётся?

– Рынок!

– Да нет, дерьма всегда хватало. Не рыночное, так другое. Ага. Я, когда на службе замполитом стал, знаешь, как воевал с показухой! Ещё солдафонство. И эти, как их, уж забыл... Во, стукачи! У меня до перехода в политорганы одно всего взыскание только было, а тут, как замполитом стал, посыпались. Кто-то там напьётся, кто-то с чужой бабой переспит, а виноватый кто? Замполит, конечно! Стукач «стукнет», особист приедет – и получай командир с замполитом по взысканию. Плохо, мол, личный состав воспитываем. Ага. Как будто личный состав у нас не прожжённые асы, а малолетки из кадетского корпуса! Думаешь, особист не понимал, что мы не виноваты? Понимал, да не сде-

лай он нам гадость, с него самого спросят: почему не отреагировал? Такая вот система.

— Она везде такая была, не только в армии.

— Зато порядок был, — возразил Татищев собственному ходу мыслей. — А теперь хоть пулемёт дома заводи, хоть голый выходи на улицу, всем всё до лампочки.

— Образуется, Глеб. Не вечно же бардак!

С этими словами Левенцов пошёл в свою комнату к своим изобретательским наброскам. Посидев немного над ними, он почувствовал, что дело нынче не продвинется. «Ладно, „лягу-прилягу“ будем делать, — решил он. — Утро вечера мудренее».

2

Левенцову снился дивный сон. Он шёл по лугу, с отрадой вспоминая какое-то замечательное время. Откуда ни возьмись, подскочил, играя, белый жеребёнок. Не успел Левенцов на него налюбоваться, как двое появившихся откуда-то парней накинули на шею жеребёнку верёвочные петли и повалили на землю. Они стали связывать его, жеребёнок задыхался. Левенцов раскидал парней в стороны и стал распутывать верёвочные узлы на белой шее. И вдруг увидел, что это и не жеребёнок вовсе, а Наташа. Он, оказывается, рвал ворот её платья, обнажая грудь. Наташа не сопротивлялась, лишь смотрела на него своим туманным взглядом. Левенцов ощутил подступающее сладострастие, но вспомнил, что у него есть Дело, и поднялся. Наташа тоже поднялась. Поправляя платье, она лукаво-вопрошающе косила взгляд.

— Нам расстаться надо, — сказал он.

Она замерла испуганно, потом с покорностью кивнула, но глядела всё-таки с надеждой. Ему стало стыдно... Со стоном он проснулся. Было полседьмого.

В задумчивости Левенцов собрался на работу. Придя в отдел, сел перед кульманом и долго тупо глядел в чертёж когда-то перспективной топливной системы. Потом достал из стола лист бумаги и написал заявление на двухдневный отпуск за свой

счёт. Начальник бюро без лишних слов подписал заявление, такие отпуска теперь за недостатком средств на зарплату в КОПА не возбранялись.

Левенцов вышел за ворота. На улице тишина, неспешность. Он шёл, забыв про КОПА, рыночное сумасшествие, даже про то, что у него есть Дело.

Придя домой, Левенцов занял у Татищева тысячу рублей, сунул в дорожную сумку плащ и пошёл к вокзалу, купив по пути батон хлеба и кусок белорусского сыра, благо время продталонов миновало, и продуктов, хоть и зарубежных, в магазинах делалось всё больше. Пока он дожидался поезда, погода поапрельски резко вдруг изменилась: подул холодный ветер, набежали тучки, пошёл дождь со снегом. Отправляться в такую погоду в путешествие в пропускающих воду дерматиновых кроссовках было, конечно, неразумно.

В вагоне поезда он погрузился в расслабленно-мечтательное состояние, и не прошло, казалось, и нескольких минут, как поезд затормозил у знакомого вокзала.

Левенцов вышел на платформу и приятно удивился: ни холода, ни дождя, ни ветра. Сияло солнце. В теле заиграла лёгкость, в голове – веселье. Перейдя через виадук и миновав липовую рощу, Левенцов с волнением вошёл в Наташин магазин. Прямо от порога глянул в сторону хлебного отдела и слегка обеспокоился: вместо Наташи хлеб отпускала тощая, пожилая женщина. В других отделах Наташи тоже не было. Он потоптался у одного прилавка, у другого, потом в растерянности вышел из магазина, прошёлся туда-сюда по липовой аллее. Мысли мало-помалу сфокусировались на главном: «Не уезжать же в неизвестности!» Левенцов вернулся в магазин и обратился к продавщице в хлебом:

– Простите, мне бы Фадееву Наташу увидеть.

– Завтра её смена, – буркнула продавщица, даже не взглянув на него.

Лёгкость в тело и веселье в голову вернулись, и он уже непринуждённо произнёс:

– Простите, а не могли бы вы сказать, где она живёт?

– Не знаю, – ответила сурово продавщица.

Он подошёл к другой, молоденькой, работавшей в кондитерском, и приветливо ей улыбнулся. Девушка тоже улыбнулась во всю ширь кругленького личика.

– Не могли бы вы позвать заведующую? – попросил он тихо.

Девушка незамедлительно хватнула воздуха и завопила так, что стёкла в окнах зазвенели:

– Лариса Ге-елевна!

Через минуту открылась служебная дверь, и Левенцов увидел плотненькую женщину лет сорока пяти с сердитыми глазами. Шагнув к ней, он сказал:

– Мне хотелось бы увидеть Фадееву Наташу, не могли бы вы сообщить её домашний адрес?

– Зачем вам? – строго спросила Лариса Гелиевна и начальственно поджала губы.

– Простите, но я, кажется, сказал, зачем: мне хотелось бы её увидеть.

– Зачем? – со стойкостью оловянного солдата повторила Лариса Гелиевна. – Вы родственник её?

– Да, и довольно близкий. Я её законный муж.

Лицо у Ларисы Гелиевны сделалось блее её накрахмаленного спецкошника, а тонкие губы пополнили. Она силилась сделать вдох, но у неё никак не получалось.

– Вы, кажется, хотите что-то сказать? – поинтересовался Левенцов. – Вы, может, как и моя жена, полагаете, что я умер? Нет, я не умер. Меня похоронили по ошибке.

Лариса Гелиевна стала задыхаться. Он терпеливо ждал, когда она грохнется в обморок. Но она устояла.

– Документ, удостоверяющий личность, у вас есть? – произнесла она поджатыми губами.

– Разве у вас здесь следственное отделение? Мой документ в милиции на проверке. А мне не терпится повидать свою законную жену.

– Что вы голову-то мне дурите? – вскинулась Лариса Гелиевна. – Если вы её муж, то чего же, где она живёт-то, спрашиваете?

– Моя дочь Ксюша говорила, что перед тем, как закопать на кладбище, меня стукнули молотком по голове, с тех пор у меня плохо с памятью.

– А-а-а, – Лариса Гелиевна нервно захихикала, выражение лица сделалось у неё заискивающим. – Знаете, я сама её адреса не знаю, я позвоню в Продторг. Вы немного подождёте?

– Даже много.

Много, однако, ждать не пришлось, через десять минут явились два милиционера. Лариса Гелиевна кивком головы показала им на Левенцова. Ребята оказались попонятливей Ларисы Гелиевны. Выйдя с ними на улицу, Левенцов в три фразы объяснил им ситуацию. Один из милиционеров, недолго думая, вернулся в магазин и потребовал у заведующей Наташин адрес. Милицию Лариса Гелиевна почитала, как один из главных атрибутов мировой культуры, поэтому требование выполнила безоговорочно.

Получив адрес, Левенцов тепло попрощался с хорошими ребятами и отправился на поиски Наташиного дома. Спустя час он его нашёл, дом был из серого кирпича, двухэтажный, с двумя подъездами со стороны двора, кипевшего сляпанными из чего Бог послал сараями. Он наугад вошёл в один из подъездов и прямо на первом этаже очутился перед искомым номером квартиры. Дверь на его звонок открыла худенькая девочка с живыми, дружелюбными глазами.

– Моё почтение, барышня, – поклонился он. – Вас не Ксюшей величают?

Девочка, не ответив, спокойно и внимательно разглядывала его и вдруг засияла симпатичнейшей улыбкой.

– Дядя Слава!

– Так точно, барышня, ваш покорный слуга. У вас изумительная память. Надеюсь, у вашей мамы тоже.

– Мама пошла куда-то по делам, – сообщила Ксюша и тут же радостно воскликнула: – Ой, вот она!

Он оглянулся. В дверях подъезда стояла, замерев, Наташа. Не изменившаяся ничуть, спокойная. И взгляд всё тот же: загадочный, туманный. Он шагнул к ней и остановился, потом ещё шагнул. Колдовские её глаза очутились перед ним так близко, что ему показалось, смещается пространство...

Очнувшись после поцелуя, он смущённо оглянулся. Ксюша, ставшая невольной свидетельницей молчаливого слияния маминых губ с губами дяди Славы, тоже смутилась и юркнула в квартиру. Он заметил, что его руки ещё не выпустили Наташу из объятий. Он неловко отстранился.

В её глазах мелькнуло беспокойство.

– Вы стыдитесь?

– Нет, – возразил он твёрдо, затем, уже с сомнением, добавил. – Я робею.

Наташа опустила глаза. Он обнял её и, лаская губами волосы у виска, спросил:

– Поклонник у тебя не появился?

Она отрицательно мотнула головой.

– Странно. И замуж ни за кого не собираешься?

Она судорожно вздохнула и тревожно вскинула глаза:

– А вы?

– Я замуж никогда не выйду!

Она улыбнулась, потом посмотрела на часы:

– Соседи с работы сейчас придут... У нас ведь коммуналка. Я бы вас пригласила, но...

– Не надо, – поспешно сказал он. – Мы просто погуляем. К пяти ты освободишься?

Она утвердительно кивнула. Попрощавшись с ней до пяти вечера, он пошёл в столовую. Потом обследовал окрестности, примечая уединённые места.

Наташа вышла ровно в пять в элегантном летнем пальто и модных туфлях. Он тоже надел на себя свой выдавший виды плащ. О намеченном маршруте при появлении Наташи он тут же позабыл. Они куда-то шли по пустынной асфальтовой дороге. По обеим сторонам тянулись в один ряд бревенчатые

избы, огороженные палисадниками. В палисадниках на кустах сирени набухали почки, в воздухе стоял густой весенний запах. Было удивительно покойно, тихо, и в этой тишине постукивали по асфальту Наташенькины туфельки.

Левенцова пробирал озноб, хотя вечер был на редкость тёплый для апреля. «С чего бы?» – праздно шевелилось в голове. И вдруг он сообразил с восторгом: «Да ведь я действительно робею!» Избы, набухающие почки, отчётливая ясность мирных звуков, идущих от жилья, уходящая в загадочную даль дорога – всё было так волнующе знакомо, близко, так сверхтелесно ощущалось, такую восхитительную пробуждало свежесть в теле, что невольно возникало подозрение: не таит ли жизнь про запас своё главное сокровище?

– Вы назад когда поедете? Сегодня? – услышал он Наташин голос и ответил:

– Может, и сегодня, я расписание поездов никогда не запоминаю, даже когда в командировки по работе езжу.

– Вы так вот прямо и приехали?

– Настолько прямо, насколько прямы рельсы, – улыбнулся он. Потом сказал серьёзно: – Я по тебе скучал. Три года всё-таки...

– Я вас ждала.

– Прости меня.

– За что?

– За сомнения. Я не был уверен, что ты ждёшь. Кроме того, у меня есть Дело, с которым я так свыкся, что... Я изобретаю одну вещь.

– Ой, расскажите!

– Нет, не хочу портить вечер.

– Вы... кем работаете?

– Инженером в конструкторском бюро. Похоже, уходить придётся, зарплату перестают платить. Приеду вот и устроюсь грузчиком в ваш магазин. Возьмёте?

– Это не для вас, – серьёзно произнесла она.

– Почему? Я мужик здоровый.

– Вам будет тяжело морально. Не с кем словом перемолвиться, вы понимаете? Я сама давно бы ушла, если бы не дочь. Женщине найти работу теперь ведь не просто. Но я всё-таки надеюсь...

Наташа остановилась. Глаза у неё стали наливаться колдовскими чарами. Поддаваясь их гипнозу, Слава приблизился вплотную к ней. Её глаза темнели, обволакивали, он проваливался в волшебство таинственного ощущения, чувствуя, как уходит из-под ног планета. Из космической прекрасной дали до его ушей донёсся сказочно прекрасный шёпот: ««Я люблю вас. Я никогда вас не забуду»».

Они целовались посреди дороги. Потом, ошеломлённые, шли дальше. «Вот так всегда бы и идти, – думал он. – И ну их к шутам изобретения!»

Уже сияли звёзды, когда они подошли к шлагбауму у пересекавшей дорогу одноколейной железнодорожной ветки, становилось холодно. Наташа робко попросила:

– Давайте повернём назад, я озябла. И ноги от туфель устали, я так давно в них не ходила. И на работу в пять вставать.

Они вернулись к её дому.

– Я тебе на диване постелю, – сказала, судорожно вздохнув, Наташа. – Позавтракаешь утром с Ксюшей и поедешь.

– Нет, Наташенька, спасибо. Не буду затруднять. Поеду сегодня.

Он в страхе ожидал её вопроса: «Когда приедешь?», – но она лишь легонько прикоснулась губами к его подбородку и шепнула: «Счастливо тебе доехать», и скрылась в темноте подъезда.

– Наташенька, – окликнул Слава.

Она вернулась, вопрошающе подняла глаза.

– Наташенька, подожди меня ещё один год, – сказал он неожиданно. – Может, у меня получится с изобретением. Тогда, возможно, будут деньги, и мы... И я тогда к тебе приеду, и мы... Подождёшь ещё год, Наташа?

Она утвердительно кивнула, он ощутил её крепкое объятие и поцелуй, потом простучали каблучки в темноте подъезда,

и стало тихо. Левенцов постоял во дворе в ожидании, когда зажётся свет в окошке, но свет не зажётся. Он прощально посмотрел на спящий дом, на звёзды над его крышей и двинулся к вокзалу.

3

Наташа лежала в темноте с открытыми глазами и уснуть даже не пыталась. В пять утра гнусаво запищал будильник. Она поднялась на удивление легко. И на работе, несмотря на бессонную ночь, было необычно легко и весело, она даже потихоньку засмеялась после разговора с героиней войны, той самой, что довела однажды до истерики Лукьяновну.

– Хлеб не подешевел ещё? – спросила у неё старуха.

– Нет, – ответила с игривостью Наташа.

– О чём правители-то думают? – возмутилась героиня. – Апрель уже, а всё не дешевет! Раньше в марте всегда понижали цены. Не буду пока брать, подожду. Может, ещё подешевеет...

В обеденный перерыв в магазин пришёл гость из городской администрации. Лариса Гелиевна при его появлении подобралась, как для прыжка, лицо у неё то краснело, то бледнело, гость извлёк из дипломата кипу бумаг и, увесисто плюхнув её на стол, объявил собравшемуся коллективу:

– Это законы о приватизации. Зачитывать не буду, если есть желание, смотрите. Согласно этим законам ваш магазин должен быть приватизирован коллективом до первого сентября, в противном случае мы продадим его с аукциона.

– Нет такого закона, – вскинулась, побагровев, Лариса Гелиевна. – Есть закон о приоритете прав трудового коллектива. Захочет коллектив – приватизируемся, не захочет – останемся в Продторге, а продавать нас без нашего согласия нет закона.

Коллектив молчал, после долгой паузы, гость промолвил:

– С вами всё ясно, рекомендую всё-таки подумать. Повторяю, если не решитесь на приватизацию до первого сентября, магазин будет продан с аукциона.

Остаток дня после обеденного перерыва прошёл тихо. Заведующая ушла куда-то. В шестом часу уборщица Филипповна позвала Наташу к телефону. Звонил директор хлебозавода Кулагин.

— Имеется интересное предложение, — сообщил он. — По работе, разумеется. Во сколько ты освободишься?

— Полвосьмого, как всегда, — ответила Наташа.

— Жду на выходе.

Ровно в полвосьмого она вышла. Вечер был такой же чудный, как и накануне, когда она гуляла с Левенцовым. «От Славы бы услышать: „Жду с интересным предложением“», — мечтательно подумала она.

Директорский «мерседес» стоял поодаль в стороне, противоположной той, в какую вёл её обычный путь домой после работы. Кулагин пригласил её в машину.

— Зачем? — воспротивилась она. — Разве нельзя сказать так, о чём хотели?

— Нельзя, — снисходительно улыбнулся он. — Разговор сопряжён с коммерческими тайнами. Мы сейчас подъедем к месту твоей будущей работы, это рядом.

Последняя фраза заинтересовала и одновременно успокоила её.

— Я лучше сзади сяду, — сказала она мягко.

Он без лишних слов открыл дверцу заднего сиденья. Они проехали три квартала и остановились у кирпичного одноэтажного строения бывшего кафе.

— Здесь ты и будешь работать, — кивнул на строение Кулагин. — Предварительная договорённость с городской администрацией у меня имеется. Я сказал, что одна крупная специалистка в области торговли желает приобрести это строение в собственность под булочную-кондитерскую. Надеюсь, ты не откажешься стать владелицей магазина, которому по особому графику будет поставляться всё наисвежайшее с хлебозавода?

— Владелицей?! — сладко ужаснулась Наташа.

— Ну конечно, — небрежно обронил Кулагин. — Можно было бы взять и на баланс хлебозавода, но в этом случае оперативного простора у тебя поменьше будет.

— Но кто мне его купит, у меня ведь денег только от полочки до полочки!

— Нет проблем, кредит я обеспечу.

— Но как же я расплачиваться буду?

— Обычно. Сделаешься юридическим лицом, заведёшь счёт в банке и будешь с прибыли делать отчисления на погашение долгов. Кроме того, какой-то процент от прибыли будешь отчислять мне, как вкладчику, а остальное всё себе и на зарплату продащицам. Бухгалтерскую специальность ты освоила, остальному научу. Будешь приходить ко мне на завод для согласования всех вопросов. Ну а организация торговли целиком будет на тебе. Идёт?

— Ой, мне прямо не верится.

— Стало быть, согласна?

— Я должна подумать.

— Мудро. Только думать желательно недолго. На это зданыице не одни мы с тобой глаза положили, перехватчики имеются.

— Я завтра вам отвечу.

— Идёт! — с подъёмом заключил Кулагин. — Куда теперь поедем?

— Зачем? Разве ещё коммерческие тайны есть?

— Ты чудо! — рассмеялся он. — Мы с тобой таких дров наломаем! Так куда везти, к тебе домой?

— Да.

— Адрес?

— Улица Лесная, дом 338, в самом конце почти.

Машина быстро набрала большую скорость. Кулагин лихо крутанул в один проулок, потом, не сбавляя скорости, в другой, и не успела Наташа прийти в себя от приятнейшего ощущения боковых мягких перегрузок, как они уже мчались с жуткой скоростью по шоссе, круто спускавшемуся к туннелю под железную дорогу. Её натруженное за день тело нежилось в обволакиваю-

щем сиденье. Сиденье словно бы ласкало её плавными и мягкими толчками. Они нырнули, слегка снизив скорость, в темноту туннеля, тут же выскочили из него на свет, и мотор без напряжения помчал их на подъём, как будто прямо в небо! «Хорошо как!» – подумала она, закрыв глаза. Под мягкое укачивание она погружалась в сладкую дремоту. Реальность чуточку сместилась, ей казалось, это Слава мчит её в замечательную жизнь, увозя от магазинного кошмара.

Ощувив остановку, она очнулась, Кулагин, поворачась к ней, смотрел с улыбкой.

– Уже приехали? – удивилась она.

– Поедем дальше, если хочешь.

– Ой, нет, зачем, вон мой дом. Дочка там одна, уже заждалась...

Он задним ходом подрулил машину к её дому, вылез и, открыв дверцу, принял её хозяйственную сумку. Прощаясь, он сказал:

– Не забудь, завтра ты обещала дать ответ.

Назавтра в четыре часа дня измаявшаяся раздумьями Наташа вошла в будку телефона-автомата и, набрав Кулагинский номер, сказала в трубку обречённо:

– Я согласна.

ГЛАВА 4. 1993 ГОД

1

Волна рыночной истерии не пощадила и бывшего конструктора первой категории, парторга, профорга и председателя общества трезвости Сорокина. После увольнения за продолжительную неявку на работу по причине пьянства спиртное не только подсознательно, но уже и сознательно осточертело его душе, не говоря про тело. Походив по разным службам в городе, он увидел, что в согласии со специальностью и природными дарованиями на работу теперь не берут. Ни конструкторы, ни парторги, ни профорги, не говоря уж об уволенных за пьянство специалистах по трезвости, нигде не требовались.

Егор Агапович растерялся. Целыми днями стал он просиживать у окна, тупо глядя на массивный корпус рынка (Сорокин жил в том же доме, что и Левенцов, только в соседнем подъезде). С утра до вечера «пилила» его за разгильдяйство подурневшая характером жена. Он не обращал внимания, пока не услышал от неё как-то утром, сев за стол, что еда почти закончилась, зато непомерно выросла задолженность за электричество и по квартплате.

Как это ни шло в разрез с представлениями о нравственности, пришлось Сорокину идти в городскую службу занятости. За отсутствием вакантных мест по специальности, ему предложили «перестроиться» из инженера в каменщики. Егор Агапович не чувствовал в себе никакой склонности приносить пользу человечеству на чуждом душе поприще. Он без раздумий отказался перестраиваться. Отказался он и от идущего вразрез с его коммунистическими мыслями пособия по безработице.

Жена в ответ на такой «коммунистический» поступок мужа стала выдавать Сорокину на завтрак чайную ложку сахарного песка и осьмушку хлеба. Кипятка, правда, было хоть упейся, ни газ, ни воду не догадались ещё за долг по квартплате отключать. Но однажды утром Егор Агапович ни осьмушки чёрного хлеба, ни пайки сахарного песка не получил. Он вопросительно посмотрел на жену. Та подала письмо от сына. Сын сообщал о намерении жениться и, кроме духовного благословения на столь отчаянный в рыночное время шаг, просил благословения материального. Сорокин понял, что пришло время взяться за первую из трёх составляющих воспитавшей его организации, то есть, за ум, и одновременно предать забвению вторую и третью составляющие, то есть, честь и совесть.

И вот июльским утром 1993-го бывший парторг очутился в компании торговцев на рыночной толкучке. Тряпки он приобрёл на деньги, взятые в долг. Не ахти какие были тряпки: футболки, трусики, носочки, зато много — огромный битком набитый саквояж. Это было всё, что было у Сорокина, больше ничего, кроме долгов и подурневшей характером жены не оставалось. «Кто не рискует, тот живёт на пособие по безработице», — утешал себя Егор Агапович рыночным девизом. Слева от него стояла с шерстяными свитерами и платками полная, краснощёкая, непрерывно курившая женщина лет сорока, справа был пенсионного возраста мужчина, этот торговал кроссовками.

— На двоих будешь? — предложил мужчина, достав бутылку водки. Сорокин отказался. Мужчина выпил «на одного». Придя вскоре в ностальгическое расположение духа, он принялся вспоминать славное доперестроечное время:

— Щас што! Дал на лапу, продал, купил, перепродал, в банк деньги положил. Скучища! А бывалоча, будь здоровчик спецы были. Изворачиваться потому что приходилось. Власть давила! Один мой корешок из заключения пришёл, рассказывал, на партийца там донесли. Не в зоне, конечно, в городе большим пост какой-то занимал. Всего и предпринял, что родственникам в Москву казённым самолётом бочонок рыбки перепра-

вил. Щас бы похвалили за смекалку, а тогда из партии погнали и с поста. Крутое было время! Головой ворочать приходилось. Я сам, не похвалясь скажу, при случае был не промах. Раз за ночь с мукомольного завода тридцать пять мешков пшеницы вынес. Думаешь, просто было? С «мерседесами» меня не ждали, все тридцать пять мешочков по одному на горбу пёр. Через забор! Потому как в проходной несговорчивый охранник стоял. И всё шито-крыто, комар носа не подточит. А всё-равно посадили. Тогда бизнесменов всех сажали. Жена, паскуда, по пьянке осерчала, донесла. Говорю, крутое время было. Щас што! Хоть полдержавы тащи на все четыре стороны, поделись только с кем надо. Я, думаешь, выручку от этих шлёпанцев, — он презрительно кивнул на свой товар, — всю себе возьму? Хренто! Папе половину. Потому как торгануть дал. Не поделись попробуй с ним — уроет. Он нас таких, как я, всех через хрен кидает..

— Сколько вашему папе лет? — не сдержал удивления Сорокин.

— В сынки мне годится, на пятнадцать годков моложе. По сто второй сидел, откупился.

Сорокин понял, что сосед «поплыл» с одного стакана. Внезапно из толпы к Егору Агаповичу протиснулись три добрых молодца в пёстро размалёванных широченных шароварах и футболках, прямо арлекины, только без колпаков на коротко стриженных головах. Сорокин обрадовался, почему-то решив, что они станут его первыми покупателями. Один из «арлекинов» раскрыл перед самым носом у Сорокина сумку, где внавал лежали деньги, и, меланхолично жуя жвачку, равнодушно на него посмотрел. Придя от этого взгляда в недоумение, Сорокин в ответ глянул вопросительно.

— Чего глаза то лупишь! — возмутился другой «арлекин». — Отстёгивай три штуки, живо!

Сорокин опять не понял: что за «штуки» и откуда их отстёгивать? Арлекины переглянулись, один покрутил пальцем у виска, другой сказал:

— Не прикидывайся дурой, дура. Кидай три, не то...

До Сорокина наконец дошло, он вспомнил газетную статью про то, как на рынке у торговцев вымогали деньги. Но он был не робкого десятка.

— Не мешайте работать, — сказал он с важным видом. — Не то милиционера позову...

Не успел Сорокин договорить, что хотел, как на голову его обрушились удары. Он упал. Придя в себя, услышал громкий топот разбегавшихся обидчиков, затем увидел свой вывороченный наизнанку саквояж, наполнявшие его футболки, трусики, носочки мелькали из-под частокола ног толпой валивших покупателей. Сорокин кинулся выручать товар, но тут его единственные парадно-повседневные штаны, исполосованные бритвой подлых вымогателей, свалились с тощих бёдер, оголив убожество старомодных не раз латанных трусов. Придерживая штаны, Сорокин пополз, выхватывая из-под ног толпы свои товары. Собрать удалось меньше третьей части.

— Ты в первый раз что ль, милый? — сочувственно спросила соседка слева. — Теперь тебе здесь нельзя, уходи, житься не дадут.

А сосед справа смачно сплюнул и сочувственно сказал:

— Бандюги!

Заколов в пояс штаны булавкой, которую подарила ему соседка, бывший парторг пошёл жаловаться милиционеру. Подходя к нему, Сорокин вдруг увидел трёх своих обидчиков, «арлекины» тоже шли к милиционеру. От увиденного в следующий момент Егор Агапович в недоумении остановился. Его обидчики дружески поздоровались с милиционером за руку и оживлённо с ним заговорили. Глаза у Сорокина сделались пустыми, он двинулся в непредназначенном для перехода месте через дорогу. Егор Агапович не отдавал себе отчёта в том, куда идёт. До его слуха донёсся приятный женский голос, окликнувший его по имени. Он обернулся. Ему делала приглашающий жест рукой бывшая его сотрудница по КОПА Алла Скобцева. Сорокин двинулся назад. Он не знал, что Алла видела всё, что с ним произо-

шло на рынке, а про то, что его штаны превратились в набедренную повязку, Егор Агапович в нахлынувших переживаниях забыл, поэтому подошёл к бывшей сотруднице без всякого стеснения. Алла предложила ему сесть в свой «жигулёнок» для делового разговора. Сорокин тупо посмотрел на свой отощавший саквояж, который машинально волочила по земле его рука.

– Давайте его сюда, – Алла открыла дверцу заднего сиденья. – А сами с той стороны, – кивнула она на правую переднюю. Когда они сели, предложила: – Хотите выпить?

– Чего? – оживился несколько Сорокин.

– Есть коньяк.

– Вино не пью, – разочарованно ответил он. – Кваску бы...

– Квасные бочки теперь перекрашивают в пивные. Попейте вот апельсинового сока. – Она протянула ему импортную пластмассовую ёмкость. – Я слышала, про вас болтали, будто вы из вытрезвителя не вылезаете. Я не верила, конечно, я только фактам верю.

– В вытрезвитель я один раз попал. Когда из партии исключили...

– Егор Агапыч, у меня к вам предложение. У вас как с деньгами, вы работаете где-нибудь?

– Не берут нигде.

– Я хочу предложить вам стать моим компаньоном, поскольку человек вы, я знаю, обязательный. Я бизнесом занялась, Егор Агапыч. Недавно мне пришлось отказаться от услуг человека, питающего, как оказалось, слабость к выпивке. Чёрт те что по пьянке из Вьетнама мне привёз, барахло, а не товар. Вообще-то во Вьетнаме у меня, как и в Эмиратах, Турции, Китае поставщики народ довольно честный, да пьяного сам Бог обмануть велит. Хотите попробовать? За одну поездку туда-обратно – это максимум неделя – будете зарабатывать в среднем тысяч триста. Ваше дело только привезти, реализация – моя забота. Или, если не хотите за границу ездить, есть другое дело, дублёнки будете возить. Только сами их будете реализовывать. Навар примерно тот же.

— Я лучше за границу буду ездить, — прошептал Сорокин. Он с трудом верил в невероятную удачу.

— Тогда идёмте, я вас экипирую для заграницы, — сказала Алла, скользнув взглядом по его набедренной повязке.

Она повела его на рынке по рядам. Выбирая ему джинсы, Алла попутно обучала, как отличить качественный товар от второсортного. Они обошли более десятка торговцев прежде, чем ей на глаза попались джинсы, которые имело смысл примерить. Тут возникло затруднение. Сорокин не хотел, чтобы бывшая его сотрудница участвовала в примерке, но она настаивала на участии, мотивируя это тем, что только сама сможет одеть его, как надо. Сошлись на том, что она не будет подглядывать за процессом снятия набедренной повязки, а будет смотреть только когда он наденет на себя примеряемые штаны. Так и сделали. Алла глядела в другую сторону до тех пор, пока он не сообщил, что он в штанах, Едва взглянув, она приказала их снимать, хотя снимать ему очень не хотелось, хороши были новые штаны. Сорокин надел и снял таким же порядком все разложенные торговкой джинсы, и все они Алле почему-то не понравились. Она приказала достать те, что были у торговки в саквояже. На пятых штанах из саквояжа стыдливость у Сорокина притупилась, он даже перестал надевать между примерками свою набедренную повязку. Алла заставила вывернуть саквояж с товаром наизнанку и нашла-таки штаны, пригодные для поездок за границу.

— Цену мы подрегулируем, — сказала она торговке и, продемонстрировав великолепную осведомлённость в таких вещах, как стоимость проезда до места приобретения товара, прямые, косвенные и накладные расходы вплоть до учёта размера партии и издержек морального порядка, убедила, что назначенную цену надо снизить на треть. Ошарашенная торговка согласно кивнула.

Тем же порядком для Сорокина были приобретены шикарные ботинки, куртка, саквояж, более удобный, чем у него, и кое-что ещё по мелочи. Сверх того, Алла выдала ему для назначен-

ной на послезавтра поездки в Эмираты десять инженерных месячных получек на карманные расходы.

Когда Егор Агапович, с иголки одетый, пришёл домой и, небрежно кинув на стол три инженерных месячных получки, сказал жене: «На неделю тебе хватит? Через неделю я приеду», — характер у неё на глазах изменился к лучшему.

2

Наступил октябрь 93-го. Жизнь бесповоротно шла в тупик, Левенцов видел это и без телевизора. Инфляция, разруха производства, нищенская оплата честного труда, огромные барыши бесчестного, суверенитеты, войны, грызня государственных мужей — все эти атрибуты рыночных реформ, принимаемые многими за главные приметы тупика, его особенно не волновали. Он помнил из истории, что передраги в сфере материального бывают в любой стране, а уж в России непременно. Не в материальных передрагах было дело. Жизнь шла в тупик в силу куда более страшной вещи — духовного упадка. Левенцов с растущим беспокоеством замечал, что понятие «человечество», служившее ему главным стимулом в работе над изобретением, утрачивает для него высокий смысл, заложенный воспитанием доперестроечного времени. Глядя по базарным дням в окно на кишашую людьми рыночную площадь, он саркастично усмехался: «И это называется человечество!» Всё неотступнее делались сомнения в целесообразности изобретательского творчества, на которое он «убивал» теперь все дни и вечера без перерывов.

Каждую субботу его неудержимо тянуло сесть в поезд и поехать к Наташе. Денег для поездки можно было бы при достаточном усилии достать. Останавливало другое. Он ясно обещал ей год назад внести определённую в их отношения по своём приезде. Но о какой определённости можно было говорить, когда весь мир «поехал».

«Надо нести свой крест, как говорит Глеб», — утешал он сам себя. И как проклятый, вопреки желанию и всякой логике, са-

дился по вечерам, а в выходные дни с утра к столу с изобретательскими разработками. Однажды в субботу он просидел над разработками с раннего утра до вечера, забыв даже пообедать. Мозг, несмотря на это, сохранял поразительную, хотя и не совсем здоровую, лихорадочную ясность. Ему казалось, что ускользавшее годами вот-вот будет схвачено за хвост. Но в последний момент оно снова ускользало.

– Чёрт побери! – воскликнул он в отчаянии. И тут увидел на стуле у торцевой стороны стола незнакомого вертлявого мужчину, одетого в сверкающую белизной сорочку с чёрной бабочкой и в иностранного покроя чёрный смокинг. Чёрные глаза мужчины смотрели снисходительно.

– Вы кто? – спросил Левенцов с враждебным изумлением.

– Родственная вам душа. По этой причине предлагаю сразу перейти на «ты», – ответил незнакомец.

– Я вижу тебя в первый раз, с чего ты взял, что ты мне родственник?

– С того, что мы оба из породы Беспокойных.

– Ошибаешься, нервы у меня в порядке.

– Это верно, нервы у нас, Беспокойных, здоровей, чем у Консерваторов.

– Благодарю за комплимент.

– Не стоит благодарности, это не комплимент, а факт.

– Тебе Татищев дверь открыл?

– Я в таких любезностях не нуждаюсь, без затруднений прохожу сквозь стены.

– А-а, вот ты кто...

– Вот именно, твой родственник по духу.

– Я через стены не хожу.

– Захотел – прошёл бы.

– Юмор у тебя какой-то мрачный, родственник. А чему, собственно, я обязан?

– Ты сам позвал.

– Я-я? Когда?

– Перед моим приходом. Сила твоего желания открыть новый вид энергии перешла предел, за которым уже необходимость, вот я и пришёл.

– Ты ко всем приходишь, у кого необходимость?

– К родственным душам только. Консерваторов я не люблю. Особенно поэтов.

– Погоди, приятель, ты меня, наверно, с кем-то путаешь. Я хотя и не консерватор, но в душе поэт, и...

– Нет, я не хотел тебя обидеть. Видишь ли, ты принимаешь за поэзию свой мятежный дух. Тебя вводит в заблуждение тот факт, что даже Байрона поэтом называли и Некрасова, а какие они к шутам поэты! Они же до мозга костей наши, беспокойные. Доведись осуществиться их воззваниям, они сразу бы соскучились и стали с ещё большим пылом звать назад, к тому, что проклинали. Такова уж наша беспокойная природа. А поэты... Кстати, чистых поэтов, которых я особенно не терплю, не так уж много: Фет, Аксаков, Тютчев, Пришвин да ещё кой-кто, а остальные при случае делаются нашим братом. В восемнадцатом, к примеру, белые были поэтами, а красные – нашими, а в девяностом поэтами стали красные, белые же переметнулись к нашим. Теперь опять перетасовка: белые нам изменили, зато вернулись красные.

– По твоему раскладу, родственник, выходит, что ты ставишь меня на одну доску с беспокойными государственными мужами, так я понял?

– Люблю понятливых!

– Ошибаешься, дорогой. Я за существующий порядок. Объявят завтра по радио, что другой порядок сделали, за другой порядок буду.

– Никуда ты от нас не денешься, – криво усмехнулся гость. – Ты изобретатель, значит враг порядка. Создай Бог человека на колёсах вместо ног, ты непременно стал бы ноги изобретать, не так разве?

– Возможно, но... я не для личных благ изобретаю.

– Ха-ха-ха! – посмеявшись, гость взглянул лукаво. – Ты не кривишь душой, любезный? Разве не сказал кому-то кто-то:

«Подожди год, может, получится с изобретением, тогда будут деньги...»? Покраснел-то как! А нервами ещё хвалился!

— Но я...

— Да знаю. Хочешь сказать, что мог бы ради собственного счастья плюнуть на изобретение, но плюёшь не на него, а на собственное счастье ради счастья человечества. За то и люблю тебе. Нашенская в тебе гордыня! Как у тех дремучих греш... — прошу прощения — святых, которые заживо ложились в гроб во имя Бога. Плевать им было, молодцам, на Божий замысел дать человеку радость в земной жизни.

— По-твоему, людям не нужны изобретения, делающие их жизнь комфортней?

— Люди полагают, что нужны. Люди знают, чего хотят, да не знают, чего им надобно. Спроси любого, чего ему хочется, скажет: счастья. А спроси, что такое счастье, несусветную чушь начнёт нести.

— Значит, правильно я понял: не нужны?

— Хрен его знает, может, и нужны. Но потраченные на них усилия, я бы сказал, безнравственны. Сколько было потрачено, к примеру, на изобретение локатора! А спросить, зачем локаторы? Чтобы издалека видеть самолёты? Но зачем самолёты? Птицы и без самолётов вон летают, а дельфины и без вашего локатора засекают горошину в море за три километра. Потому что им это действительно необходимо. Всё дело в необходимости, то есть, в силе желания. Превысит желание предел, за которым необходимость, пожалуйста, будет сделано, в сто раз умнее можешь стать, в десять тысяч раз сильнее. Совершенство во вселенной ведь давно достигнуто, да не всё из него нужно человечеству, оно, человечество, до Совершенства не дозрело. Как это там у Баратынского:

«... Живи живой, спокойно тлей мертвец,
Всесильного ничтожное создание,
О, человек! Уверься наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнание...»

— Выходит, и познание, по-твоему, не нужно?

– Оно обременительно. И оно не делает счастливее, скорей наоборот. Дарвин вот «познал», что человек произошёл от обезьяны, Фрейд открыл, что человек по своей природе существо совсем не благородное, как полагали идеалисты, а жестокое, асоциальное. Разве от таких «познаний» человечество счастливей стало?

– Но без познания и хлеб не вырастишь.

– Верно, но познание убивает во всём вкус первого глотка. Учёным чуждо чувство меры. Они неразборчивы и творят, если позволишь так выразиться, в состоянии аффекта. Они упиваются от древа познания самым непотребным образом, как пьяницы. В результате имеем то, что имеем: озоновые дыры в атмосфере, отраву вместо пищи, умерщвляющие газы вместо воздуха.

– Но если изобретатель стремится вернуть человечеству вкус первого глотка?

– Стоит ли стараться ради человечества? Погляди вокруг: чем оно живёт? Жратва, курс доллара, война да секс, выше этого человечеству не прыгнуть.

– Ты себе противоречишь, уважаемый. То ты причисляешь изобретателей к отряду Беспокойных и говоришь, что ненавидишь Консерваторов, то заявляешь, что беспокойство ни к чему. Где логика?

– Неправильно ты задачу понял. Задача Беспокойных не в том, чтобы приблизить к Совершенству, а совсем наоборот. Мы для того, чтобы не скучно было, благодаря нам человечество вечно будет задумывать одно, делать другое, а получаться будет третье. Да здравствуем мы, Беспокойные!

– Послушай, уважаемый, скажи честно, ты кто?

– А хрен его знает! – Гость сделался серьёзным. – Тайна моего происхождения мне неизвестна. Все мы, дети Вселенной, не знаем, кто мы, откуда мы, зачем... Выполняем какую-то хитрую задумку Свыше. Но там, Выше, тоже про себя не знают. Круг заколдован... Ладно, поболтали, давай теперь по делу. С теорией эфира ты знаком?

— Немного. В законченном виде, насколько я понял, её нет. Я даже в Ленинке в Москве копался — пусто. Десятка два журнальных статей, десятка полтора брошюр. Идея ослепительная, но базы никакой. В сущности, опыты Миллера и Майкельсона да и всё. К практике, во всяком случае, теория неприменима — это не моё мнение, это мнение таких великих умов, как Максвелл. Безумная теория, короче.

— Ай-яй-яй, такой маститый изобретатель, а позабыл такую крылатую фразу: «Эта теория недостаточно безумна, чтобы претендовать на истинность»! А если копнуть поглубже, увидишь: истинность совсем и не критерий. Разве придуманная Ньютоном теория гравитации к истине близка? Но сколько великих изобретений сделано на базе этой липовой модели! А нелепость, называемая теорией относительности Эйнштейна! А наивность атомных моделей Резерфорда вкупе с Бором! Но бомбу-то атомную тем не менее из этой наивности изобрели! Ты разве не уяснил ещё, что ни одна из придуманных учёными теорий не имеет к истине никакого отношения? Не в истине, брат, дело. Дело в степени уверования в неё. Ты знаком с маховским принципом «Экономии мышления»? Уверуй ты в истинность теории эфира, нешто стал бы время тратить на изобретение аккумулятора? Кому твой аккумулятор нужен, когда по теории эфира в любой точке пространства в любой момент имеется любое количество энергии любой мощности, которая без всяких промежуточных устройств типа электромобиля перенесёт тебя со скоростью, превосходящей в миллиарды раз скорость света, в любую другую точку пространства, хоть на край Вселенной!

— Однако такая энергия, уважаемый, и убить ведь может. Атомная бомба по сравнению с ней детская забава.

— Верно, но могущество этой энергии всё же не беспредельно. Ну там одну-две-три галактики уничтожит, а дальше, на какой-то ступени, вступает в противодействие закон Совокупного Желания. Всю вселенную не уничтожишь.

— Тогда я напрасно беспокоился, — усмехнулся Левенцов. — Но, положим, в теорию я уверовал. Сколько времени мне потре-

буется, чтобы изобрести на её базе устройство для забора энергии из пространства?

— Нет проблем. Доставай бумагу и рисуй...

Левенцов очнулся. Гостя не было. Левенцов выскочил в прихожую. Никого. Дверь квартиры заперта. Из комнаты Татищева кричали возбуждённые чьи-то голоса. Не дождавись приглашения войти на свой стук в дверь, он толкнул её. Татищев ругался с телевизором. Увидев приятеля, он стал кричать ему что-то про политику, поминутно кивал с яростью на экран.

— К тебе сейчас никто не приходил, Глеб? — перебил его Левенцов.

Татищев ошалело замолчал, потом, досадливо буркнув: «Не приходил», снова принялся ругать телевизор.

Левенцов вернулся в свою комнату, остановился перед заваленным бумагами столом.

— До галлюцинаций докатился! — произнёс он вслух неодобрительно. Потом сел за стол, отодвинул к его краю книги, схемы и, достав чистые листы бумаги, за пару часов сделал наброски выношенного годами принципиально нового источника энергии. Затем хладнокровно принялся анализировать состоятельность устройства в техническом исполнении. Ещё через пару часов Левенцов пришёл к выводу, что устройство состоятельно. Это было не изобретение, это было открытие, он это ясно сознавал, но радости почему-то не испытывал. Он не испытывал даже возбуждения, была апатия и каменная усталость.

— Какое у нас там сегодня? — вяло произнёс он вслух и зевнул, переворачивая не перевёрнутые со среды листки календаря. — Так, суббота, второе октября 1993 года, отметим, как-никак дата исторического открытия. Недельку надо вылежаться дать, на свежую голову, глядишь, опять «перпетуум-мобиле» окажется.

Разобрав постель, он повалился в неё и заснул, не успев даже как следует укрыться одеялом.

3

Наутро Левенцов проснулся с ощущением хорошо отдохнувшей головы и тела. Наслаждаясь полудремотными неясными мечтами, он не торопился открывать глаза. Мысли постепенно делались отчётливей, конкретней, и вдруг он вспомнил про вчерашнее. Как будто ледяной водой плеснуло в голову. Слава дружинисто вскочил с постели. На столе лежали не убранные с вечера книги, схемы и наброски сделанного им открытия. Первым делом Левенцов убрал на верхнюю полку стеллажа эти наброски. Он старался не глядеть на них, ему от них становилось жутко. Убрав затем всё остальное, он в растерянности опустился на кровать: чем же теперь заняться? Бездна времени, которое не знаешь, чем занять, нависла над ним давящей глыбой. Это было страшно. Пытаясь убежать от всё сильнее овладевавшего им страха перед этим страхом, Левенцов лихорадочно набросился на обычные утренние дела: уборку постели, гимнастику, душ, бритьё. Но страх напоминал о себе суетливостью движений, дрожащими, точно с похмелья, пальцами. От сознания, что он пытается убежать от страха перед страхом, сделалось совсем уж страшно. Не убрав как следует постель, прекратив, едва начав, гимнастику, ограничась вместо душа судорожным каким-то ополаскиванием лица после бритья, Слава в смятении остановился у окна.

Воскресный рынок за окном сонно ворочался тысячами тел. «Продают и покупают, то есть ничего не делают, а спокойны, — не без зависти подумал Левенцов. — Может, мне другим изобретением заняться? Нет, устал. Не те уж годы. Но что же тогда делать?» Он кинулся к Татищеву, но тот, судя по молчанию телевизора, ещё спал. Тогда Левенцов пошёл на кухню, сфальшивив перед собой, будто его, как всегда, интересует содержимое холодильника. Содержимым оказался кусок какой-то заморской суррогатины. Съев его без аппетита, Левенцов прислушался: не зашумел ли телевизор у Татищева? Вдруг выражение отчаяния в его лице сменилось на улыбку.

Наташа... Как же он сразу-то не вспомнил? К ней! Немедленно!

Левенцов сунул в сумку плащ и спортивную шерстяную шапку, а шерстяной свитер надел сразу на себя. На подходе к железнодорожной станции он изумлённо уставился на балаган коммерческих ларьков. Он проглядел, как тот здесь вырос. Ещё вчера, казалось, одиноко торчали на приволье лишь «забегаловка» с претенциозным названием «кафе», газетный киоск да книжная палатка, и вдруг — целый городок! Всё в этом городке: от воспроизводимой у одной из палаток через усилитель трескотни на английском языке до ярких, беспорядочных, «шумных» красок — кричало истеричным криком, от которого закладывало и уши, и глаза. Наименования ларьков, написанные на металлических фронтонах русскими буквами, были всё-таки нерусские. Наиболее приближавшей к русской была надпись: «Нео-стиль». В витринах ларьков пестрели этикетками поддельные американские, итальянские ликёры, американский, немецкий, голландский спирт, была также водка сомнительной национальности, а на закуску лимоны, апельсины, нерусский шоколад и нерусская жевательная резинка. Из вин в ларьках была лишь известная Левенцову по печальному собственному опыту отравы таинственного производства с этикетками: «Агдам», «Мадера». У кустарей на пятачках между палатками выбор был богаче: грибы, квашеная капуста, шпиг...

Газетный киоск, как и в доперестроечные годы, оказался среди бела дня закрыт. Только в доперестроечные годы на закрытом окошке висела обычно надпись: «Принимаем почту», а теперь была другая: «Принимаем ваучеры». Людские лица тоже разительно переменились. Растерянные, пустые, озабоченные, злые, равнодушные, они как будто ушли в себя со своими личными проблемами. Тревожили выделявшиеся благополучным видом. У таких не только лица, но и монументальные фигуры в единообразной, униформенной одежде явно отдавали чем-то неродным. В их взглядах было что-то от каменных статуй. Левенцову показалось, что он уже видел этот стандартный сорт

людей когда-то раньше, но не в реальной жизни, а во сне или в кино.

В закутке между палатками валялся пьяный с опухшим, небритым, ободранным лицом. Его словно бы не замечали. Ещё двое пьяных, мужчина и женщина, хотя и не валялись ещё, но явно тяготели к этому. Кто из них кого ведёт, не ясно было: поминутно и он, и она повисали на шее друг у друга. Оба были неопределённого внешне возраста. Мужчина одет в женскую кофту и рваные штаны. На женщине болталось незастёгнутое грязное пальто, из-под которого выглядывало совершенно голое тело. За ними семенила в грязном платьице девочка лет трёх, посиневшая от холода, босая. Первым повалился на асфальт мужчина. Женщина попыталась его поддержать и сама упала. Девочка заплакала. Левенцов, достав носовой платок, опустил перед ней на корточки и стал вытирать её мокрое, чумазое лицо. Она, перестав плакать, показала пальчиком на пьяных своих родителей и проговорила что-то невнятное, но с явным осуждением. Он приставил носовой платок ей к носу и велел высморкаться. Она исполнила приказание незамедлительно. Родители между тем поднялись. Держась друг за дружку, они невидяще озирались на прохожих. Левенцов поцеловал девочку в щеку и быстро пошёл прочь, но не выдержал, оглянулся. Девочка смотрела на него растерянно. Она прошла немного за ним вслед, оставив позади своих родителей. Он изобразил улыбку на лице и помахал рукой. Девочка в ответ радостно улыбнулась и, подняв свою крохотную ручку, тоже помахала. Он подошёл к двум дежурным милиционерам.

— Что мы можем? — возразили они на его призыв что-то сделать. — Протрезвятся и скажут, отдайте дочь.

— Она же простудится, на ней ботинок нет!

— Заберём сейчас, — уныло сказали милиционеры.

— Я живу недалеко, — сообщил Левенцов. — Я мигом сбегая за паспортом, и вы отпустите девочку со мной, я куплю ей обувь, пока эти протрезвятся.

– Нет, идёте в отделение, начальник выделит сопровождающего, паспорт не потребуется.

– Всё-равно придётся сбегать, у меня денег мало при себе. Отделение вы имеете в виду то, что при вокзале?

– Да.

– Хорошо, я мигом.

Прибежав домой, Левенцов попросил у Татищева денег.

– Чем больше, тем лучше, – сказал он. – Потом расскажу, зачем.

Татищев, вынув из бумажника всё, что там было, отложил себе тысячу, остальное отдал, не считая. Левенцов кинулся на станцию. Девочка сидела в остеклённой конторке у дежурного капитана. Увидев Левенцова, она просияла, поднялась навстречу. Капитан открыл ей дверь. Она выбежала и, поднятая Левенцовым, уютно устроилась у него на руке, обняв его за шею.

– А где родители? – поинтересовался Левенцов.

– Отдыхают, – капитан кивнул на обитую железом дверь, в которой было маленькое квадратное окошечко.

– Адрес они сказали?

– Их адрес нам хорошо известен. Участковый давно ходатайствует о лишении их родительских прав. Наша бумага на этот счёт в суде пылится.

– Вы дадите мне их адрес? Может, как-нибудь проведаю.

Капитан написал адрес и кивнул на стоявшего у конторки сержанта:

– Он пойдёт с вами.

Выйдя на привокзальную площадь, они двинулись наискосок, через автобусную станцию, на рынок. По пути Левенцов купил шоколадку. Девочка, держась рукой за его шею, приняла этот дар со счастливым изумлением и стала любоваться красочной обёрткой. Отсутствие родителей её несколько не тревожило.

– Давай знакомиться, – сказал он. – Меня зовут дядя Слава, а тебя как?

Серьёзно посмотрев на него, она старательно выговорила:

– Дядья Сйава.

— Совершенно верно, дядя Слава, — подтвердил он и дотронулся до неё пальцем. — А тебя как зовут?

— Натася, — произнесла она с внезапным удалым весельем и солнечно заулыбалась.

Быстрым движением он притянул к себе её голову и несколько раз поцеловал. Потом снял обёртку с шоколадки. Наташа с сосредоточенным выражением поднесла шоколадку к губам и нерешительно куснула. Подвигав щёчками, оживилась и куснула второй раз, посмелее. Заметив, что дядя Слава за ней наблюдает, она кокетливо потупилась, стесняясь своего блаженства.

Они подошли к рынку. Здесь было несколько вертушек и контролёры с повязками на рукавах. Рынок брал теперь с покупателей по пятьдесят рублей за вход. Сержант провёл через контроль бесплатно. Помог он и при выборе вещей для Наташи. Он нарочито строго допросил торговку, откуда, что, почём. Торговка сделалась чрезвычайно любезная. Для Наташи нашлись удобные, тёплые и недорогие башмачки, рейтузы, свитер и добротное, хотя немного длинноватое, зимнее пальто. Расплачившись, Левенцов повёл приодевшуюся Наташу в столовую. Она с нескрываемым наслаждением, не торопясь, съела бифштекс с тушёной капусткой и картошечкой, потом выпила стаканчик кофе. Из столовой она вышла раскрасневшаяся, как из баньки. Судя по её счастливому лицу, она, видно, думала, что чёрные дни в её жизни миновали. Левенцову было совестно и страшно с ней расстаться. Но сержант поглядывал уже нетерпеливо на часы. Они вернулись в отделение.

— Они пропьют всё это, — хмуро произнёс капитан, увидев Наташины наряды.

— Я буду ходить к ним, прослежу, — ответил Левенцов.

Капитан махнул рукой с безнадёжным видом.

— Если суд лишит их родительских прав, её куда, в детдом отправят?

— Куда же ещё?

— Нельзя ли мне её усыно... — простите, — удочерить?

– Это не по нашей части. В детдом, наверно, обратиться надо.

– Разве обязательно ждать, когда отдадут в детдом? Может, сразу в суд?

– Обратитесь в суд...

– Она будет здесь томиться, пока те не очухаются?

– Сейчас придёт машина, отвезём её в ясли, у нас с ними договорённость на такие случаи.

Левенцов поднял Наташу и сказал:

– Я к тебе в гости завтра приду, ладно?

Поцеловав, он опустил её и пошёл на выход. Уже открыв дверь он оглянулся. Наташа, пряча от него полные слёз глаза, потупилась, он вернулся, прижал девочку к себе и, ощутив детское нежное дыхание и всё её доверчивое, ставшее родным тельце, почувствовал, что сам готов заплакать. Он мягко начал убеждать Наташу, что не обманет, что всё будет хорошо, надо только подождать немного. Она наконец поверила. Уходя, он опять оглянулся у двери и помахал рукой. Она в ответ тоже помахала.

Он брёл по улицам, натываясь всюду на чужие лица, чужие рекламные призывы, чужие наименования. Никогда ещё ему не было так одиноко. Он чувствовал себя, как человек, вернувшийся из космической экспедиции на родную землю и увидевший, что родного на земле не осталось ничего.

Домой он вернулся в восемь вечера с ноющими от усталости ногами. Татищев, крайне возбуждённый, с горящими глазами и дымящей сигаретой, бегал по прихожей.

– Слышал? – схватил он Левенцова за руку. – В Москве народ восстал, бой в Останкино идёт, телепередачи отключили.

– Только этого нам и доставало, – с апатией ответил Левенцов, направляясь в свою комнату.

Он разделся и принял душ. Выйдя из ванной, опять подвергся «нападению» Татищева, кричавшего что-то про политику. Убежав от него, Левенцов заперся в своей комнате и повалился спать.

В три часа ночи он проснулся с болезненно ясной головой и ощущением тревоги. Левенцов поднялся и принялся ходить по комнате. Тревога всё усиливалась. Он решил, что это давит разверзшаяся пустота, достигнутая отречением от жизни. Затем в голову пришло, что набросанное на бумаге потребует ещё многих лет чёрного труда по воплощению в реальную конструкцию, и, следовательно, пустоты не будет. Но тут же Левенцов почувствовал, что к этому чёрному труду у него нет ни желания, ни силы, его, оказывается, занимала лишь творческая сторона проблемы. «Чем тогда коротать время? — назойливо крутилось в голове. — Жениться?» Но как же тяжко будет, если, женившись на Наташе, Левенцов увидит, что даже и она не спасёт от пустоты! Какими глазами он тогда посмотрит в дивные «инопланетные» глаза? Глазами жалкого лгуна, ничтожества, предателя... Нет, только не это! А что тогда? Истязующая карусель в голове начинала круг сначала.

В конце концов Левенцову начало казаться, что выхода у него никакого нет. Он почувствовал удушье. Это была уже истерика. Левенцов распахнул окно и тут только заметил, что уже рассвело. Он глянул на часы и не поверил глазам: восемь без пяти, на работу опоздал. «Ну и ладно, — подумал Левенцов с апатией и написал заявление на отгул. — Сейчас „лягу-прилягу“ сделаем, а как встану — отнесу». Он лёг и забылся ненадолго. Очнулся опять с болезненно ясной головой. «Заболел, наверно», — мелькнуло в голове, и Левенцов с надеждой стал прислушиваться к телу. Но нет, ни озноба, ни слабости в теле не было. Со злостью он вскочил с постели, со злостью побрился, потом со злостью пошёл на кухню готовить чай.

Из комнаты Татищева доносились пушечные выстрелы. «С утра боевики уж крутят», — сумрачно подумал Левенцов. Поставив на плиту чайник, он постучал к соседу. Не услышав отзыва, вошёл. Татищев смирно сидел в кресле перед телевизором, в руке у него дымила сигарета. Судя по внушительной горе окурков, похоронивших пепельницу, можно было подумать, что Глеб Иванович беспрерывно курил всю ночь. По телевизору действи-

тельно показывали боевик: танк на экране бил из пушки прямой наводкой по окнам многоэтажного, знакомого как будто здания.

– Можно к тебе, Глеб?

Татищев не пошевелился. «Спит», – подумал Левенцов и тихо подошёл с намерением забрать сигарету из руки у спящего. Но Глеб не спал. Заметив Левенцова, он молча кивнул ему на табуретку и ругнулся в адрес телевизора, но не зло и энергично, как всегда, а потерянно, устало:

– Сволочи...

Левенцов долго не мог поверить, что это не кино показывают, а настоящий расстрел русских русскими в Москве на Красной Пресне.

– Как в девятьсот пятом, – пробурчал Татищев. Через паузу добавил. – Про тридцать седьмой ещё бубнили, сволочи...

Бросивший давно курить, Левенцов машинально взял сигарету, закурил и сел рядом с товарищем на табуретку. Они курили и молчали, лишь изредка роняя одно-другое слово. Через час Левенцов снял с плиты на кухне выкипевший и почерневший на огне, точно здание на Красной Пресне, чайник...

4

Скобцовой Алле было в этот день не до политики. Накануне вечером позвонил один из её «челноков» и доложил о возвращении с товаром из Китая. Наутро она приняла у него товар. Для таких операций ей служил бревенчатый дом на городской окраине, который она снимала за небольшую плату у владевшей им по наследству отдалённой родственницы. Здесь у неё был и склад, и рабочий кабинет, заниматься своим бизнесом дома при матери она избегала.

Приняв товар и пощёлкав клавишами калькулятора, она с довольным видом хлопнула пальцами о ладошку и выдала агенту долларовый гонорар, сказав, как всегда:

– Премияльные скорректируем по реализации.

Отсортировав часть привезёного, она погрузила её в свой «жигулёнок» и стала развозить по точкам сбыта.

Уже смеркалось, когда она, проезжая у вокзала мимо коммерческих ларьков, услышала весёлый оклик:

– Алка, заворачивай до нас!

Притормозив, она оглянулась и увидела группу знакомых по коммерческому делу, окруживших чёрного цвета «волгу». На багажнике машины были расставлены бутылки «Советского шампанского» и стаканы. За «волгой» тянулась цепочка других машин, среди которых была пара «мерседесов», одна «вольво» и одна «тойота». Ей приглашающе махали рукой. Дав задний ход, она подъехала и вышла из машины. Тут же был наполнен для неё стакан:

– Давай, Алк, в честь победы над «совками».

Она выпила, потом спросила:

– А что там?

– Как крыс, советских голодранцев придушили... Давай ещё.

– Спасибо, хватит. В «Центральный» собираетесь? – кивнула она на строй машин.

– Выше подымай. Загородный ресторанчик тут один организовали, грандиозную закуску с шоу обещают. Айда с нами!

– Спасибо, не могу, устала. На колёсах целый день.

Пожелав компании хорошо повеселиться, Алла села за руль. Её «жигулёнок» стал набирать скорость, но внезапно встал, как вкопанный. Сердце у Аллы билось учащённо, она увидела Левенцова. Он шёл с отрешённым видом. Подойдя к окошку одного из незакрывшихся ещё ларьков, спросил что-то у торговца. Получив, видимо, отрицательный ответ, направился к другому не закрытому ларьку, расположенному в ближнем к шоссе ряду, в трёх шагах от Аллиной машины. Перед ларьком пьяно приплясывал с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой знакомый ей охранник. Обойдя его и наклонясь к окошку, Левенцов спросил:

– Вина какого-нибудь нет?

Охранник, перестав приплясывать, схватил его за куртку и потянул к себе:

– Мужик, наши победили!

Левенцов выпрямился, брезгливо посмотрел на пьяного. Тот отпустил его куртку и наполнил стакан:

– На, пей, мужик, угощаю за победу.

– Прости, уважаемый, за какую? – поинтересовался вежливым, мягким баритоном Левенцов.

– На-а-аши победили! – с пьяной тупостью прокричал охранник, крутя оловянными глазами. – Пей за победу, мужик!

– Если ты про расстрел в Москве, то там не ваши победили, – возразил Левенцов. – Все мы, и наши, и ваши, там проиграла...

В оловянных глазах у охранника сверкнуло нечто трезвое, выразившее единственное чувство – злобу. Размашистым движением руки он плеснул водку из стакана в Левенцова. Левенцов уклонился и ударом снизу послал стокилограммового охранника в нокаун. Не дожидаясь, когда тот поднимется, он пошёл к переходу через автомагистраль. Алла увидела, как из ларька выскочили ещё два охранника, эти были потрезвее. Вместе с поднявшимся коллегой они кинулись к стоявшему позади её машины «москвичу». «Москвич» резво рванул с места и ушёл вперёд. Она двинула свою машину следом.

«Москвич» настиг Левенцова, когда тот подходил к своему подъезду. Преследователи остановили машину впритирку к тротуарной бровке и разом выскочили из неё. Не успел Левенцов опомниться, как очутился, стиснутый со всех сторон, в машине. Обогнув дом с другой стороны, «москвич» снова выскочил на автомагистраль, Аллин «жигулёнок» – следом. Было уже темно, машины шли по шоссе с включенными огнями. Хотя поток был редок, «москвич» на обгон не шёл, это облегчало Алле преследование. За городом «москвич» свернул на просёлочек. Отпустив его на полсотни метров, Алла выключила фары и свернула следом.

Внезапно огни «москвича» пропали. Включив фары и увидев рошу впереди, Алла тут же опять выключила их. Её «жигулёнок»

в крошечной тьме подкрадывался к роше. Дорога сделала резкий поворот, и Алла увидела огни остановившейся машины. Её появления не заметили, поскольку рядом с «москвичом» кипела драка. Взревев мотором, с включившимися фарами, Аллин «жигулёнок» ринулся вперёд.

Ослеплённый кровью, заливающей глаза, Левенцов почувствовал вспышку света, но связал это с помутнением сознания, а рёв мотора принял за гул в ушах от полученных ударов. Боли он почти не чувствовал, томила лишь досада, что умрёт так глупо. Когда его вытащили из машины, тот, которого он послал в нокдаун у ларька, подошёл к нему со стаканом водки и предложил с издёвкой выпить «за победу». Левенцов принял у него стакан и огляделся. Окружили его плотно. Один стоял за спиной, другой, поднёсший стакан, лицом к лицу с ним, третий — с правой стороны, а с левой подпирал капот машины. «Надо сбивать этого», — подумал Левенцов о стоявшем с ним лицом к лицу. На вид парень был громада. Мясистая, квадратная голова, бычья шея, отсутствие признаков интеллекта, всё это впечатляло злобной мощью. Но в слоновьей фигуре парня ощущалась рыхлость, и он был пьян, а крепость удара своей правой Левенцов уже на нём проверил. Резким кистевым движением он выплеснул водку в глаза стоящему справа, пустой стакан с силой швырнул наугад в стоявшего за спиной, и тут же четким ударом снизу послал стоявшего перед ним во второй раз в нокдаун. Без промедления Левенцов рванулся к обочине, где был спасительный кустарник, но кто-то успел подставить ногу. В падении ему удалось почти достичь уже кустарника, и тут его ошеломила тяжёлая удар в ухо. «Кастет», — зло подумал Левенцов, ощутив кровь, обильно хлынувшую по щеке и шее. Он обернулся в ярости с намерением ответить на удар, но не успел, его опередили ударом в лоб над бровью. От крови, хлынувшей в глаза, Левенцов ослеп и получил ещё удар по глазу. Тело наливалось слабостью. «Не надо было оборачиваться», — подумал Левенцов с раскаянием. Чувствуя, как противно липнет к телу промокшее бельё, он в приступе бессиль-

ной ярости свалил подножкой тяжёлого противника на землю, поймал вслепую его горло и принялся душить. Довести это дело до конца ему не дали, ударив кастетом по затылку. Откатившись в сторону, Левенцов с трудом поднялся на ноги, чувствуя, что сознание сейчас его покинет. Ещё один удар – и всё. Собиравшихся его добить вспугнул Аллин «жигулёнок».

Алла выскочила из машины и, невидимая за светом фар, скользнула под прикрытие кустарника. Трое кинулись к её «жигулёнку», но тут раздались выстрелы. Трое бросились на землю. Услышал выстрелы и Левенцов. Алла стреляла из кустов по шинам «москвича». Когда машина накренилась, она позвала негромко: «Сла-а-ав». Левенцов поспешил на дружеский призыв немедля. Прячась за кустами, они подбежали к «жигулёнку». Охранники вскочили, когда «жигулёнок» начал маневрировать, разворачиваясь. Алла сунула Левенцову пистолет:

– Пальни в воздух, Слав!

Левенцов пальнул в окно, и один из подбегавших неожиданно рухнул. Двое других благоразумно прыгнули в кусты.

Выведа «жигулёнок» на шоссе, Алла завернула его к обочине и остановила. Откинувшись на сиденье с закрытыми глазами, она дрожащим голосом произнесла:

– Как самочувствие, Слав?

– Нормально, боль начинаю ощущать, кастетом били. Если бы не ты... Откуда ты взялась-то?

– Потом, Слав, – сказала Алла, не открывая глаз, её била дрожь.

Успокоившись, она глянула в сторону просёлочной дороги:

– Заскучали там. Я им, кажется, оба колеса пробила.

– А я, кажется, подстрелил нечаянно одного. Не дай Бог, убил ещё.

– Не бери в голову. Я их знаю, никчёмные людишки, – с этими словами она дала газ, и «жигулёнок» весело помчался к городу.

Они приехали домой к Алле. Алевтина Владимировна, взглянув на разорванное ухо Левенцова, на рваные раны под

глазом и на голове, на окровавленную одежду, промолвила негромко:

– Господи, зверьё какое! Вам, молодой человек, повезло, что я врач-хирург. Сейчас быстренько вас заштопаю, вот только есть небольшая проблема: у меня совсем нет обезболивающего.

– Тоже мне, нашла проблему! – сказала Алла, достав из бара бутылку армянского пятизвёздочного коньяка. – Выпей, Слав.

– О-о! – изумился Левенцов, взглянув на этикетку. – Пожалуй, безнравственно переводить такое добро на обезболивающее. Я лучше потерплю.

Но Алла уже наполнила стакан:

– Выпей, у нас этого добра достаточно... Подожди, я лимончик принесу.

Левенцов пил мелкими глотками, смакуя. В процессе обработки ран и зашивания их он ни разу не поморщился. Забинтовав его залатанную швами, точно старый футбольный мяч, голову, Алевтина Владимировна сказала:

– Вы мужчина! Идите теперь в ванную, умойтесь. Одежду там оставьте, я сейчас халат вам дам.

После того, как Левенцов смыл с тела кровь и надел махеровый, цвета спелой вишни, фешенебельный халат, его пригласили к ужину. Стол щедро был уставлен и закуской, и спиртным. Он приналёг на марочное вино, женщины выпили по рюмке коньяка. Левенцов и Алла попеременно рассказывали Алевтине Владимировне о приключении.

– Сам по себе факт избияния меня не удивил, – поведал Левенцов. – Все сейчас злые стали. Но я поражён мотивом. Прозевал момент, когда агония перестройки обернулась отвратительным мутантом. Только сегодня, увидев его на экране телевизора, я носился по улицам и вглядывался в лица. Меня поразило безразличие. Потом этот пьяный вопль: «Наши победили!» Это уже было мерзко. В подонках и прежде не ощущалось недостатка, но чтобы принародно ликовать по случаю расстрела соотечественников... В советской России на такое ни один подонок не решился бы. Это другая страна, это не Россия.

— Не бери в голову, Слав. — Алла хлопнула пальчиками о ладошку. — Это временно. У нас с конца прошлого века до двадцать четвёртого года этого вообще мрак был. Прошло ведь! А мы восемь годков всего лишь во мраке, обижаться нам грешно.

— Как мы легко о Родине! — произнесла с укором её мать. — Вроде тех оболваненных юнцов, что восклицают: «Истина на дорожке Родины!». Абстрактная, расплывчатая, переменчивая в пространстве и во времени истина им дорожке единственного во Вселенной образа жизни, без которого они сами обращаются в нечто абстрактное, расплывчатое, переменчивое! Отправить бы их в такое место, где ни добра, ни зла, ни трудолюбия, ни лени, ни трезвости, ни безрассудства, а одни лишь голенькие истины, живо вспомнили бы о Родине!

— Что ты меня Родиной всё тычешь, мам! — возмутилась Алла. — Люблю я Родину, люблю! Только, в отличие от тебя, не идеальную, а какая есть, понимаешь? Ты просто не хочешь себе сознаться, что не в Родине дело, а в ностальгии по привычному, которое ты в своё время поругивала крепко, а когда ушло, вдруг мило стало.

— Поругивала я любя, как поругивают родного человека, — возразила Алевтина Владимировна. — А теперь чужое торжествует, и это чужое я не поругиваю, а отвергаю. Мне вот даже эти эрзац-продукты в глотку не идут, потому что все они не русские.

— Не все, мам. Селёдка вон, — Алла кивнула на тарелку с сельдью. — не русская тебе?

— Не русская, — нарочито по-детски беспомощно произнесла Алевтина Владимировна. — Канадская это селёдка, доченька, продавщица мне сказала.

— Ну и что! Канадскую селёдку съешь, нерусской что ли станешь?

— Господи, какой же ты ещё ребёнок! Неужели ты не понимаешь, мы же превращаемся в колонию!

Разговор принимал характер семейного спора между матерью и дочерью. Обе они немного рисовались в споре перед

гостем, а он искусно делал вид, что потрясён их умом и эрудицией.

В двенадцатом часу ночи Левенцов объявил, что ему пора домой, а то завтра на работу.

– Шутить изволите, молодой человек, – возразила Алевтина Владимировна. – С разбитой головой, и на работу! Я как врач прописываю вам постельный режим минимум на неделю. Больничный я сама оформлю. Сейчас постелю вам на диване в библиотеке.

Заснул Левенцов быстро, но в четвёртом часу утра проснулся с болезненно ясной головой. В голове крутились мысли об изобретении. Перевести мысли на что-нибудь полегче не удавалось. Мыслительный аппарат помимо воли продолжал анализ сделанного им открытия. И вдруг Левенцов замер, задержал дыхание: мыслительный аппарат нашёл принципиальную ошибку в сделанных вчерашней ночью выкладках. Изобретённое им, как он и предчувствовал, опять «перпетуум-мобиле». Левенцов вздохнул было с облегчением, но голова заработала ещё интенсивней, доискиваясь теперь ответа на вопрос, настолько ли ошибка принципиальна, чтобы отвергнуть казавшийся таким блистательным вариант. «Да будь ты проклято моё проклятие!» – выругался он и, с яростью перевернувшись с боку на бок, вдруг застонал от боли в рваном ухе. Боль была изрядная, а ругнуться по этому поводу уже не доставало свежести, слишком много энергии отняло предыдущее ругательство. Левенцов принялся подыскивать для головы безболевого положение на подушке, но скоро вынужден был прийти к печальному выводу, что такого положения не существует. Обезболивающее действие спиртного кончилось. Становилось хуже даже, чем от мыслей об изобретении.

Тщетно пробовал Левенцов уснуть, пристраиваясь на подушке не головой, а шеей. Было такое впечатление, что головные раны связаны с шеей сигнальным устройством, стоило прижаться к подушке шеей, как тут же остро простреливало в голове. Промучившись так до пяти утра, он поднялся, включил большой

свет, надел халат и стал обходить остеклённые книжные стеллажи, подымавшиеся в несколько рядов до потолка, потом поси-дел у окна, зашторенного портьерой, за массивным красного де-рева столом на массивном стуле. Потом взял наудачу с полки книгу. Оказался Герцен, «Былое и думы».

Раскрыв книгу наугад, он прочёл: «Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которая наи-больше отстоялась, — на страну, которой Европа начинает се-деть, — на Голландию: где её великие государственные люди, где её живописцы, где тонкие богословы, где славные мореплавате-ли? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятётся, не бушует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои смеющиеся деревни на обсушенных болотах, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: „Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели за-вещали мне это богатство, мои великие художники украсили мои стены и церкви, мне хорошо, — чего же вы от меня хотите?..“»

«Однако...» — усмехнулся он, вспомнив своего гостя из гал-люцинации. Вернув книгу на полку, он взял наугад другую. Эта оказалась о Томазо Кампанелле.

Он сел в кресло и, листая книгу, начал выборочно читать, всё больше заинтересовываясь и забыв о боли. Его поразило сход-ство своих взглядов с образцом мышления великого итальян-ского подвижника. И судьба сходилась в главном. Ни изнури-тельными каменными мешками, ни жуткими инквизиторскими пытками судьба, слава Богу, его самого пока не проверила, но всё-таки он тоже был подвижник, отказавшийся от личной жизни ради будущего человечества.

«Но Кампанелла не сломался, а я вот, кажется, сдаюсь, — по-думал Левенцов, дочитывая заключительную главу. — Он сто-крат мужественнее меня, но мудрее ли? И ещё неизвестно, как он повёл бы себя, узнай, что по прошествии сотен лет главный вывод его книги „Город солнца“, восторжествовав в России, бу-дет затем с улюлюканьем опять отвергнут, вывод о том, что всё зло на земле от частной собственности?»

Уже светало. Голова продолжала сильно болеть. Выключив свет, он подошёл к окну и отодвинул портьеру. Окно выходило на уютный двор. Внизу стояла Аллина машина.

В дверь постучали, и вошла сама Алла, свежая и энергичная, одетая в турецкий свитер и американский джинсовый костюм, по куртке которого полукругом шла загадочная надпись по-английски: «Будущее будущего». Подойдя к нему, она тронула его забинтованную голову:

– Больно, бедненький?

– Не очень. Ты машину всегда под окном держишь?

– Забыла вчера в сарай загнать, – беззаботно махнула она пальцами. – Я по делам поеду, Слав. Мама в поликлинику ушла, больничный тебе оформит, у неё там подруга терапевтом работает. Завтрак на столе на кухне. Поправляйся, к обеду я приеду.

– Мне домой бы надо, – сказал Левенцов.

– Не надо, – возразила Алла. – Забыл, где тебя вчера повязали? Здесь пока у тебя дом, ясно?

– Глеб будет беспокоиться. Да и вещи мне некоторые нужны: свежая рубашка, бритва, зубная щётка...

– Вон бумага на столе, напиши ему записку, я всё доставлю.

– На работу ещё надо позвонить.

– Телефон в прихожей, на тумбочке, – сказала она и, взяв у него записку, вышла.

Левенцов наблюдал в окно, как Алла садится в машину.

Она помахала ему рукой и укатила.

5

Умывшись и позавтракав, Левенцов вернулся в библиотеку, лёг и попытался уснуть. Повреждённое ухо пульсировало болью, и хоть глаза слипались, сон не шёл. Левенцов встал, нашёл на кухне бутылку коньяка, недопитого вчера вечером, щедро плеснул себе в бокал и залпом выпил, как какую-то водку. Ему было не до смакования вкуса и аромата, он лечился, стремился заглушить надоедливую боль.

Вновь вернувшись в библиотеку, Левенцов подошёл к книжным полкам.

— Ладно, — сказал он. — Поищем что-нибудь усыпляющее или отвлекающее от боли.

Скользя взглядом по корешкам книг Левенцов вдруг наткнулся на имя, которое запало ему в память много лет назад. В юности Вячеслав открыл для себя фантастические рассказы Рея Брэдбери. В одном из них, «О скитаниях вечных и о Земле», упоминался американский писатель Томас Вулф, умерший совсем молодым. В рассказе некий богач и графоман из 2257 года выдёргивает Вулфа за секунду до его смерти в мир будущего, чтобы тот написал ещё один роман о реалиях будущей Земли. Потому что по мнению богача только такой великий писатель как Вулф может это сделать. Левенцова заинтересовал неизвестный ему американский писатель столь выдающихся способностей, и он запомнил имя Томаса Вулфа. И вот теперь он с удивлением увидел на полке толстый том романа Вулфа «Домой возврата нет». Предвкушая удовольствие от чтения, Левенцов сел в кресло и открыл книгу, но вскоре испытал жуткое разочарование. Дальше двух первых глав он продвигаться не смог! Было полное ощущение, что, образно говоря, Левенцову пришлось двигаться, преодолевая мощный встречный поток разнообразных слов, с трудом нащупывая ногами дно сюжета. Столько «воды» в тексте он никогда ни у кого не встречал.

«Возможно, Томас Вулф действительно является великим американским писателем, — подумал Левенцов. — Возможно, виноват переводчик. Но читать этот словесный понос я не буду!»

Он решительно вернул книгу на полку.

«А как же мнение Брэдбери? — задал себе вопрос Левенцов. — Наверно, Рей, написавший четыре сотни рассказов, просто завидовал умению Вулфа за месяц-два создавать такие толстенные тома романов. Около десятка романов самого Брэдбери больше подходят на сборники рассказов и, на мой взгляд, менее интересны, чем просто рассказы. А может, Брэдбери пошутил

насчёт гениальности Вулфа, а я принял его слова всерьёз. Ведь в своём рассказе Брэдбери называет Томаса Вулфа „совершенно забытым писателем“ и восхищается этим Вулфом только придуманный богач-графоман из будущего. Лично я отныне тоже совершенно забуду имя Томаса Вулфа!»

Левенцов подошёл к другой книжной полке и обнаружил на ней томик повестей Константина Паустовского. Вячеслав сел в кресло и погрузился в удивительную прозу, в сравнении с которой словоблудие Вулфа тянуло максимум на бессвязный поток графомании. Коньяк вскоре несколько унял боль в раненом ухе. К тому же Левенцов читал без перерыва уже несколько часов, да ещё после мучительной и практически бессонной ночи. Глаза его устали, он всё чаще закрывал их, давая отдых, и, наконец, голова его опустилась в забытии на грудь.

Когда Левенцов вновь проснулся, он увидел перед собой очаровательную картину. Алевтина Владимировна сидела напротив, читая уроненную им книгу. Её светлые волосы лежали на плече по одну сторону шеи, рассыпаясь по кофте и открытому участку груди, и это было красиво. Строгая, сделанная с утончённым вкусом прибранность в одежде, покойная, расслабленная поза. Своей интеллигентной красотой Алевтина Владимировна явила штрих, недостававший комнате до совершенства. Глазам Левенцова предстало нечто вечное. Ощущая эстетическое наслаждение, Вячеслав вместе с тем отметил, что совершенству этому недостаёт движения, какое пробуждает потребность перевернуть весь мир, довести его до идеала.

Заметив его пробуждение, Алевтина Владимировна с улыбкой проговорила:

— У вас, Вячеслав, хороший художественный вкус. Проза Паустовского вообще вся поэтична, а в этом томе самые избранные вещи. Вы знаете, что тридцать лет назад, летом 1964 года в Советский Союз с концертами приезжала знаменитая актриса и певица Марлен Дитрих?

— Я тогда, как говорится, ещё пешком под стол ходил...

— Так вот, когда Дитрих сошла с трапа самолёта, её спросили, с кем бы она хотела встретиться, и та к изумлению встречающих и журналистов назвала имя Константина Паустовского!

— Неужели? — удивился Левенцов. — Представляю недоумение и возмущение партийных органов и минкульта.

— Надо думать! — улыбнулась Алевтина Владимировна. — Паустовскому тогда было семьдесят два года, он страдал астмой и перенёс несколько инфарктов. Марлен Дитрих сказали, что он не может с ней встретиться, потому что тяжело болен и находится в больнице. Она очень расстроилась.

— И чем всё кончилось? Они так и не встретились?

— Встретились, конечно! Паустовского с женой и врачом привезли на концерт Дитрих в Центральный дом литераторов в Москве. Когда он поднялся на сцену, Марлен, не зная русского языка, чтобы выразить писателю своё восхищение, встала перед ним на колени.

— Невероятно!

— Дитрих непросто было это сделать: во-первых, ей самой было уже шестьдесят три года, а во-вторых, она была в узком концертном платье. Поэтому и подняться с колен Марлен самостоятельно не смогла. Паустовский, конечно, хотел ей помочь, но подбежавший к сцене врач крикнул, чтобы тот ни в коем случае даже не пытался это сделать. Когда Дитрих помогли встать, Паустовский поцеловал ей руку, это ему запретить никто не мог.

— Романтичная история, — сказал Левенцов. — Я до сих пор считал, что Паустовский писал только сказки для детей, но вот начал читать этот том... А какую вещь вы бы мне посоветовали?

— Мне особенно «Разливы рек» нравится, читали?

— Не успел ещё, — смутился Левенцов.

— И «Чёрное море» прочтите, если не читали. Это о расстреле лейтенанта Шмидта, благороднейший был человек... Как ва-ша голова? Тошноты, озноба нет?

— Вроде нет. Спать вот только сложно. На шее ухитряюсь.

— Ещё день-два, и будете спать нормально. Больничный вам я оформила.

– Спасибо, Алевтина Владимировна!
– Пустяки. Пойду обед готовить. Дочь заказала борщ, а вы что бы хотели?

– Люля-кебаб, – без раздумий ответил Левенцов. – Забыл уж, в каком году ел натуральный люля в последний раз, в конце восьмидесятых вроде, в общем, в детстве.

– Да, люля и в шашлычных, и в рядовых столовых тогда были. Полтинник всего порция, я помню. Знаете, моя дочь искренно восхищается нынешним эрзац-изобилием. Конечно, если сравнивать с девяностым годом... Натурального-то изобилия она не видела. А я помню, мы с подружками позволяли себе со стипендии такие пиры закатывать, нынешнему миллионеру не придется. Главное, каждому, а не только миллионерам, каждому простому смертному доступно было. Впрочем, нет, не это главное, главное – чувство общности, радости, беззаботности. Печалиться о завтрашнем дне и в голову тогда никому не приходило, какое ещё благо можно сравнить с этим?

– Вы чуточку идеализируете, по-моему. Я помню четверостишие тех времён:

«В руке сетка,
На руке Светка,
Позади пьяный муж,
Впереди пятилетка...»

– Я тоже помню этот стишок. Думаю, романтики капитализма в этом виноваты. Как черви-древоточцы, источили корабль изнутри, а теперь кричат: «Держи вора!» Тех, которым вместо самой жизни только уровень жизни нужен, на Запад надо было сразу выдворять, не нам тогда, а Западу пришлось бы перестройку делать.

– Я, к сожалению, проглядел такие глубинные процессы. Вглядеться повнимательней, видимо, мешало упомянутое вами чувство «общности, радости, беззаботности».

– Так было всегда, – грустно заметила Алевтина Владимировна. – Рим, достигнув величия, погрязает в беззаботности, и его захватывают варвары... Пойду обед готовить.

Левенцов стал читать рекомендованное «Чёрное море». Погрузясь в чтение, Вячеслав не заметил, как спустя час в библиотеку вошла Алла. Подкравшись сзади, она закрыла пальцами его глаза. Он откинулся на спинку кресла:

– Твои пальчики, Алла, не спутаешь ни с какими другими.

Она польщённо засмеялась и, разняв руки, поцеловала его в щёку, потом спросила:

– Почему?

– Потому что они у тебя такие изящные, такие вкусно пахнущие, а главное, через них ощущается такое мощное биополе, что...

– А что ты здесь читал? – Алла взяла из его рук томик Паустовского. – «Чёрное море». Кто же читает такие вещи перед обедом! – Закрыв книгу, она бросила её на стол. – Прочь суеверия, забудь печали и торжествуй: тебя ждёт люля-кебаб, а в мамином исполнении это лучше Паустовского.

– Будь ты Дездемоной, у Отелло не поднялись бы руки задушить тебя. Кстати, ты привезла мои вещи? Долго мне ещё в халате ходить?

– Увы, Слав, у твоего подъезда дежурят вчерашние громилы. Сидят в машине. Я не рискнула...

– Думаешь, они тебя вчера узнали?

– Это вряд ли! – Алла пренебрежительно усмехнулась. – Они бы тогда давно ломились сюда, а не торчали у твоего дома. Темно было, я не выходила из кустов, фары их слепили...

– Тогда чего ты испугалась?

– Они видели «жигулёнок», слышали женский голос, знают меня, наверняка остановили бы и стали расспрашивать, зачем и к кому я иду в твой подъезд...

– Прости, я после вчерашнего плохо соображаю. Конечно, рано или поздно они бы сложили два и два...

Алла вынула из-за кресла пластиковый пакет и поставила его Левенцову на колени.

– Держи, я заехала на рынок, благо он рядом с твоим до-

мом, и купила тебе рубашку, бельё, носки и прочее. Быстренько одевайся и приходи на кухню, пока всё не остыло...

За обедом, когда они перешли к кофе, Вячеслав поблагодарил Алевтину Владимировну за «Чёрное море».

— Я, оказывается, когда-то уже читал эту повесть Паустовского, — сказал он. — Поэтому сейчас просто быстро пробежал её, подробно останавливаясь на наиболее заинтересовавших меня страницах. О лейтенанте Шмидте там не так уж много, всего лишь маленький кусочек.

— В этом, как вы выразились, кусочке больше истины о сегодняшнем дне, чем в нынешних газетах.

— Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, — смутился Левенцов.

— О чём пишут нынешние газеты?

— Понятия не имею, — признался Левенцов. — Я вообще не читаю газеты, да и телевизор смотрю редко и недолго.

— Продажные писаки пишут, что Россия наконец-то вступила на путь подлинной демократии и свобод, что наступает эра процветания и богатства всех и вся! — с возмущением сказала Алевтина Владимировна. — Но это такое же враньё, как пресловутый царский манифест о даруемых народу свободах. Так же, как и тогда уже льётся кровь, гибнут люди! И слова Шмидта, произнесённые им на кладбище во время похорон погибших революционеров, сейчас стали вновь актуальны. Найдите и прочтите их нам сейчас, и вы в этом убедитесь.

Левенцов принёс книгу Паустовского, быстро нашёл нужную страницу и громко начал читать:

«Что он сказал? «Клянёмся этим убитым в том, — сказал он, — что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».

Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянёмся!» — крикнули мы.

«Клянёмся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».

И в этом мы поклялись.

«Клянёмся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, нищего человека».

«Клянусь!» – сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдёт ко мне и скажет: «Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты ещё никогда не страдал в своей маленькой жизни», – я пойду и буду благословлять его имя.

«Клянёмся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы».

– Убедились? – торжествуя спросила Алевтина Владимировна. – У народа пытаются вновь отобрать все завоёванные в кровавой борьбе свободы, стараются обгадить все достижения советской власти, вновь разделили народ по национальному признаку, усиленно навязывают культ наживы. Разве вы всего этого не видите?

– Про культ наживы – это в мой огород камешек? – спросила Алла, но Алевтина Владимировна только отмахнулась от дочери, дескать, не мешай серьёзному разговору взрослых людей.

– Однако, уважаемая Алевтина Владимировна, если и далее продолжать вашу аналогию, то восставших против нынешнего «царя» изначально ждало и, как мы видим, настигло неизбежное поражение... – задумчиво произнёс Левенцов.

– Ещё историю трёх французских революций почитайте, – посоветовала Алевтина Владимировна. – Когда сопоставляешь то время с семнадцатым годом у нас и с настоящим, ясно видно, что, хотя всё и повторяется, сдвиг к лучшему всё же есть. Нельзя

опускать руки, надо продолжать борьбу, учитывая ошибки прошлого.

— И ещё о жизни Беранже почитай, — ехидно добавила Алла. — Как он, бедный, радовался, когда Франция поднялась, и из монархии сделалась республика! И в какую впал меланхолию, когда из республики сделался Наполеон! А когда Наполеона прогнали и вернули короля, Беранже совсем скис. Но народ поднялся и снова скинул короля. Беранже возрадовался пуще прежнего. Но народ только скидывал, управлять он не умел и не хотел, простое человеческое счастье лучше. Власть захватили буржуи, и Беранже затосковал по временам Наполеона. Но Франция снова поднялась...

— Моё дитяtko хочет сказать, — перебила дочь Алевтина Владимировна с сарказмом, — что гармоничное устройство общества невозможно.

— Такие тонкости мне не по уму, мам, — возразила Алла. — Я просто хочу сказать, что в жизни радуешься, потом плачешь, потом опять радуешься. Не поплачешь — не порадуешься, в этом жизнь.

— Смотрите, Вячеслав, дитя-то в двух словах суть романтиков капитализма изложило! Плевать, по какому поводу плакать или радоваться, лишь бы деньги были! Да ещё других норовят в свою веру обратить. Малышню уже насилуют своим капитализмом.

— Не свихнись на «измах», мам. Ты сама вот как дитя, ей-богу.

— Ладно, время дискуссий вышло. Мне пора на работу, а нам, ты говорила, надо куда-то ещё успеть заехать.

— Мама занесёт твою записку Глебу Ивановичу, — пояснила Алла Левенцову. — Её бандюки не знают и ни в чём не заподозрят. Я подожду её в машине где-нибудь за углом, а потом подброшу до больницы. А ты давай пока отдыхай, Паустовского читай...

6

Не Запад разрушил СССР, это сделали коммунисты! Народ на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовал за сохранение страны. Но три бывших высших в иерархии КПСС функционера от России, Белоруссии и Украины собрались на пьянку в Беловежской пуще и вопреки воле своих народов единолично и незаконно объявили о ликвидации Советского Союза. Все республики в одночасье стали «независимыми». Независимыми от кого? От воли собственных народов? И первым о крахе СССР узнал американский президент! Именно ему, а не своему народу поспешил радостно отрапортовать о неслыханном предательстве один из бывших главных коммунистов России!

Да, народ массово не вышел на защиту целостности советской Родины и уж тем более отлучённой от власти и запрещённой КПСС. Потому что именно коммунисты развратили и обезвредили в светлое будущее советских граждан. Лицемерие, жажда наживы, преклонение перед Западом, многочисленные привилегии и явный отрыв от народа партийной элиты — вот основная причина краха страны и компартии.

Высшее руководство страны своими руками организовало крах Советского Союза.

Ещё в 1990 году идеолог либералов Гавриил Попов опубликовал в журнале «Огонёк» программу действий по уничтожению СССР «Перспективы и реалии»:

«Если не будет у центра административной силы, то каким может быть СССР? Его заменят национальные государства. Они могут создать тот или иной новый союз в том или ином составе. Но эти будущие союзы могут быть только следствием появления независимых государств. Никаких иных перспектив нет. Реальна только дефедерализация, деимпериализация и в перспективе добровольные межгосударственные ассоциации. Такая дефедерализация характерна для национального развития в XX веке — вспомним распад Австро-Венгрии, распад Британской империи.

И тут нам предстоит сделать то, что уже давно сделало человечество».

В популярнейшем журнале печатается откровенный призыв к разрушению страны, а власти как будто этого не понимают и не замечают!

27 января 1991 года представители оппозиционных сил, собравшись на Демократический конгресс в Харькове, приняли решение об упразднении Союза и замене его Содружеством государств. Но и высшие представители российской власти дуют в ту же трубу: первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов публикует свой проект создания на территории страны вместо Союза конфедеративного «Содружества», являющегося объединением суверенных государств без общих гражданства и конституции!

Вроде как в ответ на усиливающуюся угрозу развала страны Горбачёв 28 марта 1991 года создал Государственный комитет по чрезвычайному положению под руководством Янаева. В него он вводит Язова, Крючкова, Пуго, Павлова, Шенина и Болдина, то есть всех тех, кроме Тизякова и Стародубцева, кто через полгода якобы самостоятельно организовал путч. ГКЧП создан, но для чего?

3 августа 1991 года Горбачёв на заседании кабинета министров констатировал «наличие в стране чрезвычайной ситуации и необходимости чрезвычайных мер», необходимость которых «народ поймёт». Что же первый и последний президент СССР сделал далее в столь опасной для страны ситуации? Он сразу же уехал в отпуск в Форос! И через две недели, 19 августа 1991 года, начался трёхдневный путч ГКЧП, который позднее объявили причиной роспуска СССР.

«ГКЧП из всех возможных вариантов избрал такой, о котором мы могли только мечтать», — радостно воскликнул лидер либерал-демократов мэр Москвы Гавриил Попов 19 августа 1991 года.

А что же во время путча делал Президент Горбачёв? Остался на даче в Форосе и никак не вмешивался в происходя-

щее! Позднее он оправдывался тем, что был якобы полностью изолирован, но это оказалось ложью. На даче имелись и работали все необходимые главе государства средства связи: радио-приёмники, телевизоры, переносные рации, два междугородных телефона. Кроме того, на даче находились президентские автомашины, оснащённые спутниковой связью. Сотрудники охраны звонили по междугородному телефону своим семьям уже вечером 19 августа.

– Вы сообщили об этом президенту? – спросил их следователь.

– Да, в тот же вечер сказали ему, что мы звонили жёнам.

– Как реагировал на это президент?

– На этом наш разговор закончился, – отвечали охранники.

– Автомшины на дачу и с дачи двигались, как и прежде; привозили продукты, выезжали люди, – сказал командир взвода ГАИ.

– Никакой блокады резиденции со стороны сухопутных и морских пограничников не было. Служба неслась в обычном режиме, – рассказал начальник погранотряда.

– Согласно инструкциям, охраняемое лицо для нас, охранников, главнее любого генерала, и если бы Горбачёв М. С. решил выйти за пределы объекта, то я и другие охранники не препятствовали бы ему в этом, – свидетельствует сотрудник службы безопасности.

– Если бы была мне команда президента отправить его в Москву, я бы выполнил эту команду. Я же не мог насильно вывозить президента, – заявил начальник службы Генералов.

Кто и с какой целью тогда организовал сначала ГКЧП, а потом путч? Почему Горбачёв в такой момент устранился? Ответ напрашивается сам. Через три месяца после путча в резиденции Вискули в Беловежской Пуще на территории Белоруссии собрались три предателя и разрушили великую державу: воспользовавшись путчем как предлогом, высшие руководители России, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года подписали так называемое «Беловежское соглашение», которое констатировало

прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик и провозглашало создание Содружества Независимых Государств.

За месяц до этого новые власти России постарались уничтожить единственную организованную силу, способную побудить народ к сопротивлению против грядущего разрушения Советского Союза: ссылаясь на путч ГКЧП, они обвинили КПСС в антиконституционной деятельности. Указом Президента России Бориса Ельцина от 6 ноября 1991 года деятельность КПСС и её республиканской организации – КП РСФСР была прекращена, имущество конфисковано. Через год Конституционный Суд РФ вынес судебное постановление от 30 ноября 1992 года, в котором признал неконституционным запрет деятельности первичных организаций КПСС и КП РСФСР.

Таким образом, получается, что путч, организованный Генеральным секретарём КПСС, Президентом СССР Михаилом Горбачёвым при посредстве ГКЧП послужил единственной цели – дать предлог для разрушения СССР и ликвидации КПСС. Понятной становится и мнимая «изоляция» суперпредателя на даче в Форосе.

Конечно, теперь восстановить незаконно распущенный СССР невозможно, но вот заново воссоздать коммунистическую партию после вердикта Конституционного суда ничто не мешало, и 13–14 февраля 1993 года на II чрезвычайном съезде восстановленной КП РСФСР была образована КПРФ.

У народа и Верховного Совета России возникало всё больше вопросов по поводу противозаконных действий и указов Президента Ельцина. И вот сейчас, в начале октября 1993 года, почти по тому же сценарию, что и два года назад, под предлогом устранения «коммунистического путча» либерал-демократы кроваво и безжалостно окончательно добивали советскую власть и социализм в России.

Татищев яростно ругался с телевизором, как вдруг открылась дверь и на пороге его комнаты появилась стройная женская фигура.

– Здравствуйте! Это вы Глеб Иванович?

Обалдевший Татищев выключил телевизор и, смущённо подтянув повыше сползшие с появившегося брюшка старые «треники», пробормотал:

– Как вы сюда попали?

– Я звонила, стучала, но никто не открывал, – услышал странно знакомый голос Татищев. – Вячеслав Левенцов попросил меня передать вам записку и на всякий случай дал ключи от квартиры... Глеб, это ты?!

Женщина шагнула из полумрака прихожей в комнату, и Татищев мгновенно узнал её.

– Алька?! Аля Петрова?

– Да, я. Только не Петрова, а Скобцева.

– По Лёшке, что ль?

– По нему.

– Вот так сюрприз! Как он?

– Нет Алексея, Глеб. Чернобыль его сгубил...

– Сочувствую... Моей Веры тоже уже нет. – Татищев вдруг понял, что стоит перед когда-то любимой женщиной в совершенно непотребном виде. – Прости, я не ждал гостей...

– Ничего, Глеб, не смущайся, – снисходительно улыбнулась Скобцева, вручая ему записку Левенцова. – Я уже ухожу...

– Как же так? – запротестовал Татищев. – Только встретились...

– Извини, Глебушка, опаздываю на работу. Я приду завтра утром, если ты не против?

– Буду ждать!

Татищев проводил Скобцеву до лифта, вернулся в квартиру, хотел закурить и только тогда обнаружил, что сжимает в кулаке какую-то бумажку. Он расправил её и с удивлением прочитал, что Слава просит его собрать и передать пришедшей девушке вещи по списку, и что сам он будет отсутствовать какое-то время, а когда вернётся, всё ему объяснит.

– Ничего себе девушка! – усмехнулся Татищев. – Хотя Алька и правда выглядит не по годам молодо. Интересно, откуда

Славка её знает?

Татищев провёл ревизию в холодильнике и кухонном шкафу, пересчитал оставшуюся до пенсии наличку и отправился в магазин.

– Глеб, неужто ты? – в удивлении воскликнул шедший навстречу ему мужчина.

Татищев узнал в нём Мишу Кузнецова, бывшего своего сослуживца, устроившегося после увольнения из армии охранником в столичном банке.

– Каким это ветром тебя к нам? – удивился Глеб.

– Да я уж три года, как в Трёхреченске.

– А чего же я тебя тогда не видел?

– Это тебя вот нигде не видать. Ты изменился, Глеб.

– Постарел, что ль?

– Есть маленько. Сорокаградусной не увлекаешься?

– Увлекался, когда жена умерла, даже чересчур. Теперь закончил.

– Твоя Вера умерла? Не знал...

– Один теперь кукую. Дело бы вот найти по душе...

– Дело могу предложить, Глеб. Прямо по твоей военной специальности.

– Охранником?

– А что такого? Служба непыльная и к тому же денежная по нынешним временам. Наш московский банк открыл в Трёхреченске филиал, я в нём возглавляю службу охраны. Давай ко мне, Глеб, как раз вакансия освободилась.

– Надо подумать...

– Думай, Глеб. У нас отличные ребята, боевой дух, товарищество и всё такое. Подключайся!

Татищев, маскируя вспыхнувшее в нём радостное волнение, принялся с раздумчивостью крутить усы.

– Для такого дела подготовиться бы надо, – произнёс он неуверенно. – Я себя порядком запустил...

– В деле подготовишься, – возразил Кузнецов. – Завтра у нас общее собрание, приходи к пяти вечера, сразу и заявле-

ние в отдел кадров подашь, одной моей рекомендации достаточно. — Он сообщил адрес, и они расстались.

Татищев шёл по улице с ощущением заново родившегося человека. Волнение не унималось. «Что за прекрасный день сегодня! — думал он. — Две встречи, и какие прекрасные перспективы они несут!»

Остаток дня Татищев усиленно приводил в порядок квартиру. Вымыл полы и окна, отдраил до блеска сантехнику, вынес мусор и проветрил, насколько это было возможно, свою комнату. Однако запах сигаретного дыма настолько въелся в обои и мебель, что до конца избавиться от него не удалось. Курить Татищев теперь бегал на лестничную клетку, бросая окурки в консервную банку, поставленную рядом с мусоропроводом. Наведя порядок, он ещё раз внимательно перечитал послание Левенцова и пошёл в его комнату собирать перечисленные в записке вещи.

7

Левенцов помыл оставшуюся после обеда посуду и замер в нерешительности. «Вернуться в библиотеку или провести экскурсию по квартире?» — задумался он. Читать книги больше не хотелось. И пить в одиночку чужой коньяк уже тоже не было причины: таблетки обезболивающего лежали в библиотеке на письменном столе рядом с графином с водой. Кухня трёхкомнатной «сталинки» его не впечатлила: она казалась несколько меньше привычной Левенцову в двухкомнатной квартире Татищева в современной девятиэтажке. Или это было обманчивое впечатление тесноты из-за высокого потолка и обилия кухонной мебели: у Скобцевых был целый кухонный гарнитур, в котором кроме обеденного имелись ещё пара рабочих столов и несколько навесных шкафчиков, а у Татищева посреди кухни сиротливо стоял стандартный раздвижной стол и пара деревянных табуреток.

Решив всё же не нарушать правил гостеприимства, Левенцов вернулся в библиотеку. «Завалиться что ли спать?» — подумал он и осторожно, чтобы не потревожить больное ухо, прилёг на диван. Вкус выпитого за обедом кофе внезапно напомнил ему о многочисленных пробуждениях в постели Людмилы Николаевой. Та тоже готовила по утрам кофе из молотых зёрен. Правда варила она его в турке на огне газовой плиты, а Скобцевы — в шикарном импортной электрической кофеварке. Сам Левенцов со студенческих времён предпочитал вкус бразильского растворимого кофе из банки с изображением индейца. Он не разделял пренебрежения сокурсников, а позднее, различных снобов к сладкому растворимому кофе, всегда пил его с наслаждением из обычных чайных кружек и не видел ничего привлекательного в мизерных порциях горького молотого кофе, оставляющего крупинки на языке и осадок на дне маленьких кофейных чашек. Но в среде советской интеллигенции пить растворимый кофе почему-то считалось неприличным.

Уснуть Левенцов так и не смог: пару часов он мучился от боли в раненом ухе и маялся от безделья. Боль он мужественно терпел, не желая глотать таблетки, а с бездельем пытался бороться чтением книг. Книги помогали слабо, Вячеслав вставал, брал с полки то одну, то другую, но сосредоточиться на их содержании не мог. В одной из книг он с удивлением обнаружил отзыв Вениамина Каверина о Константине Паустовском:

«Я страшно завидую Паустовскому. Завидую тому, что тот никогда в жизни не солгал. Ни одной фальшивой строчки нет в его творчестве».

Мнение Каверина почти полностью соответствовало впечатлению самого Левенцова. Однако Вячеслава после утреннего прочтения повести «Чёрное море» грызло одно необъяснимое обстоятельство. Главным героем повести был вовсе не лейтенант Шмидт, а некий писатель Гарт, образ которого Левенцов идентифицировал для себя как описание известного писателя-романика Александра Грина. Каково же было удивление Левенцова, когда в конце повести Гарт неожиданно посетил могилу Грина!

Левенцов не мог объяснить подобную несурязицу. Более того, в «Чёрном море» кроме Александра Грина под своими подлинными именами упоминаются и несколько других известных русских писателей. Кто же такой Гарт, удивительно совпадающий по внешности, биографии и тематике с Грином? Левенцов о таком русском писателе никогда не слышал!

— Нельзя объять необъятное, — философски рассудил Вячеслав и стал искать книги Гарта в обширной библиотеке Скобцевых, но нашёл только сборники произведений американского писателя Фрэнсиса Брет Гарта, писавшего вестерны и занятные истории о золотоискателях Калифорнии.

В конце концов, боль в раненом ухе заставила Левенцова принять одну из таблеток, оставленных Алевтиной Владимировной. Через какое-то время, лёжа на диване и прислушиваясь к утихающей боли, Вячеслав заметил, наконец, что в комнате кроме книжных шкафов и полок, письменного стола и кресла имеется массивная тумба, на которой стоит большой цветной телевизор. Портить себе настроение новостями в столице Левенцов не хотел, но на полочке под телевизором он разглядел переднюю панель японской видеоприставки! Заинтригованный, он подошёл к тумбе, раскрыл дверцы из тёмного стекла и увидел две внутренние полки, заставленные видеокассетами.

— Ничего себе! — невольно воскликнул Левенцов. — «Это я удачно зашёл!» — процитировал он Жоржа Милославского, обаятельного вора из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Учитывая обстоятельства, приведшие его в эту квартиру, Левенцов отверг кассеты с концертами популярных групп и исполнителей, кинокомедии и военные драмы, остановив выбор на боевике «Кровавый спорт» с Ван Даммом в главной роли. Эх, если б он в студенческие времена не бросил занятия каратэ в одной из полулегальных в те времена секций, может, не пришлось бы Алке Скобцевой его спасать. Но деньги срочно понадобились на фирменный джинсовый костюм, потом на кассетный магнитофон, потом предложили афганскую дуб-

лёнку... Вместо занятий каратэ пришлось ходить вагоны разгружать.

Фильм Левенцов до конца не досмотрел, потому что банальным образом уснул.

— Я люблю тебя, Славик! — шептала Людмила, горячими руками распахивая рубашку Левенцова и опрокидывая его на жёсткий матрац кровати, на неровные складки одеяла. Она решительно скинула цветастый халат, под которым оказалось пышное голое тело, давно и подробно знакомое Вячеславу, и легла рядом. Бесстыдно-жадные женские губы стали бродить по обнажённой груди Левенцова. Длинные мягкие волосы густой завесой скрывали лицо, щекотали кожу Вячеслава и дурманили запахом жасмина.

«Как это Людмила умудрилась так быстро поменять причёску? — удивился Левенцов. — У неё же всегда была короткая стрижка: „химия“, жёсткие кудри».

Нетерпеливые руки стянули с него трусы, стройная женская фигура со стоном оседлала его, перед глазами мячиками запрыгали маленькие женские груди с напряжёнными кнопками сосков. «Это не Людмила! — понял Левенцов. — У той четвёртый номер, и она полнее этой страстной наездницы». Темп «скачки» нарастал, частота и громкость стонов увеличивались, и Вячеслав понял, что уже не спит, что всё происходит в реальности, но остановить происходящее не мог и не хотел. Страсть, как всегда, захватила его целиком, подавила разум. Её накал был столь велик у обоих любовников, что финал не заставил себя долго ждать. С последним протяжным стоном женщина плавно опустилась на грудь Вячеслава, мазнула горячими сухими губами ему по щеке и, тяжело дыша, откинулась навзничь в сторону.

В комнате царил полумрак, потому что за окном был уже поздний вечер, экран давно отключившегося телевизора тёмнен, а свет в люстре и настольной лампе на письменном столе никто не включал. Только блики качающегося на ветру за окном фонаря на столбе да слабый свет за приоткрытой дверью в коридор

разгоняли мрак. Но Левенцов уже осознал, где он, и догадался, кто его только что фактически изнасиловал.

– Почему так? – отдышавшись, спросил он.

– Не могла больше ждать, – спокойно ответила Алла. – Весь день только и думала об этой минуте...

– Ты же сама меня отшила!

– Тогда быть просто любовницей мне было мало, банальный служебный роман меня не устраивал.

– И что изменилось?

– Всё! Я изменилась, жизнь изменилась. Теперь я не жду принца на белом коне или журавля в небе, а беру то, что могу, довольствуюсь синицей в руках.

– Не понял, – буркнул Левенцов, – как и когда я из журавля вдруг превратился синицу?

– Превратился не ты, Славик, а я, – ответила Алла. – Мои потребности снизились. Из принцессы, мечтающей выйти замуж за любимого принца, я стала обыкновенной женщиной, понявшей, что принц её не любит и в жёны никогда не позовёт. А вот я тебя, Славик, полюбила, наверно, в первый же день, как увидела. Всё о твоих любовных похождениях мне рассказали «добрые люди». Уволившись из конструкторского бюро, я надеялась избавиться от безответной любви. Но, увидев тебя вчера, поняла, что «болезнь» осталась. Может, теперь, когда «лекарство» принято, я излечусь? Как ты думаешь?

– Вряд ли, – сказал Левенцов. – Таким способом можно вылечить страсть, но не любовь.

– Поверю специалисту, – горько рассмеялась Алла. – Зато теперь, если через день-два опять расстанемся, мне не придётся жалеть, что не попыталась...

– А я ведь нашёл тогда кассету с записями той певички, – признался Левенцов. – Несколько раз прослушал, всё пытался понять, чем она так тебя привлекает, что у нас с тобой из-за неё всё на разрыв пошло.

– Понял?

– Нет. Музыка ещё ничего, хоть и содрана у западных образцов, а вот тексты совершенно бессмысленны.

– Тексты бессмысленные? – удивилась Алла. – Ты в них смысл искал?

– Конечно!

– Глупый! – рассмеялась Скобцева. – В её песнях нужно искать настроение и чувства, а не смысл. Как выразить чувства словами? Так, как это делают чукчи! Он едет на оленьей упряжке по тундре и поёт о том, что видит и чувствует. Снег блестит на солнце, мороз щиплет щёки, дышится легко, дома ждёт жена и сын, хорошо! Так же и та певица, смысла песен которой ты не понимаешь. Она идёт по улице, на ней красивое платье, новые туфли, прекрасная причёска, словом, девушка выглядит сногшибательно. Погода замечательная, мужчины оборачиваются вслед, у неё всё отлично!

– Я как-то случайно увидел эту певичку по телевидению в какой-то музыкальной передаче, она же выглядит, как бомжиха или пугало огородное!

– Не путай персонажа песни с исполнителем! – воскликнула Алла. – Да, сама певица не блещет внешностью, что ничуть не умаляет прелести исполнения ею песен. Пушкин с Лермонтовым, например, часто в жизни вели себя, как последние мерзавцы, но ведь это никак не уменьшает значение их творчества.

– Ладно, не будем спорить, – с досадой сказал Левенцов. Он терпеть не мог «заумных» разговоров в постели с женщиной. Они всегда сбивали у него соответствующее ситуации настроение, напрочь убивали любовный пыл. – Может, нам лучше побыстрее одеться? Вдруг Алевтина Владимировна войдёт...

– Не войдёт, – беспечно махнула пальцами Алла. – У неё сегодня ночное дежурство в больнице. Но мы можем перейти в мою комнату, там нам будет удобнее, чем на этом жёстком диване. У меня классный музыкальный центр...

– Извини, милая, – изобразил смущение Левенцов, – я что-то ужасно проголодался.

Алла легко встала, накинула сброшенный ранее на пол короткий халатик, завязала поясок.

— Нет проблем! — спокойно сказала она. — Минут через пять приходи на кухню, я там всё уже приготовила. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, не так ли, мой герой?

8

Алевтина Владимировна открыла дверцу «жигулёнка» и села рядом с дочерью. Алла, до этого сидевшая с закрытыми глазами и мечтательной улыбкой на лице, вздрогнула и испуганно посмотрела на мать.

— Спишь за рулём? — пошутила Алевтина Владимировна. — Что-то приятное снилось?

— Так, задремала немного, — смущённо ответила Алла. — Как прошла ночь?

— Почти как обычно, — сказала Алевтина Владимировна. — Но, как говорится, есть нюанс. Сегодня ночью в экстренное отделение привезли раненого в ногу парня. Милиционеру тот ничего не сказал, ни на один вопрос не ответил. Ранению не меньше суток, пуля прошла навывлет, но кусочки ткани от грязных джинсов попали в рану и вызвали заражение. Нога сильно опухла, температура под сорок. Чуешь, к чему веду?

— Думаешь, это один из тех, кто напал на Славу? — встрепетнулась Алла.

— Не думаю, а знаю! — победоносно посмотрела на дочь Алевтина Владимировна. — После ухода милиционера в отделение вновь заявили дружки раненого парня. Хотели узнать, «расколотся» ли, по их выражению, их кореш или нет и как вообще его дела. Я, конечно, сразу узнала их по вашему с Вячеславом описанию...

— Навылет, значит, — задумчиво сказала Алла. — Зря, выходит, я от пистолета избавилась...

— И от неожиданного жильца теперь избавимся, — потрепала по руке дочь Алевтина Владимировна. — Вячеслав может

прям сегодня спокойно возвратиться к себе домой, никто его не тронет.

— Как это? — удивилась Алла. — Его же там караулят...

— А вот сейчас поедем и посмотрим, караулят или нет.

— Да что случилось? — в недоумении и тревоге воскликнула Алла.

— Я заключила с ними сделку, — усмехнулась Алевтина Владимировна. — Они забывают о Вячеславе и даже обходят его стороной при случайной встрече, а я не выдаю их милиции и спасаю если не жизнь, то ногу раненому парню.

— Ты с ума сошла! — воскликнула Алла. — С чего ты взяла, что обещаниям этих подонков можно верить?

— Я не так наивна, как ты думаешь, доча! — спокойно ответила Алевтина Владимировна. — Конечно, эти громилы мало испугались милиции: у них там имеется, как они выразились, «крепкая крыша». Да и нет у нас никаких доказательств, что Вячеслава намеревались забить насмерть. А вот жизнь и нога их главаря оказались для них очень важны! Я им доступно объяснила, что рана запущена, заражение весьма серьёзно, и вполне возможна гангрена. Нужных лекарств в больнице нет, других хирургов, кроме меня, тоже нет, да и те, что придут утром, в лучшем случае просто отрежут парню ногу. Никто не будет с ним возиться, потому что лечить такую рану у нас нечем, и чтобы спасти бедолагу от мучительной смерти от гангрены самое простое и разумное — ампутация.

— И что? — с недоумением спросила Алла.

— И то! — улыбнулась в ответ Алевтина Владимировна. — Я сказала, что постараюсь спасти парню ногу, потому что могу начать лечение немедленно, не дожидаясь консилиума врачей, и что на первое время лично у меня имеется запас необходимых медикаментов, принесённых родственниками тяжёлых больных. Но дружки раненого должны за свой счёт приобрести и возместить мне использованные для его лечения лекарства.

— И ты?..

— И я провела операцию! Всё прошло хорошо, рану я очистила. Она, честно говоря, была не столь опасна, как я им расписала, но вполне могла стать таковой в ближайшее время. Нам повезло, что раненый парень оказался весьма труслив и очень плохо переносит боль. Орал так, что его дружки в коридоре бледнели от ужаса. Перед этим я вскрывала чирий пятнадцатилетнему мальчику, тоже на распухшей ноге. Чистила рану почти без наркоза, наружный только применили, мальчик зубами скрипел, но не кричал. Зато этот слезливый амбал пообещал лично открутить голову любому, кто нарушит нашу с ним договорённость.

— Ну ты, мать, даёшь! — восхищённо воскликнула Алла и поцеловала Алевтину Владимировну в подставленную щёку. — А как ты им объяснила, откуда знаешь о драке? — встревожилась она. — И почему так заботишься, чтобы Славу оставили в покое?

— Сказала, что избитого ими парня привезли в больницу сразу после драки, и что мне как раз пришлось лечить его раны. Парень рассказал, что не знает, кто и почему на него напал. Спасла его и доставила в больницу неизвестная парочка, которая уединилась в тот вечер в машине, спрятанной от посторонних глаз в кустах. Пара увидела драку, и мужчина решил вмешаться. Женщина кричала, испугавшись именно за него. Кто эта парочка, избитый не знает, номер машины не видел, потому что сразу же потерял сознание и очнулся только в больнице. Стрелял по напавшим не Вячеслав, что они и сами прекрасно понимают, поэтому и искать его этим громилам не за чем. Парень и так серьёзно пострадал, вот я о нём и беспокоюсь. Убедительно?

— Мамуля, ты гений!

— Едем или так и будем стоять?

Убедившись, что бандитский пост действительно снят, Алла остановила «жигулёнок» прямо у подъезда.

— Ну что, а ты сомневалась, — сказала Алевтина Владимировна. — За вещами Вячеслава теперь можно не ходить...

– Мам, давай пока не будем ничего говорить Славе, – попросила Алла. – Пусть ещё немного поживёт у нас.

– Зачем?

– Я люблю его, давно, – призналась Алла.

– А он?

– Пока нет. Но вдруг, если мы поживём вместе, он...

Алла умоляюще посмотрела на мать. Алевтина Владимировна долго молчала, задумчиво глядя на дочь, потом приняла решение.

– На пятый этаж лезь сама, – дрогнувшим голосом сказала она. – Скажешь хозяину, что от меня.

Благодарно чмокнув мать, Алла резво выскочила из машины и побежала в подъезд. Проводив дочь сожалеющим взглядом, Алевтина Владимировна достала из сумки косметичку и стала старательно приводить лицо в порядок.

Когда счастливая Алла вернулась с туго набитой спортивной сумкой, Алевтина Владимировна спокойно ожидала её рядом с машиной.

– Домой? – радостно спросила Алла.

– Ты езжай, – ответила Алевтина Владимировна. – А я по рынку пройдуся. Хозяину квартиры сказала, где Вячеслав?

– Нет, конечно! Припрётся ещё и расскажет Славе, что его тут никто не караулит. Станный он какой-то: спрашивал, почему ты сама за вещами не пришла.

Проводив машину дочери взглядом до поворота за угол дома и убедившись, что Алла её больше не сможет увидеть, Алевтина Владимировна вошла в подъезд и вызвала лифт...

– Какая у тебя крепкая грудь! – восхищённо сказал Татищев. – Прямо девичья, будто и не рожала...

– Рожала, – улыбнулась Алевтина Владимировна. – Дочь мою, Аллу, ты сегодня видел, это она сумку с вещами Вячеслава забрала.

– Может, не кормила?

– Кормила, но не долго, – призналась Скобцева. – Я ведь на втором курсе института родила, академку брать не стала.

Не хотела с мужем разлучаться, вот и пришлось оставить дочку бабушке. Так что вместо меня мама моя в декретный отпуск ушла, и выросла моя Алка на искусственном вскармливании. А ты, Глебушка, большой спец по женской груди?

— Да какой там спец! — смутился Татищев. — По правде сказать, у меня кроме тебя и Вероньки моей никого больше и не было. Просто в детстве прочитал я как-то записные книжки Ильфа, одного из авторов романов о похождениях Остапа Бендера, и там мне попала запись, что у какой-то там баронессы грудь находится в полужидком состоянии. Ну я и спросил у мамы, что это значит, а она только засмеялась, потрепала меня по волосам и сказала, что ответ узнаю сам, когда подрасту.

— Узнал? — поинтересовалась Скобцева.

— Узнал, — вздохнул Татищев. — Когда дочка у нас с Верой родилась...

Он потянулся за сигаретой, но тут же вспомнил, что курить-то надо теперь идти на лестничную клетку, и бросил пачку на место.

— Кури здесь, это же твой дом, — сказала Скобцева. — Я и сама порой дымлю.

Татищев с заметным облегчением вновь схватил сигаретную пачку и протянул её Алевтине. Та не отказалась. Они закурили. Татищев поставил вычищенную накануне стеклянную пепельницу себе на голый, курчавящийся седеющим волосом живот.

— Значит, ты родила на втором курсе... — задумчиво пробормотал он.

Скобцева искоса взглянула на его хмурую физиономию, зло затаилась и выдохнула в потолок облако дыма.

— Да, — ровно ответила она. — Я вышла замуж за Алёшу сразу после окончания первого курса. Он всегда был рядом, учились мы вместе в московском медицинском институте, жили в одном общежитии. А ты уехал в другой город, поступил в своё военное училище. Ты даже не писал мне!

— Я писал! — возразил Татищев. — Первые три месяца минимум раз в неделю, но ответа ни разу не получил.

— Этого не может быть! — раздражённо затушила сигарету Скобцева. — Я ничего не получала...

— Я писал на твой домашний адрес, — пожал плечами Татищев. — Другого я не знал. Спроси у своей мамы...

— Мамы уже нет... — тихо сказала Скобцева. Она уже всё поняла, но осуждать мать не могла. — А как же каникулы? Ты мог приехать и всё сказать сам.

— Я же сказал, что писал тебе первые три месяца, — грустно ответил Татищев. Он тоже всё понял и теперь не знал, стоит ли продолжать этот бессмысленный разговор. Однако решил выяснить всё до конца, раз уж Алевтина считает виновником разрыва их отношений его. — Наконец, пришло письмо от твоей мамы, в котором она писала, что ты выходишь замуж за Алексея и просишь меня тебе больше не писать...

Алевтина Владимировна лежала, заложив руки за голову и никак не могла решить, лучше или хуже сложилась бы её жизнь, не вмешайся в неё её мать? Да, она не могла с уверенностью сказать, что любила Алёшу Скобцева, когда выходила за него замуж. Но Глеб уехал и пропал, а Алёша объяснился ей в любви ещё в девятом классе. Он ей нравился, был не навязчив, но настойчив. И мать постоянно зудела, что лучшего мужа ей не найти, что лучше работать врачом в подмосковной больнице, жить в своей квартире, зная, что рядом всегда готовая помочь мать, чем мотаться по военным гарнизонам и жить в служебных комнатах с казённой мебелью. И на гордость ещё ей давила, дескать, бросил её Глеб, не пишет, забыл, видать, совсем.

— Давай начнём всё сначала, — сказал Татищев. — Ты одна, я один...

— Нельзя дважды вступить в одну реку, Глеб! — усмехнулась Скобцева. — Так, кажется, сказал мудрец. Чувства наши, будем честны, давно остыли. Сексуальной возбудимостью я не страдаю, да и ты, судя по всему, тоже. Или хочешь повторить? Давай, другого случая не будет.

— Зачем так грубо, Аля? Я же серьёзно...

— И я серьёзно! Вспомнили юность, и на этом достаточно. Между нами всегда будут стоять твои неполученные мною письма, но даже не это главное. Ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Ты помнишь юную школьницу Алю Петрову, я абсолютно не знаю военного лётчика-пенсионера Глеба Ивановича Татищева. Что у нас общего? В чём основа счастливой семейной жизни? Каждый из нас прожил такую жизнь, о которой другой ничего не знает. К тому же, я, в отличие от тебя, не одинока, живу со взрослой дочерью...

— Я же не говорю, что мы должны сразу начать совместную жизнь, — не сдавался Татищев. — Давай начнём с нуля: будем встречаться, постепенно заново узнавать друг друга...

— У меня нет ни времени, ни желания бегать на свиданки, — отрезала Скобцева. Она встала, накинула на себя рубашку Татищева и пошла в ванну.

Глеб Иванович понял, что дальнейший спор ни к чему хорошему не приведёт. Он тоже встал, нашёл в шкафу другую рубашку, по-военному быстро оделся и заправил кровать.

Алевтина Владимировна вышла после душа чистая и свежая, будто не было тяжёлого ночного дежурства в больнице и сложной операции, а также бурного секса и неприятного разговора с Татищевым. Она спокойно, не стесняясь, скинула с себя большое влажное полотенце и начала не торопясь одеваться. Глеб Иванович молча курил, не зная, что теперь говорить и делать.

— Ну что, на посошок, и я побежала? — улыбаясь, сказала Скобцева.

Татищев всё так же молча затушил сигарету и разлил по фужерам остаток шампанского.

— За что пьём? — спросил он.

— За любовь, которая у нас когда-то была! — провозгласила Скобцева. — Ведь была?

— Была, — подтвердил Татищев.

— Ну вот, — поставив пустой фужер на стол, подвела черту Скобцева. — Всё выяснили, долги друг другу отдали. Мне пора бежать домой, там меня ждут любимая дочка, твой жилец Вяче-

слав и вкуснейший борщ! Ужасно хочется есть. Шампанским и конфетами, Глебушка, сыт не будешь, да ещё после тех физических упражнений, что мы с тобой недавно проделали. Извини, тебя в гости не приглашаю.

Татищев мёртво молчал. Скобцева пошла в прихожую, быстро обула сапоги, надела лёгкое пальто, натянула берет, мазнула яркой помадой по губам.

– Прощай, Глеб! – спокойно сказала она, входя в кабину лифта и нажимая кнопку первого этажа.

– Прощай, Аля... – с трудом выдавил из себя Татищев.

Часть вторая. Распутье

*«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».*
Николай Некрасов «Современники»

ГЛАВА 5. 1994 ГОД

1

К территории руководимого Кулагиным хлебокомбината примыкало с юга Управление Продторга с продовольственными складами, а с севера мукомольный завод. Территорию мукомольного завода рассекал надвое проулок, уходящий под уклон от автомобильной магистрали к железнодорожной, за которой несла свои далеко не белые воды река Белая. Контрольно-пропускные пункты мукомольного завода располагались один против другого по сторонам проулка. Чудным июньским утром на дежурство в этих проходных заступила мужская пара, сменившая охранниц-женщин. В проходной, ведущей к элеватору и вспомогательным службам, водворился пятидесятилетний Вася Крошкин. Проводив сменённую им охранницу, Вася глянул в окно на подопечную территорию, потом в противоположное маленькое окошечко на улицу и, не обнаружив ничего криминального, быстрым движением достал из ящика стола гранёный стакан старого образца, а из сумки початую бутылку водки. Налив сто грамм, он сказал себе: «С почином», — и со вкусом выпил. Дежурство началось.

В проходной напротив, контролировавшей территорию основного производства, на охрану заступил рослый, крепкий молодец двадцати трёх лет. Звали его Миша Бровкин. Свой фиолетового цвета «москвич», которому директор предприятия запретил парковаться на основной территории, Миша загнал в противоположные ворота под присмотр коллеги. Машина была главной страстью Бровкина, а высшим наслаждением — езда с сумасшедшей скоростью. Любил он также выкатить свой «москвич» в погожий день из гаража на Божий свет, врубить

магнитола и под её ритмический долбёж не торопясь ковыряться в моторе, мыть, чистить, смазывать мужественную металлическую плоть — чего ещё в жизни надо! Он даже дома спал иногда в машине, и нигде так сладко ему не спалось, как в ней.

Сев за служебный стол, Миша раскрыл книгу и углубился в чтение. Это был детектив. В школе Бровкину приелась классическая литература, в армии — уставы, теперь он читал только детективы, они, по его мнению, наилучшим образом развивали интеллект. Утренний поток рабочих схлынул, никто не отвлекал от чтения. Отрываться приходилось только когда подъезжали муковозы за мукой. Миша открывал им ворота и ждал, пока их загрузят, чтобы, когда они уедут, опять закрыть ворота. Иногда беспокоил телефонный звонок директорской секретарши, она просила разыскать то энергетика, то механика, то ещё кого-нибудь. Эти редкие отвлечения не докучали, скорее даже скрашивали однообразие охранной службы.

Незаметно подошло время обеденного перерыва. Промельтешили мимо рабочие с бледными «мучными» лицами, в обсыпанных мукой спецовках. Сначала в одну сторону, через час в другую. И снова тихо.

Усыпляющая тишина вдруг возмутила Мишу. Его здоровый юный организм требовал движения, приключений, общества. Бровкин пошёл через дорогу. У Васи в проходной сидел 30-летний Антон Анбоев, ведавший расположенной на Васиной территории службой противопожарной безопасности. Бровкина пригласили к столу, на котором были четыре бутылки пива и большущий лещ горячего копчения.

— Родичи прислали, вкуснятина, — кивнул Анбоев на рыбину, а в процессе скромного застолья только и говорил, что о своей рыбине, причём тон его речей был таким покровительственным, что Вася и Миша должны были понять, как они облагодетельствованы и в каком теперь неоплатном долгу перед Анбоевым.

У Анбоева напрочь отсутствовало чувство юмора, поэтому он непомерно переоценивал значение материальных ценно-

стей, он считал, что они дают право на власть над людьми, если люди не откупятся эквивалентным материальным содержанием. Он постоянно намекал о своих связях с неким коллективом, составлявшим, как можно было догадаться по его словам, высшую элиту общества. В связи с этим он пытался иногда командовать. И в этот раз, когда пиво кончилось, он тоном приказа сказал Мише:

– Сбегай, возьми ещё пару бутылок, мы за твоей будкой приглядим.

– Не сбегаю, мне пива больше не хочется, – ответил Миша и улыбнулся.

Ответ был явно наглым, а перед наглостью Анбоев испытывал некое мистическое чувство: он ей поклонялся. Кроме того, улыбка у Бровкина была особенной. В ней не было, казалось, ничего от нервов, от живого, и в то же время она сверкала обаянием безграничной удали. И, что самое странное, одна и та же его улыбка в зависимости от обстоятельств могла выражать как расположение, так и угрозу. И ясно видимая угроза поневоле вызывала беспокойство. При виде Мишиной улыбки Анбоев всякий раз приходил в сомнение: таковой ли уж Бровкин перед ним должник? Но нисколько не смутясь, он перевёл разговор на другую материальную тему: о своих японских супермодерновых часах. Мише скоро наскучило эту ахинею слушать. Взяв в машине пакет с провизией, он пошёл в свою проходную. Пообедав, он продолжил чтение детектива.

Подошёл конец дневной смены, потянулись на предприятие вечерники. Последними, как всегда, пришли на вечернюю смену юные практикантки из пищевого техникума, именуемого иноземным словом «колледж». Как всегда, практикантки задержались в проходной, чтобы перекинуться с Мишей шутками. Их тянуло к Мише, в его облике сквозила удаля, очаровательно оттенённая мягкостью, вдобавок он ещё «приклеивал» к лицу свою неотразимую улыбку. Насладясь поэзией общения с ним, девушки пошли в цех к серой мучной прозе. Но Марина, самая

красивая из девушек, осталась. Не убирая с лица улыбки, Миша тоном искусителя произнёс:

— Задержишься сегодня?

Девушка, слегка покраснев, утвердительно кивнула.

Вечерняя смена заканчивалась в двенадцать ночи, потом ещё минут двадцать длилась пересменка, но практикантки обычно уходили домой раньше — в полдвенадцатого. Марина же нарочно задержалась в цехе до половины первого, пока не приступила к работе ночная смена. Хождение через проходную к этому времени прекращалось. Марина прошла в конторку к Мише, и они стали целоваться. Потом он отправился через дорогу, разбудил Васю и вывел со вспомогательной территории «москвич». Подогнав машину к своей будке, он разложил сидения в постельный вариант и позвал Марину.

Любовные их радости в третьем часу ночи потревожили вспыхнувший внезапно со стороны автомагистрали свет фар и приглушённый звук моторов. Две машины подъехали и остановились у Васиной проходной. Из первой вышел коренастый парень, в котором Миша узнал бывшего своего одноклассника Константина Углова. Из второй машины появился светловолосый гигант нордической наружности, рост у него, видимо, приближался к двухметровому. Константин забарабанил кулаком в дверь проходной. Вася Крошкин открыл дверь с неудовольствием, но увидев гиганта, вмиг переменял выражение лица на подобострастно-угодливое.

— Я побегу, — шепнула обеспокоенная Марина.

— Лежи, — буркнул Бровкин и, когда приехавшие скрылись в Васиной проходной, сказал, — Пожалуй, сядь на всякий случай.

Они оделись. Миша перевёл спинки сидений в вертикальное положение. Марина осталась в машине, а он пошёл в свою проходную. Через четверть часа те двое вышли из Васиной проходной в сопровождении Анбоева и направились к Мишиному «москвичу». Некоторое время они бесцеремонно разглядывали Марину, потом пришли в конторку к Мише.

— Ба-а, какие люди! — театрально изумился Константин Углов, увидев Бровкина. Наклонясь и обняв Мишу, он тихо проговорил ему в ухо. — Подымись со стула, потом объясню.

Бровкин поднялся. Светловолосый гигант немедленно уселся на освободившийся стул, повернув его на сорок пять градусов, чтобы вольготнее раскинуть длинные, не помещавшиеся у стола ноги. Анбоев и Константин с Мишей сели на топчан у стены. Константин с фальшивой оживлённостью принялся вызывать Бровкина на воспоминания о совместно проведённых школьных годах, потом начал выспрашивать, чем он теперь, помимо службы на мукомольном заводе, занимается. Миша неохотно сообщил, что занимается на досуге спортом, а на будущее никаких планов не строит, потому что ему и так неплохо. Нордической наружности гигант молчал, разглядывая свои начищенные до блеска туфли. Изредка он бросал быстрый взгляд на Бровкина.

— Каким видом спорта занимаешься? — продолжал допрос Константин.

— Тяжёлой атлетикой и боксом.

— Это хорошо, — отметил Константин. — А жениться не планируешь?

— Уже женился и развёлся. Алименты на сына плачу.

— Машина на улице твоя? — внезапно спросил гигант.

— Моя.

— А та, в машине, тоже твоя?

— Моя.

— Бывшая жена?

Терпение у Миши лопнуло. Уставясь в упор на светловолосого незнакомца, он чеканно отдельными слогами произнёс:

— А вы, извините, кто: группа народного контроля?

Светловолосый посмотрел сквозь него как сквозь стекло. Константин же и Анбоев ответили взглядами очень выразительными, говорившими: «Неужели непонятно, кто мы?» Наступило тяжёлое молчание. Наконец светловолосый произнёс с ленцой:

— Поехали.

Ночные гости поднялись и отправились к машинам. Константин Углов сел за руль в иномарку, светловолосый — в «волгу». Анбоев в угодливой позе склонился к дверце «волги» и стоял так, пока та не поехала. Машины укатили. Анбоев пошёл в свою пожарку. Крошкин, перейдя через дорогу, сказал Бровкину:

— Знаешь, кто это?

— Одного знаю, — ответил Миша. — Школьный мой товарищ.

— Который длинный или второй?

— Второй.

— А-а. А длинный, знаешь кто? — Вася потянулся к уху Бровкина и прошептал. — Он из мафии.

— Кто тебе сказал?

— Анбоев. Он у этого длинного на побегушках. Они здесь ещё в восемьдесят девятом году пиры в пожарке закатывали.

— Интере-есно, — произнёс Миша с растяжкой. На его лицо медленно наплыла улыбка.

Вася, поведав о подробностях былых пирушек, отправился в свою проходную почивать. Миша сел в «москвич» и отвёз домой Марину. Вернувшись, он поставил машину у ворот своей проходной, разложил сидения в постельный вариант, не раздеваясь лёг и проспал непробудным сном до утренней смены. Его разбудил деликатным постукиванием в дверцу машины первый пришедший на смену рабочий:

— Вставай, Миша, проверь у меня пропуск.

Миша ответил улыбкой. Спал он без сновидений, засыпал, едва коснувшись головой подушки, поэтому затруднился бы ответить на вопрос, любит ли он спать. Зато со всей определённо-стью он мог сказать, что очень любит пробуждаться. Пробуждение сопровождалось у него всегда чувством ликования: целый день жизни впереди!

Пришёл его сменщик, хромоногий старый Фёдорыч. Миша передал ему список муковозов, грузившихся в его смену, пожелал нескучного дежурства и отправился на своём «москвиче» в жизнь.

Брошенная с места в крейсерскую скорость машина вынеслась на автомагистраль и, дважды успев проскочить перекрёст-

ки на жёлтый свет, удачно выскочила к нужному повороту под зелёный. Крутой спуск, полумрак туннеля под железнодорожной магистралью, опять солнце, окраинные домики в зелени садов, простор приречья. Семья Бровкиных жила летом на даче, расположенной за рекой, но к мосту через Белую вдоль берега проехать было невозможно, дорога отсюда вновь вела в город. На привокзальной площади Миша остановился, чтобы купить в газетном киоске очередной покетбук с детективом. Когда он вышел из машины, его внимание привлекла голубоглазая девушка, торговавшая на улице хлебом. Место было бойкое, хлеб у неё брали нарасхват.

– Экая голубоглазка! – восхитился Миша. – Как тебя зовут?

– Люба, – ответила девушка просто, без жеманства.

– И хлеб у тебя особенный какой-то, хлебозавод такой не печёт.

– У меня своя хлебопекарня, – улыбнулась Люба.

– Шутишь?

– Нет. Только не я сама пеку, а мама. А папа на машине привозит, отвозит.

– Тебя отсюда не гоняют?

– Милиция пыталась прогнать, но у нас лицензия.

– Ты каждый день здесь?

– Да, но иногда вместо меня торгует мама.

Разговор прерывали покупатели, но Миша не уходил, пока не договорился о свидании в семь часов вечера в кафе «Крюшон». На дачу он приехал позже обычного, опоздав к общему завтраку. Мать встретила его приказанием: «Живо умывайся и за стол». Полная, с выражением благодушного довольства в уверенно спокойном взгляде, она напоминала обликом русскую боярыню. У неё было высшее юридическое образование, но она нигде не работала. Не потому, что была ленива или не могла найти работу. Связи с влиятельными людьми давали возможность открыть свою нотариальную контору, но работающая женщина представлялась Мишиной матери вульгарным педрежитком советского периода истории. Иметь такой взгляд

на вещи позволяли мужнины доходы: Мишин отец был директором городского управления энергосети.

До обеда Бровкин часок соснул, потом поскучал до пяти за чтением детектива, в пять поехал на тренировку в платный атлетический клуб «Арнольд». После тренировки, не заезжая домой, он отправился на свидание с голубоглазой Любой.

2

В Беловодске было мало заведений, где молодёжь города могла бы посидеть за столиками, поесть мороженое, попить кофе или соки. Пара ресторанов с их заоблачными ценами доступна далеко не всем. В единственный на весь город пивной бар редкая девушка согласится пойти. Оставались кафе. Одно находилось в городском парке и в основном было заполнено гуляющими вокруг расположенного рядом фонтана мамашками с детьми. Два других кафе занимали небольшие закутки в фойе кинотеатра «Панорама» и на первом этаже «Торгового дома». Конечно, ни одно из этих заведений не могло соответствовать желанию молодых парочек интересно провести время. Оставалось кафе «Крюшон». Оно находилось практически в центре Беловодска на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Ранее, в советские времена, здесь был магазин «Охота», в котором продавались экзотические для провинциального подмосковного городка продукты: медвежье и кабанье мясо, рябчики, оленина, зайчатина и прочие охотничьи трофеи. Цены, разумеется, «кусались», и народ сюда ходил, как на выставку, главным образом посмотреть, повздыхать и позавидовать редкому настоящему покупателю. За говядиной, свининой и колбасой беловодцы по выходным мотались на электричке в столицу. Поэтому магазин «Охота» проработал недолго, и вскоре на его месте открылась кофейня. Ныне это заведение было приватизировано и преобразовано в кафе «Крюшон». Днём здесь пили соки и кофе, ели пирожное или мороженое обычные посетители: студенты, мамашки с детьми, влюблённые парочки, а после официаль-

ного закрытия кафе превращалось в место отдыха и деловых встреч членов городских бандитских группировок.

Люба пришла в кафе вовремя, что приятно удивило Мишу. Он приглашал в «Крюшон» почти всех своих мимолётных подруг, и до сих пор не было случая, чтобы кто-либо из них не опоздал на несколько десятков минут. На Любе было простенькое светло-голубое платье без рукавов, в ушах поблёскивали золотые серёжки с небольшими сапфирами. Миша занял столик в дальнем от стойки бармена углу и откровенно любовался изящной фигурой приближающейся девушки.

— Ты изумительно выглядишь! — восхищённо сказал он, когда Люба села напротив него. — Что будешь пить? Вино, водка? Может, коньячку?

— Нет, я не люблю крепкие напитки. А что такое крюшон?

— Сейчас выясним!

Миша махнул бармену. Обычно тот не выходил из-за стойки, но Бровкин был старым и щедрым на чаевые клиентом, поэтому вскоре их столик был заполнен высокими бокалами, несколькими бутылочками с различными соками, двумя вазочками с разноцветными шариками мороженого, тарелочкой с несколькими эклерами и маленькими миндальными пирожными, дымящейся чашечкой чёрного кофе для Миши и красивым фужером с крюшоном для Любы.

— Я после ночного дежурства и за рулём, так что пью только кофе и сок, — улыбнулся Миша.

Люба с любопытством оглядывала кафе. Она явно была здесь впервые. Половина столиков пока пустовала. Из кассетного магнитофона над стойкой бара приглушённо гудел голос Цоя. Люба обеими руками взяла фужер и осторожно сделала пару глотков.

— Ничего особенного. — Девушка поставила фужер и придвинула к себе вазочку с мороженым. — Ты женат? — спросила она Мишу. — Не хочу, чтобы это выяснилось, когда станет поздно.

— А когда станет поздно?

- Когда я влюблюсь в тебя, – простодушно ответила Люба.
- У тебя уже такое случалось? – удивился Миша.
- Пока нет. Я и не влюблялась ещё всерьёз.
- А в тебя? – Миша допил наконец горячий кофе и тоже придвинул к себе вазочку с мороженым.
- Прямо сейчас есть один курсант нашего военного училища, который недавно сделал мне предложение.
- И что ты ему ответила?
- Ничего. Я не совсем уверена, что он мне настолько нравится, чтобы выйти за него замуж.
- А я совсем нравлюсь или не совсем? – спросил Миша.
- Я тебя ещё совсем не знаю, – ответила Люба. – Расскажи мне о себе. Так ты женат?
- Был, – нахмурился Миша. – Мы уже год как развелись.
- И дети есть?
- Сын, – признался Миша.
- И что случилось? Ты разлюбил или она?

Для Миши эта тема была табу. После тяжёлого и унижительного развода он ни с кем не желал говорить о своём неудачном браке. Любовь превратилась в ненависть, но удивительным образом осталась! Как это возможно, Миша не понимал, но факт оставался фактом: он ненавидел Веру, но одновременно продолжал её любить. Миша легко заводил любовные связи и столь же легко рвал их, когда убеждался, что очередная любовница не смогла вытеснить из его души ненавистный образ Веры. Только с одним человеком Миша мог говорить о бывшей жене – с Надюхой, своей единственной постоянной любовницей. Миша не мог с ней порвать по единственной причине: та была «лучшей подругой» Веры и являлась для Миши источником сведений о жизни его бывшей жены. Бровкину даже не приходилось унижаться вопросами, Надюха сама при встрече спешила высыпать на него ворох новостей. Миша выслушивал всё молча, без комментариев и проявления чувств, как будто жизнь бывшей жены его ни в малейшей степени не интересовала и не волновала. Но и он, и Надюха прекрасно понимали, что их

связь будет длиться до тех пор, пока окончательно не угасли Мишины чувства к Вере.

— Не хочешь об этом говорить? — огорчилась Люба. — Как же тогда я тебя узнаю? Как смогу избежать тех ошибок, что сделала твоя бывшая жена, и тем самым не погубить нашу будущую любовь? Ведь у вас же наверняка была любовь, раз вы поженились и даже родили ребёнка! Почему же ты развёлся?

— Потому что терпеть не могу, когда кто-нибудь мельтешит перед глазами, — через силу усмехнулся Бровкин.

Люба засмеялась:

— Зачем тогда женился?

— Думал, она тоже этого терпеть не может. А она совсем наоборот. Шагу ступить без себя не позволяла. Есть такие люди: заводят в доме собаку не потому, что любят, а чтобы только было кем командовать: «Нельзя! Ко мне! На место!» Вера вот из таких. А ещё таскала с собой по знакомым, их у неё тьма... Через пару месяцев я понял, что долго мне так не протянуть.

— Зачем тогда заимел ребёнка?

— У меня об этом мысли даже не было. Вера и не подумала посоветоваться со мной. Как обухом по голове! Я тогда перестал исполнять её команды и таскаться по её знакомым. Вера начала визжать. Я не переношу истерик, а она закатывала их на дню по десять раз. Стал приходить домой с работы в полночь, я тогда работал на компьютере в частной фирме. Вера в ответ стала закидывать дверь изнутри. Я стал ночевать у родителей. Короче, развелись мы ещё до рождения ребёнка.

Миша оттолкнул вазочку с растаявшим мороженым, дрожащей рукой налил себе бокал апельсинового сока и залпом выпил. Он не любил и не привык врать, но правду рассказать всё ещё никому был не в силах. Полуправду Миша не отличал от лжи.

— Она красивая? — спросила Люба.

— Кто, эта мегера? Слушай, а ведь это интересный вопрос. Ведь я был убеждён до женитьбы, что Вера дьявольски красива. Она вроде и действительно красивая. Но когда я с ней пожил,

мне стало казаться, что она урод. Её смазливое личико ассоциируется у меня теперь с уродством, понимаешь? Мне только сейчас это в голову пришло.

– Мужчинам такие вещи приходят в голову, когда они уже старики. Тебе, значит, повезло.

– А вам, женщинам молодым, приходят такие вещи в голову?

– Женщины от природы знают. Не все, конечно...

Они сидели и разговаривали почти до закрытия кафе. Потом Миша отвёз Любу домой. Её дом располагался на городской окраине у дороги на райцентр. Улица, тянувшаяся вдоль дороги, называлась «Лесная». Палисадник Любиного дома был ухоженный, с аккуратными клумбами, с роскошными цветами, но сам дом выглядел убого: посеревшие от старости бревенчатые стены, просевшая, покосившаяся крыша. За домом в глубине двора виднелось невзрачное строение с трубой – хлебопекарное производство.

– Не ахти какие хоромы для владелицы хлебного завода, – кивнул Миша на дом.

– Какая там владелица, – смутилась Люба. – Отец с матерью продали всё, что можно было продать, и ещё пришлось взять в долг большую сумму. Я ведь тоже после школы собиралась поступать в наш педагогический, но приходится помогать родителям...

– Теперь ты знаешь меня совсем? – натянуто улыбнулся Миша, с неожиданной тревогой ожидая ответа. – Разочарована?

– Ещё не совсем, – призналась Люба. – Но ты стал мне гораздо ближе. Пока?

– Пока! – сказал Миша. – Когда соскучусь, я знаю теперь, где тебя искать.

Люба прощально махнула рукой, захлопнула калитку и, быстро мелькнув светлым пятном в сгущающихся среди садовых деревьев сумерках, скрылась в доме.

Давно с Мишей такого не было. Он целый вечер угощал девушку в кафе, проводил её до дома и даже не попытался поцеловать на прощание! И всё же неожиданные чувства облегчения

и радости охватили Мишу. Он сел в машину и непривычно медленно поехал домой. Ему хотелось продлить охватившие его чувства, но вдруг он вспомнил практикантку Марину, и это было некомфортно. Главная составляющая возникшего сложного ощущения заключалась в том, что участием в ночном сексе с Мариной Миша как будто бы в чём-то провинился перед Любой, перед наивной его голубоглазкой. Ему хотелось попросить у неё прощения, хотя он не знал, в чём именно его вина и почему именно перед ней. Ничего подобного он не испытывал ни по отношению к бывшей своей жене, ни по отношению к Наде, однокласснице, с которой он встречался для постели и сплетен о жизни Веры.

Миша вновь развернул машину и помчался к Любиному дому. Подкатил вплотную к изгороди палисадника и стал глядеть, не вылезая из машины, на окна дома. На улице было ещё довольно светло, и он надеялся, что Люба увидит машину и выйдет. Она действительно скоро вышла. На ней было лёгкое платье, в котором она выглядела школьницей, такой милой и наивной школьницей. У Миши возникло чувство, будто это он с ней, а не с Надюхой учился в одном классе. Она вышла из калитки, он вылез из машины, они сблизились. Он смотрел на неё и не мог придумать, какие сказать слова. Люба заговорила первая.

— Ты по мне соскучился? — словно бы испуганно произнесла она.

Миша замер в восхищении. Выражением лица Люба словно приоткрыла свою душу: здесь было молодое изумление, вопрос, восторг, игра, лукавинка, притворный ужас перед собственной фантазией, и всё это с простиупающим подшучиванием над самой собой, с неуловимо тонкой театральностью. Это было так понятно, так светло и мило, что Мишу кольнула в сердце острая печаль. Он ясно осознал вдруг, насколько это промелькнувшее притягательнее плотского и насколько недоступней. Прежние его представления о радостях любви в мгновение рухнули. Он вдруг подумал, что ни объятия, ни поцелуи, ни наслаждения в постели

с женщиной никогда уже не доставят прежней радости, потому что в памяти навсегда останется это мимолётное движение на Любином лице. Мужчина, покоритель, властелин закричал в нём, заплакал от досады в осознании того факта, что это неуловимое не купишь, не возьмёшь силой, не запрёшь на ключ, оно рядом, но существует по своим, недоступным плотскому законам.

– Я теперь всегда буду по тебе скучать, – сказал Миша кротко.

Люба радостно улыбнулась и после неловкого молчания указала рукой на одно из окон дома:

– Это моя комната.

– Благодарю за ценную информацию, – улыбнулся Миша.

Ему хотелось стиснуть и зацеловать её, но то неуловимое, явленное выражением её лица, останавливало, напоминая, что все потуги страсти бесполезны. Ему представилось кощунством посягать на Любину плоть сейчас, в момент прозрения. С другой стороны, он не умел вести себя с женщиной раскованно, если не держал в голове мысли об обладании её женской плотью. Положение складывалось не из лёгких. Люба и притягивала его, и тяготила. Миша молчал, не зная, как сказать, что ему лучше сейчас уехать. Так они стояли друг против друга и молчали. И вдруг Люба обхватила его могучую шею и поцеловала в губы. Прикосновение её губ было неуловимо лёгким, как движение души. Миша мгновенно ощутил бунт плоти, но Люба уже закрывала за собой калитку.

– Завтра я приду к тебе вечером пешком, – сказал он. – И мы погуляем, ладно?

– Хорошо. До завтра.

Он бросил машину в крейсерскую скорость. Его ликование, казалось, передалось машине, она мчалась, едва касаясь колёсами асфальта, порываясь как будто бы взлететь. Домой Мише ехать не хотелось. Хотелось мчаться куда-то без конца. Он стал кружить по городу.

Родители уже спали, когда он вернулся домой. Он вышел в сад и стал глядеть на звёздное небо. Оно говорило что-то важное, кружило голову, обещало невесть что.

3

Подремав на своём рабочем месте, Левенцов поднялся с намерением перекинуться словом хоть с кем-нибудь. Надежды на то, что хоть каким-нибудь делом развлечёт начальник или его зам, не было. Каждый из оставшихся в изрядно поредевшем отделе придумывал себе дело сам. Мужчины читали взятые из дома книги, некоторые по привычке даже переписывали книжный текст в рабочую тетрадь. Женщины вязали. Тишина стояла идиллическая. Не верилось, что каких-нибудь два-три года назад всё бурлило от политической шизофрении, разделяя сотрудников на «красно-коричневых» и «демократов». Предательство государственных мужей политическую шизофрению излечило. Не было больше ни «красно-коричневых», ни «демократов», был обманутый – в который раз! – Народ.

Левенцов подошёл к томившемуся за своим «выставочным» столом заместителю начальника бюро:

– Скучаешь, Иван Фёдорыч?

– Не то слово, – отозвался сильно постаревший за последние два года зам. – Сидю и только и делаю, что высчитываю, сколько до пенсии осталось. И досидю ли? Курам на смех: пенсия будет больше, чем сейчас зарплата. Криминал! Да нет, не досидеть до пенсии, бумага пришла из Москвы, в банкротстве нас подозревают. Начальник сейчас у Главного по этому вопросу.

– Куда думаешь двинуть, Иван Фёдорыч, когда разгонят?

– Стар я думать. Думай не думай, не придумаешь. Сын, может, пособит до пенсии дотянуть. Дожили! От студента помощи материальной жду. Не криминал, скажешь? Он в охране подрабатывает, стипендия-то как у нас зарплата. Думаешь, легко в охране? Ночь не поспишь – день не в день, а надо грызть науку. Лучшие годы псу под хвост, а чем я помогу?

Во второй половине дня по отделу прошёл слухок, что КО-ПА разгонят. Неизвестно было только, насовсем разгонят или на какой-то срок. К концу дня стало известно, что распускают

без денежного содержания на три месяца всех: и конструкторские бюро, и экспериментальный цех. Ждать нищенского подаяния от КОПА не имело больше смысла. Левенцов написал заявление об увольнении, которое начальство без возражений подписало.

Ровно в пять он вышел за ворота предприятия, остро ощущая свой новый, такой непривычный для него статус – безработный. Завтра он оформит бегунок, получит в последний раз так называемую зарплату и... Радости почему-то не было. Как зарабатывать теперь на хлеб, Левенцов не знал. Во всяком случае, возвращение на дармовые хлеба к Скобцевым в теперешнем положении исключалось. В «пещерку» у вокзала тоже не тянуло. «Надо уезжать из города, – подумал он. – Уезжать насовсем. В Беловодск, к Наташе».

Когда Левенцов пришёл в «пещерку», Татищев был в хмельном отрубке. В прихожей и на кухне валялись окурки и пустые бутылки из-под водки. «В Беловодск, к Наташе», – утвердился в принятом решении Левенцов.

Наутро Левенцов поднялся в девять и в первую половину дня оформил «бегунок», а после обеденного перерыва получил под расчёт сто пятьдесят так называемых тысяч.

Выйдя за ворота ставшего чужим вдруг предприятия, Левенцов принялся раздумывать, как бы продать накопленную за годы изобретательства недвижимость: станки, приборы, механизмы. Продавать на рынке у него таланта не было, а найти оптового покупателя представлялось безнадёжным делом. Он обошёл торговцев автозапчастями и получил от всех категорический отказ: они в избытке обеспечивались товаром по своим налаженным каналам. Тем не менее надо было освободить комнату от имущества немедленно.

Бездумно бредя по улице, Левенцов увидел двухэтажный дом с большими арочными окнами и с колоннами, поддерживающими козырёк над входом. На стене висела старая, со стёршейся местами краской, надпись: «Дом юных техников». Дом

выглядел заброшенным: окна давно не мылись, стены с обвалившейся кое-где штукатуркой давно не красились. «Может, здесь мои железяки купят? — пришло вдруг Левенцову в голову. — А не купят, я бесплатно подарю». С этой мыслью он вошёл в здание.

На стене у входа висел солидный щит с расписанием работы технических кружков. В дальнем конце просторного коридора у одной из дверей стоял лет тридцати мужчина в офицерских галифе и в купеческого образца жилетке, в вырезе которой на груди курчавились густые волосы. Обут он был не в сапоги под галифе, а в гражданские ботинки. Подойдя к нему, Левенцов увидел, что мужчина выпивши. Он всё же сказал о цели своего визита.

— Надо подумать, — глубокомысленно сказал мужчина и «плывающим» пьяным жестом указал на дверь комнаты. — Заходи.

Комната была огромная. Вдоль стен и в центре стояли массивные рабочие столы со станками, на столах разбросанные в беспорядке груды металла. От стола к столу неприкаянно бродили два худых и бледных мальчика. Невнятно что-то им пробурчав, мужчина поманил Левенцова к двери в боковушку. В боковушке были письменный стол и стулья. Мужчина велел гостю сесть и напрямик спросил:

— Почём отдашь?

— Если вы серьёзно... — несколько растерялся Левенцов.

— Серьёзно! — словно бы с раздражением произнёс мужчина, но затем смягчился и, доверительно понизив голос, сообщил: — Свою лавочку хочу открыть. По ремонту. Эту, — он повёл рукой, — прикроют скоро. Крутые ребята глаз на этот домик положили.

Договорились встретиться завтра утром. Веры в серьёзность намерений Володи, как назвал себя мужчина, у Левенцова было мало, но тот пришёл на следующий день в точно назначенное время. Быстро оглядев товар, Володя погрузился в глубокомысленное молчание. И вдруг бухнул:

— Больше трёх миллионов я не дам.

— Трёх миллионов чего? — тихо спросил Левенцов, не поверивший своим ушам.

— Не зелёных же! — возмутился покупатель. — Деревянных наших.

— Хорошо, согласен, — быстро сориентировался Вячеслав, хотя удача представлялась ему неправдоподобной.

В этот же день Володя увёз весь металл и технические книги, заплатив наличными три миллиона. «Сделку века» отметили бутылкой поддельного «Советского шампанского» и бутылкой какого-то суррогата с этикеткой трёхзвёздочного коньяка. Возле коммерческого ларька у вокзала, где они приобрели бутылки, Левенцов встретился лицом к лицу с тем парнем, которого он в октябре прошлого года сбил здесь с ног и который потом сводил с ним счёты с помощью кастета. Тот тоже, судя по выражению лица, о чём-то вспомнил. Левенцов остановился с намерением спросить о здоровье задетого в тот вечер пулей, но парень почему-то с испуганным видом пошёл прочь. Здесь же, у ларьков, они увидели лежавшего на асфальте с окровавленной, разбитой головой мужчину в камуфляжной форме. В былые годы непременно собралась бы толпа любопытных. Теперь вид крови любопытства не вызывал, жизнь дешевела. Возле лежащего стоял лишь милиционер, вызывавший по радиации машину.

После «обмывки» сделки Левенцов с неопределённым настроением отправился гулять по городу. Возвращаться к опустевшим стеллажам и пьяному Татищеву не хотелось. Мысли крутились вокруг вопроса, как расстаться с Аллой. Она была его самым близким, самым верным другом, но она женщина, ей дружбы мало.

Левенцов не заметил, как очутился в парке. Неприглядный вид полуразрушенной закуской возле центрального, тоже сломанного, фонтана опечалил, зато приятно удивила открывшаяся вновь бильярдная. Услышав удары киев, Левенцов заглянул в неё. Игра шла за двумя столами, расположенными по правую сторону от входа. Дожидалась очереди только одна пара, а болельщиков, так оживлявших в былые годы атмосферу игр,

не было совсем. Слева от входа за узким столом играли в шахматы, тоже на двух досках. Над столом висела демонстрационная шахматная доска, а над ней выполненная от руки масляной краской надпись: «Городской шахматный клуб». «А ведь не сдаёмся!» – подумал Левенцов.

Ещё теплее стало на душе, когда он поглядел на дальний левый угол. Там стоял письменный стол, за которым мирно спал мужчина симпатичной внешности. По столу между опорожнённой на три четверти бутылкой водки, съеденным на одну треть огурцом и горсткой соли жизнерадостно гуляли мухи. На стене над спящим красовалась выполненная той же масляной краской надпись: «Администрация».

Из бильярдной Левенцов прошёл к площадке с детскими аттракционами. Здесь играл духовой оркестр. Редкими одиночками сидели на скамейках пенсионного возраста слушатели. Оркестранты тоже были пожилые. Не успел Левенцов под влиянием исполненного ими вальса додумать, что не всё ещё порушено, как из установленного поблизости громкоговорителя громыхнула на весь парк блатная песенка: «А я девчонка-хулиганка...» Это было так называемое «Радио России».

Левенцов заторопился к выходу. Навстречу по аллее шла молодая пара, девушка была одета лишь в колготки с блузкой, не прикрывавшей и пупка, но лицо её показалось издали не лишённым одухотворённости. Когда пара подошла поближе, Левенцов разочаровался: девушка, как и парень, глядела оловянными глазами и жевала жвачку. Вдобавок она широко раскрывала рот и делала губами пузыри. Было такое впечатление, что это у неё блевотина наружу просится. Подержав эту «блевотину» на виду, девушка запихивала её движением губ обратно в рот. «В Беловодск. Немедленно! – подумал Левенцов. – Сейчас позвоню Алле, попрощаюсь, и...»

Позвонить не удалось. Шёл восьмой час вечера, почтовые отделения закрылись, а круглосуточная телефонная станция не работала после случившегося в ней пожара. Левенцов пошёл к единственной в городе телефонной будке с несрезанной ещё

ворами трубкой. Эта будка находилась возле гостиницы. Подойдя, он увидел, что к ней не подобраться, вокруг гостиницы стояло милицейское оцепление: намечалась очередная разборка между бизнесменами с применением новейших образцов отечественного и зарубежного оружия, и милиция беспокоилась о здоровье посторонних. Обстоятельства вынуждали явиться к Алле лично.

К счастью, Алевтины Владимировны дома не было. Алла, открыв дверь, засияла радостью. Левенцову стало совестно, но он всё же выдавил из себя слова, погасившие в ней радость:

– Я прощаться.

– Проходи, – промолвила она смиренно.

Алла усадила его в библиотеке, принесла бутылку коньяка. Выпили по рюмке, помолчали. Алла неотрывно на него глядела.

– Я уволился из КОПА, – сообщил он. – На днях уеду, может, даже завтра.

– Куда не скажешь?

– В Беловодске есть женщина. Я бы уже давно там был, если б не Дело. Прости, Алла.

– А-а, старо как мир... – Она взмахнула пальчиками, но прежней беззаботности в этом милом её движении не получилось. – Сердцу не прикажешь. Оно у тебя не со мной, я чувствовала. Не переживай. Я тебе благодарна. В сущности, какая разница, сколько длилась радость: десять лет или десять месяцев, главное – была.

Они выпили ещё по рюмке. Алла закурила.

– Какая она, та женщина?

– Я просил её подождать меня один год, пока я закончу моё Дело, – сказал Левенцов. – Она ждёт уже пять лет.

– Пять лет? – недоверчиво взглянула на него Алла. – И что изменилось сейчас? Твоё Дело, наконец, закончено?

– Нет, – с горечью ответил Левенцов. – Очередной провал. Но главное не это. Я понял, что в погоне за несбыточной мечтой напрасно убил пять лет жизни, которые мог бы прожить с люби-

мой женщиной. Не обижайся, Алла, ты тоже чудесная девушка, и последние десять месяцев меня удерживала здесь именно ты.

— Хочется верить...

— Это правда! — воскликнул Левенцов. — Дело я бросил как раз в тот день, когда ты спасла меня от бандитов. Я понял, что даже если достигну успеха и воплещу своё изобретение в чертежах, изготовить реальный макет мне не под силу. Даже КОПА за это не возьмётся. Увидев по телевизору, как наши танки расстреливают наш же парламент, как русские убивают русских, я окончательно убедился, что наша страна катится в пропасть и мои изобретения никому здесь не нужны. Я был на пороге депрессии, когда вышел в тот вечер на улицу в поисках спиртного и нарвался на драку с пьяными охранниками. Ты фактически дважды спасла мне жизнь: сначала вырвала из лап бандитов, а потом своей любовью вернула мне веру в будущее.

— В будущее не со мной...

— Я честно пытался... — Левенцов вновь наполнил рюмки. — При любом раскладе одна из вас будет страдать.

— Ну да, — кивнула Алла. — Та уже отстрадала пять лет, у неё преимущество, а мне только предстоит...

— Алла!

— Прости, я не хочу устраивать сцену. — Алла подняла рюмку. — Давай выпьем за то, чтобы у вас с ней всё получилось. — Она вдруг грустно усмехнулась. — Ну а если не сбудется, ты знаешь, где меня искать. Пять лет ждать не обещаю, конечно, хотя... жизнь покажет.

Левенцов с облегчением взял свою рюмку. Коньяк смыл горечь неприятных признаний.

— Да, чуть не забыла! — встрепенулась Алла. — Вчера был суд, тех алкашей родительских прав лишили.

— Слава Богу, — обрадовался Левенцов. — Может, мне её удочерить? Мне три миллиона за мои железки привалило, на первое время нам с ней хватит, а там придумаем чего-нибудь.

— Три миллиона, — усмехнулась Алла. — Какие это деньги, Слава, при такой инфляции! Да и жилья у тебя нет, тебе её не отдадут. Не переживай, я позабочусь о ней, обещаю.

Резким движением она поднялась и, сев к нему на колени, со стоном обняла его...

Когда спустя час Левенцов ушёл, Алла долго стояла перед зеркалом в рассеянности, чему-то улыбаясь. Потом решительно пошла куда-то, но вспомнив что-то, не менее решительно остановилась. Постояв в задумчивости, пренебрежительно махнула пальцами, выпила рюмку коньяка и раскрыла бизнесменский свой гроссбух.

— Пройдёт, — сказала она гроссбуху и вдруг с силой швырнула его на пол.

Точно лунатик, Алла ходила по квартире в поисках предмета, на который можно опереться, который подсказал бы смысл дальнейшей жизни. Но она знала, что такого предмета в квартире нет. Такого предмета, она знала, нет во всей вселенной.

Спустя неделю Алла объявила своим агентам, что закрывает дело. Увидев, как нешуточно расстроился Егор Агапович, она посоветовала ему самому заняться торговлей.

— Я не смогу, — ответил Сорокин. — И денег нет. Всё, что я заработал, ушло на квартиру сыну, он женился.

— Возьмите у меня, — предложила Алла. — Разживётесь — отдадите, нет — не надо.

— Нет, спасибо, — отвечал Егор Агапович. — Паразитов нынче без меня хватает.

Алла заметила, что в глазах у него сквозь печаль светилась — именно светилась! — непреклонность.

— Спасибо вам, — задумчиво произнесла она.

— Мне-то за что?

— За то, что вы хороший человек.

У него и печаль от её слов в глазах пропала. А она окончательно утвердилась в непросто давшемся решении.

Вечером Алла в последний раз листала свой гроссбух.

— Когда в десятку самых богатых людей мира выйдешь? — поинтересовалась с саркастической усмешкой мать.

Захлопнув гроссбух, Алла небрежно махнула пальцами.

— Конечно с этим, мама. У меня к тебе просьба, помоги устроиться на работу медсестрой.

Больше минуты глядела Алевтина Владимировна на дочь в молчании. Не высмотрев ни розыгрыша, ни сарказма, она всё-таки спросила:

— Ты серьёзно?

— Серьёзней некуда, — отвечала Алла.

— Так ведь на медсестру тоже учиться надо!

— А я училась, — махнула пальцами Алла. — У нас же в институте военная кафедра была. Пока ребята изучали военные науки, нас, девчат, обучали на военных медсестёр. До сих пор без смеха не могу вспоминать, как в первый день занятий нас выстроили в шеренгу, и низенький пузатенький майор с багровым от выпитого лицом прошёлся вдоль нас из конца в конец, вглядываясь в наши озабоченные мордашки, потом остановился на середине и неожиданно зычно выдал пафосную речь, конец которой заглушил всеобщий хохот.

— Кем вы пришли сюда? — спросил майор. — Неопытными девушками-студентками. А кем уйдёте по окончании учёбы? Опытными женщинами-санитарками!

— Как же мы ржали, — улыбнулась Алла и вдруг по-детски беззащитно всхлипнула. Её вмиг покрасневшие глаза наполнились слезами, и не в силах больше сдерживаться, она по-настоящему зарыдала.

— Господи, — тихо простонала Алевтина Владимировна, прижимая голову дочери к своей груди. — Поплачь, доченька, не стесняйся, легче станет, — сказала она, глядя её волосы. — Доля наша женская такая.

— Я его не виню нисколько, я ему благодарна, мама. Но я не знала, что от этого такая боль, ма-ама!

Выплакавшись, Алла махнула по привычке пальцами.

– Капиталы я свои все раздала: детдому, дому престарелых... Немного оставила для той девочки. Её родителей лишили родительских прав, и я хотела бы её удочерить. Если ты...

– Ты умница! – глаза у Алевтины Владимировны сделались небесно-синими. – Мы так славно заживём втроём женским коллективом! И не нужно нам никаких мужчин. Господи, я снова обрела свою дочь!

4

Завтрак Миша Бровкин проспал. Мать несколько раз заходила к нему в комнату, но будить не решалась. Миша был единственным и любимым ребёнком в обеспеченной семье Бровкиных, считающих себя частью элиты Беловодска. Сын давно уже вырос, отслужил в армии, успел жениться и развестись, но мать по-прежнему считала его несмышлёным юношей, нуждающимся в постоянном присмотре и руководстве. При этом Миша почти никогда не был ограничен со стороны властной матери в исполнении его капризов и насущных потребностей. Она не изводила его нотациями, не подавляла жёсткими приказами, и Миша был уверен, что всегда сам принимает все решения, хотя на самом деле таких прецедентов было очень мало: решение пойти после провала в институт в армию, активно поддержанное отцом, скоропалительная женитьба на Вере и скандальный развод с ней. Все остальные события в жизни Миши Бровкина происходили под непосредственным или незаметным руководством матери.

Возможно, мать и от армии любимого сыночка отмазала, если бы не решительное вмешательство главы семьи. Пришлось смириться. Сын решил жениться на любимой девушке? Отговаривать его себе дороже, этим можно только оттолкнуть от себя любимого сыночка. Ведь для отказа и неприятия получить в снохи дочь старых друзей нужны очень веские аргументы, которых в то время у матери Миши не было. Неприятные слухи, конечно, доходили, «добрые люди» всегда найдутся, но не пересказывать же сплетни ослеплённому первой любовью мальчику! Ми-

ша всё равно бы не поверил, а Вера вряд ли бы призналась, раз уж решилась быстренько лечь в койку с нелюбимым и навязать доверчивому несмышлёнышу чужого ребёнка. А мальчик был счастлив! Что ещё нужно матери?

Последующий скандал и развод были, конечно, неприятны и вряд ли столь уж необходимы. Многие семьи живут при схожих обстоятельствах, но Миша, а главное, Вера упёрлись. Хорошо ещё, что правда не вышла за узкий круг посвящённых, которые вряд ли посмеют раскрыть свой поганный рот — влияние родителей непутёвой Веры и самих Бровкиных в Беловодске являются надёжной гарантией этого. С трудом, но удалось убедить Мишу не отказываться от отцовства. Алименты — мизерная цена за сохранение авторитета. Деньги для Бровкиных давно уже не проблема. Мишеньку грызёт обида, его можно понять, но какой он всё-таки ещё ребёнок! Бросил хорошую работу, пошёл в сторожа, чтобы отомстить Вере! Глупыш!

Мальчик, конечно, получил хороший урок. Пусть пока меняет любовниц, набирается опыта. Теперь-то уж он не станет жёниться под влиянием чувств. Когда успокоится, заботливая мама подберёт ему хорошую невесту из их круга. Незаметно, конечно, сведёт их, исподволь убедит мальчика, что именно такая девушка достойна стать его женой.

Мать опять вошла в спальню сына. Странно, на лице Миши добрая улыбка! Последнее время мальчик спит беспокойно, его мучают кошмары, которые он не может вспомнить при пробуждении, встаёт невыспавшийся, хмурый. С утра ходит раздражённый, всем недовольный. А сейчас улыбается во сне. Как такого будить? И мать вновь вышла, тихо закрыв за собой дверь.

Миша проснулся в полдень. И тут же вспомнил голубоглазку Любу. Сегодня он обязательно вновь её увидит. Придёт, как обещал, пешком, и они будут долго гулять и говорить обо всём. Или молчать, поглощённые чувствами небывалого единения и нарождающейся любви. Да, любви! Что же ещё это может быть, если сегодня Миша проснулся с ощущением грядущего счастья?

Он давно не чувствовал себя так легко и хорошо. Его больше не мучают мысли о Вере! Более того, он вспомнил о ней именно потому, что не она, как это было каждое утро, занимает его мысли. Он поразился этому, потому и вспомнил. «Милая голубоглазкая, ты и от этого кошмара меня избавила!» — с умилением подумал Миша.

Он встал, натянул плавки и, выскочив в окно, чтобы не обходить дом, помчался по давно протоптанной им между клумбами и кустами крыжовника тропинке напрямки к реке. Легко перемахнув дачный забор, Миша, не останавливаясь на берегу, с разгону ворвался в воду, охнул от её неожиданной прохлады и нырнул. Дно в этом месте уже через пару метров резко понижалось, камни и кувшинки Бровкиным давно были убраны. Миша плыл под водой, пока хватало воздуха в лёгких, потом вынырнул, громко отфыркиваясь, и быстро огляделся вокруг — не хотелось бы попасть под винт какой-нибудь моторки. Но всё было тихо, фарватер пуст, и только на противоположном берегу шумел разноголосицей городской пляж. Миша перевернулся на спину и отдался на волю течения.

«Вечером я вновь увижу мою голубоглазку! — с умилением думал Бровкин. — Надо ей что-нибудь подарить, хотя бы какие-нибудь цветы. Голубые, как её прекрасные глаза».

Гул, возникший в ушах, прервал Мишины мечты. Он поднял голову, быстро огляделся и увидел приближающийся буксир, за которым виднелась длинная баржа, наполненная песком. Бровкин спокойно оценил расстояние до буксира и красивым брасом поплыл к берегу. В дом он вошёл, как и положено, через дверь.

После завтрака, совмещённого с обедом, Бровкин на пару часиков завалился с книжкой на диван, ожидая, пока немного спадёт жара, а затем занялся любимым делом. Вставив в магнитолаху кассету с подборкой любимых песен английской рок-группы «Deep Purple», Миша врубил музыку погромче и поднял капот «москвича». Он решил заменить отечественные свечи на японские, комплект которых достал на днях у знакомого спе-

кулянта. «Хотя теперь подобных людей, видимо, нужно уважительно называть предпринимателями или даже бизнесменами», — усмехнулся Бровкин, вскрывая красочную упаковку. Он успел заменить две свечи, когда у ворот дачи вдруг остановился «мерседес», из которого вылез Константин Углов.

Миша вытер руки, выключил магнитолу и вышел за калитку.

— Привет! — сказал он. — Извини, руки не подаю...

Бровкин продемонстрировал покрытую пятнами и остро пахнущую бензином тряпку, которой продолжал оттирать руки.

— Привет! — усмехнулся Углов. — Всё надраиваешь свою старушку? Не надоело?

Из «мерседеса» послышалось женское хихиканье, в окне мелькнули две раскрашенные мордашки.

— Чего приехал-то? — хмуро спросил Миша. Его прекрасное с утра настроение стало постепенно скукоживаться.

— Разговор есть, — не обижаясь, ответил Углов. — Серьезный.

— Говори.

— Ну, не здесь же!

— В гости, что ль напрашиваешься? — удивился Бровкин. — Так ты, вроде, не один, а у меня сейчас ничего нет...

— У меня всё с собой! — махнул рукой Углов. — И выпивка, и закуска, и девочки. А сидеть в такую погоду в душной комнате, да ещё под присмотром твоей маман... — Углов презрительно усмехнулся. — За кого ты меня принимаешь?

— А где тогда? — озадаченно спросил Бровкин.

— Да вон недалеко отсюда на берегу есть одно отличное местечко. Укромное, посторонних поблизости не бывает, и даже песочек для желающих позагорать имеется.

— У меня машина не на ходу, — попытался отказаться Миша.

— Так на моей поедем, — успокоил Углов. — Иль безгущешь? — Он недобро прищурился.

— Да нет, — не испугался Бровкин. — Просто у меня вечером свидание...

– Не проблема! – вновь расплылся в улыбке Углов. – Доставим, куда скажешь.

Местечко и впрямь оказалось уютным и скрытым от посторонних глаз. Выпорхнувшие из машины девицы привычно растелили на траве скатерть, вынули из багажника и принесли две корзины с бутылками и закусками. Быстро порезали хлеб, колбасу, огурцы и помидоры, разложили всё это на тарелочки, отдельно положили пучки зелёного лука, салата и петрушки, десяток варёных яиц, открыли и водрузили в центре коробочку с солью. Расставили стаканы. Вокруг скатерти разложили четыре огромных махровых полотенца.

– Стол готов! – провозгласили хором девицы и поклонились на древнерусский манер, тотчас выпрямившись и звонко расхохотавшись.

– Каковы!? – восхищённо воскликнул Углов, шуточно ткнув Бровкина кулаком в плечо. – А ты ехать не хотел.

Бровкин смущённо улыбнулся. Он всё ещё не понимал, почему согласился поехать с Угловым и девицами в этот укромный уголок на берегу реки, скрытый от посторонних глаз прибрежным кустарником. Все его мысли по-прежнему занимало предстоящее свидание с Любой. Он не понимал собственной робости в общении с ней. Как пройдёт сегодняшнее свидание? Осмелится ли он хотя бы обнять и поцеловать её?

Углов привычными движениями сорвал с бутылки пробку и равными порциями разлил водку по стаканам.

– Ну что ж, пора вам познакомиться, – с улыбкой сказал он, поднимая свой стакан. – Эту вот красавицу-блондинку зовут Марго, а неотразимую брюнетку – Сандра.

Девицы захихикали, переглянувшись и лукаво поглядывая на Бровкина.

– А этот могучий атлет – мой давний друг Миша, – продолжил Углов. – И он вовсе не такой неуклюжий и молчаливый медведь, каким почему-то выглядит сегодня.

Девичы громко засмеялись, а Бровкин смущённо улыбнулся и, наконец, выпал из своих раздумий в реальность. Он тоже взял свой стакан и, протянув его в сторону девиц, сказал:

– За знакомство!

– Вот это другое дело! – воскликнул Углов. – «Узнаю брата Колю!»

Все чокнулись и залпом выпили. Марго, задержав дыхание, тут же наполнила свой и подруги стаканы ядовито-жёлтой фантой и вопросительно посмотрела на Мишу. Тот отрицательно мотнул головой и плеснул себе немного минералки. Углов насмешливо посмотрел на Бровкина и нарочито медленно отломил кусочек чёрного хлеба и поднёс его к своему длинному носу.

– Костя, а почему ты назвал Мишу Колей? – удивилась Марго.

– Не забивай свою прелестную головку тем, что тебе всё равно в жизни не пригодится, – усмехнулся Углов.

– А я знаю! – воскликнула Сандра. – Это из какого-то кино, правильно?

– Ах ты моя умница! – полупрезрительно-полунасмешливо ответил Углов. – Конечно, из кино. Или из книги. Вот Миша нам сейчас скажет. Он очень книжки уважает!

– Правда? – изумлённо округлила глаза Марго. – Ты читаешь книжки? А я со школы ни одной в руки не брала! Кино в сто раз интересней.

– Конечно, это из какого-то кино! – воскликнула Сандра.

– Ну же, Миша, рассуди нас! – подначил Бровкина Углов.

– Все вы правы, – грустно усмехнулся Миша. – Фразу про брата Колю ты взял из книги Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». По ней и фильм снят, вы наверняка его видели. И ты, Марго, тоже, просто забыла или не обратила внимания.

Марго беззаботно махнула рукой.

– Я вообще быстро всё забываю. Зачем помнить всякую чепуху? Давайте лучше выпьем по второй.

– Вот это правильно! – Отложив недоеденный бутерброд с колбасой, Углов ловко открыл новую бутылку и разлил её со-

держимое по стаканам.

— А не слишком ли мы гоним? — спросил Бровкин. — Ты ж ещё о чём-то серьёзном поговорить хотел?

— Успеем, — успокоил его Углов. — Ну, девочки, а теперь за что пьём?

— За любовь! — откликнулись те хором и засмеялись.

— Не за книжки же! — добавила Марго, насмешливо глянув на Бровкина. — Они нам ещё в школе надоели.

Миша почти с научным интересом разглядывал легкомысленную девицу. Познания из школьной программы у неё вряд ли сохранились, в рыночной эпохе и с таким бездумно смазливый, как у неё, личиком, они, видимо, были не нужны. Перехватив Мишин взгляд, она отработанным движением глаз направила его к своим соблазнительно сложенным бёдрам.

«Конечно, с бабами надо проще, — подумал Бровкин. — Как будто я этого и сам не знал!» Он выпил водку, и через несколько минут предстоящее свидание с Любой представилось уже лёгким, не обязывающим ни к чему приключением, от боязни показаться Любе неуверенным не осталось и следа. Он снова был рубаха-парень. В компании непринуждённо завязался светский, то есть бессмысленный, перенасыщенный банально пошлыми шутками и смешками разговор.

— Девочки, вы не находите, что перегрелись малость? Подите окунитесь. — сказал Константин.

Девушки без возражений поднялись, без малейшего смущения скинули платья и нижнее бельё и совершенно обнажённые пошли к реке. Бровкин, разинув рот от изумления, смотрел, как они, соблазнительно покачивая бёдрами, неторопясь входят в воду.

— Ну не сидеть же им потом в мокром белье! — пояснил Углов. — Здесь всё равно никого, кроме нас, нету. Тебе, кстати, какая больше нравится? Хотя, если захочешь, можем в процессе и поменяться, они будут не против.

— У меня свидание сегодня! — побагровев, отрезал Бровкин. — Я не за этим с тобой сюда приехал.

– Да, поговорить надо, – согласился Углов. – Как тебе казался мой шеф?

– Это который длинный и белый, что ли?

– Он самый.

– Чересчур уж сноб.

– Положение обязывает.

– А он кто?

– Со временем узнаешь.

– Он действительно твой шеф? Ты где работаешь?

– Нигде не работаю. А при случае везде. В общем, в сфере бизнеса, на жизнь не обижаюсь. Если хочешь... Миш, честно, ты на грошовую зарплату устроился в охрану для чего? По склонности к безделью или...

– Или, Костя. Бывшая моя жена такая при ближайшем рассмотрении оказалась сволочь, что... Короче, на грошовую зарплату я пошёл, чтобы алименты ей выплачивать грошовые.

– Одобряю. А неофициальные доходы?

– Нет у меня доходов, на шее у родителей сижу.

– Как долго думаешь сидеть на шее?

– Не думал ещё над таким вопросом.

– Пора подумать, Миша. На реализацию твоей голубой мечты о заграничном путешествии денежки нужны.

– Мне такие денежки не по плечу.

– Почему же, Миша? Плечо у тебя нехилое, о том и разговор. Хочешь в сферу бизнеса?

– Смотря какого...

– Не бойся, не посадят. А денежки будешь иметь, какие пожелаешь. Со временем, конечно.

– А трудовой стаж?

– Ми-иша! Ты же умный парень, не видишь разве, куда клонит жизнь? Что тебе трудовой стаж даст? Нищенскую пенсию? Чувство глубокого морального удовлетворения?.. Впрочем, можно и трудовой стаж. Я уже говорил насчёт тебя с надёжным человеком. Он директор хлебозавода. Широкие связи, широкий кругозор, возможности... Пойдёшь к нему?

— Кем?

— Секретаршей, — рассмеялся Константин. — Шутю, понятно. Он найдёт тебе занятие, перетруждать не будет, гарантирую. И на денежку не поскупится. Как, пойдёшь?

— Пожалуй... — с неуверенностью молвил Бровкин.

— Замётано, — заключил Углов. — Выпьем по такому случаю.

Он позвал подружек. Выпили водки, потом переключились на вино.

— А кто же у вас поведёт машину? — удивился захмелевший Бровкин.

— Одна из них, — небрежно кивнул Углов на девушек. — Они чем больше пьют, тем лучше водят. Хочешь, к девушке твоей тебя подкинут.

— Не-е, — помотал Бровкин головой. — В машину с нетрезвым водителем не сяду.

— Смерти что ль боишься?

Вместо ответа Миша молчаливо улыбнулся. Он был уже в том пьяно-благодушном настроении, когда кажется, будто все вокруг должны понимать тебя без слов. Они выпили ещё, потом ещё, хохоча купались в чём мать родила, целовались, а когда солнце вдруг превратилось в огромный красный шар, лежащий на другом берегу Белой, Миша понял, что катастрофически опаздывает на свидание с Любой и позволил себя уговорить сесть в машину.

Удивительно, но девицы, пившие наравне с парнями, выглядели и, видимо, чувствовали себя менее пьяными. Марго уверенно вела машину под руководством сидящего рядом Бровкина, а Сандра, не стесняясь, ублажала на заднем сиденье Углова. Включённый на полную громкость магнитофон заглушал все звуки сзади, а смотреть Миша старался только вперёд.

Сохранившиеся остатки разума заставили Мишу попросить Марго остановить машину у начала Лесной улицы. Он понимал, как будет выглядеть, если приедет прямо к дому Любы в подобной компании. С трудом отвязавшись от Константина, рвавшегося познакомиться с «девушкой лучшего друга», Миша проводил

пьяной улыбкой отъехавший автомобиль и в наступившей тишине вступил нетвёрдой походкой в сгущающийся сумрак Лесной улицы, тускло освещённой горящими кое-где уцелевшими светильниками на столбах.

На свидание к Любе он приплёлся уже в сумерки, шёл одиннадцатый час. Он перелез через ограду палисадника и постучал в окно, на которое Люба указала в прошлый раз. Свет в занавешенном окне погас, и спустя минуту на крыльцо вышла Люба. Кинувшись к ней, он запнулся за что-то и упал. Поднявшись, попытался обнять Любу, но она его отстранила и разочарованно произнесла:

– Ты пьяный?

– Ага, – охотно согласился Миша. – Выпил для храбрости немножко. Погуляем?

– Нет, время уже позднее.

Из-за опьянения он не уловил в её голосе обиды, ему казалось, она рада ему пьяному, разве она не такая, как все бабы? Он опять попытался её обнять. Она вырвалась и убежала в дом. Миша ринулся за ней, но опоздал, дверь оказалась заперта. «Ну и ладно, – обиженно подумал он. – Недотрога какая! У нас и не такие ещё будут девочки!» И, переключив пьяную голову на приятные мечтания о вольготной службе у директора хлебозавода, он отправился домой. Длинная дорога не томила. Жизнь рисовалась хмельному воображению бесконечной и прекрасной.

Он плутал по незнакомым улицам, разговаривал с двумя незнакомыми парнями. Сначала парни велели ему снять с себя куртку и часы, но после того, как он двумя ударами сбил их с ног, сделались совсем своими. К мосту через Белую он приплёлся, когда уже посветлела полоса неба у горизонта на востоке. Миша долго стоял у перил моста и глядел на воду. Охмеление проходило. О службе у директора хлебозавода уже не думалось. Уже воцарялось в подсознании раскаяние. Вспомнилось неуловимое, поразившее в увиденном на Любином лице движении души. Он предал Это. На сердце у него стало скверно.

Через три дня утром, прямо с ночного дежурства на мукомольном заводе, он зашёл в расположенную рядом проходную хлебозавода и сказал вахтёру, чтобы тот позвонил директорской секретарше. Вахтёр позвонил и подал трубку.

– Мне надо на приём к директору по вопросу об устройстве на работу, – сказал Бровкин.

– Об устройстве на работу в отдел кадров, – отчеканила секретарша.

– Скажите директору, что я от Константина Углова.

Через несколько минут секретарша позвонила вахтёру и велела Мишу пропустить. Когда Бровкин вошёл в кабинет к Кулагину, тот разговаривал по телефону:

– Фемидыч, это ты? Только пришёл, что ли? Полчаса звоню. Слушай, тут ко мне на работу хочет симпатичный парень. Зовут Бровкин Михаил... – Закрыв ладонью трубку, Кулагин спросил Мишу, как его зовут по батюшке.

– Андреевич, – ответил Миша.

– Бровкин Михаил Андреевич, – повторил Кулагин в трубку. – Будь другом, узнай у подопечных, по твоему департаменту он не проходил? – Тут Борис Павлович обратился к Мише с просьбой сказать адрес места жительства, после чего повторил сказанное Мишей в трубку. – Твой родственник?! – вдруг воскликнул он. – Тогда всё, вопрос снимается, не прогневайся, что побеспокоил.

Кулагин положил трубку и, с удивлением поглядев на Бровкина, кивнул на стул:

– Садись, Миша, чего стоишь-то! Начальник следственного отдела у него в родственниках, а он стоит!

Миша сел и улыбнулся. Кулагину его улыбка, видимо, пришлась по вкусу.

– Ты и впрямь на Фемидыча похож, – заметил он.

– Кто это, Фемидыч?

– Как кто?! Родственник твой. Коллега богини правосудия Фемиды, вот мы и зовём его Фемидычем. Так ты хочешь стать моим вице-директором?

- Да. А что означает «вице-директор»?
- Это означает, что, во-первых, мы с тобой становимся друзьями. Во-вторых, поскольку платить за дружбу денежным довольствием буду я, то я и буду старшим. А вице-обязанности будут у тебя не сложные. Ну там отвезти меня, когда мне самому до руля не доползти. Узнать там что-нибудь, с кем-нибудь переговорить от моего имени. Официально ты будешь числиться грузчиком в уютном магазине. Не возражаешь?
- Зарплата будет?
- Будет. За грузчика – согласно штатному окладу, а за дружбу со мной... Для начала могу предложить пять окладов грузчика.
- Согласен, Борис Павлович.
- Я тоже, Михаил Андреевич. Замётано.

5

В пять утра запищал будильник, Наташа проснулась, и сразу же в голове у неё завертелся беспокоивший почти всю ночь вопрос: как жить дальше? Она вспомнила свои наивные мечты о собственном магазине, пусть самом маленьком, но своём, о том, как она бы очень хорошо всё в нём устроила. Ничего не сбылось!

Да, сначала она жила в какой-то слепой эйфории. Борис Павлович Кулагин возил её на своём «мерседесе» по различным учреждениям, где она, минуя огромные очереди нервно-возбуждённых людей, проходила вместе со своим благодетелем в кабинеты и не читая подписывала какие-то бумаги.

– Ну вот, – улыбаясь, сказал ей Кулагин однажды, останавливая машину рядом с кирпичным зданием бывшего кафе, в котором несколько рабочих заканчивали косметический ремонт. – Держи ключи и печать. Теперь ты здесь полновластная хозяйка. Через пару дней привезут витрины, полки, оборудование и можешь приступать к работе. Персонал уже подобрала?

– Нет, – растерянно ответила Наташа. – Не до того было.

– Плохо! – нахмурился Кулагин. – С разгрузкой товара я помогу: пришлю крепкого парня, шофёру хлебного фургона тоже указание дам. А за прилавок придётся тебе самой встать.

– Справлюсь, Борис Павлович, не беспокойтесь.

– Ну гляди! – Кулагин озабоченно потёр подбородок, потом с улыбкой повернулся к Наташе. – Надо бы отметить такое событие! Не каждый день ты становишься владелицей собственного магазина. Махнём в ресторан?

– Поздно уже, Борис Павлович, – смущённо потупилась Наташа. – Ксюша, дочка, меня уже час как ждёт, волнуется...

– Что ж, дети – это святое. Отложим. – Кулагин недовольно скривился и завёл мотор. – Подброшу тебя до дома, но поляну ты мне при первой же возможности накроешь!

Ох и тяжело же ей пришлось тогда! Подружки из 43-го магазина, которых Наташа планировала переманить к себе, наоборот отказались увольняться из Продторга, а подрабатывать в свободное время у «предательницы Фадеевой» им категорически запретила Лариса Гелиевна. Пришлось брать случайных незнакомых людей. Как следствие, начались воровство и недостача.

Окончательно всё рухнуло в начале июня. Закончились школьные будни, и Наташа задумалась над тем, куда пристроить дочь на летние каникулы? В деревне у бабушки общительной Ксюше показалось прошлым летом скучно: подружек нет. В продторговский её бы лагерь! Продторг, переименованный сначала в ассоциацию, а потом в фирму «Продтовары», в превратностях дикого рынка не только сохранил свой загородный пионерский лагерь, но и нашёл средства для его благоустройства. При очередной встрече с Кулагиным в его кабинете на хлебозаводе Наташа, передавая ему конверт с наличкой за реализованный левый товар и часть долга за магазин, спросила, не может ли тот помочь ей с пионерским лагерем, как когда-то помог с бухгалтерскими курсами.

– Чудачка! – оживился Борис Павлович, снимая трубку телефона. – Давно бы сказала!

Через два дня Наташа проводила Ксюшу в летний лагерь. Кулагин прислал Мишу Бровкина, и тот доставил их к месту сбора отъезжающих — во двор административного здания фирмы «Продтовары». Наташу сразу окружили бывшие сотрудницы. Радостные восклицания, оживлённый разговор, улыбки. Ей стало необычайно хорошо. Ксюша тоже очутилась в окружении весело воркующих подружек. Всё было как когда-то прежде. Даже пионерские галстуки в толпе мелькали. И пионерский горн вдруг зазвучал, вызвав нехитрой своей мелодией ностальгическую сладостную грусть. «Ведь не ценили!» — подумала Наташа.

А через час она уже сидела в своём магазине, подводя итог за прошлый месяц. Итог был безрадостный, налоги опять всё «съели». Всякая охота бороться за образцовость магазина пропадала. Наташа вдруг почувствовала, что смертельно устала от этой безнадёжной борьбы, как уставала когда-то от нездорового морального климата в 43-ем магазине.

После обеденного перерыва позвонил Кулагин.

— В каком обществе без дочери вечер сегодня планируешь провести? — спросил он игриво.

— Какое там общество! — ответила она. — Соседи по квартире да телевизор — вот и общество.

— Это не дело, за тобой обещанная поляна. Наеду вечером, расшевелю.

— Что вы, Борис Павлович, не надо, соседи ещё чего не так подумают.

— Почему не так? Именно так! — Кулагин нехорошо как-то рассмеялся.

Он приехал, когда на улице уже сгущались сумерки. Миша Бровкин, смущённо отводя глаза, внёс и быстро разгрузил на стол пакеты, вынув из них бутылки с красным и белым вином, коньяк, различные нарезки, плитку импортного шоколада, коробку конфет и тут же вышел.

Дальнейшее вспоминать не хотелось. Кулагин уже где-то хорошо выпил до того, как приехал к Наташе. А когда добавил ещё и у неё пару рюмок коньяка, то совсем потерял весь

свой лоск и без лишних слов полез целоваться, ревя на весь дом:

— На брудершафт!

Она вырвалась и оттолкнула его. Всегда спокойные и мягкие её глаза горели гневом.

— Как же вам не совестно! — с горечью воскликнула она. — Как же надо не уважать меня, чтобы прийти в таком пьяном виде! Вам плевать, что мне завтра стыдно будет соседям в глаза взглянуть.

— А ты не шуми, они и не услышат, — возразил он, прижав палец к губам и пьяно водя головой.

— Как же вам не совестно! — повторила она, — Я всё поняла теперь. Вы непорядочный человек, Борис Павлович. Я вам была нужна как подставное лицо, чтобы скрыть вашу аферу с магазином. Попутно вы...

— Тише, дура, — прошептал он, мгновенно протрезвев.

— Уходите сейчас же. И ищите себе другое подставное лицо, я в этой афере больше не участвую.

— Да ты знаешь, сколько я в тебя вложил, неблагодарная? Трёх жизней не хватит расплатиться.

— Не в меня вы вкладывали, а в свой магазин, и я хорошо знаю, сколько.

— В Сибирь упеку.

— Не упекёте, шума побоитесь.

Кулагин схватил со стола бутылку, выскочил на улицу и, ляпнувшись в «мерседес», сорвал с бутылки пробку и стал, точно воду, пить коньяк. Напившись, он сконфуженно сказал:

— Разочаровался я в бабе, Миша. Вези меня домой.

На следующее утро к магазину Миша подъехал раньше, чем пришла Наташа, не было ещё шести. Не выходя из машины, он вздремнул. Его разбудил водитель грузовика с хлебозавода. Быстро перекидав секции с хлебом, Бровкин подошёл к Наташе и весело сказал:

— Можно подписывать, всё сходится.

Наташа подписала накладную, отдала её водителю, лицо у неё было необычно хмурым. Миша жизнерадостно заметил:

— Начальник, мы сегодня не в духе?

Наташа, не отрывая взгляда от кипы выложенных на столе бумаг, рассеянно ответила:

— Зато тебе, вижу, очень весело.

— Не то слово, начальник. Мне лучше даже, чем «очень весело». Мне хотелось бы, чтобы так было и тебе.

Наташа оторвалась от бумаг, посмотрела грустно.

— И правда, — произнесла она чуть удивлённо. — Улыбка у тебя совсем другая нынче. А мне вот надо сдавать дела. Ухожу я, Миша, другой будет у тебя начальник.

Миша посерьёзnel:

— Кто тебя обидел?

— Твой шеф.

— Правда?

— Да нет, шучу... Прости, Миша, мне не до разговоров.

Бровкин опечалился. Он только сейчас понял, как легко и хорошо, когда в начальниках такая милая женщина, как Наташа. Недоброе предчувствие кольнуло его в сердце. Почудилось, будто этот разговор с Наташей уже когда-то был и будто это связано со злым каким-то роком. А ведь вчера, ожидая Кулагина у Наташиного дома, Миша вдруг понял, что совсем рядом живёт его голубоглазка! Он осознал, что может буквально через минуту увидеть её, и уже почти решился на это, как вдруг из подъезда вывалился совершенно невменяемый от злости Кулагин, и пришлось везти того домой. Но с той минуты Бровкин жил радостью будущей встречи с Любой. Его радость ещё больше померкла, когда он вспомнил, что сегодня у его матери соберутся гости на какое-то торжество, и Миша обещал обязательно на нём присутствовать.

6

Забросив домой своего шефа, Бровкин глянул на часы, было пять минут одиннадцатого. Он досадливо крутнул головой: если бы не легкомысленное обещание обязательно присутствовать на праздничном сборище у матери! Бровкина нельзя было отнести к тому скучному типу людей, которых зовут принципиальными, он подсознательно отвергал всяческие принципы, но исполнять данное кому бы то ни было слово он считал святой обязанностью. Тем более слово, данное матери. Он помчал не к Любе, а домой. В ворота заезжать не стал. Взбежал по лестнице на второй этаж, где светились окна, распахнул не постучав дверь комнаты, где за столом сидели гости.

— На минутку, ма, — позвал он мать, забыв поздороваться с гостями. Мать, сверкая украшениями вечернего наряда, вышла за дверь.

— Я поеду, ма, — сказал он чуть смущённо.

— К Надюхе что ль приспичило?

— К другой. С Надюхой завязал.

Мать смотрела на него изучающе. Нежная любовь проступала в её благодушном и спокойном взгляде.

— Во сколько же ждать назад? — спросила она.

— Не жди, ма, я оттуда прямо на работу.

— Пил сегодня?

— Ни грамма.

— Ладно, выкладывай ключи, документы, деньги и катись.

Через двадцать минут Бровкин был у Любиного дома. В её окне горел свет. Миша перемахнул через изгородь, подошёл к окну, оно было занавешено. Где-то близко залаяла собака, издали донёсся ответный лай. Подступившая внезапно робость щекотала нервы, приключение приятно волновало. Он тихонько постучал. Свет в окне погас, на крыльцо вышла Люба. Миша обнял её, она не отстранилась.

— Не сердчай, что поздно, — сказал он.

— Я чувствовала, что ты придёшь. Не сердчаю.

Миша стал её целовать.

– Подожди, – сказала Люба. – Идём туда. – И, высвободясь из объятий, пошла за угол дома. Догнав и обняв её вновь, он ощутил дрожь её тела.

– Ты озябнешь, – сказал он. – Идём в машину.

– В машину не хочу. Не люблю машины.

Миша прижал Любу к стене, стал целовать её губы, волосы, лицо, одновременно прижимаясь всё сильнее к её телу. Заметив, что она слабеет, он страстным шёпотом повторил:

– Идём в машину.

– Лучше ко мне, – ответила она. – Тебе придётся лезть в окно. Я открою.

Люба скрылась. Миша прокрался к её окошку и стал ждать. Окошко оставалось закрытым долго-долго. Сердце у него усиленно стучало в нетерпении. Наконец он увидел, как отодвинулась занавеска, в темноте оконного проёма смутно обрисовался Любин силуэт. Приглушённо звякнула задвижка, скрипнула тихонько ставенка. Протянув руку, Миша ухватился за выступ подоконника. Через полторы секунды он был в комнате. Он двинулся к Любиному силуэту и громыхнул задетым стулом, послышался испуганный Любин шёпот: «Тише, отца с матерью разбудишь». Он наконец поймал её, они замерли в объятиях.

– Отвернись к окну, – шепнула она.

Миша отвернулся и услышал за спиной еле уловимый шорох: Люба снимала с себя платье. Этот женственно лёгкий, трепетный, кружащий голову звук был вершиной, сутью, квинтэссенцией, всё остальное, следовавшее за ним, горчило уже примесью утраты, Миша знал это по опыту, поэтому не торопился и взял всё, что можно, из этого стыдливого пролога. Люба, вначале изумлённая, пугливая, делалась всё увереннее, распалаясь и в конце концов отдалась ему с очаровательным бесстыдством.

Они так утомились, что, когда Люба, всё ещё разгорячённая, попросила приоткрыть окошко, Миша не сразу смог заставить себя подняться. Когда же наконец поднялся и открыл окно, то не сразу от него отошёл. Приятно нежила струя ночной прохла-

ды. Звёзды в небе, как всегда, обещали нечто важное. Внезапно в голове у него сверкнуло: «А чего ещё они могут дать? Лучше уже не будет».

– Что ты там увидел? – позвала удивлённо Люба.

– Звёзды, – ответил он. – Я люблю смотреть на звёзды.

– Я тоже...

Он лёг, она придвинулась к нему.

– Я тебе понравился? – спросил он, скользнув рукой по её бедру.

– Ну ты прям вопросы такие задаёшь... – В смущении она даже отодвинулась и некоторое время ничего не говорила. Потом с наивно-кокетливой игрой промолвила: – А я?

– Что «а я»?

– Ну... понравилась?

– Если бы не понравилась, я бы «прям вопросы такие» не задавал.

– Ты нахал.

– А ты прелесть.

Люба обхватила его шею, прижалась страстно. Её порыв без ответа не остался. Миша опрокинул её навзничь и всю смял, сознание огорчительно отметило, что это уже грубо.

Потом, когда они оба, обессиленные, старались отдышаться, Миша покаянно прошептал:

– Прости меня, голубоглазка, за обман...

– О чём ты? Какой обман? – встревожилась Люба.

– О моём разводе с Верой.

И Бровкина прорвало. Долго сдерживаемые слова полились потоком. Мише давно была необходима эта исповедь, простодушная прямолинейность и искренний интерес к нему Любы разрушили плотину.

– Мне кажется я влюбился в Веру ещё подростком, – начал он. – Мы учились в одном классе и часто встречались вне школы, особенно летом. Наши родители дружили, да и сейчас дружат, не смотря на наш с Верой развод. Летом мы с Верой часто вместе купались и загорали, потому что наша дача соседствует

на берегу Белой с дачей родителей Веры. В школе нас дразнили женихом и невестой, потом дразнить перестали, потому что все, да и мы с Верой уверились, что так оно и есть. Наши родители тоже строили насчёт нас соответствующие планы.

– А Вера? – спросила Люба. – Она любила тебя?

– Говорила, что да. – Миша криво усмехнулся. – Мы закончили школу, Вера поступила в наш педагогический институт на филологический факультет, а я провалился в московский. Хотел стать инженером, изобретать новые машины. Пришлось пойти в армию. Все два года моей службы переписывались с Верой. Писала, что любит и ждёт. Когда вернулся, почти сразу поженились, а через семь месяцев родился сын. «Недоношенный» – плакала Вера. И я верил, дурак! Это меня надо было назвать «Вера», а не эту лживую тварь!

Люба сжалась, её глаза стали огромными, их голубизна почти исчезла, поглощённая расширившимися в ужасе зрачками.

– Да, ребёнок у Веры был не от меня, – подтвердил её молчаливый вопрос Миша. – Сначала мне правду рассказала Надюха, её лучшая ещё со школьных времён подружка. Потом и сама Вера призналась, что влюбилась в своего институтского преподавателя и забеременела от него. Тот женат, двое детей и разводиться не собирается. А тут как раз и я из армии вернулся...

– И ты разлюбил? – тихо спросила Люба.

– И я не простил, – так же тихо ответил Миша. – Может и простил бы и ребёнка чужого полюбил, как своего, но она продолжала мне лгать и изменять! Я даже встретил как-то того козла, просил оставить Веру в покое, а тот заблеял, что любит её и жену свою тоже любит, разрывается между ними, но ни ту, ни другую бросить не может. Ну набил я ему морду, только это ничего не изменило, легче мне не стало. А Вера как узнала об этом, тут же подала на развод...

Они долго лежали молча. Потом Люба тесно прижалась к нему горячим телом, повернула его голову к себе и нежно поцеловала в губы.

– Бедный ты мой! – говорила она между поцелуями. – Конечно, я тебя прощаю. Сколько же тебе пришлось пережить...

– Не надо меня жалеть! – воскликнул Миша, пытаясь вырваться из её жарких объятий.

– Надо, – ласково отвечала Люба. – Жалеть и любить в русском языке почти одно и то же. Сегодня я тебя жалею, а завтра...

И Бровкин понял, что Люба права! Он действительно давно жаждал жалости, но никто не мог ему её дать. Отец был озабочен, как бы не осложнились из-за Мишиного развода его отношения с родителями Веры. Мать была уверена, что Миша скоро утешится с очередной любовницей, надо просто регулярно снабжать его необходимой для развлечения суммой денег. С друзьями Миша не мог обсуждать свой развод, те просто посмеются над тем, каким лохом он оказался. Жаловаться на бывшую жену мимолётным любовницам? С чего им жалеть Мишу? А кто ему теперь голубоглазка Люба? Полюбит ли она его завтра так, как он любит её сегодня?

– Ну и как тебе теперь твой курсант? – старательно-безразличным тоном спросил Миша.

– Что «как»?

– Он красивый?

– Был красивый...

– Что значит «был»?

– Ну... до тебя.

– Ты в постели с ним встречалась?

– Да. Но дело не в этом. Теперь не буду.

– И замуж за него не пойдёшь?

– Не пойду, – Люба сменила серьёзный тон на шуточный. – Он в следующем году заканчивает училище. Ушлют ещё на границу в Таджикистан. Снаряды на передовую ему подносить не хочу.

– Вон ты какая? А мне?

– Что «тебе»?

– Стала бы подносить снаряды, если бы я увёз тебя в Таджикистан?

— Тебе стала бы...

Он притянул к себе её голову, поцеловал в щёку, с признательностью шепнул: «Голубоглазка». Спустя минуту оба уже спали счастливым, крепким сном.

Люба разбудила его в три часа утра:

— Тебе надо уходить, а то родители проснутся.

— А если я уйду, они просыпаться что ль не будут?

Люба тихо засмеялась.

— Слушай, может, не надо уходить? — сказал он. — Может, пора уже с твоими родителями знакомиться?

— Нет, не сегодня, — серьёзно ответила она.

— Было бы предложено, — шутивно согласился он.

Миша оделся. Люба тоже поднялась, надела на себя сорочку. Он поцеловал её в губы и сказал: «Пока». «Пока», — ответила она. Миша скользнул в окно, перемахнул через ограду палисадника, сел в машину, оглянулся. Люба, опершись руками о подоконник, выглянула с тем самым выражением в лице, которое так поразило его в их первую встречу. Ему стало хорошо. Он включил зажигание и помчался домой.

7

Левенцов шёл по дороге, по той самой асфальтовой дороге, на которой два с лишним года назад так хорошо было с Наташей апрельским вечером. Те же ряды уютных изб по обочинам, те же палисадники с сиренью. Только не гляделось ни на что. Сутки провёл он на ногах, без сна. Когда он позвонил в дверь Наташиной квартиры, незнакомая женщина проговорила в щёлку:

— Фадеева здесь больше не живёт.

— Вы хотите сказать, у неё теперь другая фамилия? — с испугом спросил он.

Женщина как-то странно шмыгнула носом, украшенным мясистой бородавкой, и дверь захлопнулась.

— А где она теперь? — спросил Левенцов через дверь.

— Здесь не справочное бюро, — был ответ.

В городском справочном бюро подтвердили лишь, что Наташа по прежнему адресу не проживает, нового её адреса не нашли. Левенцов кинулся в её магазин, но никто, кроме заведующей, не пожелал отвечать на его вопросы.

— Фадеева давно уволилась, — со сладострастием сообщила Лариса Гелиевна и поджала губы. — В коммерческие структуры подалась.

Левенцов спросил, где находится управление Продторга и пошёл по указанному адресу. Он верно свернул в проулок, ведущий к управлению продторга, но оно располагалось в глубине двора, на раскрытых воротах которого никакой опознавательной таблички не было, и Левенцов прошёл мимо. У двухэтажного здания с табличкой «Управление Беловодского хлебокомбината» он в нерешительности остановился. Лариса Гелиевна сказала, что управление Продторга расположено рядом с хлебокомбинатом. Неподальёку от входной двери здания стоял «москвич», за рулём в нём сидел со скучающим видом темноволосый симпатичный парень. Это был Миша Бровкин. Левенцов подошёл к нему и спросил, где управление Продторга. Миша указал на раскрытые ворота.

— Там вам покажут, где.

Управление Продторга располагалось в одноэтажном длинном здании. Левенцов прошёл по всем его кабинетам из конца в конец, но никто не смог ему ответить на вопрос, где теперь Фадеева Наташа. С растерянным видом вышел он из ворот в проулок. Постояв в задумчивости, подошёл опять к «москвичу», улыбнулся Бровкину:

— В вашем городе сыскного частного бюро, случайно, нет?

— Это смотря кого сыскивать хотите, — ответил Бровкин.

— Бывшую продавщицу 43-го продовольственного магазина Фадееву Наташу, — с откровенностью отчаяния поведал Левенцов.

— Нет проблем, — ответил Бровкин. — Я её знаю. Вы ей кто?

— Да как вам сказать...

— Понял. У вас хороший вкус. Листик бумаги у вас найдётся?

Левенцов достал из сумки блокнот, вырвал из него лист. Бровкин размашистым красивым почерком написал на нём несколько строк, заключив их своей подписью.

— Идите в управление милиции, покажите там дежурному эту записку. Вам скажут, где кабинет начальника следственного отдела. Возможно, он поможет вам её сыскать.

— Спасибо, вы хороший парень.

Не столь приветливым оказался начальник следственного отдела. Прочитав Мишину записку и узнав от Левенцова суть вопроса, он сухо, словно вёл допрос, спросил:

— Кто вам Фадеева и что вам самому о ней известно?

И так и впился в Левенцова профессионально хладнокровным, оценивающим взглядом. Левенцов рассказал обо всём, вплоть до своих интимных чувств к Наташе. Взгляд у следователя смягчался.

— Могу только сказать, что ни с каким криминалом ваша искомая не связана, — произнёс он после многозначительной молчаливой паузы. — Сейчас попробую узнать, проживает ли она в настоящее время в городе.

Обзвонив несколько адресов, он объявил:

— В городе она не проживает, это абсолютно точно. Ищите вашу знакомую в другом месте, молодой человек. Желаю вам удачи. — И старинный друг Кулагина демонстративно занялся бумагами, показывая, что аудиенция окончена.

До ночи Левенцов носился по Наташиным знакомым, адреса которых удалось узнать в управлении Продторга. Никто не знал, где она. Он передохнул пару часов на скамье в зале ожидания вокзала. На рассвете постоял у выхода из аллеи, где увидел Наташу в первый раз. Потом пошёл попрощаться с её домом. Потом ноги сами повели его по Лесной улице неведомо куда. Ему было всё равно теперь. В сумке за плечом помещалось всё его имущество: паспорт, трудовая книжка, инженерный диплом, три миллиона «деревянных» да изобретательские разработки.

Вот и шлагбаум, от которого они с Наташей повернули тем апрельским вечером. Левенцов ещё раз оглянулся, потом быстро, насколько позволяли утомлённые вчерашними поисками ноги, зашагал по травянистой обочине к видневшейся впереди деревне. Он вдруг вспомнил, как Наташа говорила, что эта дорога ведёт к райцентру и где-то на полпути пересекает её родную деревню, в которой до сих пор живёт Наташина мать. Тогда, три года назад, по дороге курсировали автобусы. Маршрут, судя по всему, закрыли: ни табличек с расписанием движения у полуразрушенных будок, ни самих автобусов.

Поля по обеим сторонам дороги сделались лугами, некошенная, вымахавшая за дождливые июнь с июлем чуть не в рост человека трава полегла теперь, в неожиданно жарком августе увядшая. На подходе к деревне по одну сторону дороги Левенцов увидел брошенный песчаный карьер, по другую — разорённый коровник. Запустение было и в деревне. Старые избяные срубы, проржавевшие некрашенные крыши. Зато на околицах умирающей деревни поднимался свежий «выводок» двухэтажных коттеджей. А в полукилометре за деревней умирала берёзовая роща. Судя по свеженьким пенькам, совсем недавно это был целый лес. У самой дороги двое открыто распиливали свежеповаленное дерево. Левенцов подошёл, остановился. Пилившие прекратили работу и настороженно уставились на него. Один был лет пятидесяти, бородатый, второй — подросток. Рядом стояла четырёхколёсная тележка с брёвнышками.

— Бог в помощь, — поприветствовал тружеников Левенцов.

— И сами управимся, — с вызовом ответил старший.

— Не жалко? — Левенцов кивнул на поваленную берёзу. — Зелёная, живая...

— Не мы, так другие, — ответил мрачно старший. — К ноябрю, один хрен, никаких не останется: ни мёртвых, ни живых.

— Так и разворовываем Россию, на других кивая.

— Научил бы, как не воровать, — вспылil старший, отшвыривая пилу. — Сам-то, видать, из города. Слыхом, поди, не слыхивал, почём куб дров нынче. А он, кубик-то, полсотни тыщ се-

годня, к зиме ещё подорожает. Да за доставку заплати. А у меня вся получка тридцать тыщ. Да жена без работы, да мальцы. Кого пожалеть-то: берёзку или их?

– Не знаю, – с печалью отозвался Левенцов. – Простите, если незаслуженно обидел.

– И ты прости, – смягчился собеседник. – Отколь путь держишь?

– Из города.

– В Коростылёво?

– Может, в Коростылево, а может, назад сейчас поворочу.

– Назад не поворачивай, а то донести ещё захочется.

– А-а... Тогда в Коростылёво.

Левенцов двинулся по дороге дальше. Вскоре показалась деревня. Он заглянул в магазин, над дверью которого красовалась новенькая вывеска: «Продтовары». Он спросил у продавщицы:

– «Продтовары» – это бывший городской Продторг?

– Ага, – кивнула продавщица.

– Случаем, не знаете Фадееву Наташу? Она недавно уволилась из Продторга.

– Нет, не знаю. Она в городе работала?

– В городе.

– Чего тогда меня спрашиваете? Я местная. В городе спросите.

– Спрашивал я в городе. Где только я не спрашивал...

В глазах у продавщицы засветилось любопытство и сочувствие. Левенцов попросил подать две бутылки столового вина. Одну бутылку он убрал в рюкзак, вторую понёс в руке. За околицей дорога стала опускаться к небольшому каменному мостику через ручей. Перейдя его, Левенцов двинулся по берегу ручья к росшим неподалёку ивовым кустам. Расположившись возле них на траве, он позавтракал. Завтрак был необременителен ни для желудка, ни для интеллекта: два варёных яйца, кусок хлеба и на запивку столовое вино. Закончив трапезу, он растянулся на траве и уснул.

Спал Левенцов больше двух часов. Разбудило солнце, подошедшее к зениту. Было жарко. Некоторое время Вячеслав лежал с открытыми глазами в каком-то странном состоянии. Всё позабылось, он не помнил, кто он, где, и не пытался вспомнить. Было необыкновенно хорошо. Все переживания и тревоги отлетели прочь. Даже тело не ощущалось. Левенцов был одновременно в синем небе, в ивовых ветвях, в траве. Сверкнула мысль: «Вечность – это, оказывается, прекрасно», и тут же ощутились ноги. Они гудели от усталости. Левенцов вспомнил о дороге. Поднявшись, он сполоснул лицо в ручье, подумал: «Вино, видать, волшебное. Надо было три бутылки брать».

По бокам дороги потянулся лес. Изредка проносились встречные и попутные машины, трактора. Один трактор, догнав Левенцова, остановился. Светловолосый чумазый тракторист открыл дверцу и промолвил:

– Садись, подкину.

Поблагодарив, Левенцов сказал, что ему не к спеху. И впрямь торопиться было некуда. «Доберусь до райцентра, заночую в гостинице, а там видно будет», – думал он. Почему ему надо добраться до райцентра, Вячеслав не знал. То ли из упрямства шёл, то ли из любопытства.

8

Солнце близилось к закату. Ноги подкашивались от усталости. «Тимохино», – прочёл Левенцов надпись у околицы очередной деревни. К обочине дороги подступало вспаханное поле, по краю которого были разбросаны детали сельхозтехники, повеяло родным. Родным показался и латанный-перелатанный, покривившийся, покосившийся, точно последний зуб у старухи, домишко, дымивший трубой, как пароход. И совсем уже умилил брошенный водителем маломощный тракторишко, притязавший, однако, на право именоваться бульдозером, судя по прилаженному впереди скребку. Лезвием этого скребка тракторишко упирался в основание многооконного, обшитого свежими досками

дома, у крыльца которого висела новенькая таблица: «Тимохинский сельскохозяйственный округ. Администрация». Шедший навстречу парень поздоровался с Левенцовым, как со знакомым, и кивнул в сторону трактора:

– С утра грозитя их снести. Щас ишо разок остограмится и снесёт.

На душе у Левенцова потеплело. Привлекла внимание одна изба. Через стёкла её веранды были видны две женщины. Закатное солнце, отражаясь от стёкол, не позволяло разглядеть их хорошенько, но то, что одна из женщин молода и грациозна, не могло скрыть даже солнце, и чем ближе подходил Левенцов, тем сильнее у него стучало сердце: движения молодой женщины – она что-то гладила утюгом и одновременно разговаривала с пожилой – поразительно были похожи на Наташины. Заторможенные повороты головы и быстрое девчоночье пожатие плечами – такое сочетание могло принадлежать только ей, говорило сердце. А разум горько усмехался: «Скоро у всех женщин станешь находить её движения». Но вот отражённое солнце ушло в сторону, и озноб прошёл по коже Левенцова: перед ним, действительно, была Наташа. «Галлюцинация», – догадался он и, разом ощутив копившуюся несколько последних дней усталость, без сил повалился на траву.

Женщина посмотрела в его сторону и отвернулась. И тут же началось возвратное заторможенное, чарующее движение её глаз к нему. «Волшебство, не иначе, – подумал Левенцов. – Опять от вина, наверно». Лицо глядевшей на него подёрнулось неземным туманом. Не отводя от него глаз, женщина вышла на крыльцо, спустилась по ступенькам и медленно пошла к нему. Он поднялся. Сквозь туман на её лице всё отчётливее проступала радость. Он сделал шаг навстречу.

– Слава, – произнесла она с покойным, тихим счастьем.

– Наташенька, – с благодарностью ответил он.

Они обнялись, прижав щеку к щеке, и стояли так, не замечая, что их объятием заинтересовалась уже одна собака и две молодых козы. Наташа расслабленно шепнула: «Идём в дом».

Пожилая женщина встретила их у порога добрым взглядом. Особого рода смирение проступало в чертах её спокойного лица и в полной, со степенными движениями, фигуре. Чувствовалось, многое нелёгкое вынесла она на крестьянских своих плечах.

– Это Слава, – представила Наташа гостя.

– Да уж вижу. – Женщина ласково улыбнулась и обратилась к Левенцову. – Антонина Ивановна меня зовут. Проходите.

В передней, половину которой занимала кухня с русской печью, Левенцов скинул с плеча сумку, с ног – ботинки, и его без лишних слов, без суеты проводили в горницу к дивану. Антонина Ивановна ушла на кухню, а Наташа присела на диван рядом с Вячеславом. Она молчала, завораживающе глядя своими инопланетными, счастливыми глазами. Антонина Ивановна, постелив на стол белую скатерть, принялась выставлять тарелки с угощением. Наташа кинулась ей помогать.

Левенцов оглядел комнату. Неоклеенные обоями бревенчатые стены, от времени потемневшие, придавали её облику нечто изначальное, родное. Горшки с цветами на подоконниках, незатейливые половики, кружевные занавеси на окнах и на входе в смежную комнату усиливали это впечатление. А зоологическая карта мира, маленький письменный стол и зеркало над ним в угловом простенке между окнами, видно, Ксюшин школьный уголок, – приятно оживляли горницу. От свежeweымытого пола исходил запах свежести, и, казалось, эта свежесть – от Наташи, грациозно ступавшей босиком по половичку.

Почуявший застолье рыжий кот с поднятым трубой хвостом прошествовал из передней к гостю и сдержанным прикосновением к его ноге выразил лояльность. Кот гармонии не портил. Левенцов невольно сопоставил горницу с библиотекой Скобцевых. Там и здесь были покой и чистота. Там и здесь было законченное совершенство. Там и здесь присутствовала вера в вечность. Почему тогда только здесь, среди скромного деревенского убранства, ощутилось, что он наконец пришёл к себе домой? Задумавшись над таким вопросом, Левенцов прикрыл

глаза, и овладевшая им немедленно дремота позволила высказаться подсознанию: «Дело в сути веры, — сообщило оно. — Там вера построена интеллектом и потому подвержена сомнению, оно сквозит там в тяжеловесно светской изысканности обстановки. Здесь же всё светло и просто, потому что вера интуитивная, нерассуждающая, лёгкая».

Левенцов очнулся от прикосновения Наташи.

— Ужин стынет, — сообщила она радостно.

— Мне бы сполоснуться, — попросил он, глянув на накрытый стол.

— Ой, сейчас, — спохватилась Наташа. — Идём.

Умывальник, на который она указала в передней, ему не приглянулся:

— Под этой чирикалкой нешто освежишься? До пояса хотя бы надо. Полей мне из ведра на дворе.

Схватив ведро, Наташа кинулась к водопроводной колонке, та была на улице рядом, прямо против их избы. Когда он, закончив умывание, растирался полотенцем, во двор вбежала Ксюша.

— Да вы уже невеста, барышня! — приветствовал её Левенцов.

Ксюша остановилась. Секунду на её лице держалось изумление, затем на щеках стал проступать румянец.

— Здравствуйте, — радостно произнесла она.

— Тронут, что не забыт. Постараюсь больше не подвергать девичью память столь длительному испытанию. — Шагнув к ней, он поцеловал её зардевшуюся щеку.

За ужином выпили по рюмке водки. Вместо магазинных суррогатов на столе была молодая картошка с малосольными огурчиками, свежие помидорки с чесночком, грибки трёх сортов, тушёная капуста.

— Со своего огорода, свеженькое всё, — горделиво приговаривала Антонина Ивановна, угощая. — Грибки только не со своего, с лесного!

После ужина Ксюша убежала на улицу, а взрослые, приступив к чаепитию, повели неспешный разговор. Левенцов пове-

дал, как здесь очутился. Наташа рассказала ему о работе в коммерческом магазине, вскользь упомянув «банкротство из-за конфликта с кредиторами».

— Пришлось продать наши с Ксюшей квадратные метры соседке по коммуналке, они давно о том мечтали. Расплатилась с кредиторами — и сюда. Не получилось из меня предпринимательши, — заключила она радостно. — Маму только вот стеснили.

— Ой, лукавая! — погрозила пальцем Антонина Ивановна. — Будто не знает, как я рада. Я как заново родилась с внучкой-то.

— А я, Антонина Ивановна, стесню вас, надеюсь, ненадолго, — сказал Левенцов.

— Отчего так, ненадолго-то? — насторожилась Антонина Ивановна.

— К зиме, с вашего позволения, я белокаменный терем возведу. Проведём в дом от колонки воду и заживём ни в сказке сказать ни пером описать.

— Ай, скажете, право, — посветлела Антонина Ивановна. — К зиме! Да люди, вон, пять лет начатое достроить никак не могут. Бессовестно дорогое всё.

— А я в ваш совхоз — или что тут у вас теперь, акционерное общество? — устроюсь главным инженером, и проблем со стройматериалами не будет.

— И не мечтайте. У нас директор не то что со стороны, старожилов и то всех разогнал. Коллектив из родственников да друзей сколачивает. Наташа в бухгалтерию пыталась устроиться — куда там! Им чем меньше народу останется, тем выгодней: пай уволенным мизерный дают, только название, что пай. Акции совхозные скупают. И так уж будь здоров как хапнули, а всё им мало. Кто акции им свои не продаёт, тем козни строят. Ни стыда, ни совести. Меня на пенсию раньше времени выпроводили, ферму объявили нерентабельной. А я тридцать лет на ней от зари до зари. И ещё в силе. Дома, слава Богу, есть чем заняться: огород, корова, куры, гуси, а всё кажется, не доделано чего-то, когда на людях не потрудишься...

Такие вот дела с трудоустройством. Вам в райцентре работу надо искать.

— Придумаем чего-нибудь, сказал Левенцов. — Пока хоромами займёмся. Поговорю завтра с механизаторами, может, помогут самодельный тракторишко соорудить с ковшиком для землеройных работ и с подъёмным краником. Тут у вас на полях запчастей на два таких трактора достанет. А сейчас, простите, я бы прилёт, притомился малость.

Наташа посмотрела на него чудесно потемневшими глазами. Ему захотелось разобраться наконец в тайне их «инопланетного» тумана, но едва он заглянул в их глубину, как родная планета выскользнула из-под ног, и он поплыл, поехал, полетел куда-то. Из блаженного далека прозвучал стесняющийся счастья милый голос: «Я на сеновале постелю, там хорошо».

Утром его разбудил петух. «Ку-ка-ре-ку!» — закричал он так природно, сильно, жизнерадостно, что в голову Левенцову закралось подозрение: не галлюцинация ли все эти «росбизнесконсалтинги», акции, инфляции, приватизации, экономические интеграции, таможенные пространства, валюта, придурковатая реклама, суверенитеты, президенты, войны, вся эта рыночная истерия, искалечившая жизнь? Жизнь-то вот она, глаза только открой! И Вячеслав открыл глаза и улыбнулся. Наташина голова, такая лёгкая, покоилась на его плече. Природный запах её распущенных волос, щекотавших ему щёку, в соединении с ароматом молодого сена превосходил благородством самые изысканные духи. «Жена!» — подумал он изумлённо, и это жуткое умозаключение его не ужаснуло, напротив, все сомнительные мысли прочь ушли.

Левенцов подумал о рыночном кошмаре уже спокойно, отстранённо: «Если это галлюцинация, то чересчур навязчивая, надо что-нибудь против неё придумать». В доперестроечные годы он увлекался одно время идеей распределения товаров по городам и весям и внутри них с помощью компьютерной системы. Идея теперь вспомнилась, и Левенцов сейчас же углубился в мысленные наброски нового изобретения. Он не сомневался,

что с помощью компьютерной системы нетрудно посчитать, сколько и чего произвести, сколько и чего добрать от импорта, сколько и чего на экспорт, сколько и чего в каждый город, в каждую деревню. Здесь изобретать-то ничего не надо было, достаточно сделать добросовестную разработку на уровне эскизного проекта да представить её не в бюро патентов, а авторитетной государственной комиссии. Примут такую систему, и рыночная накипь с её рекламой, биржами и спекулянтами исчезнет за ненадобностью.

Истосковавшийся по работе мозг Левенцова принялся было прикидывать варианты технического исполнения, но тут же сомнения овладели Вячеславом. «Всё время я про человеческий фактор забываю, — подумал он с досадой. — Бизнесмены ведь взрослые дети, им в бизнесе игра нужна, как мне игра в изобретательстве. Убери от них рыночную игрушку, они скиснут, на другую игру таланта нет, как у меня на бизнес. Хорошо ещё, если только скиснут, а то возьмут и направят кипучую энергию в криминал почище рынка. Да и не станет госкомиссия рассматривать мой прожект. Государственные мужи не дураки, они прекрасно понимают, что компьютерная система в экономике — реальность, и что следующий шаг — замена компьютерами их чиновничьего домика. Опять игра не стоит свеч?..»

— Ку-ка-ре-ку! — закричал с победной удалью петух.

«Вот именно! — обрадованно подумал Левенцов. — Наше дело — прокукарекать, Петя, а там... Будем делать, что велит совесть, и пусть будет то, что будет».

ГЛАВА 6. 1995 ГОД

1

Алла глядела из коридорного окна больницы на падающий снег. Снег накануне шёл весь вечер, на рассвете пошёл опять. Рассвет был тягучий, серый. Алла размышляла о принятом решении. Она ещё не придумала, куда теперь пойдёт работать, но медицинская карьера не для неё, это однозначно. Полгода назад, когда Алла начала работать медсестрой, ей показалось, будто она нашла наконец своё призвание, но скоро увидела, что первое впечатление проистекало из представлений детских лет. Алла лежала в больнице в детстве, и в подсознании у неё на всю жизнь отложилась связанная с белыми медицинскими халатами душевность. Она теперь вспоминала, как внимательны были к ней тогда медсёстры, няни и врачи, как чутки. Особенно отчётливо сохранилась в памяти одна медсестра, улыбочивая, жизнерадостная, она так хорошо рассказывала на ночь сказки. Полгода назад Алла, оказывается, вообразила себя похожей на неё. Увы, очень скоро обнаружилось, что в такой роли она белая ворона среди коллег. Теперешние медсёстры, няни и врачи за мерило человеческого отношения к больным брали размер подносимых теми «чаевых». Ни снисхождения, ни сочувствия к безденежным больным не было.

В кругу врачей, пожалуй, одна лишь её мать нетерпимо относилась к подношениям, в своём отделении она пыталась искоренить эту мерзость, но встречала у коллег растущее непонимание. «Инфекция» рыночных отношений смертельно поразила людей, давших когда-то благородную клятву Гиппократа.

Взглянув на часы, Алла пошла забирать у больных градусники. Показания градусников она регулярно записывала в журнал.

Другие медсёстры записывали от случая к случаю, по настроению, врачи всё равно просматривали журнал лишь для вида.

В половине девятого с опозданием пришла её сменщица. Алла быстро оделась и вышла на заснеженную улицу. Крупные редкие снежинки продолжали тихо опускаться с неба. Было хорошо, нетронутым ещё покровом снег словно бы упрятал всё то мерзкое, что накопилось в послеперестроечные годы. Воздух был чист и мягок, все звуки приятно приглушены. Алла ощутила нечто похожее на беспричинную радость детских лет. «Потихонечку забудем тебя, Слава», – подумала она и не заметила, как с прежней беззаботностью хлопнули её пальцы о ладошку.

Матери дома не было. Завтрака на столе на кухне тоже не оказалось. Это удивило Аллу. Обычно мать в дни, когда работала с обеда, готовила основательный завтрак, а тут вдруг нет. Алла достала из холодильника яблоко, молоко, сыр, сделала какао, бутерброды. Позавтракав, она написала заявление об увольнении, потом разделась и легла вздремнуть. Через час она поднялась. Матери по-прежнему не было.

Алевтина Владимировна пришла, когда ей пора было уже собираться на работу. Алла, услышав звук открываемой двери, выглянула в прихожую. Алевтина Владимировна стряхивала с шапки снег. Увидев дочь, она смущённо, точно её застали за неприличным занятием, улыбнулась и затем с интимным выражением лица тихо, почти шёпотом, сказала:

– Меня приняли в партию.

– Ты молодец, – похвалила Алла. – В какую, не скажешь?

– Что, «в какую»? – не поняла Алевтина Владимировна.

– В партию какую? Их сейчас, этих партий, развелось что собак на улицах.

Алевтина Владимировна слегка порозовела.

– Наконец-то! – воскликнула она с игривым пафосом. – Великолепный образец здорового сарказма! Ты выздоравливаешь, дочь, я за тебя рада.

– Я за тебя тоже. А всё-таки, в какую партию вступила?

– КПРФ, конечно. Одна она и есть партия, другие все игрушечные.

Алевтина Владимировна разделась и пошла на кухню.

– У меня тоже сегодня знаменательный день, – сообщила Алла, следуя за матерью. – Ты вступила, а я увольняюсь. Там у тебя на столе моё заявление. Подпиши, пожалуйста, и дай ему ход, я не пойду в больницу больше.

– Что так, доченька? Не по зубам орешек? Бизнесом опять заняться хочешь?

– А твои коллеги не бизнесом что ли занимаются? Ладно бы обирали богачей, а то ведь нищих. Разве ты не видишь?

– Вижу. Я запретила назначать официальную плату за операции в нашем отделении.

– Да ведь всё равно берут, официально или неофициально, какая разница! А паёк в столовой? Мало, что урезали до невозможности, так ещё и с этих крох воруют. Больные, которым не носят с воли, с голоду ведь умирают. Лечение называется! Одеял нет, в палатах холод, сёстры, няни относятся к безденежным больным, как к своим врагам. Да легче под забором помереть, чем в этой обители «милосердия». Мне не по силам это видеть, мама.

– Что поделаешь, доченька, это называется капитализм, – словно бы с удовлетворением произнесла Алевтина Владимировна, приготавливая бутерброды на работу. – Люди, видно, этого хотели, раз терпят и безмолвствуют. Бороться надо.

– Думаешь, вступив в КПРФ, ты сделалась борцом? Заблуждаешься. В этой твоей КПРФ заправляют люди, которые будучи ещё в КПСС, довели нас до этого вот самого капитализма.

– Господи, да откуда тебе это известно? Ты же не интересуешься политикой.

– Из «Советской России» это мне известно, я её читаю иногда, она из наименее врущих. Но те же штампы, та же зацикленность на сугубо партийных интересах, то же славословие по адресу партийных лидеров. Жизнь ну абсолютно ничему КПРФ не научила. Они не понимают, чего народу надо, ждать от них

чего-то нового безумие, они выбросят из своих рядов любого, кто посягнёт на их замшелые устои.

— Положим, так оно и есть, — произнесла Алевтина Владимировна бесстрастно ровным голосом. — Пусть на новую партия пока что не способна. Но вернуть хотя бы старое. Ты же видишь, нынешнее «новое» в тысячу раз хуже.

— Не будь наивной, мама. Старое никогда не возвращается.

— Всё-равно надо бороться.

— Мне бы твою веру. К несчастью, я чересчур внимательно проштудировала историю и уяснила, что борьба за справедливость во все века приводила к одному и тому же результату: бескорыстные и честные попадают в ещё большую зависимость от корыстолюбивых и бессовестных.

— Господи, какой мрак! Нет, ты ещё не выздоровела. Тебе надо в компанию нравственно здоровых молодых людей.

— Где сейчас такую компанию найдёшь? В институт если только поступить...

— Великолепная мысль! — восторгалась Алевтина Владимировна. — Это было бы замечательно.

— Но в какой? Истории я в библиотеке начиталась, науки и техники в КОПА хлебнула, медицины в больнице нагляделась, экономики в бизнесе «накушалась». Чего ещё?

— Тебе надо отдохнуть. Отрешись на время от всего. Подумай, почитай «старомодные» романы.

— Спасибо за совет. Попробую.

Когда мать ушла на работу, Алла, похаживая между рядами полок в библиотеке, взяла роман Теккерера «Ярмарка тщеславия». Уютно устроилась на диване и принялась читать. Она читала этот роман ещё в школьные годы и была уверена, что теперь он покажется наивным, но с первых же страниц почувствовала, как сила подлинного искусства уносит её в мир далёкий и, казалось бы, чужой, но такой понятный, близкий, связанный живыми нитями с её переживаниями. Она читала до вечерних сумерек, потом, отложив книгу, долго глядела в наливающеюся синевой окно.

— Вот что, — проговорила она вслух. — Первое, что мне надо, это выбросить насовсем из головы Славу Левенцова. Хотя нет... Это ни к чему. Надо просто стараться поменьше о нём думать. И постараться вспомнить себя, какой была. Хотя нет... Прошное никогда не возвращается.

С поразительной отчётливостью вспомнилась последняя встреча с Левенцовым. Вспомнилось, как он беспокоился о судьбе той девочки, Наташи. Удочерить её Алле, как обещала Левенцову, не удалось, сыскалась её родственница. «Может, это к лучшему, — эгоистично подумала она. — А то была бы болезненная памятка на всю жизнь о Славе».

Ей вдруг захотелось прокатиться по вечерним улицам. Она села в свой «жигулёнок» и поехала. Рабочий и служилый люд разошёлся уже по домам. Человеческая страсть к перемещению в пространстве сконцентрировалась в легковых автомобилях. Снег с проезжей части улиц снегоочистители убрали, и «тачки» всех мастей шуршали колёсами по влажному асфальту с особым, вечерним, шиком, начиналась непонятная обывателю малого достатка автомобильная ночная жизнь. Проносились снаружи тускло светившие уличные фонари, расцвеченные рекламными огнями магазины, бары, проплыл тёмный силуэт Дворца Культуры.

Аллой овладевало искушение «причалить» к ресторану или бару, где наверняка встретятся знакомые из оставленного ею мира бизнеса. В течение полугода с момента поступления на работу медсестрой она лишь изредка выпивала дома одну-две рюмки коньяка, а теперь захотелось расслабиться по-настоящему, в компании. Сила инерции праведного образа жизни противилась несправедному отклонению. «Жигулёнок», катившийся по центральной улице, замедлил ход. Алла колебалась. Неправедное желание пересилило. Она свернула в улицу, ведущую к ночному ресторану. В двух кварталах от него из переулка донёсся женский крик: «Помогите!». Не раздумывая, Алла свернула в переулок. Фары она тут же выключила, хотя темень в переулке была непроглядная. Она смутно различила впереди фигуру бегущей женщины и тут же съехала с проезжей части под при-

крытие росших у обочины деревьев. В лицо ей полыхнули автомобильные фары, послышалось урчание мотора.

Подъезжающая машина настигла женщину, когда та как раз подбегала к Аллиному «жигулёнку». Алла увидела, как из машины выскочил мужчина. Набросив сзади шарф на лицо женщины, он поволок её к машине. Женщина отчаянно сопротивлялась. На помощь первому подскочил второй мужчина, женщину затолкали в машину, и та тронулась. Алла развернула «жигулёнок» и двинулась следом. Выехав за машиной похитителей на освещённую улицу, Алла увидела, что это «тойота». Дав вклиниться между собой и «тойотой» догнавшему её «москвичу», она продолжила преследование. «Тойота» опять свернула в тёмную улицу. Место было знакомое, недалеко была школа, в которой училась Алла. «Тойота» остановилась посреди квартала у ворот в кирпично-металлической ограде. За оградой было здание бывшего Дома пионеров. В школьные годы Алла провела здесь столько светлых, радостных часов, участвуя в работе чуть не половины кружков, от танцевального до шахматного. Теперь здание принадлежало какому-то капиталисту.

Остановив «жигулёнок» за угловым домом в перекрёстке, Алла достала из автомобильного «загашника» карманный фонарь и газовый пистолетик. Боевой пистолет она утопила в лесном пруду, когда «завязала» с бизнесом, а газовый на всякий случай сохранила. Сунув пистолет и фонарь в карман своей спортивного покроя куртки, она вышла из машины и выглянула из-за дома. «Тойота» въезжала за ограду во двор. Когда ворота за ней затворились, Алла быстро подошла и тронула калитку, та была заперта. Перелезть через ограду во двор было бы несложно, но в случае внезапного отступления обратный путь через ограду мог бы стать роковым препятствием. Алле тут же пришёл в голову другой вариант проникновения во двор. Она объехала квартал. С противоположной его стороны была когда-то изба с огородом, к этому огороду изнутри примыкала тыльная сторона двора Дома пионеров. Избу за ветхостью снесли, на её месте теперь стоял глухой дощатый низенький забор. Алла легко его

преодолела и очутилась на территории, все закоулки которой были ей знакомы, как свой дом. Проваливаясь в снегу, она выбралась на утоптанную площадку со штабелями брёвен, досок, кирпича – планировалась, видно, реконструкция.

Некоторое время она, затаясь среди штабелей, наблюдала и прислушивалась. Всё было тихо, лишь сильно стучало её сердце. Окна первого этажа были темны, на втором два окна светились. Покинув укрытие, она быстро подошла к парадной двери, та была заперта. На месте запасного выхода Алла увидела глухую кладку кирпича. Дверь в котельную тоже оказалась на замке. Но оставался ещё один путь внутрь – через угольную яму. Эту яму, как и прежде, прикрывал большой железный лист. С трудом отодвинув его, Алла осветила яму фонарём. Показалось не очень глубоко. Она подтащила и затолкала в яму до упора в пол у противоположной стены толстую доску, получился превосходный пологий вход. Благополучно спустившись, она очутилась в котельной. Котельная была мертва, здание не отапливалось. Светя фонарём, Алла выбралась по ступенчатым узким переходам на первый этаж. Со второго этажа донёсся мужской голос, затем вспыхнул электрический свет, и тут же раздались шаги на парадной лестнице. Алла метнулась в темневший рядом с выходом из котельной проём. Этот проём вёл к винтовой лестнице, по которой она не раз поднималась когда-то в башню-обсерваторию астрономического кружка. Из своего укрытия Алла увидела, как мужчина в зимней куртке спустился с лестницы и вошёл в туалет. Сердце у неё бешено заколотилось. Пора было идти на риск.

Алла взбежала по винтовой лестнице на второй этаж. Дальше всё произошло точно в полусне, автоматически. Через открытую дверь комнаты она увидела, как стоящий к ней спиной мужчина ударил женщину в лицо, быстрыми шагами Алла подошла к нему и тронула сзади за плечо. Мужчина, обернувшись, раскрыл рот от удивления. Она выстрелила из газового пистолета ему в лицо и, крикнув женщине: «За мной, скорее!» – бросилась к винтовой лестнице. Сбежав на первый

этаж, она оглянулась, женщина следовала за ней. Они юркнули в дверь котельной, спустились в угольную яму и выбрались по доске во двор. Бегом одолев снежное пространство до забора, они перелезли через него и сели в «жигулёнок».

Через несколько минут они подъехали к зданию милиции. Милицейский наряд выехал по указанному Аллой адресу к Дому пионеров. Алла с Леной – так звали спасённую женщину – тем временем давали показания майору. Майор слушал их со скучным видом.

– Мне и раньше угрожали, – говорила Лена. – В ветеринарно-санитарную инспекцию я поступила недавно, после переезда на жительство в Трёхреченск, до этого я работала в Москве в органах санэпиднадзора.

– Кто угрожал? – грустно спросил майор.

– Ну... те, кому я забраковывала мясо. Мясо на рынок поставляют из разных мест, и... я не знаю, кто они, можно, наверно, выяснить у директора рынка. Я докладывала об угрозах начальнику инспекции, но он говорил, что я просто ещё не «обтесалась» на новом месте.

– А этих, кто сегодня вас подкараулил, знаете?

– Нет. То есть, в лицо узнаю, конечно... Они сначала везли меня с завязанными глазами, а когда завели в комнату, повязку сняли. Они требовали, чтобы я пропустила к реализации поставку некачественной говядины, я забраковала её сегодня утром. Как я могу её пропустить, когда она заражена туберкулёзом!

Через полчаса вернулся милицейский наряд и доложил, что в Доме пионеров пусто.

– Ищи теперь ветра в поле! – грустно сказал майор. – Завтра допросим вашего директора. Вам тоже надо явиться завтра к трём. В дежурной части скажут, куда и что. Пока свободны.

– Я боюсь идти домой одна, – сказала Лена. – Может, вы дадите мне сопровождающего?

– Если мы по каждой мелочёвке будем давать сопровождающего... – угрюмо произнёс майор. – Впрочем, сейчас позволю, может, есть свободная машина.

— Не надо, — сказала Алла. — Я отвезу вас, Лена, всё будет хорошо.

— Я всё-таки боюсь, — сказала Лена, когда Алла остановила «жигулёнок» у подъезда. — Вдруг они там, в подъезде.

— Они сами теперь боятся, — возразила Алла, — я с такой шушерой немножечко знакома. Сюда, во всяком случае, они не сунутся, резона нет. Давайте, я провожу вас до квартиры.

Они поднялись на третий этаж.

— Попейте со мной чаю, — пригласила Лена. — Мы вдвоём с дочерью живём.

Дочь Лены оказалась шестилетней крошкой. Увидев мать, она кинулась к ней, уткнулась лицом в её колени.

— Соскучилась, доченька? — Лена обхватила её голову. — А я с гостьей. Представься ей, скажи, как тебя зовут.

— Маша, — ответила девочка и, стесняясь незнакомой тёти, опять уткнулась матери в колени.

Чаёвничали на кухне, где, как и в прихожей, всё было аккуратно, чисто, но обстановка более, чем скромная. Лена приготовила чай, бутерброды с колбасой, поставила на стол вазочку с вареньем, разогрела на пару пирожки с яблочной начинкой, одновременно для Маши варилась молочная рисовая каша.

За чаем Алла неуверенно произнесла:

— Простите, а ваш муж...

— Погиб в Москве в 93-ем, когда расстреливали там... Он был штангист, преподавал физкультуру в институте. В больницу его доставили уже мёртвым. У него были переломаны ребра, разбита голова и пах. Я думала, не вынесу, умру. Москва сделалась мне ненавистой. А ведь я в ней родилась... Три месяца назад поменяла нашу однокомнатную квартиру в Москве на вот эту. Устроилась на работу по специальности, думала, привыкну... Я не смогу уже в ветсанинспекции, мне житья там теперь не дают. Как нам с дочкой жить дальше? Куда податься?

— Если б я знала! — вздохнула Алла. — Сама на распутье...

2

Алла по-настоящему задумалась о смысле жизни. Чтобы не путаться в бесчисленных лабиринтах этого вечного вопроса, она выделила два главных направления. Первое: смысл жизни в самой жизни, второе: смысл жизни — это труд усовершенствования самой себя и жизни во имя чего-то более высокого.

Если принять, что смысл жизни в самой жизни, то, спрашивается, зачем в ней столько гадостей? Зачем её быстротечность, ненадёжность, неустойчивость? Зачем явления, противные эстетическому чувству? Болезни, голод, войны, нищета, несправедливость, душевная и физическая боль, природные и социальные катастрофы — всё это никак не располагало к мысли о самоценности загадочного явления, именуемого жизнью. Тем не менее подавляющее большинство людей видит смысл жизни именно в самой жизни, даже не задумываясь о другом её каком-то назначении, и, как это ни парадоксально, благодаря именно вот этому, казалось бы, жизнелюбивому взгляду на жизнь и творятся самые отвратительные гадости, отрицающие самоценность жизни. Люди хотят получить от жизни лучшее и... воруют. Воруют от досочки для огородика до миллионов. Воруют, грабят, убивают, предают ради лучшей жизни для себя. А в результате жизнь поворачивается мерзким боком и к ворами, и к обворованным. Почему вот поставщики заражённого мяса, угрожавшие Лене, не задумываются о последствиях своего деяния? Должны же они понимать, что если идут ради корысти на преступление, то и другие это могут сделать, а значит, у них самих будет шанс отравиться мясом или ещё каким-нибудь продуктом. В жизни, это ведь закономерность, другой конец палки рано или поздно бьёт по бьющему, любому преступнику этот закон известен. И всё-таки идут на преступление против ближнего своего, то есть, против себя. И люди закрывают глаза на эти факты и в то же время делают вид, будто стремятся к обществу, в котором большинство было бы довольным. Как будто не понимают, что при наличии таких явлений гармоничное общество — само-

обман, утопия. Гармоничное социальное устройство в мире людей, видящих смысл жизни в самой жизни, невозможно.

Сделав такой внезапный вывод, Алла взволновалась, поднявшись с дивана, она прошла к окну, постояв, вернулась на диван, потом опять поднялась и стала ходить по комнате. Алла отдавала себе отчёт в происшедшем. Она знала себя. В ней всегда дежурила готовность к действию, и если в голове у неё вызревало нечто новое, то это всегда обещало коренную перемену в образе жизни. Фактически произошло вот что: Алла признала, что смысл жизни — это труд усовершенствования самой себя во имя чего-то более высокого. Что именно означает это «более высокое», она не понимала и не пыталась пока понять, и без того чересчур уж трудоёмкое открытие обрушилось на её голову. Ведь все её прежние установки были нацелены на наслаждение, успех, комфорт, удачу. После того, как её покинул Левенцов, Алла неосознанно разуверилась в этих установках. Теперь она отвергала их уже осознанно. Надо было начинать новую жизнь.

Вечером за ужином Алевтина Владимировна вошла в шоковое состояние, когда дочь отказалась от мясного.

— Во-первых, мясо довольно нездоровая пища, — пояснила Алла, — во-вторых, в бандитское наше время мясом можно отравиться, в-третьих, и это самое главное, надо же как-то выражать протест против насилия, в данном случае физического насилия человека над животным, то есть, убийства плоти животного на утеху плоти человека.

Спустя неделю Алевтина Владимировна опять впала в шок, на этот раз в связи с тем, что дочь отказалась выпить рюмку коньяка в честь дня своего рождения.

— Я больше не пью спиртного, — объявила Алла.

Ещё через неделю она заявила, что бросила курить.

Но этого Алле было мало, её натура требовала действия. И вот в городской газете появилась её статья о нарушениях в торговле мясом и другими продуктами в магазинах и на рынке. Написанная в отличном фельетонном стиле, статья вызвала много откликов. Алла написала ещё одну статью — о бедах

школьных учителей и недостатках школьного образования – эта статья вызвала похвалу Главного редактора газеты. Когда же Алла принесла третью статью, о беспределе в мире мелкого бизнеса, ей предложили стать штатным сотрудником газеты.

Алла задумалась над этим фактом. Раздумывала она недолго и засела за учебники, решив готовиться к поступлению на журналистский факультет университета. Алевтина Владимировна от её решения была в восторге.

3

Весной Алла подала заявление о поступлении в университет. Эта весна 95-го года была особенной, как ей казалось. Жизнеутверждающе журчали ручейки, победоносно расхаживали грачи по талым лугам, блаженно жмурились на солнце кошки, и даже лица людей как будто посветлели. Всё наполнилось в её глазах радостью и светом.

Алла подымалась утром затемно, принимала душ и, выпив кофе, усаживалась в библиотеке за учебники. Старые добрые школьные учебники. Они возбуждали светлое ностальгическое чувство. Перерыв на завтрак – и она снова погружалась в их чудесный мир. В три часа дня, пообедав, она выходила на прогулку, и тут позволяла себе расслабиться мечтаниями о студенческой столичной жизни. В эти минуты её аналитического склада ум, чётко фиксирующий уродливость явлений жизни, отступал под наплывом грёз просыпавшегося в ней ребёнка. Ей грезились волшебные вечера в Москве, какие-то важные события, сильные и благородные люди. В мечтаниях проскальзывала робкая надежда встретить там, в столице, человека, похожего на Славу Левенцова. Когда она возвращалась с прогулки, мать, если бывала дома, с изумлением восклицала:

– Ты делаешься похожей на ту прелестную девочку, какой была, когда училась в школе.

– Это оттого, что я не курю, не пью спиртного и не ем мяса, – отвечала со смущённой улыбкой Алла.

— Мне что ли мясо бросить есть? — в серьёзной задумчивости проносила Алевтина Владимировна, взглядывая на себя в зеркале.

— Ага, и подай заявление в институт, как я — тоже сделаешься девочкой.

Мать с дочерью улыбались друг другу и делались счастливыми.

Незаметно промелькнуло лето. В августе Алла переселилась в Москву в общежитие для абитуриентов, начались приёмные экзамены. Жизнь в общежитии среди более молодых, чем она, парней и девушек представилась Алле поначалу восхитительной. Но вскоре настроение стало омрачаться. Трудно было перестраиваться на «студенческий» распорядок дня. Спать в общежитии ложились не ранее двух ночи, пока не исчерпывались в разговорах все абитуриентские и мировые проблемы. Интеллектуальный уровень этих разговоров был чрезвычайно низок, это раздражало Аллу. Утром они просыпались поздно, часов в десять, и сразу кто-нибудь «врубал» на полную мощь радио «Европа плюс». Алле непонятно было, как можно без раздражения слушать никчёмную болтовню «Европы плюс» вперемешку с примитивными песенками, называемыми почему-то «хитами». А её юные сожигательницы под эти радиошумы с жизнерадостной рассеянностью листали экзаменационные учебники. Алла уходила в читальный зал, но и там трудно было сосредоточиться — мешали шепотки и смешки зелёной молодёжи.

Тем не менее первый свой экзамен Алла сдала на «отлично». Оценку за письменное сочинение — это был второй экзамен — не объявляли до окончания приёмной сессии. Между тем ходили разговоры, будто оценки на экзаменах не играют роли, главное, кто сколько даст за поступление «на лапу». Алле никто из принимавших у неё экзамены вроде бы на взятку не намекал. Но однажды в коридоре перед аудиторией, где шёл экзамен, к ней подошёл вертлявый парень. Развязно поведав о необходимости платы за поступление, он без обиняков предложил ей своё посредничество в этом деле.

— И вы не боитесь? — сделав изумлённый вид, спросила Алла.

— Чего? — удивился парень.

— Мирового катаклизма. Вы разве не пытались представить себе цепочку причинно-следственных явлений, идущих от «посреднической» деятельности?

Нахальные глаза посредника посмотрели оловянно.

— Так вот представьте, — продолжала Алла. — Вы за энную сумму и сделку с совестью помогаете поступить в университет бездарным и бессовестным и тем самым заграждаете путь в науку талантливым и честным. Бездарные и бессовестные, получив диплом и пользуясь энной суммой, пробираются во власть, занимают в ней командные высоты и начинают диктовать законы применительно к своим способностям. Под давлением этих законов талантливые и честные вымирают, вместе с ними вымирает совесть. Надобность в сделках с совестью в связи с этим отпадает, начинается обоюдный грабёж прямую, без всяких сделок. Население, состоящее из бессовестных бездарей, растёт, растут их потребности, а работать некому, поскольку честных нет. Наука компенсировать новыми открытиями рост потребностей не в состоянии, ибо в ней тоже одни лишь бездари. Что, по-вашему, произойдёт?

Растерянность в глазах у «посредника» сменилась нехорошим взглядом.

— Ты, тётка, чего, тёплая или совок? — промолвил он в сердцах. — Нет денег, так катись в свою деревню, без денег не поступишь.

Вопреки его прогнозу Аллу приняли на журналистский факультет без денег. Она сдала все экзамены на «отлично». Её письменное сочинение единственное изо всех было удостоено высшей оценки, тогда как добрую половину абитуриентов «отсеяли» именно за сочинение.

Но радости Алла не испытывала. Прочитав список принятых, она увидела, что шесть лет ей предстоит провести в компании пустышек, млевших от радио типа «Европа плюс». Вступить

в студенческую семью, составленную из таких пустышек, не хотелось.

Вернувшись домой, Алла изо всех сил старалась казаться радостной, но утаить от матери правду не смогла.

— Ты что-то от меня скрываешь, дочь, — сказала Алевтина Владимировна за ужином. — Ты не в своей тарелке, я же вижу.

— Я думаю о жизни, — отвечала Алла. — И прихожу к выводу, что люди сами изменить её не смогут. А если её не изменить, мы обязательно придём к банкротству. Вот я и думаю, кто же тогда сможет изменить, если не сами люди?

— Партия сможет! — воскликнула Алевтина Владимировна с пафосом. — Коммунистическая партия.

— Партия — это те же люди, — возразила Алла. — Под знаменем благородной идеи можно выработать схему лучшей жизни, но претворить её в реальность люди не способны, они нравственно несовершенны, мама. Чем вот приманивают перед выборами избирателей? Хорошей зарплатой, комфортом и свободой. А всё это уже имеют люди из верхушки, и разве от этих благ они стали лучше? Ни экономикой, ни благами ничего не изменишь. А политики, в том числе из твоей партии, абсолютно этого не понимают.

— Дочь, с такими взглядами немудрено до оголтелой меланхолии дойти. Года два назад ты говорила, что, в отличие от меня, любишь родину такой, какая она есть, а не идеальную. Тебе надо вернуться к тому мировоззрению. Бери пример с детей, они просто радуются жизни.

— Брать пример с ребёнка можно лишь ребёнку, мама. Когда же взрослый бравировает животным оптимизмом и весёлостью при окружающей трагедии, он или циник, или идиот. Я выросла, мама, меня не устраивает больше мироощущение животного. Я должна разобраться, почему так безобразно в этом мире.

— Вот и славно! Разбирайся на здоровье, только, пожалуйста, без меланхолий, объективному разбирательству меланхолия не помощник.

Алла не ответила. Алевтина Владимировна, помолчав, тронула руку дочери и сказала:

— Это у тебя пройдёт. Ты просто переутомилась от экзаменов.

— Я бы не хотела, чтобы это у меня прошло, — возразила Алла.

4

Подходил к концу 95 год. Накануне выборов в Государственную думу Егор Агапович Сорокин поехал к сыну. Он хотел провести в гостях дней десять, но уже на второй день начал думать об отъезде. Смертельно утомила болтовня снохи. Она не умела помолчать хотя бы полминуты, если рядом были чьи-то уши. Сорокин пробовал направить её болтовню в осмысленное русло беседы о политике, но стоило ему произнести слово «компартия», как сноха впадала в злобную истерику, она не переносила таких слов. Сорокин смиренно пытался объяснить ей, что компартия и прошлая партийная номенклатура — не одно и то же, но она демонстративно затыкала пальцами уши или принималась визжать. Сноха не умела слушать даже себя, она не говорила, а кричала, видимо, смутно догадываясь, что говорит нелепицу. Когда же ей мерещилось, будто ей удалось выдать «лепицу», из горла у неё вырывались ликующие звуки, означавшие, видимо, смех.

Сорокина пробивала жуть. В смехе снохи было нечто циничное, бандитское. У него возникало чувство, будто его сноха не живой человек, а заводная кукла. Как ни старался он постигнуть смысл её речей и смеха, это, при всей его добросовестности, не удавалось. Невысокого роста, плотненькая, ужасающе подвижная, сноха прямо подавляла непонятной информацией. С озабоченным видом сообщает, что терпеть не может гречневую кашу и тут же цинично рассмеётся. И не успеет Егор Агапович сообразить, чего же здесь смешного, как она уже сообщает, что, если не поест чего-нибудь в течение двух часов, у неё непре-

менно разболится голова. И опять смеётся. Сорокин видел, что она и сына его своим бандитским смехом оболванила. Сын до женитьбы был нормальный парень, а тут какой-то неприкаянный. Спросил его Сорокин, за кого он будет голосовать на выборах в Государственную Думу, а сын не успел и рта раскрыть, как сноха брякнула:

– За демократов, разумеется.

– Почему «разумеется»? – ошарашенно спросил Сорокин, ему представлялось идиотством голосовать за тех, кто развалил страну, разворовал её богатства, довёл до нищеты народ.

– Как «почему»? – изумилась в свою очередь сноха. – Демократы магазины на каждом углу сделали.

– А что толку? – возразил Сорокин. – Честно работающим теперешние магазины всё равно не по карману. Раньше вот зато столовые были на каждом углу, и в них мог пообедать и рабочий, и студент, и пенсионер. Куда ваши демократы столовые те подевали? И где бы вы жить-то стали при ваших «демократах», если бы я вам квартиру не купил?

– Муж-то у меня на что? – воскликнула сноха победоносно. – Пусть вкальвает, и не такую ещё квартиру купим!

– Да ведь сами говорите, работу по специальности не найти.

– А зачем по специальности? По деньгам пусть вкальвает. Кто вкальвает, тот живёт теперь не то что раньше.

– Что значит «живёт»?

– Как «что значит»? – возмутилась сноха. – Живёт – значит, ест чего захочет, мебель и одежду дорогую покупает, машину, дачу.

Сорокин понял, что у него отняли сына. Он объявил, что уезжает. На следующий день вечером электричка уже мчала его в Трёхреченск. Народу в вагоне было мало, и в тишине Сорокину болезненно резала уши громкая болтовня компании молодых парней, сидевших в одном ряду с ним по другую сторону прохода. Парни пили водку и хвастали друг перед другом своими работками. Было больно за русский язык – они безжалостно коверкали его матерными словами. Казалось, парни соревнуются

друг с другом в количестве и «качестве» этих бессмысленно грязных слов. Они выкрикивали их с куражом, со смакованием. Было больно за молодёжь, изуродованную непонятным поворотом жизни. В былые годы молодые компании вваливались в электрички с гитарами, с туристскими рюкзаками, с книгами. Пели студенческие песни на чистейшем русском языке. Обаяние энергии, интеллигентности и веры в жизнь исходило от тогдашней молодёжи. А эти... «На хрену я, блин, видал твой завод! Я в охране, блин, пять лимонов, блин, захреначиваю, да комки, блин, за пригляд, блин, лимон дают...» Вот и всё их жизненное кредо. Тупое самодовольство, неспособность к мечте, неспособность к мысли. И, самое страшное, они даже не сознают, что низведены до скотства, что с помощью радио и телевидения из них делают рабов.

Напротив Сорокина сидела интеллигентного вида женщина, и ему было совестно перед ней за разнузданный мат парней. Он обратился к ним с укором:

– Ребята, вы ведь не одни в вагоне. Такие симпатичные, а так некультурно выражаетесь.

Один из компании повернул к нему пьяно безучастное лицо:

– Чего тебе, блин, надо-то, отец? Мы чего, блин, твою водку, блин, что ль пьём?

Сорокин сконфузился. И тут сидевшая напротив него женщина громко проговорила, обратясь к компании:

– Прекратите сквернословие. Не прекратите – вызову милицию.

Непреклонность была в её властном голосе и гневном взгляде. Парни стушевались, смолкли и вскоре покинули вагон. Сорокину вдвойне стало совестно перед соседкой. Уводя от неё глаза, он уставился в окно. В оконной темени плыли вдалеке одинокие огни, от них в морозном воздухе подымались вертикально столбы света. Сорокин попытался вспомнить из школьного курса физики объяснение этого светового явления, но не сумел. Зато попутно вспомнилась жизнь в школьные и студенческие годы. Ему искренно стало жаль сноху, не же-

лавшую другой жизни, кроме как хорошо поесть и покупать дорогие вещи. Он помнил, как светло, раскрепощённо жили многие простые люди, хотя одевались в непритязательные ватники и ютились в коммуналках. Но разве объяснишь снохе, что значит *жить*? Как объяснишь, что тогда, в 40-е, 50-е, 60-е годы, вопреки скромному достатку жили, а теперь и самые богатые не живут, а всего лишь «прожигают» жизнь. Может, дело было в том, что не было вражды между людьми. Была открытость, доброта, внимание друг к другу. Было чувство родины. Была устремлённость к вечному.

Сорокину вспомнился эпизод из юных лет. Он ехал после окончания техникума в посёлок, где предстояло начать трудовую жизнь. Был поздний августовский вечер, гребни соснового леса по обеим сторонам дороги чётко очерчивались на фоне ещё светлеющего, но уже с первыми блёклыми звёздочками неба. Дорога была пустынна, урчание автобусного мотора подчёркивало тишину уединения в темнеющем пространстве. Один из парней, сидевших на задних сиденьях, тихим, ясным голосом запел песню Пахмутовой из кинофильма «По ту сторону»:

«Забота у нас такая,
Забота у нас простая,
Жила бы страна родная,
И нету других забот...»

Товарищи поддержали запевшего неуверенными голосами. И вдруг все в автобусе: и молодые, и пожилые — подхватили песню, и по пустынной дороге молодо, задорно разнеслось:

«И в снег, и в ветер,
И в звёзд ночной полёт,
Тебя, моё сердце,
В тревожную даль зовёт...»

И незнакомые друг другу люди сделались своими. Так было в ушедшие неведь куда годы. Отчего теперь и в помине такого нет? Отчего все точно помешались на жратве, на экономике? Одно время Сорокин думал: это оттого, что разогнали его родную коммунистическую партию. Теперь он так не думал, встряс-

ки последних лет научили его вглядываться в жизнь глубже. Он не забыл, что жизнь начала ломаться ещё в начале семидесятых, при здравствующей ещё КПСС. Причина, видно, коренилась в прошлом.

Прошлого партии Сорокин знал лишь по партийным учебникам, то есть, фактически почти ничего о нём не знал, но из обрывочных своих знаний сложил для себя казавшуюся ему поначалу правдоподобной следующую версию. Проникшие после революции 1917 года в аппарат власти тогдашние «демократы» посеяли раздор в партии и развязали своим террором против мирного населения и против подлинных коммунистов гражданскую войну. Оттуда всё и поехало. К власти пришли корыстолюбцы, уничтожившие коммунистов. Эти корыстные властители довели великую идею и великую страну до краха, как и самодержавие. Но эта версия не давала ответа на вопросы, как корыстолюбцы во власти смогли столь быстро восстановить страну после разрухи Гражданской войны, построить сильную промышленность и армию, сломившую хребет объединённой фашистской Европе, вновь восстановить разрушенную войной страну и даже первой в мире отправить человека в космос? И почему народ так долго ещё жил, по-настоящему жил независимо от властителей-растлителей чистой, целомудренной, народной жизнью, а потом вдруг начал растлеваться... Получается, что корыстолюбцы и лжекоммунисты пришли во власть вовсе не сразу после революции, а уже при жизни самого Сорокина, на его глазах, а он этого даже не заметил! И что же тогда означает такое вроде бы понятное слово «жить»? Всем существом своим Сорокин чувствовал, будто знает, что это такое, и всё-таки точного ответа на этот вопрос он не знал.

Электричка тормозила у пустынных ночных платформ, выпускала последних пассажиров и снова разгонялась. В вагоне остались только двое: Сорокин и сидевшая напротив женщина. Ему очень хотелось заговорить с ней, но он знал, что не решится, он был робок с женщинами, тем более с такими, как эта: красивая, интеллигентная, с проницательным, властным взглядом.

Женщина как будто не смотрела на него, но, когда темнота окошка замерцала россыпью огней Трёхреченска и Сорокин, приговариваясь к выходу, снял с вешалки свою сумку, она вдруг промолвила:

– Вы не могли бы меня немного проводить? А то время позднее, а при мне, – она кивнула на баул, – общественные печатные материалы.

Голос у неё был низкий, приглушённо мягкий, и Сорокину почудилось, будто бы донёсся этот голос из знакомого-знакомого далека. Он с верноподданническим пылом подхватил оказавшийся тяжеленным её баул. Они вышли на перрон, Сорокин глянул вопросительно.

– Пойдёмте там, – кивнула женщина в сторону внештатного перехода, где были бетонные плиты между рельсами. Они вышли на привокзальную площадь.

– Вам далеко? – спросил Сорокин.

– Улица Ватутина, где городской штаб КПРФ, знаете?

Сорокин посмотрел растерянно. В месиве жестоких передряг, свалившихся на отечество, ему ни разу не пришло в голову, что в городе может ещё существовать партийная ячейка. Когда они вышли на улицу Ватутина, он попросил:

– Покажите мне, пожалуйста, где штаб КПРФ.

– А я туда и иду, – сказала женщина. – Вон он, – показала она на двухэтажный особняк, прятанный в глубине небольшого скверика.

Волнение охватило Сорокина. Пустынная ночная улица, затерянно звучащие в морозном воздухе шаги, его и загадочной попутчицы, и этот двухэтажный особняк, такой уютный, притягательный – всё это напоминало что-то важное и дорогое из далёкого прошлого. Они прошли через калитку в низенькой ограде, от калитки к парадному крыльцу вела аккуратно расчищенная снежная дорожка. Света в окнах не было. Женщина нажала кнопку звонка у двери, потом, подождав, нажала ещё трижды.

– Спит, наверно, – сказала она, засмеявшись.

– А кто там? – уважительным шёпотом спросил Сорокин.

– Да сторожика.

Они стали по очереди стучать в дверь и руками, и ногами. Отзыва по-прежнему никакого.

– Она на втором этаже с той стороны, – сказала женщина. – Оттуда не услышит. Попробуйте кинуть в окно снегом, идёте, я покажу в какое.

Они обошли дом, и Сорокин, с трудом слепив из морозного снега комок, швырнул его в указанное ему окошко. Окошко тут же засветилось, кто-то выглянул из него и скрылся. Спустя минуту сонная сторожика открыла дверь.

– Спасибо, – сказала женщина Сорокину. – Очень вам признательна.

Егор Агапович почувствовал себя обманутым. Обиженно потупясь, он спросил:

– Домой вас разве не надо проводить?

– Ой, не надо, спасибо, я здесь заночую.

Сорокин сконфуженно переступил с ноги на ногу:

– А вы здесь работаете?

– Без зарплаты только, – засмеялась женщина.

– А я не смогу вам помогать без зарплаты? – неожиданно выпалил Сорокин.

Женщина пронизательно посмотрела ему в глаза и понизившимся голосом сказала:

– Приходите. Утром сможете прийти?

– Ага.

– Я завтра буду здесь до одиннадцати утра. Меня зовут Алевтина Владимировна Скобцева.

Так волею судьбы Егор Агапович познакомился с матерью бывшей своей сотрудницы, а потом работодательницы Аллы Скобцевой.

Наутро он поднялся очень рано, не было ещё шести. Он всегда вставал раньше жены. Когда поднялась и она, Сорокин, тщательно выбритый уже, увлечённо занимался глажением: выгладил сорочку, брюки, галстук, потом, поразмышляв немного,

принялся гладить и пиджак. Жена некоторое время смотрела оловянно, потом, зевнув, спросила:

– Любовницу, что ль, нашёл?

– Ещё какую! – ответил назло ей Сорокин и, тут же смутившись, пояснил. – Компартия у меня любовница.

Не было ещё девяти, когда Сорокин подошёл к штабу КПРФ. Он не решился войти в калитку с первого захода, прошёл мимо, оправдывая перед собой нерешительность тем, что раньше девяти штаб вряд ли открывается. Сердце у него билось так же сильно, как в тот далёкий день, когда он предстал перед комиссией, которая должна была решить вопрос о его приёме в партию.

Ровно в девять он, побледнев, подошёл к парадному крыльцу и тронул дверь, она легко открылась. В коридоре сидел за столом пожилой мужчина.

– Я к Алевтине Владимировне Скобцевой, – сказал Сорокин.

– Второй этаж, первая дверь налево.

Уважительно переступив через отдыхавшего на ступеньке лестницы здоровенного чёрного кота, Сорокин остановился перед дверью, перевёл дыхание, потом храбро открыл её и сразу же увидел свою вчерашнюю попутчицу. Алевтина Владимировна что-то писала за столом, заваленным кипами брошюр. Увидев Сорокина, она с улыбкой поднялась и представила его мужчине, сидевшему за другим столом – это был Первый секретарь горкома КПРФ Николай Семёнович Лещинский. У Лещинского было строгое, даже как будто бы надменное лицо с тонкими, властными губами. Сорокин почувствовал робость перед ним.

– Вы только в предвыборной кампании хотите нам помочь? – спросил Лещинский. – Или...

– Я член КПСС с 65 года и хочу... И хотел бы восстановиться.

– Ну что же, – Николай Семёнович кивнул на кипы брошюр, – Алевтина Владимировна вот привезла свежие экземпляры программы КПРФ, можете взять один с собой и ознакомить-

ся. А партийное задание вам для начала — займитесь сбором подписей в поддержку нашего кандидата.

И, вопреки всем передрягам, началась для Сорокина светлая жизненная полоса. Хотя деньги, заработанные им под руководством Аллы Скобцевой, кончились, он нимало не печалился. Егор Агапович устроился на работу сторожем. Зарплата была чисто символическая, зато уйма свободного времени для партийной деятельности, а на скудость пищи и патетические вопли подурневшей опять характером жены он научился не обращать внимания.

Скоро в парторганизации о Сорокине говорили уже, как об активном, инициативном товарище. Но этого ему теперь было мало, прочитав программу КПРФ, он увидел, что её чеканные абзацы как-то расплывчато ускользают от понимания. Тогда Егор Агапович записался во все городские библиотеки и принялся с пылом вступающего в жизнь юнца штудировать классические труды по философии, истории, экономике, политике. По утрам он пробуждался теперь с весёлостью, предвкушая радость партийных дел, упивался ими. Сорокин снова, как давным-давно когда-то, *жил*.

5

Чем меньше оставалось дней до выборов в Государственную думу, тем с большим нетерпением ожидал этого события Сорокин. Встречаясь в агитационной работе с людьми вверенного ему участка, он видел, что умонастроение большинства склоняется в пользу левых сил, в первую очередь КПРФ, конечно. «Пошло, наконец-то!» — торжествуя думал он и делал прикидочные расчёты. Выходило, что по его участку за КПРФ проголосует почти половина избирателей. «Если бы по всей России так!» — предавался он мечтаниям. Но, судя по информации из газет, радио и телевидения, по всей России было далеко не так. Сорокин был уверен, что средства массовой информации занижают рейтинг левых сил и завышают

правых. Они «вешали лапшу» на уши доверчивому обывателю, пользовались хитрющими уловками, чтобы выставить в невыгодном свете КПРФ. Сорокин изумлялся: «Неужели они и вправду нас за дураков считают?» Для него они, то есть, не сами по себе СМИ, а люди, управляющие ими, были классовым врагом.

Злое чувство было Сорокину чуждо, ему трудно было относиться к кому бы то ни было, тем более в своём отечестве, как к врагу. Но как к ним ещё относиться, если они враги на самом деле! Притом чересчур уж больно умные враги. Почему вот они очерняют в первую очередь не пороки, а достоинства той жизни, что была при советской власти? Да потому что главная угроза их режиму кроется в наиболее очевидной из всех нелепостей: зачем отвергать вместе с ложкой дёгтя бочку мёда? Вот и пыжатыся, чернят, чтобы народ принял нелепость за «лепость». Советская патриотка Зоя Космодемьянская у них в Отечественную войну боролась не с фашистами, а со своим народом: поджигала якобы избы ни в чём не повинных крестьян. Советские лётчики тоже таранили, оказывается, не фашистов, а своих. И вообще для русских, по их мнению, было бы лучше, если бы войну выиграли фашисты, порядка больше было бы. Правда, так они говорили не очень долго: с 91-го по 93-ий, но Егор Агапович этого не забыл, хотя мстительным человеком не был. Просто он не в состоянии был позабыть такие вещи.

Сорокин страдал от непонимания: зачем они воюют против своего народа, зачем пилят ветку, на которой сидят? Небо обделило его чувством юмора, он слишком серьёзно всё воспринимал. Вот прочёл он, например, статистику о России накануне 1917 года. Статистика говорила, что три четверти населения тогда было безграмотно, постоянно голодало, жило сирой, нищей, беспросветной жизнью. А они говорят, что Россия перед революцией была близка к верху благополучия. Другой бы на его месте похихикал над такой несуразностью и забыл. А Егор Агапович от этой несправедливости страдал нешуточно.

Особенно страдал Сорокин в декабре 93-го, накануне тогдашних выборов в Государственную думу. На телевидении и радио был пик либерального разгула. Они, классовые враги, были убеждены в своей победе на выборах и заранее праздновали победу. Они думали, выборы в думу расставят последние точки над «и», и начнётся их безмятежное правление в атмосфере барской роскоши, а народ будет любоваться ими и в восторге аплодировать. В день выборов по телевизору показывали их бал. Они с жеманной снисходительностью обменивались там, на экране, мнениями относительно шансов на победу, делали оптимистичные для себя прогнозы. Слащаво самоуверенные, они ломали из себя аристократов. Как славно бы посмеялся Сорокин над их потугами изобразить из себя элиту, обладай он чувством юмора! Но небо этим чувством его зачем-то обделило, и он страдал. Зато с каким эстетическим наслаждением он смотрел в телевизоре на их ошарашенные, растерянные лица на следующий день, когда стало известно об их поражении на выборах! Народ крепко дал им по мозгам тогда, они долго не могли прийти в себя от этого удара. А когда пришли в себя, то перестали говорить по радио и телевизору, будто герои советского времени воевали против народа и что будто сейчас, при их режиме, благосостояние народа всё растёт. Напротив, усиленно стали долдонить о катастрофе в экономике, но с такой развязной непринуждённостью, что неискушённый обыватель мог подумать, будто это и не они вовсе страну до ручки довели. Они были умными врагами.

С тех пор прошло два года. Два сумрачных, тяжёлых года. Противостояние избранной народом думы и антинародного президента при всём своём драматизме порождало ощущение жуткой, прямо космической застылости. Куда там было тягаться с этой застылостью легендарному застою 70-х, с его застольями, бездумьем, легкомысленной весёлостью! Теперешняя застылость, казалось, убивала всякую надежду на выход из неё.

И вот подошли новые выборы в Государственную думу. Сорокин страстно верил, что это подошёл час избавления от зла.

В день выборов он нарядился в парадно-выходной костюм. Егор Агапович был теперь не рядовым избирателем, а членом избирательной комиссии, представителем от КПРФ. Вместе с ним в комиссии работала Алевтина Владимировна. Она успевала всюду, не допускала ни единого нарушения закона. Магия властной силы исходила от неё. Её все, в том числе и председатель комиссии, беспрекословно слушались. Сорокин же прямо поклонился этой обаятельнейшей женщине.

В первом часу ночи был закончен подсчёт голосов. За кандидата от КПРФ проголосовало большинство. По участку, на котором предвыборную работу вёл Сорокин, это большинство было подавляющим. Поздравляя, Алевтина Владимировна обняла его и поцеловала. И не было в эту минуту на земле человека более счастливого, чем Егор Агапович Сорокин.

Опять он шёл с ней по ночным пустынным улицам. Подомашнему поскрипывал от одиноких их шагов размятый снег, и опять Сорокину казалось, будто всё это из знакомого-знакомого далека. Остановясь у подъезда своего дома, Алевтина Владимировна сказала:

— Спасибо, что проводили, Егор Агапович. Теперь вы знаете, где я живу, заходите.

— Когда? — спросил, глянув с собачьей преданностью, Сорокин.

Алевтина Владимировна засмеялась:

— Экий вы решительный. Тут надо подумать. Знаете что... Подавайте-ка заявление о приёме в партию, я напишу рекомендацию. Вот как вас примут, так и заходите, отметим это славное событие.

Сорокин в восторге чуть было не бухнул: «Слушаюсь!»

Остаток ночи он провёл на кухне у радиоприёмника, лоя сообщения о результатах голосования по всей стране. К утру результаты прояснились. Проведя несложные подсчёты, Сорокин вывел, что в новой думе будет около двухсот представителей КПРФ. Хотя до двух третей мест, позволивших бы преодолевать

«вето» президента, КПРФ не дотянула, это всё-таки была победа.

Результаты выборов вызвали смятение и панику в стане «классового врага». СМИ вещали в траурной тональности о конце света, поскольку стало очевидным, что народу разонравилось зло, воплощённое в их режиме. Придя немного в себя, они начали лихорадочные поиски кандидата, способного одолеть лидера КПРФ на предстоящих летом президентских выборах. Предлагались самые нелепые кандидатуры, начиная от заграничных отпрысков царской династии Романовых и кончая диссидентом Солженицыным. Запускался «пробный камень» об отсрочке президентских выборов.

Между тем близилась весна. В повернувшиеся к свету и надежде дни Сорокин во второй раз в своей жизни вступил в Коммунистическую партию. Скобцева в связи с этим напомнила о приглашении. В преддверии назначенного дня Егор Агапович мучительно раздумывал над вопросом, следует ли что-то покупать в подарок. С одной стороны, нелогично было подносить подарок самому себе в честь вступления в компартию. С другой стороны, неудобно было идти с пустыми руками в гости к женщине. В конце концов на него снизошло озарение: он купил цветы. Пришлось выложить за них месячную зарплату, он как раз её только получил.

Цветы Сорокин принёс домой в хозяйственной сумке вместе с хлебом. Хлеб выложил на стол, а сумку с цветами повесил на гвоздь на кухне на обычном месте, чтобы не вызвать подозрений у жены. Но она всё равно учуяла измену. Кивнув на хлеб, она спросила?

— И это всё?

— А чего ещё? — сделал Егор Агапович удивлённый вид и покраснел, он так и не научился непринуждённо лгать, несмотря на рыночные реформы.

— Зарплата где? Ты говорил, дадут сегодня.

— Не дали и не дадут, — произнёс он с неожиданной отвагой. — За следующий месяц, может быть, дадут, а за этот, говорят, «заморозят».

Жена посмотрела недоверчиво. Вдруг со словами: «А в сумке что?» — она сняла с гвоздя сумку и, увидев в ней цветы, посмотрела оловянно.

— Это общественное поручение, — пояснил Сорокин, сделавшись пунцовойе цветов. — Мы в партячейке сегодня одного ветерана войны с юбилеем чествуем.

Жена недовольно что-то пробурчала. Сорокин, переутюмясь от дачи ложных показаний, прилѐг на диван. В шесть вечера он принял тѐплый душ, побрился, наодеколонился, надел парадно-выходной костюм и, сказав жене, что идѐт на встречу с ветераном войны, отправился с цветами к Алевтине Владимировне Скобцевой.

Каким-то чудом ему удалось превозмочь робость, охватившую его перед дверью еѐ квартиры. Он нажал на кнопку звонка. Алевтина Владимировна с поощрительной улыбкой приняла цветы и, когда Егор Агапович снял пальто, повела его к столу в гостиную.

— Откройте шампанское, — попросила она.

— Я не умею, — буркнул Сорокин и побелел от стыда. — Я никогда не пил шампанского.

Скобцева засмеялась.

— Вы мужественный человек, Егор Агапович. Редкий мужчина сознается перед женщиной в таком пробеле в биографии. Придѐтся самой за вами поухаживать.

Запенилось в фужерах шампанское, Скобцева сказала тост: «За ваше вступление в ряды борцов за справедливость, Егор Агапович. За наше боевое содружество». Они выпили, и Сорокин вдруг увидел, как прелестна женщина, сидящая за столом напротив. На ней была лѐгкая блуза бежевого цвета, так замечательно гармонировавшего с безукоризненно белой шеей, с волнующим еѐ продолжением к груди. А узел светлых волос на еѐ голове был уложен с таким изяществом, что Сорокину казалось, будто перед ним не член КПРФ, а заморской сказочной страны царица. Он не посмел послушаться еѐ, когда она предложила выпить по рюмке, потом по второй коньяка за победу

на предстоящих президентских выборах. Ему стало так хорошо, что с его языка сами собой сорвались дерзкие слова: «Я люблю вас, Алевтина Владимировна». Она как будто не обиделась, приняла его признание, как должное, хотя и не сказала ничего в ответ. Ему было и этого достаточно. Было таким волшебным счастьем сознавать, что она осведомлена о его к ней чувствах и не гонит прочь за это, и даже, напротив, чудесно улыбается! Егор Агапович вдруг понял, что возвышенные слова поэтов о том, как прекрасно умереть во имя любимой, не пустые слова. На пороге пятидесятилетия ему ниспослано было изведать юношеской чистоты любовь. Он, несомненно, принял бы смерть за Алевтину Владимировну если не с радостью, то, по крайней мере, с той же убеждённой, с какой внутренне был готов положить жизнь на алтарь победы коммунистических светлых идеалов.

Когда приступили к чаепитию, Скобцева достала фотоальбом, последовательно отражавший в фотографиях фрагменты её жизни от младенческого возраста. Сорокин с умилением глядел, как превращалась она из симпатичной пухлой крошки во взрослую женщину неотразимой славянской красоты. Потом с таким же интересом он стал смотреть на превращение во взрослую женщину её дочери.

— Да ведь это!.. Это же... Вашу дочь зовут не Алла Скобцева?

— Просто Алла, — улыбнулась Алевтина Владимировна.

— Да ведь она со мной работала в одном отделе в КОПА! Она у вас предприниматель?

— С этим Алла, слава Богу, «завязала».

— Я знаю! — обрадованно воскликнул Сорокин. — Она помогла мне заработать деньги на квартиру сыну, а потом сказала, что закрывает дело. Это было летом в 94-ом году.

— Правильно. Деньги от своего бизнеса Алла отдала на социальные городские нужды, — с торжеством сообщила Скобцева, затем с ноткой гордости добавила. — Она теперь учится на журналистском факультете МГУ.

Необъяснимая щедрость судьбы, сведшей Сорокина по отдельности с двумя такими замечательными женщинами, оказавшимися матерью и дочерью, потрясла его воображение. Алевтина Владимировна стала для него кумиром.

ГЛАВА 7. 1996

1

Наступил июнь. Предвыборная кампания, развёрнутая средствами массовой информации, поражала россиян невиданной бессовестностью. Откровенно лгали радио и телевидение. Подтасовывались сведения о социологических опросах населения. На глазах меняли убеждения политические лидеры. Бесстыдно обещали избирателям райскую жизнь бесчестные кандидаты на пост первого государственного мужа. В такой обстановке Зло, воплощённое в одряхлевшем президенте, вдруг взбрыкнуло. Ельцын объявил, что он принял «трудно давшееся ему решение» выдвинуть свою кандидатуру на пролонгацию своего правления на посту первого государственного мужа. Бесы всех бессовестных мастей, отчаявшиеся уже в поисках спасения, так и взвыли хором радостными воплями, приветствуя это «взвешенное» бессовестное решение.

СМИ немедленно сделали взбрыкнувшему президенту нужный рейтинг. Россияне диву давались, узнавая, как не по дням, а по часам меняется рейтинг Зла. То за него был всего один процент, а то вдруг чуть не половина населения. Россиянам непонятно было, за что же половина из них внезапно полюбила то, что вызывало лишь болезненную аллергию. В некоторых утопического направления газетах склонялись к мысли, что это результат применения Америкой массового психотропного оружия. Другие, более здравомыслящие издания, полагали, что здесь обыкновенное враньё. Так то было или иначе, не столь уж важно. Важно было то, что Зло опять торжествовало.

Но невзирая на козни торжествующего Зла, Егор Агапович Сорокин страстно верил в победу кандидата в президенты

от КПРФ Зюганова. По заданию партийной организации он разносил по домам и расклеивал по городу воззвания. В этих воззваниях существующий режим назывался сатанинским и провозглашалось, что одолеть его может только евангельски чистая, непорочная, как дева Мария, КПРФ.

Сорокин был уже далеко не тем бездумным «винтиком», что безответно крутился в былые годы на партийной работе в чине парторга, профорга и председателя общества трезвости. На том месте, где больно, вырастает новая идея или мысль. Годы перестроечных страданий научили Сорокина осмысливать печальный опыт. Он видел, что распространяемые им воззвания грешат осточертевшими ещё в доперестроечное время штампами, что в силу этого они не тронут россиянина, оболваненного куда более тонкими приёмами торжествующего Зла. Егор Агапович требовал от Первого секретаря горкома КПРФ Лещинского переработки шаблонных агитационных текстов, но тот отвечал, что тексты согласованы с центральными партийными органами и что вообще это не вопрос Сорокина, его дело их распространять. Егор Агапович не обиделся и подчинился, но в его подсознании отложилось некое сомнение.

Однажды в субботний день Сорокин продавал на площади перед рынком газеты «Советская Россия». Этот труд был, как и вся его партийная работа, бескорыстен, даже приносил порой убыток: он продавал газеты по той же цене, по какой получал в своей организации, иногда даже дешевле, а то и бесплатно дарил небогатому прохожему. Одновременно с продажей газет Сорокин, поднатужа свой отнюдь не мощный голос, призывал горожан проголосовать на выборах президента за Зюганова. Какой-то невзрачный пожилой горбун высунулся из толпы и стал «сверлить» его маленькими злыми глазками. Увидев, что Сорокин на психический гипноз не реагирует, горбун задал вопрос:

– Ты почему агитируешь за КПРФ, а не за ЛДПР?

Сорокин ступевался. Вопрос был явно провокационный. Он хотел смолчать, но горбун не отставал:

– Чего молчишь-то? Объясни обывателю, почему надо голосовать за КПРФ? Чем она лучше ЛДПР-то?

– КПРФ отстаивает интересы трудового народа, а ЛДПР – интересы мелкобуржуазных элементов, – объяснил Сорокин.

– Да что ты говоришь! – маленькие глаза горбуна сделались от фальшивого изумления большими. – Почему тогда трудовой народ никого из командиров ваших нигде не видит? Где они были, когда в 93-ем расстреливали народ? По кабинетам своим прятались? А теперь удивляются, почему это народ не выходит на улицы протестовать против антинародного режима. Почему сами-то они не идут в народ, на протест не поднимают? Не знаешь? Я объясню. Потому что привыкли командовать из кабинетов. Как сказал бы Ленин, далеки они от народа, страшно далеки. И не трудового народа интересы они отстаивают, а свои. Кто их сыновья-то, знаешь? Предприниматели. Мелкобуржуазный элемент. И интерес у них самый мелкобуржуазный – удержаться в своих креслах, ради этого они будут сотрудничать с любым режимом, до лампочки им трудовой народ!

Сорокин не совсем был уверен, что въедливый горбун неправ, но почёл за должное попытаться его переубедить.

– Руководство КПРФ не пряталось в 93-ем, – сказал он. – Оно призывало народ не поддаваться на провокации демократов, не идти на штурм Останкинской телебашни. Если бы народ прислушался к их призывам, армия не пошла бы против него, как не пошла в 91-ом. Мирным путём мы победили бы тогда. Мы, рядовые коммунисты, верим своему руководству.

– Э-эх, ми-и-лай! – уже добродушно усмехнулся горбун. – Доверчивые мы больно. А чем КПРФ принципиально отличается от КПСС? Структура та же, люди те же. Власти, правда, нет. Но и ответственности перед народом тоже нет! И при этом можно ничего не опасаясь громко критиковать нынешнюю власть и обещать избирателям в случае победы на выборах золотые горы. Что же эти золотые горы коммунисты не создали, когда единолично владели Советским Союзом, а предпочли благосостоянию народа собственное благополучие? Обзавелись

спецпайками, спецбольницами, спецсанаториями, спецобслужбой и множеством других привилегий? Подставят вас, рядовых, рано или поздно ваши командиры, попомни моё слово.

Горбун скрылся в рыночной толпе, а в подсознании у Сорокина против воли отложился новый пласт сомнений.

Бессовестность избирательной компании становилась, чем ближе ко дню выборов, тем бессовестней. Сорокин по-настоящему страдал при виде всевозможных заезжих эстрадных групп, выступавших на улицах Трёхреченска с вульгарными концертными программами. Никакого отношения к искусству эти концерты не имели, но привлекали внимание прохожих девочками в набедренных повязках. Девочки под оглушительную попмузыку бесталанно дрыгали руками и ногами, то есть прилюдно делали аэробику. Прохожие останавливались и глазели то ли ошарашенные нескладностью этих упражнений, то ли замороженные голыми девичьими ляжками.

В паузах между физкультминутками ведущий выступал перед публикой с призывом проголосовать на выборах за воплощённое в первом государственном муже Зло. Со слов ведущего выходило, что это Зло является единственным гарантом конституции. Ведущий справедливо полагал, что никто из публики не только не вникал в смысл этой Конституции, но даже и не пробовал её читать, поэтому её сущность и так гарантирована от пересмотра, зато словосочетание «гарант Конституции» звучало впечатляюще.

Сорокин, в отличие от глазеющей на девичьи ляжки публики, Конституцию не только читал, но и вдумывался в её смысл. Ему страстно хотелось в пику этим продажным ведущим объяснить публике, как их облапошивают. И один раз, взбодрённый парой рюмок вина, выпитых по случаю приезда в гости сына, он не выдержал, вскочил на помост к ведущему и, выхватив у него микрофон, закричал законопослушной публике:

– Не голосуйте за «гаранта Конституции», эту Конституцию сочинили поработители народа, приспешники «гаранта», поэтому он её и гарантирует...

В порыве вдохновения он выкрикивал ещё что-то гневное и обличающее. Ведущий пытался вырвать у него микрофон, но не сумел. Появился наряд милиции. Милиционерам Сорокин сдался добровольно, но напоследок успел крикнуть в микрофон:

– Голосуйте за лидера КПРФ Зюганова – он гарантирует не липовую Конституцию, а достойную человеческую жизнь!

Милиционеры заломили ему руки за спину, посадили в «хмелеуборочную машину» и отвезли в медвытрезвитель. Там Соркина, не вникая в смысл его протестов и ссылок на Конституцию, раздели и поместили в одном нижнем белье на койку в комнате, где на другой койке миролюбиво похрапывал заросший почти до синяков под глазами какой-то тип. Сорокин ринулся в приёмную с требованием немедленно выпустить его, поскольку он выпил всего две рюмки. Дюжий сержант затолкал его назад в спальню, предупредив:

– Будешь буянить – ответишь по статье за сопротивление представителям органов правопорядка.

Егор Агапович лёг на койку поверх одеяла и стал слушать, как храпит сосед, из глаз у Сорокина, безнадежно глядевших в потолок, сочились слёзы.

Его выпустили вечером, предупредив, чтобы плату за пользование койкоместом и медобслуживание он внёс не позднее, чем через два дня, тогда не будут сообщать на работу. Пока Сорокин лежал на койке, ему казалось, он не стерпит, непременно обратится в суд за правдой. Но когда его выпустили на волю, мысли у него приняли другое направление. В нём заговорил пятилетней давности страх. Тогда, в 91-ом, Егор Агапович по неопытности не принёс в медвытрезвитель плату вовремя, и на предприятие пришла бумага из милиции, за которую его исключили из КПСС. Теперь страх перед исключением из партии был ещё сильнее. В суде вряд ли удастся доказать свою правоту, а дело получит огласку, и о нём узнают в парторганизации. И узнает – у Сорокина даже пот на лбу выступил от страха при этой мысли – Алевтина Владимировна! Нет уж, никаких судов, никакой огласки. Немедленно взять в долг у кого-нибудь и отне-

сти в медвытрезвитель плату, и никто ничего не узнает. В голове у Сорокина промелькнуло, что такие вот трусливые сделки с совестью, совершаемые ежедневно каждым человеком, в сущности, и есть главная причина непотопляемости Зла. Бесстрастно проанализировать эту мысль у Егора Агаповича не достало мужества, он ещё не дозрел до уровня абсолютно бескомпромиссного борца. Но мысль, уйдя в подсознание, включилась там в неподконтрольную сознанию аналитическую работу.

День выборов президента приближался. Бессовестная рать Зла неистовствовала, гипнотизируя заторканного обывателя наглой убеждённой в своей победе. Сорокин испытывал нешуточную боль, узнавая из СМИ, что к бесовской этой рати примыкают люди, составлявшие когда-то цвет советской родины. Роллан Быков, Зыкина, Быстрицкая... Он так верил ей, Элине Быстрицкой, в фильмах «Тихий Дон», «Комсомольцы-добровольцы»... А Зыкина организовала даже грандиозное шоу группы артистов и певцов, отправившихся с агитационными концертами в поддержку Ельцина на корабле по Волге.

В день выборов Сорокин опять работал на избирательном участке вместе с Алевтиной Владимировной. После ночного подсчёта голосов он радовался вместе с ней убедительной победе по их участку кандидата от КПРФ Зюганова. А наутро СМИ сообщили, что в целом по стране Зло опережает на целых десять процентов. Потом был второй тур выборов, и победа Зла была закреплена. Жизнь представилась Сорокину ещё беспросветней, чем даже в начале 90-х. Вскоре даже в СМИ стали просачиваться сообщения о вопиющих нарушениях закона и фальсификациях, допущенных в процессе выборов. Не вызывало сомнений, что победу Злу сделали купленные им люди. Но Сорокину непонятно было, почему лидер КПРФ одним из первых официальным посланием поздравил Ельцина с победой. Ведь лидеру, как никому другому, известно было, что победило Зло нечестно. И зачем вообще поздравлять с победой Зло? Под влиянием таких незакрывавшихся вопросов ещё один пласт сомнений лёг на дно вместительного подсознания Сорокина.

2

Левенцов пытался сосредоточиться за столом у окна над изобретательскими разработками. Мешало монотонное мычание. От соседней избы дорога сбегала вниз по кособогу к пруду, и там, на окраинном лужке, с раннего утра до вечерних сумерек отбивал заключение на привязи бычок Мишка. Рой бешено кусающих слепней, оводов, шмелей и прочей непонятной шушеры нескончаемо вился над ним. Мишке было больно, и он мычал. Ещё глупее обстояло дело с жаждой. На лужке ни деревца, от солнца негде спрятаться, хотелось пить, и бычок опять мычал. У него тоже было понятие о собственном достоинстве, поэтому начав мычать, он мычал уже не переставая.

В этот раз Мишка мычал без перерыва уже два часа. Левенцов не мог ни на чём, кроме этого мычания, сосредоточиться. Всё это давало Вячеславу повод не любить деревенские порядки. Так называемая деревенская тишина доставала непредсказуемостью звуков. Каждый звук воспринимался как гром с неба, и нервы напрягались в ожидании: когда грянет следующим гром. В самом логове городских шумов, в «пещерке» у вокзала, Левенцов не замечал их, потому что всё разнообразие звуков там сливалось в монотонный гул. А тут завоет от тоски собака на другом конце деревни, а впечатление такое, будто завыло под твоим окном.

Хозяин наконец принёс ведро воды, Мишка напился и успокоился, воцарилась тишина. Стало так хорошо, что сосредоточиваться на работе Левенцову расхотелось. Взгляд его праздно задержался на четвёрке пожилых женщин, собравшихся у водоколонки. Несмотря на жару, они были укутаны, точно цыганки, в разношёрстное, неприглядное тряпье. Но лица у них в ходе беседы являли такую возвышенную серьёзность, что Левенцову подумалось, будто они взяли наконец копнуть причину свалившейся на Россию катастрофы. Он вслушался. Увы, женщины обсуждали не причину, а одно из заурядных следствий: делились друг с другом информацией, где и почём кру-

па в райцентре, где и почём сахарный песок. Смотреть на них стало неинтересно.

Левенцов перевёл взгляд на молодую женщину в нарядном вечернем платье, неторопливо идущую с мусорным ведром. Следом за ней ковыляла во взрослых женских туфельках на высоких каблуках девочка лет девяти. Туфли поминутно норовили соскочить у неё с ног, но ей каким-то непостижимым образом удавалось в самый последний момент удержать их, да при этом девочка ещё умудрялась изображать из себя шествующую на бал принцессу. Это было трогательно и грустно. Пожилые и в город ездили в тряпье, а молодые вот наряжаются даже мусор отнести на свалку. Развлечения в деревне – дефицит. Клуб заброшен, на ремонт нет денег. Автобус в райцентр ходит редко, да и проезд не по карману. А легендарные пяточки с удалыми гармонистами на околице по вечерам представляются теперь молодёжи непроходимой дичью или фантазией выживших из ума старух и стариков.

Впрочем, молодёжи в селе по пальцам можно перечесать. И ребятни не видно. Школу за ненадобностью закрыли, Ксюша учится в райцентре. Без детворы и молодёжи деревня точно неживая. Болезненно воспринимал Левенцов это вымирание при полной безучастности якобы ещё живущих. Он чувствовал, что тупеет в этой атмосфере с её чистым, деревенским воздухом. Двухгодичной давности иллюзия, будто, придя в Тимохино, он пришёл наконец домой, давно истаяла. Ему делалось весьма неуютно при мысли, что он так и закончит свои дни здесь, в этой пустыне, зловеще оттенённой убаюкивающей красотой растительной природы. На фоне этой растительной красоты слишком уж бесстыдно торжествовало животное начало. Мычали, требуя внимания и жратвы, коровы, блеяли овцы, козы, гоготали гуси, покрякивали утки, лаяли собаки. И люди подлаживались под животное начало, ибо никакой другой работы не было, кроме как набить брюхо своим животным с расчётом набить потом за их счёт брюхо самим себе. Отвратительны были предсмертные визги поросят и прочей живности, убиваемой, к примеру, в честь

светлого пасхального дня Воскресения Христова. Неприкрытое человеческое ханжество выступало здесь во всей красе.

Левенцов сосредоточился наконец на деле, но тут окно в избе напротив отворилось, и оттуда грянула ритмизованная «музыка». Вячеслав вновь рассредоточился. Он знал по опыту, что под эту современную кассетно-магнитофонную какофонию сосредоточиться никак нельзя. В этой «музыке», вполне отвечавшей духу времени, не было ни чувств, ни мысли, ни мелодии. В назойливо повторявшихся болезненно резких переходах, претендовавших на оригинальность, ощущалась жалкая попытка хоть как-то отличить одну пошлость от другой. Отличить тем не менее было трудно.

Левенцову от природы была дарована утончённая чувствительность к подлинно прекрасной музыке, от которой он получал несравненно большее эстетическое наслаждение, чем человек с обычным слухом. Но тем большую муку испытывал он от фальшивых музыкальных поделок, а таковые бывали даже и в произведениях великих композиторов. Что же касается теперешней «музыки», Левенцов воспринимал её, как один из элементов вымирания, как вопли торжествующего Сатаны. А молодёжь слушала её как будто с упоением по два, по три часа непрерывно. Иные даже по улицам ходили с музыкальными наушниками. Это представлялось нездоровым, что-то в этом было от психического заболевания. Молодёжь, конечно, в своей болезни не была виновна, ей негде было познакомиться с шедеврами музыкального искусства, вникнув в которые она поняла бы, что современные кассеты — жалкий суррогат. Но её кормили только пошлостью, кормили на дискотеках, по радио, по телевизору — везде. Даже на радио «Ретро» как будто специально подбирали к озвучиванию самые низкопробные мелодийки из тех, что были в ходу в 50-е — 70-е годы. А так называемое «Радио России» любую озвученную музыкальную пошлость непременно сопровождало фразой: «Настоящая музыка на настоящем радио!» И неискушённая молодёжь к этой вездесущей пошлости привыкла, приняла её за натуральное искусство.

В «музыкальной» избе напротив жила молодая пара. Муж работал шофёром в организации, прежде называвшейся совхозом, а теперь акционерным обществом. Жена училась в райцентре в педагогическом училище. Теперь у неё были летние каникулы, и она с утра до вечера крутила на магнитоле «музыку». Однажды Левенцов спросил её:

— Неужели вам нравятся шумы, которые вы так терпеливо слушаете?

— Я покупаю самые модные кассеты, — обиженно ответила та. Бедное создание. Ей не приходило в голову, что слово «мода» к музыке неприменимо. И это создание готовилось стать воспитательницей подрастающего поколения!

— А почему вы слушаете это «самое модное» на максимальной громкости? — продолжил Левенцов. — Вы же будущий педагог, вам должно быть известно, что в слишком шумном не воспринимаешь эстетического, как в слишком горячей пище — вкуса. Изобретатель промышленного парового двигателя Уатт говорил о шумном следующее: «Невеждам шум внушает идею силы, а скромность в машине им так же мало понятна, как и в людях». Вы не находите, что это высказывание вполне применимо к музыке?

— Не знаю, как Уатт, — беспечно ответила соседка, — а я ловлю кайф, только когда громко.

Впрочем, её можно было понять. Когда Левенцов плотно закрывал ставни окон, приглушённая таким способом музыка соседки звучала как совсем уже невразумительное бормотание. Это была характерная особенность современной музыки, громкость представляла не количественный её показатель, а качественный, без грома и треска она обращалась в нелепую бессмыслицу. Великолепный символ нынешнего времени!

— А почему вы, когда включаете свою магнитола, открываете одновременно окно? — задал Левенцов будущему педагогу каверзный вопрос.

Он думал, она смутится, растеряется. Ничуть не бывало! Соседка ответила с той же беспечностью:

— Я не эгоистка, пусть другие послушают, у кого магнитолы нет.

Она считала, будто делает благо соседям, развеивая своей магнитолой деревенскую тоску. Только она лукавила перед собой, полагая, будто делает это «благо» бескорыстно. Ей хотелось не этого. Ей хотелось, чтобы все слышали, как она «гуляет». Многие в Тимохино при любом удобном случае выставляли напоказ свою «гульбу»: прокручивание компакт-дисков, дикие пьянки с дикими шумами и плясками и вообще любое очумление. Жители Тимохино заблуждались, заблуждались искренно. Они думали, будто выставление напоказ бездуховности характеризует их с самой лучшей стороны — они гуляют!

Шумы, производимые магнитолой будущей учительницы, доставали не столько своей ритмичной монотонностью, сколько резкими, претендующими на мелодию переходами, которые болезненно действовали на нервы и, что ещё хуже, откладывались в памяти. По этим повторявшимся изо дня в день резким переходам, по той или иной их последовательности Левенцов распознавал настроение соседки, её расположенность к «кайфу» в этот день. Сегодня она начала с кассеты, которую прокручивала относительно редко. Это означало, что соседка расположена прокручивать весь свой запас кассет. То есть она не оставляла Левенцову никакой надежды сосредоточиться сегодня на работе.

Он подумал, какое это сомнительное дело — изобретать для блага человечества. Максвелл открыл вот электромагнитное поле, Герц с Поповым на базе этого открытия изобрели радио, потом их последователи изобрели телевизоры, магнитофоны, и что же? Телевизоры разъединили людей, отучили читать книги, мыслить самостоятельно, а теперь ещё стали средством оболванивания. Нелепая неблагодарность! Светлые умы искренно ведь верили, что своим творческим трудом делают жизнь лучше, верили, что слова «лучшая жизнь» будут означать для будущего человечества лучшие возможности для развития духовного начала. Вышло всё наоборот. Отборные теперешние

бездари с помощью телевизоров и магнитофонов оболванивают миллионы неискушённых молодых голов, вколачивая в них животное начало.

Левенцов попытался опровергнуть пессимистические мысли. «Как знать, где истина, — подумал он. — У вечности свои масштабы. Для вечности период в два-три наших века — всего лишь миг. И то, что мы скакнули от духовного к животному, имеет печальное значение лишь для нас, для одного-двух поколений, а для вечности такое отступление, может быть, играет роль катализатора в ровном движении к совершенному».

Однако сомнительные мысли не оставили Левенцова, только перешли на личное. Ему уже сорок два. Чем он оправдал своё бытие в этом мире? Чем помог вечности в поисках совершенного? Ответа не было, не хватало чётких данных. Сооружённую им шлакоблочную пристройку к избе совершенством никак не назовёшь. Воду от уличной колонки в дом провёл и в огород — тоже пустячок. Единственным оправданием мог бы послужить его упорный, каждодневный труд над изобретательскими разработками, если бы сей труд был не столь бесплоден. Электромобиль с принципиально новым источником энергии завис незавершённый. Закончен вот проект компьютерной системы, способной по мнению Левенцова освободить человечество от груза рыночных отношений. Но проект этот, судя по всему, останется невостребованным. Левенцов ездил с ним в Москву. Не зная, куда с ним сунуться, обратился в Государственную думу. Взял из газеты один из думских телефонных номеров и позвонил. Его объяснения долго не могли понять. В конце концов направили к какому-то чиновнику. Чиновник не захотел даже смотреть его проект. Нетерпеливо выслушав объяснения, он строго произнёс:

— Я всё-таки не понял, в чём смысл вашего проекта, объясните в двух словах.

— Если в двух словах, — ответил Левенцов, — то смысл в том, что в случае его внедрения в экономическую систему упадёт надобность в дорогостоящих «шестернях», паразитирующих на несовершенстве рынка.

Чиновник покрутил головой и попросил изложить смысл проекта ещё короче.

— Короче — освободить страну от переизбытка воров, чиновников и вообще от рынка.

Чиновник посмотрел оторопело. Потом изменившимся, очень вежливым голосом вкрадчиво произнёс:

— Простите, но вы не по адресу. Вам надо в генпрокуратуру.

Левенцов не показывал больше свой проект никому. У него накопилось много маленьких «попутных» изобретений, но он опять же не знал, куда с ними обратиться. Обращаться в патентное бюро не имело смысла: оформление патента и затем регулярные денежные взносы на его пролонгацию — слишком дорогостоящая штука, у него таких денег нет. «Зелёная улица», обещанная изобретателям в начале перестройки, обратилась в ярко-красную. Даже организацию изобретателей «ВОИР» закрыли. Единственный вариант — предложить свои наработки напрямую какому-нибудь предприятию. Но известные ему предприятия после приватизации прикрыли производство, а чтобы поискать неизвестные, нужны деньги на дорожные расходы, во-первых. А во-вторых... Во-вторых, ему было просто лень. Законченные маленькие изобретения были ему уже неинтересны, они привлекали его лишь в процессе разработки. По натуре и складу ума Левенцов относился к работникам кабинетного типа. Ему бы только творить, изобретать, а суета, сопутствующая освоению изобретения на практике, не его дело, это дело практиков. А как говорил изобретатель парового двигателя Джемс Уатт: «Ничего не может быть позорнее для человека, как браться не за своё дело».

Но как объяснишь это Наташе и её матери? Они с утра до вечера возятся с коровой и огородом, таскают тяжеленные сумки с молоком и овощами на продажу в город. А Левенцов на их глазах сидит за столом со своими бумагами и за два года не заработал на этом сидении ни копейки. Им с их практическим взглядом на вещи такое явление, конечно, непонятно, он это видел. Левенцов был, как ни крути, на положении паразита

в доме. Он хотел, но не знал, как изменить такое положение. Работы для него никакой в деревне не было. Устроиться на работу в райцентре или в Беловодске и ежедневно терять в добавление к рабочим часам ещё и часы на дорогу туда-обратно значило напрочь лишиться себя досуга, то есть творчества, то есть цели и смысла жизни.

Левенцова стала донимать бессонница, он просыпался в два или три часа ночи и до утра ломал голову над вопросом, как от такого положения уйти. Он устал от такой головоломки. Усталость приближалась в нём к критической отметке, делалась уже невыносимой. Левенцов готов был бежать куда глаза глядят. Хорошо ещё, что у них с Наташей нет общего ребёнка: у него, к счастью, видимо, бесплодие, это давало моральное право мечтать о побеге. Левенцов не создан для семейной жизни. Он ощущал в себе нечто от высокого человеческого назначения. Только вот в чём оно, высокое человеческое назначение? В разработке компьютерной системы, способной бескорыстно выполнять рыночные функции? Не потянет, конечно, до высокого, но втайне Левенцов гордился этой разработкой. Он не способен и не хочет творить с оглядкой на конъюнктуру. Билл Гейтс на Западе, вон, изобрёл систему связи Интернет и заграбастал за неё прорву денег, его зовут теперь вторым самым богатым человеком в мире, заработавшим своё богатство честно. Левенцов такой «честности» не понимал. Случись ему получить миллионы, он бы голову сломал над вопросом, куда эти миллионы деть, чтобы достались небогатым честным людям. Такой вопрос был бы потрудней, наверно, чем само изобретение.

За окном замычало, заблеяло стадо коров, овец и коз, возвращавшееся с пастбища. Левенцов убрал со стола разработки и пошёл во двор. Ксюша загоняла в хлев корову Зорьку. Наташа трудилась в огороде. Вышла из бревенчатой половины и Антонина Ивановна с подойником в руке. Все при деле. Один он как наблюдатель из европейского парламента. Пока его не упрекают. Но Бог вещь, на сколько ещё хватит у тёщи и жены терпения,

и не кончится ли раньше терпение у него самого? Бежать! Вернуться в Трёхреченск, поступить опять на работу в КОПА, снять недорогую комнату и в полной независимости отдаваться по вечерам, как прежде, своему изобретательскому делу – это представлялось теперь ослепительным, фантастическим прямо счастьем. Но Наташа? Стоило Левенцову заглянуть в её спокойно-грустные, «инопланетные» глаза, как он начинал ощущать себя предателем, и счастье меркло.

За воротами заготовали гуси. Левенцов пошёл было отворить им калитку, но опередила Ксюша. Стрелой промчалась от хлева к воротам, впустила гусей, улыбнулась. Гуси важно прошествовали через двор к сараю и вопросительно вытянули шеи. Ксюша вынесла из дома большую миску с варевом из картофельной кожуры с отрубями, поставила её на траву. Гуси, забыв о важности, сноровисто окружили её и принялись за ужин.

Подошёл петух, стал кружить вокруг гусиных поп, выискивая просвет между ними в надежде протиснуться к миске. Просвета не было. Тогда петух запрыгнул на широкую спину гусака, но и оттуда дотянуться с короткой петушиной шеей до миски не представлялось никакой возможности. Петух, однако, упорствовал в своём намерении. В конце концов, потеряв равновесие, он свалился в миску и тут же был беззлобно вышвырнут из неё добродушным гусаком. Ксюша звонко рассмеялась. Петух сконфуженно встряхнулся и прокукарекал неизвестно в честь какой победы.

Левенцов пошёл на улицу. Стадо разбрелось уж по домам, лишь одна заблудшая юная овца стояла посреди пустынной улицы и с трагическим надломом бляела. Её бляение напоминало неутешный крик ребёнка. Левенцов спустился к пруду, разделся, искупался. Вода чистая, проточная, пруд был образован безымянной маленькой речушкой. Отрадно было после купанья сидеть на травянистом, экологически чистом берегу, предаваясь мечте о побеге в экологически нечистый город. Он сидел и мечтал, пока не услышал ласковый Наташин оклик: «Слава, ужин стынет».

Ужинали в бревенчатой половине дома, в которой жили Антонина Ивановна и Ксюша. Украшением стола был салат из свеженькой редиски с зелёным луком, другие овощи ещё не поспели. Антонина Ивановна спросила, не желает ли зять рюмку водки. Левенцов отказался. Он не любил водку, тем более, суррогатную, поставляемую деревенским распространителям через нелегальные каналы. Вячеслав выпивал рюмку-две такой водки только за компанию с женой и тещей в избранные ими праздники. А сам втайне скучал по бутылочке хорошего вина. Но нет натурального вина в деревне. Да и в городе натурального нынче по карману лишь немногим. С грустью вспоминал Левенцов совсем ещё недавние как будто дни, когда можно было позволить себе при не ахти какой зарплате выпить за присест одну-две бутылочки приличного марочного вина.

После ужина Наташа осталась на половине матери смотреть по телевизору очередную серию очередного западного сериала. Левенцов пошёл в сотворённые им шлакоблочные «хоромы», повалился на диван, включил лампу и стал читать, точнее, перечитывать роман Каверина «Два капитана». Книги он брал в райцентровской библиотеке, и роман Каверина перечитывал на протяжении полугода уже во второй раз. Каверину удалось выразить в этой книге квинтэссенцию духа советского времени, и, читая её, Левенцов раздумывал, в чём же суть тогдашнего духа и почему он стал так притягателен теперь, издали, когда нынешние средства информации с какой-то болезненной нетерпимостью охаивают его. Может, дело было в том, что в советских книгах, радио и телевидении человек изображался возвышенным, каким он мог бы и должен был бы быть, нынешние же средства информации из кожи лезли вон, чтобы показать, какое человек дерьмо. Атмосфера советского времени сдерживала низменные инстинкты, теперь они хлынули наружу. Но втайне человеческой душе всегда неприятна зависимость от плотского, видимо, поэтому на фоне теперешних «истинных ценностей» и стала так притягательна советская атмосфера жизни, хотя в ней тоже в какой-то степени присут-

ствовали и фальшь, и ложь, и многие другие мерзости, заполонившие теперь всё и вся.

Вячеслав всё ещё читал, когда пришла Наташа. Он спросил, чего показали нынче в сериале. Она, обрадовавшись вопросу, стала, всё более вдохновляясь, рассказывать про «красивую» жизнь миллиардеров, про то, кому досталось богатое наследство, и кто кого из-за него убил. Наташа всякий раз, когда Вячеслав просил, пересказывала содержание этой телевизионной дребедени с такой серьёзностью и увлечением, что Левенцов, притворяясь заинтересованным слушателем, внутренне ужасался: какое же его Наташенька убогое существо! Милое, несомненно, наделённое от природы склонностью к внутренней культуре, и всё-таки по какой-то несуразности убогое.

3

Утром Левенцов проснулся в полседьмого. Наташи, конечно, уж и след простыл, вся в хозяйственных заботах. Прделав гимнастические упражнения, он пошёл умыться в ванную. Воду в ванную он провёл, оставалось ещё поставить газовую колонку для водоподогрева, но денег на колонку не было. Надо бы ещё и газовую плиту приобрести, а то приходится из-за стакана чая ходить на кухню к теще. Даже для бритья горячей воды нет, не говоря уже про горячий душ, необходимый после утренней гимнастики. И всё из-за такой досадной мелочи, как безденежье.

Надев тренировочный костюм и взяв чайник, Левенцов пошёл на половину Антонины Ивановны.

– Доброе утро, дядя Слава, – приветствовала его на кухне Ксюша. – Садитесь, я приготовила вам завтрак.

– Безгранично признателен за это, Ксюшенька, но перед завтраком хотелось бы побриться, а для этой осточертевшей операции, как вам, надеюсь, известно, требуется горячая вода. С вашего позволения, я поставлю на свободную конфорку чайник.

— Можете взять вот этот, — кивнула Ксюша на дюралевый огромный чайник, стоявший на подставке на столе. — Я только что сняла его с плиты.

— Мне такой не дотащить, — сказал Левенцов.

— А вы перелейте из него в свой чайник.

— Резонно. А где, Ксюшенька, народ?

— Бабушка поехала в город с молоком, мама в огороде.

— Ну что же, всё правильно. Мне, как всегда, ничего не остаётся, кроме как совершить для здоровья моцион к берегу пруда.

Помнишь, как у Пушкина:

«И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня...»

Ксюша засмеялась. Она всё прекрасно понимала.

Побрившись и позавтракав, Левенцов отправился в огород. В дальнем его конце Наташа, одетая в старый закрытый купальный костюм полувыгоревшего на солнце синего цвета, окучивала картофельные грядки. Взяв в сарае мотыгу, Левенцов пошёл ей помогать.

— Прелестное существо в прелестном месте, — сказал он, подойдя. — Да поможет тебе Бог, а заодно и я немножко.

— Спасибо, — улыбнулась Наташа. — Только лучше иди занимайся своим делом. Я сама управлюсь, мне в охотку, правда.

— Нет, делом я сегодня заниматься не хочу. Мне сегодня по душе безделье. Вызываю тебя на социалистическое соревнование в этом деле.

И отойдя к другой половине картофельного участка, Левенцов рьяно принялся орудовать мотыгой. Через час участок был окучен. Наташа занялась теплицей, сооружённой Вячеславом по последнему слову техники, а он прошёлся вдоль ограды, выискивая в ней участки, требующие ремонта. Ограда оказалась вся в исправности. Левенцов задумался, какое бы ещё безделье сделать, и тут услышал голос Ксюши:

— Дядя Слава, тут вас спрашивают.

Во дворе у калитки стояла женщина трудно определимого по внешнему виду возраста в монашеском тёмном одеянии.

– Вы ко мне? – изумился Левенцов.

– Я из Беловодского монастыря, – сказала женщина. – Меня направил к вам священник Тимохинской церкви. Он сказал, у вас есть мини-трактор.

– Истину сказал. Моей собственной конструкции и собственного изготовления, с подъёмным краном и ковшем для землеройных работ. Может также пахать, бороновать, транспортировать прицепной груз. Вы хотите заказать какую-нибудь работу?

– Да. То есть, нет, мы бы купили его у вас для нужд монастыря, вы не продадите? Священник сказал, вы чудо-мастер и можете сделать для себя другой такой же.

Левенцов размышлял не более секунды. В огороде трактор до осени не нужен, сено на зиму для коровы Зорьки Вячеслав навозит и на своих двоих. А к осени действительно успеет сделать другой тракторишко, попроще, без подъёмного крана и ковша,

– Пожалуй и продам, – ответил он. – Желаете посмотреть?

– Да, если можно.

Трактор, стоявший в его мастерской, поддерживался в рабочем состоянии. Левенцов вывел его во двор и продемонстрировал работу всех узлов.

– Это то, что нужно, – восхитилась покупательница. – Сколько вы за него хотите?

Левенцов сложил в уме цены на газовую плиту, на газоводоклонку в ванную, на движок и колёса для будущего трактора, на недостающее оборудование для мастерской, на три бутылки натурального вина и подарки для домашних, умножил на всякий случай получившуюся сумму на одну целую и две десятых и назвал итоговый результат.

– Я думаю, мы сможем это заплатить, – сказала женщина. – Мы были бы вам очень признательны, если бы вы сами перегнали трактор в Беловодск.

— Хоть сейчас, — воскликнул Левенцов, весьма довольный сделкой.

— Тогда поедемте, — обрадовалась покупательница. — Мы в автомобиле будем вас сопровождать.

Левенцов пошёл в огород к Наташе.

— Я продал трактор Беловодскому монастырю, — сказал он. — К осени сделаю другой, а на деньги от этого организую горячую воду в ванной и газовую плиту. Одобряешь?

— Замечательно, — ответила Наташа.

— Я прямо сейчас еду в Беловодск. Если до вечера не вернусь, не беспокойтесь, значит, заночевал там.

Через полчаса Левенцов катил уже на тракторе по дороге, приведшей его два года назад из Беловодска в Тимохино. С тех пор он по этой дороге не путешествовал ни разу и теперь с отрядным чувством поглядывал по сторонам, выискивая запомнившиеся приметы. От узнанных примет возникала странная иллюзия. Левенцову казалось, будто он возвращается к былой счастливой жизни. Тёмного цвета «москвич» то перегонял его и уходил вперёд, то отставал. В «москвиче» кроме заключившей сделку с ним монахини была ещё другая, тоже в тёмном одеянии, но совсем юная, со светлым личиком, она и вела машину.

Трактор шёл не шибко, больше тридцати километров в час выжать из него не удавалось, и всё-таки дорога уходила назад слишком уж стремительно. Не успел Левенцов и глазом моргнуть, как уже пересекла дорогу знакомая железнодорожная ветка, от которой до Беловодска рукой подать. Шлагбаума почему-то не было, похоже, убрали за ненадобностью: поезд из Беловодска в райцентр и обратно ходил всего два раза в сутки. В голове Левенцова отчётливо сверкнуло, как памятным апрельским вечером они с Наташей, дойдя до этой ветки, остановились, и она робко попросила: «Давайте повернём назад, я озябла...» Это было из прошлой жизни. Это было миллионы лет назад, хотя память убеждала, будто приключилось это не далее, как позавчера.

По сторонам шоссе потянулись те же бревенчатые избы, окружённые палисадниками с сиренью. Но вот избы кончились,

и пошли кирпичные двухэтажные дома, И вон завиднелся дом Наташи. Заглядевшись на него, Левенцов чуть не съехал на обочину. А вот и центральная улица. Следуя за «москвичом», он свернул с неё к туннелю под железнодорожной магистралью. За туннелем открылся простор приречья. Вот и монастырь. «Москвич» остановился у ворот и посигналил. Ворота отворились. Левенцов въехал за машиной и остановился на хозяйственной половине монастыря. Вышедшая из машины монахиня пригласила его потрапезничать. Он ответил, что позавтракал дома плотно и предложил сразу ехать в юридическую контору и милицию оформлять сделку. Так они и сделали. Получив деньги, Левенцов сказал:

– Там есть некоторые тонкости в управлении. Я бы хотел показать их тому, кто будет на тракторе работать.

– Я и сама хотела вас об этом попросить, – ответила монахиня.

Ученица, та юная монахиня со светлым личиком, что вела «москвич», оказалась на удивление понятливой. Объяснения она схватывала с полуслова. Через два часа занятий она уже управлялась с трактором почти так же, как сам Левенцов.

– Может быть, в процессе эксплуатации у вас возникнут какие-нибудь вопросы, я на этот случай через неделю к вам приеду, – сказал Вячеслав.

– Спасибо, – поблагодарила девушка и тут же отвела от него глаза. Она отводила их от него всякий раз, как нечаянно взглядом с ним встречалась.

– На прощанье разрешите задать не совсем тактичный, может быть, вопрос, – сказал Левенцов, разглядывая с интересом юную монашку.

Та утвердительно склонила голову.

– Неужели вы искренно считаете, что для служения Богу вам, такой юной, обаятельной, непременно надо было заточить себя в монастырь?

Девушка, глядя в сторону, молчала, взгляд её сделался печальным.

- Я сирота, — тихо ответила она.
- Простите. Всего вам доброго.
- Да хранит вас Бог.

Выйдя за ворота, Левенцов глянул на часы. До вечернего поезда в райцентр было ещё время. Он отправился к Наташину дому. Постоял во дворе, вспоминая свои поездки в Беловодск из Трёхреченска. Была некоторая странность в том, что вспоминалась в связи с этим не Наташа, а совсем другое. Вспоминались казавшееся осточертевшим и милое теперь КОПА, сотрудники по работе, Глеб Иванович Татищев, дивные свободные вечерние часы в «пещерке» у вокзала. Вспоминалась Алла Скобцева, что-то похожее на тоску по ней было в этом неожиданном воспоминании. Левенцов ясно осознал вдруг, как не хватало ему теперь её понимания, товарищества, интеллектуального родства. Перед посадкой в поезд Вячеслав успел ещё перебежать через виадук к липовой аллее, где он впервые встретился с Наташей. Это тоже было из прошлой жизни. Когда поезд тронулся, Левенцов вспомнил, что не приобрёл подарки для домашних. «Ладно, поеду в райцентр за колонкой и плитой, заодно и подарки сделаю», — подумал он.

Левенцов сошёл с поезда на безымянной платформе, неподалёку от которой стояла за дощатым забором одинокая изба. Вокруг было поросшее травой поле, за полем лес. К лесу мимо избы вела тропинка, Левенцов двинулся по ней под остервенелый лай двух здоровенных псов из-за забора. Тропа была ему знакома, он не раз ходил по ней, когда случалось путешествовать в райцентр. Через час пути она привела его в Тимохино. Левенцов поспел как раз к ужину. На его сообщение о том, что он отхватил за трактор большущие деньги, Антонина Ивановна никак не прореагировала. Ужин начался в молчании. Молчала даже Ксюша. Это было непривычно.

Левенцов попытался пошутить, никто на шутку не откликнулся.

— В чём дело? — спросил он тогда напрямик. — Отчего такие траурные лица? Уж не скончался ли от белой горячки наш горячо любимым президент?

Ксюша прыснула. Наташа посмотрела умоляюще. Антонина Ивановна пуще прежнего нахмурилась.

— Антонина Ивановна, у меня такое впечатление, что вы как будто чем-то недовольны, — сказал Вячеслав. — Уж не в тракторе ли дело?

— Да хоть бы и в тракторе, — откликнулась наконец Антонина Ивановна. — Рисуночки с утра до вечера рисовать да книжечки почитать и без трактора, конечно, можно. А каково с коровой, с огородом без него горбатиться?

— Даю честное пионерское, к осени я другой трактор сооружу.

— Чтобы первому встречному его продать?

— Мама, но это ведь Славин трактор, — тихо молвила Наташа. — И это его дело: продавать, не продавать.

— Ах, его! Тогда корова моя, огород мой, захочу — продам первому встречному, чего тогда кушать будете?

— Гусей и кур, — ответил Левенцов. — На первое время хватит, потом чего-нибудь придумаем.

— Вам бы всё шуточки шутить! — Антонина Ивановна заплакала. — Совсем уж никудышная я, что ли? Или не горбачусь с тобой наравне, дочь? Хоть бы посоветовались. Нешто я запретила бы продать? А то ни слова, будто я вам и не мать. Нешто не обидно!

— Простите, Антонина Ивановна, я здесь промашку дал. Но вас ведь дома не было, а надо было ковать, пока горячо. Даю честное пионерское, в следующий раз никаких хозяйственных решений без вашего согласия принимать не буду. Простите меня и давайте об этом инциденте позабудем.

Антонина Ивановна утёрла рукой слёзы и успокоилась. Но ужин так и закончился в тягостном молчании. Это было начало. Начало многообещающее. Возможно, это было начало конца. Во всяком случае, Левенцов почувствовал, что радость труда

над бескорыстными, отвлечёнными от домашнего хозяйства разработками делается для него в этом доме недоступной.

4

Через неделю Левенцов поехал в Беловодский монастырь. Свободных мест в поезде не оказалось, пришлось стоять. Всюду в вагоне: на столиках, на полках, на коленях, на полу — были ящики и сумки с помидорной и другой рассадой, садовые саженцы, вёдра, лейки, связки досок, огородный инвентарь. Отовсюду доносились разговоры всё об одном и том же: как чего сажать, как удобрять, как поливать. Говорили также об ограблениях садовых домиков и о том, что, по слухам, движение поезда между райцентром и Беловодском закроют скоро, и тогда добраться до своих участков будет не на чем. Складывалось впечатление, что за преодоление таких трудностей владельцы огородов в доперестроечное время непременно удостоились бы высокого звания «Герой социалистического труда». Самоотверженное вкалывание на частной ниве без сельхозтехники, без подъездных путей, без снабжения водой и без надёжной защиты от грабителей поистине достойно было поклонения.

В задумчивости смотрел Левенцов на плывущие в окне безбрежные поля. Их обрабатывали когда-то вооружённые до зубов мощной техникой совхозные работники, а урожаем собирали вот эти теперешние огородники, «герои соцтруда», бывшие рабочие, служащие, инженеры. Они недовольно бурчали прежде, когда несколько дней в четыре летних месяца им приходилось потрудиться для общего блага в совхозах и колхозах, им тогда не приходило в голову, что желающих жить и работать в деревне в наш просвещённый век немного, и что поэтому принудительная помощь деревне — благо. Они возмущённо говорили тогда, что их отрывают от квалифицированного труда, что государство теряет на такой бесхозяйственности миллионы. Теперь о теряемых государством не миллионах даже, а триллионах они не говорили, и судя по отрешённой деловитости их лиц, как буд-

то не догадывались, как их крепко одурачили. Фактически их насовсем оторвали от квалифицированного труда, поскольку перестали за него платить. И на сельхозработы на свои участки они ездили теперь не пять-шесть раз за лето, а каждые субботу с воскресеньем, преодолевая трудности, несопоставимые с былыми, едва не развлекательными, поездками в колхоз. Они даже разучились говорить о чём-либо, кроме как об огородах. А эти их огороды затерялись в пустующих теперь полях, точно жалкие островки в океане. Зато если кто-то скажет, что овощи нынче не всем по карману, они с самодовольством возразят: «А у нас свои».

Поезд пришёл в Беловодск в десятом часу утра. В монастыре Левенцов долго искал свою ученицу. На хозяйственной половине никто не знал, где она. Он вошёл в церковь. Лики святых посмотрели на него с икон вопросительно. Возле одной из икон молился прихожанин. По углам таился полумрак. Горели свечи. Было ощущение иного мира. В закутке у входа он увидел конторку, за которой монахиня торговала свечками и священными писаниями. Левенцов подошёл и поведал ей о цели своего визита.

— Она повезла настоятельницу в больницу, — ответила монахиня. — Должна скоро вернуться.

Левенцов вышел на двор и огляделся. От реставрационного беспорядка, царившего здесь семь лет назад, не осталось и следа. Всё теперь было приглажено, ухожено. На хозяйственной половине садик, аккуратные сараи, гаражи. Возле церкви аллея с молодыми елями, в её конце высокое расписание. По центру аллеи шла гряда цветов, а возле ёлок по бокам стояли скамейки. На одной из скамеек сидел худощавый мужчина в хорошо отглаженных брюках и белоснежной сорочке-безрукавке. Он держал раскрытую книгу, но не читал её, а смотрел поверх монастырской стены в голубое небо. Мужчина был одного примерно с Левенцовым возраста. Светлая волна его густых волос красиво падала на высокий лоб. В крупных глазах светилась интеллигентная грусть и даже тоска как будто. Под

глазами у него отчётливо проступала синева. Нечто аристократичное было в его облике. Левенцов сел через одну скамейку от него и тоже стал глядеть на голубое небо. На душе у него было хорошо, а в голове безоблачно, как в небе. Он поймал себя на подсознательном: в Тимохино возвращаться не хочется.

По аллейке прошла старушка. Помолилась у распятия, о чём-то заплакала и ушла. Левенцов углубился в воспоминания о событиях двухгодичной давности. Услышав автомобильный сигнал, он глянул в сторону ворот. Ворота открылись, и Левенцов увидел знакомый ему «москвич». Он пошёл за ним следом к гаражу.

– Здравствуйте, – сказал Левенцов своей ученице, едва она вышла из машины.

– И вам здравствовать, – смущённо ответила она.

– Как импортная техника? Есть вопросы?

– На вашем тракторе работать – удовольствие. Никаких претензий.

– Жаль. Я надеялся побыть с вами ещё, вы мне интересны. – Левенцов оглядел девушку с грустным любованием. – Вы такая... способная ученица. Жаль, что вы оградили себя монастырём. Как вас зовут?

– Серафима, – ответила девушка и покраснела, опустила глаза.

– Странное имя, в наши дни такое редко где услышишь.

Девушка, протестующе вскинув голову, с внезапной страстностью воскликнула:

– Это моё монастырское имя, в миру я была Светлана.

Левенцов проводил её до монастырского общежития. Оставаясь с ней у входа, он спросил:

– Скажите искренно, Светлана, вам не приходит в голову мысль бежать опять в мир отсюда? Неужели вам, такой юной, легко преодолевать естественную в вашем возрасте тягу к мирским радостям?

– Без радостей, конечно, плохо, – тихо ответила она. – Но и здесь, в монастыре, есть радости, и они надёжнее, ибо в миру правит сейчас Сатана.

— Какая прелесть! Вы надеетесь переждать в монастыре, пока в миру не кончит править Сатана?

— Мы все должны смиренно ждать, — возразила девушка. — Терпеть и ждать.

— Ну что ж, стойкости вам в смирении, — попрощался Левенцов. — А я ещё, пожалуй, побунтую.

— Да хранит вас Бог, — ответила Светлана.

Левенцов пошёл к воротам. Проходя мимо аллеи с распятием, он глянул на мужчину в белоснежной сорочке и вдруг остановился. Мужчина, опираясь обеими руками о скамью, судорожно хватал ртом воздух. Левенцов подбежал к нему. Мужчина поднял глаза, его страдальчески окаменевшее лицо покривилось в виноватую улыбку.

— Вам плохо? — склонился к нему Левенцов. — Вызвать скорую?

Мужчина отрицательно помотал головой. Спустя минуту приступ удушья у него прошёл, но лицо было смертельно бледно.

— Не по графику прихватило, — словно бы извиняясь, сказал он. — Обычно это у меня бывает в скверную погоду.

— У вас астма?

— Сердце барахлит, а может, просто нервы. Жаль, не взял лекарств.

— Может, всё же вызвать скорую?

— Не надо, не беспокойтесь. Думаю, дойду без приключений.

— Вас проводить? У меня свободного времени навалом.

— Был бы признателен. У меня это может повториться.

Они дошли нескорым шагом до центральной улицы и сели на автобус. Мужчина жил в пятиэтажном доме неподалёку от вокзала. Его квартира располагалась на верхнем этаже. Квартира была двухкомнатная.

— Простите, я сейчас, — сказал мужчина, когда они вошли в прихожую. Лекарство у него было в холодильнике. Он накапал в стакан с водой из трёх разных пузырьков и выпил, и почти сразу же разительно переменялся. От его скованности и виноватого вида не осталось и следа.

– Вот ведь нервы! – с весёлой иронией воскликнул он. – Лекарство по крови ещё не добралось, а мне уже сам чёрт не брат. Самовнушение!

– А что у вас с сердцем? – спросил Левенцов.

– Бог его знает, близко к сердцу принимаю нынешнее разложение, вот оно и барахлит. Снимайте ботинки, проходите в комнату, почувствуйте себя как дома, я холостяк. Вот шлёпанцы.

Комната была просторная, но обстановка в ней спартанская: письменный стол, два стула, диван, журнальный столик, шкаф, а на стенах полки с книгами. Левенцов прошёлся взглядом по книжным корешкам, преобладали книги по научным дисциплинам, добрая половина из них – по экономике. Вячеслав подошёл к окну, из которого открывался вид на железнодорожный вокзал, на стоявшие на запасных путях товарные составы. Там, за горизонтом, был Трёхреченск, КОПА, «пещерка у вокзала», Глеб Татищев, Алла. С правой стороны от вокзала упирались в небо заводские трубы, но дым из них не шёл. Услышав за спиной шаги хозяина квартиры, Левенцов обернулся.

– Завод, похоже, бездействует, – произнёс он полувопросительно.

– Да, стоит. Отдельные цеха только работают, а по-русски говоря, шабашат. Я ходил в отдел кадров, предлагал себя в качестве экономиста. Мёртвый номер: работники с интеллектуальным уклоном не нужны.

Хозяин поставил на письменный стол бутылку коньяка, рюмки, хлеб, сыр, кабачковую икру, сахарницу и принялся разрезать на тонкие ломтики лимон. Покончив с этим, он сказал:

– Давайте выпьем за знакомство. Вениамин Ротмистров, безработный кандидат экономических наук.

– Вячеслав Левенцов, безработный инженер-конструктор 1-ой категории.

Они выпили, закусили подсахаренными ломтиками лимона. Разговор долго шёл на отвлечённые темы, о себе рассказывать стеснялись, наконец Ротмистров спросил:

– Вы женаты?

— Да, жена, тёща, дочь...

— А я не удосужился семьёй обзавестись. Может, к лучшему. Я чересчур беспечен, в такое время с такими данными семью не прокормить. Себя прокормить и то проблема. Подвизаюсь в городской администрации в качестве не поймёшь кого, то ли внештатного референта, то ли запасного советника, то ли... В общем, на хлеб с сыром подают.

— Я тоже, кажется, для семейных радостей не создан. Но я люблю жену...

— Понимаю. Крест нелёгкий... А где вы работали конструктором?

— В Трёхреченске. Там есть такое предприятие: Конструкторский отдел промышленной автоматики, на нём я и работал.

— Слышал об этом предприятии, даже одно время имел переписку с ним. Я по работе со многими фирмами был завязан.

— По экономической части?

— Ага. Я кончил Институт Народно-Хозяйственного Прогнозирования. После защиты кандидатской перешёл на работу в НИИ в Москве. Да не ко двору пришёлся. В 85-ом, ещё при социализме, я взял на себя смелость опубликовать одну давно не дававшую мне покоя мысль. Попытался доказать, что по части экономики нет никакой разницы между капитализмом и социализмом: и там, и тут бал правит прибавочная стоимость. Я пытался доказать, что это не умаляет преимуществ социализма, что для пользы дела будет лучше, если перестать этого стесняться. Меня не поняли. Предложили поискать работу в другом месте. Я поискал в другом месте и нашёл. Тут как раз началась перестройка, и моя концепция попала на новом месте в масть. Было восемь счастливых лет. Увлечённость, интересные командировки, знакомства с интересными людьми... Тогда казалось, Россия навсегда освобождается от власти догм, делается наконец свободной. Но скоро подошёл 93-ий год... Вы как относитесь к событиям на Красной Пресне в 93-ем?

— На мой взгляд, там расстреливали надежду на свободу от старых и приходящих им на смену новых догм.

– Да... Я был там, видел. Целый год потом не мог выйти из депрессии. Свет был не мил, умереть хотелось. Сердечные приступы замучили. Врачи говорили: нервы. Нервы нервами, а два месяца с постели не вставал. Но выздоровел, начал опять ездить по командировкам. И тут увидел, что сделали с Россией, глаза открылись. Всюду только и делали, что крушили сотворённое народом. Страну крушили. Я пересмотрел свои концепции, решил с этим варварством бороться. За год настроил трактат. Попытался доказать, что для России единственно приемлемый вариант экономики – социалистический. Меня опять не поняли, пришлось уйти. Вернулся в родной свой Беловодск, вот в эту квартиру, она после смерти матери осталась. И хорошо, что ушёл, я ведь там фактически и сам участвовал в развале, я это понял теперь. А тут сочиняю себе свои прожекты, и мне сам чёрт не брат. Напишу один и посылаю в Академию Наук. Через полгода возвращают с вежливым отказом, опять не поняли. Пишу следующий. Так вот и живём.

– Да ведь мы с вами родственные души, – весело произнёс Левенцов. – Я тоже прожекты сочиняю.

– По какой части? – глаза у Ротмистрова загорелись любопытством.

– По технической. Впрочем, последний мой прожект скорей экономического направления.

– Расскажите! – В лице, в голосе, в порывистом движении Ротмистрова обнаружился неподдельный интерес.

– С удовольствием, – ответил Левенцов.

Для него действительно было немалым удовольствием рассказывать о своих наработках такому понимающему слушателю, как Ротмистров. Со страстностью подлинного творца рассказывал он о компьютерной системе, способной взять на себя поставочно-распределительные рыночные функции. Он забыл о времени, как забыл о нём и благодарный его слушатель. Впрочем, скоро уже трудно было сказать с определённостью, кто из них докладчик, а кто слушатель. Они убрали со стола коньяк с закуской, Ротмистров принёс стопку чистых листов бумаги. Рисую, пе-

речёркивая, яростно споря и опять рисуя, они принялись обсуждать потенциальные возможности «сочинённой» Левенцовым системы. Они не заметили, как перешли на «ты», не заметили, как сделались закадычными друзьями.

— Слава, это грандиозно! — воскликнул Ротмистров после четырёхчасового рассмотрения проекта. — Конечно же, чиновники не примут это. Именно потому, что это грандиозно. Ничего, своего часа твой проект дождётся, я уверен, а вот что... Мне в голову сейчас пришла заманчивая мысль. Дело в том, что в моих прожектах есть идеи, пригодные, по-моему, для углубления твоего проекта. Я не хочу сказать, что мои идеи его улучшат, он и без того хорош, но у него может стать больше шансов на прорыв в реальность, понимаешь?

— Это было бы неплохо.

— Да. Тебе надо ознакомиться с моими сочинениями. Возьми их с собой, дома на досуге считаешь. Скажешь свои соображения потом.

— Я не дока в экономике, — смутился Левенцов. — Смогу ли судить верно?

— Сможешь. Чего не ясно будет, приходи или позвони по телефону.

— С этим сложности. Я ведь живу в деревне, от Беловодска двадцать километров.

— Да, это плохо. — Ротмистров погрузился. — Я думал, родственная душа у меня теперь под боком. Дай мне твой адрес, при случае напишу.

Левенцов написал свой адрес. Ротмистров в дополнение к своему адресу дал номер телефона. Они вернулись к коньяку. Провозгласили тост за творческое содружество, выпили, и разговор пошёл о России, о навалившихся на неё проблемах. Время незаметно подошло к шести. Левенцов объявил, что ему пора на поезд. Ротмистров уложил в сумку пять папок с прожектами. Левенцов, взяв сумку, подивился: «Килограммов десять!»

Народу в поезде было мало, Левенцов нашёл место у окна. Поезд медленно набрал скорость, поплыли за окном заросшие

дикой травой поля. На остановках у скоплений садово-огородных участков, утыканных похожими на пчелиные улья домиками, поезд подбирал возвращавшихся после трудового дня в райцентр «героев социалистического труда». И снова плыли за окном пустынные поля. Левенцов глядел в это запустение на сей раз беспечально. Ему теперь казалось, что в 93-ем бесы не смогли всё же Россию расстрелять. На сердце у него было покойно. Когда он, сойдя с поезда, пошёл лесом в Тимохино, ему показалось даже, будто он опять идёт домой. Только дом почему-то ассоциировался у него не с Тимохино, а с далёкой Аллой Скобцовой.

5

На следующий день Левенцов с утра засел за изучение прожектов Ротмистрова. Для начала он прочёл пояснительную часть. Интеллектуальная мощь и величие мысли поразили его.

— Вениамин, это грандиозно! — вслух воскликнул он.

Ему захотелось немедленно ехать в Беловодск, чтобы выразить другу восхищение. И он бы поехал, если бы подвернулось транспортное средство. Но автобусный маршрут по-прежнему не работал, а утренний поезд из райцентра уже ушёл. Впервые Левенцов пожалел, что у него нет машины.

Из проектных пояснительных записок уже было ясно, что идеи Ротмистрова действительно перекликаются с антирыночной идеей, сочинённой самим Левенцовым. Уже подступало томительное предчувствие близкого открытия: казалось, ещё одно усилие, и Вячеслав схватит за хвост нечто потрясающее и реальное. Два часа форсированной работы мысли промелькнули, как одна минута. «Потрясающее и реальное» за хвост ему всё-таки поймать не удалось, хотя он и ощущал, что оно рядом. «Ладно, перейдём к осаде», — подумал Левенцов и принялся за основательное изучение первого проекта.

Работа оказалась не из лёгких. Тех азов экономической науки, что Вячеслав усвоил в студенческие годы, было явно недо-

статочно для схватывания глубинной сути. К тому же, многое из усвоенного в институте он забыл, приходилось по ходу дела восстанавливать всё в памяти, и это давалось ценой умственно-го перенапряжения. Одолев к шести вечера два десятка страниц, Левенцов почувствовал, что ничего уже не соображает. «Переменим тактику», – сказал он сам себе. Приняв контрастный душ, Вячеслав пошёл в огород и предложил себя трудившейся там Наташе в качестве неквалифицированной рабочей силы. Недостатка в спросе на такую силу по огородной части не было. Левенцов интенсивно поработал лопатой, и в голове прояснилось.

За ужином он сказал, что завтра ему надо съездить в Беловодск за научной литературой.

– Ой, какие мы учёные! – не сдержалась Антонина Ивановна от колкости. – И почто в Беловодск-то? В райцентр, чай, ближе, заодно молоко мне помогли бы до рынка дотащить.

– В Беловодске у меня знакомый, нужная мне литература у него.

– А, ну тогда конечно, – с многозначительной заминкой промолвила Антонина Ивановна, помедлила и добавила. – Чтой-то быстро вы знакомым там обзавелись. А, может быть, знакомая?

Наташа, укоризненно взглянув на мать, порозовела. Левенцов бодрым голосом ответил:

– Нет, Антонина Ивановна, мой знакомый мужского пола. Он учёный, как и я, даже ещё учёнее. И тоже безработный. Хороший, в общем, человек, не чета всем этим «новым» старым русским.

– По мне уж лучше новым русским быть, чем безработным, – сказала Антонина Ивановна.

– Мама! – укоризненно воскликнула Наташа.

– Что «мама»? Разве неверно говорю? Мужчина на то и мужчина, чтобы обеспечивать семью.

– Вы считаете, теперешние богачи – идеальные мужчины?

– А вы думаете, жёны безработных, когда ругают богачей, не завидуют про себя их жёнам?

– Мама, зачем ты за всех говоришь? Не все такие.

– Ты, что ль, не такая, дочь? Чего ж тогда от сериалов-то млеешь про богатых?

Наташа смущённо опустила голову. Левенцов сказал:

– Вы правы, Антонина Ивановна. Жёны безработных неудачников, конечно же, были бы не против превратиться в богачей. И случись бедной женщине разбогатеть без всякого труда, за счёт супруга, она тут же станет презирать безденежную шантрапу. Это реальность, так уж женщины устроены.

– Неправда! – воскликнула Наташа.

– Правда, Наташенька, – возразил Левенцов. – Для меня эта правда – непосильная загадка, но, к сожалению, это всё же правда. Она справедлива и в отношении большинства мужчин, и на этой «правде» произрастает неблагополучие всех живущих.

Антонина Ивановна, не вникнув как следует в смысл сказанного зятем, приняла его обвинение за полное согласие с ней. Благодаря этому мир за столом был восстановлен, и ужин закончился благопристойно в никчёмной болтовне о суетных житейских мелочах.

Наутро Левенцов отправился на поезд. Пока он шёл лесной тропой до полустанка, два озарения сразу осенили его. Первое высветило давнишние его утопические изыскания в части забора энергии из эфира. Сделанные им наработки позволяли уже воплотить эту идею в реальный источник электрической энергии, для этого, как его осенило, достаточно вместо призрачного эфира воспользоваться реальной тепловой энергией окружающей среды.

Второе озарение касалось не столь высоких сфер, но было связано с решением проблемы поездок к Ротмистрову. Он сообразил, что для таких поездок вполне может послужить мини-трактор, который он обещал сделать тётке для хозяйственных работ, надо только скорость заложить повыше да кабину на случай зимних поездок остеклить.

Ротмистров обрадовался ему несказанно. Левенцов выразил восхищение пояснительной частью его проектов. Вениамин при-

готовил кофе. В Тимохине этим бодрящим напитком безработного Левенцова не баловали, поэтому в гостях у друга он получал наслаждение от него почти такое же, как от хорошего вина. За кофепитием Левенцов сообщил, что при первом же знакомстве ощутил в проектах Ротмистрова реальную основу для их творческого содружества. Для ликбеза в области экономических наук он попросил подобрать для него книги по основам экономики.

После кофе Ротмистров предложил совершить прогулку до монастыря.

– Мне тоже нравится то место, – сказал Левенцов. – Ты часто там бываешь?

– Летом почти каждый день. Беру с собой книгу и читаю там, на дворе. Мне там думается лучше, чем даже на даче.

Они бродили по тихим улицам приречья, окружавшим монастырь, и вели беседу. Глядели в синь неба над рекой и молчали, думая каждый о своём. Молчание не вызывало чувства неловкости между ними. У обоих было ощущение, будто они старинные друзья.

К часу дня Ротмистрову надо было идти в мэрию, зарабатывать на хлеб с сыром. Они вернулись к нему домой. Левенцов устроился у окна с книгами по экономике. Ротмистров ушёл. Вернулся он в половине пятого. Приготовил из банки тушёной говядины с добавлением овощей первое и второе блюда и пригласил гостя к столу. Мясными деликатесами, как и кофе, Левенцова в Тимохине не баловали, поэтому от угощения он не отказался.

В седьмом часу вечера поезд повёз его домой. Теперь, когда Левенцов знал, что всегда может приехать к Ротмистрову, возвращение в Тимохино сделалось приятным. Он ощущал душевный подъём. Хотелось творить, действовать и чего-то добиваться.

За ужином дома Вячеслав много говорил, смеялся, перебрасывался шутивными замечаниями с Ксюшей, добродушно поддразнивал Антонину Ивановну, сетовавшую на безденеж-

ную жизнь, в общем, вёл себя, как расшалившийся школяр. Его чрезмерное оживление мать с дочерью увязали с его поездкой в Беловодск и были правы. Но в силу женской ограниченности они решили, что тут не обошлось без женщины. Наташа, поражённая подозрением, молчала, Антонина Ивановна высказала в завуалированной форме свои догадки вслух. Но Левенцов ни Наташиного каменного молчания, ни тётчиного злословия не замечал.

После ужина Наташа, как всегда, осталась смотреть с матерью и Ксюшей телевизор, а Левенцов пошёл на свою половину. Он взял лист бумаги и принялся составлять распорядок дня. В этом занятии нашла выход обуявшая его потребность в действии. Первые утренние часы в распорядке он отвёл изобретательству. Следующие два часа отдал изучению основ экономических наук, затем — проекты Ротмистрова, а после обеда — мини-трактор.

В последующие дни Левенцов строго придерживался этого распорядка. К осени мини-трактор был готов. По такому случаю Антонина Ивановна в угоду «аристократическим замашкам» зятя выставила бутылку дорогого коньяка. Она перестала даже досаждать ему сентенциями типа: «Кто хочет, тот работает». Тёща сделалась опять той спокойной, доброй и смиренной женщиной, какой предстала перед ним в день первого знакомства. Она ещё не ведала о замысле Левенцова использовать мини-трактор как средство передвижения для поездок в Беловодск.

А надобность в регулярности таких поездок назревала. Творческое содружество Левенцова и Ротмистрова, поначалу представлявшееся обоим, как нечто необязательное, принимало конкретную форму. И тому, и другому одновременно пришла в голову мысль дополнить антирыночную функцию Левенцовской компьютерной системы способностью отслеживать и корректировать неверные с точки зрения финансово-экономических законов действия государственных мужей. Мысль была настолько блистательна, что сомнительность принятия чиновниками такой антирыночной системы их уже не волновала.

Они понимали, что задуманное ими в случае воплощения в реальный проект сможет стать системой государственной безопасности, гарантирующей на веки вечные экономическую и социальную стабильность. Ради такой благородной цели стоило работать! А примут там или не примут, это не их дело. Не примут в этом веке, примут в следующем.

И совместная работа началась. По мере углубления в неё друзья увлекались всё сильнее, места для помыслов о суетных житейских мелочах уже не оставалось. Поначалу Левенцов ездил на тракторе в Беловодск три раза в неделю, потом стал ездить каждый день. К ужину в Тимохино он возвращался утомлённый, но полный радости от сознания плодотворно проведённого дня.

Жена и тёща принимали и его утомление, и это его тихое свечение изнутри за свидетельство встреч с любовницей. Объяснения Левенцова о каком-то творческом содружестве с другим таким же чокнутым интеллигентом по поводу заумного какого-то проекта они не принимали. Характер у Антонины Ивановны делался с каждым днём всё хуже. Мрачнела и Наташа. Левенцов смотрел на эти грустные явления сквозь пальцы. Он был увлечён. В сорок два года вновь увлечён, как юноша! И не какой-нибудь там приземлённой женщиной, а высокой государственной идеей. Не хотят ему поверить — им же хуже. В таком случае ему нет дела до их переживаний. Он, как в былые годы, автономная система.

Антонина Ивановна между тем проводила «идеологическую» работу с дочерью.

— Ты должна поставить перед ним вопрос ребром, — говорила она. — Или семейная жизнь, или «творческое содружество» с любовницей. Не хочет жить семьёй, пусть уходит. И то сказать: ни копейки в дом, только название, что муж. Я бы давно такого погнала.

Под воздействием её речей Наташа делалась задумчивой.

Однажды Левенцов — дело было в феврале, — засиделся у Ротмистрова дотемна. На улице крутило снегом. Возвращаться в темноте в такую круговерть домой он не решил, заночевал

у Ротмистрова. Это послужило последней каплей, переполнившей терпение Наташи. Она не кричала, не укоряла, она просто перестала с мужем разговаривать, произносила лишь одно-два слова, когда в том была крайняя нужда. Если тёщино «пиление» Левенцов воспринимал почти безболезненно, то Наташино молчание его крепко доставало. Радость творчества была омрачена, но он не сдался.

Прошла зима, настало лето, а Наташа всё молчала. Молчала даже в день трёхлетнего юбилея их совместной жизни. Левенцов порывался бежать из осточертевшего Тимохино. С чувством раскаяния он вспоминал Аллу Скобцеву. Та его бы поняла...

ГЛАВА 8. 1997 ГОД

1

Алла нешуточно страдала. Волшебные вечера, необычайные события, красивые, благородные люди — всё оказалось лишь игрой воображения, беспочвенными мечтаниями души, тоскующей о сказке. Студенческая среда была такой же далёкой от возвышенных идеалов, как и вся унизившаяся до беспросветного обывательства Российская жизнь. Где те тесные студенческие кружки, что давали творческий заряд бескорыстным служителям науки, таким как Менделеев, Докучаев, Павлов, Обручев, Вернадский? Они где-то в прошлом, в тех увесистых томах, что прочла Алла ещё в школьные годы в отцовской библиотеке. Нет уже, оказывается, ни студенческого братства, ни идеалов бескорыстного служения Отечеству. Зелёная молодёжь на журналистском факультете жила какими-то другими, непонятными Алле интересами. Её юные сокурсники, напичканные всевозможной газетной и прочей информацией, на первый взгляд казались устрашающе эрудированными. Они знали всё и вся, по всем вопросам имели готовые ответы, имели своё неколебимое, самоуверенное мнение. Это позволяло им глядеть на мир с аристократичным небрежением. Они жили одним днём. Они ничему не удивлялись, ничем не восхищались и не возмущались, ничего не осуждали, принимали всё как есть, с жизнерадостностью жвачного животного (многие из них даже на лекциях жевали жвачку). Они напоминали ей саму себя, какой Алла была в далёком прошлом. Но в ней всё-таки всегда жила глубинная серьёзность, исподволь формировавшая её человеческую суть. А эта зелень к человеческому, казалось, не имела никакого отношения. Это были роботы, запрограммированные на довольство

и невозмутимость, всё им хорошо, ничего не надо, всё «до лампочки». Их устрашающая эрудированность оказывалась при ближайшем рассмотрении «туфтой». Стоило лишь копнуть тот или иной вопрос поглубже, как весь их напыщенный нигилизм оборачивался беспомощным инфантилизмом. А все их устремления сводились, в сущности, всё к тому же курсу доллара и обезьяньему подражанию всему не своему.

Так считала Алла. Её суждение, конечно же, страдало субъективностью. Она судила слишком строго, рассматривая окружающих её юнцов через призму собственного одиночества. Преодолей Алла отчуждённость, ей открылись бы возвышенные тайники души в этой самой «зелени», щеголявшей внешне наплевательским отношением ко всему возвышенному. Во все времена молодёжь неизменно проходила через бунтарский вызов окружающему, когда ей казалось, будто она всех умней. В специфических условиях неожиданной рыночной волны это бунтарство выразилось в маске наплевательского ко всему отношения. Алла не понимала, что такие вещи с годами исчезают, как исчезли они у неё самой.

Во многом суждение Аллы о сокурсниках было обязано её сожительнице по комнате в общежитии. Комнаты были на двоих. Эта сожительница была удивительным созданием и носила благозвучное имя «Нинель», и на этом благозвучие кончалось. В голосе Нинель, в резких её движениях, повадках, даже в её постоянно бегающих глазах природа сконцентрировала все неблагозвучные шумы вселенной. Нинель ничего не умела делать тихо, постоянно кричала, гремела, стучала, болтала, хохотала. Она производила разом столько шумов, сколько не набралось бы и у казаков Запорожской Сечи, собери они все свои пирушки вместе. Нинель не переставала шуметь даже ночью: она храпела во сне, как десяток тех же запорожских казаков. Всё это несколько утомляло Аллу. Она думала, в лице Нинель природа сотворила единственный в своём роде экземпляр. Алла не знала, что в мире есть ещё сноха Егора Агаповича Сорокина, принадлежавшая к тому же удивительному виду.

Нинель была к тому же яркой русофобкой. Всё русское, кроме самой себя, она подвергала уничтожающему разному. С такой же страстностью она превозносила всё нерусское.

— Плевать в колодец, из какого пьёшь, по меньшей мере непредусмотрительно, — говорила Алла, когда Нинель принималась поносить русский народ, верования его, традиции, культуру.

— А я плюю! — с вызовом кричала в ответ Нинель. — Потому что мне наплевать, как обо мне подумают, мне истина дороже. Да, я преклоняюсь перед западной цивилизацией. Да, я как журналист сделаю всё, чтобы Россия стала протекторатом Запада. — Для большей выразительности она по-мужички ударяла ребром ладони о ребро стола.

Приходя в общежитие откуда бы то ни было и в какое бы то ни было время, Нинель сразу принималась за еду и ела всегда основательно. С грохотом уставляла стол множеством тарелок с разнообразными закусками, с шумом придвигала стул и усаживалась с важным и словно бы сердитым видом, точно гневалась на подданных. Нинель в единственном лице представляла за столом всю «ассамблею» самодержца Петра Первого. Она действительно походила на него. Те же глаза навывкате, те же самоуверенные, грубоватые манеры и тот же шум. Нинель, точно в пожарный колокол, стучала ложкой или вилкой о тарелки, а набив рот едой, принималась сопеть, чавкать и одновременно без умолку болтать. Есть с ней за одним столом Алла не могла. Она обычно отправлялась после лекций на прогулку, пережидая время, пока её сожительница отобедает.

Алла неспешно бродила по Тверской-Ямской, по кольцу бульваров, по центральным улицам и переулкам. Развеять чувство одиночества не удавалось. Москва представляла перед ней незнакомым, чужим городом. Алла родилась в Москве и жила в ней, пока родители заканчивали учёбу в институте, а отец потом ещё аспирантуру. Впечатления детских лет самые консервативные. Алле помнились тихие прогулки с двухэтажными домами и скромными, напоминавшими купеческие лавки магазинами, лиричного вида дворики с цветочными клумбами и деревьями, неприятная

тельного вида «чепки» и «забегаловки» и русский облик дяденек, толпившихся возле них. Помнилось живое человеческое тепло, исходившее от каменной Московской плоти. Теперь всё почему-то прилизали на западный манер. Чисто, строго, холодно и неуютно. Москва утратила нечто неуловимо тонкое, делавшее её прежде родным городом не только для москвичей. Алла старалась не глядеть на раздражавшие своим идиотством и цинизмом броские рекламные щиты и надписи на иностранном. Прежде она такие мелочи попросту не замечала. Видимо, приходило взросление, а она с печалью думала, что стареет не по дням, а по часам. Со всех сторон подкрадывалось одиночество.

Когда Алла приходила после прогулок в общежитие, Нинель обычно задавала один и тот же бестактный вопрос:

- Где была?
- На прогулке, – сдержанно отвечала Алла.
- Сенсационненького ничего?

Нинель никогда не ходила на прогулки просто так, ради самой прогулки, и другим не верила, что можно гулять просто так. Нинель была прирождённой журналисткой. Если уж она шла куда-нибудь, то возвращалась непременно с какой-нибудь сенсацией. Нинель уже поставляла развлекательное чтиво в одну буржуазную газетёнку. У неё был небрежный слог, но этот недостаток с избытком компенсировался «сенсационненькими» материалами. У Нинель был поразительный нюх на любого вида грязь, таящуюся за московскими прилизанными стенами. Она рассказывала Алле, что намерение стать журналисткой возникло у неё в 91-ом году, когда Нинель училась в 7-ом классе школы. Уже тогда она сообразила, какие беспредельные возможности открываются перед толковым журналистом в связи с заменой государственной цензуры цензурой частных лиц, которые, в отличие от государства за свою цензуру платят и неплохо.

– Цель моей жизни, – говорила Нинель, – поставить себя в журналистике так, чтобы финансовые воротилы платили мне за угодный им материал не сотни и не тысячи, а миллионы, в долларах, разумеется.

Цель была великая, но и целеустремлённости Нинель не надо было занимать. За год до поступления на журналистский факультет она приехала в Москву из подмосковного посёлка, сняла комнату и поступила работать в типографию. За этот год она сумела познать Москву, как свои пять пальцев. У неё уже был обширный круг знакомых, с помощью которых Нинель выискивала для буржуазной газетёнки сердцепипательные подробности из жизни бомжей, малолетних проституток, сексуальных маньяков и извращенцев. Показывая свои газетные публикации Алле, она хвастала:

– Это семечки, я ещё до высокопоставленных типов доберусь. Они у меня раскошелятся!

Нинель долго уговаривала Аллу показать себя в «большом свете» — так она именovala избранный круг своих знакомых.

– Ты же журналистка! — кричала Нинель, стуча ребром ладони о край стола. — Тебе необходимо знать жизнь!

Алла перед таким напором не устояла. Собрание «большого света» проходило в шикарной пятикомнатной квартире. Был богатый стол с заморскими закусками и винами, блистали пёстрыми нарядами щёголи и щеголихи. Аллу поразила смесь самой изысканной утончённости с вульгарным, чуть ли не блатным жаргоном. Не успела Алла оглядеться, как к ней подошла сверкавшая драгоценностями дама.

– Мой любовник влюбился в вас с первого взгляда, — сообщила дама с обворожительной улыбкой. — Не могли бы вы взять на себя труд переспать с ним нынче ночью? А то я от него немножечко устала.

Алла была ошеломлена. Она с трудом удержалась от ругательства. Выручило чувство юмора. Саркастично-елейным голосом Алла ответила:

– Я бы охотнее взяла на себя труд переспать лично с вами.

Дама улыбнулась ещё обворожительней и с интимной слащавостью произнесла:

– Вы душечка. Я давно мечтала это испытать.

Тут уже Алла не сдержалась.

— Дура, шуток не понимаешь, что ли? — с чувством гадливости выбранилась она и тут же покинула высокое собрание. Её едва не стошнило от отвращения.

Всё чаще возвращалась Алла к мысли, зародившейся у неё два года назад после приключения с ветеринарной санинспекторшей Леной. Тогда, два года назад, она приняла к действию первую часть мысли: «Смысл жизни — в самоусовершенствовании». Теперь Алла всё упорнее задумывалась над второй, несравненно более трудной для осознания половиной: во имя чего надо совершенствоваться? Счастье будущего человечества? Этим лозунговым штампом пусть тешатся переростки из КПРФ, а уж она-то знает, что счастье — категория чересчур абстрактная, текучая: было — уплыло, потом опять приплыло. Видеть смысл жизни в счастье — это всё равно что видеть её смысл в ней самой.

Размышляя таким образом, Алла однажды вдруг подумала: «А не ханжа ли я? Разве стремление к высокому не тот же поиск счастья? Разве люди науки или просто высоконравственные люди, отвергающие личные блага во имя духовного начала, не стремятся подспудно к счастью? Конечно же, стремятся. Только для них счастье не в опохмелке, как у алкаша, и не в богатстве, как у „нового“ русского. Значит, цель жизни всё же в счастье, только не в низком, а в высоком?»

Опять это «высокое». Для учёного оно в научной деятельности, для высоконравственного человека — в самоотречении. А в чём оно для неё, Аллы Скобцевой? Она хочет совершенствоваться ради справедливого устройства общества. И только? Но ведь справедливое устройство общества не что иное, как коммунистическое счастлирое будущее человечества, а это ведь, как теперь стало «общеизвестно», просто красивая сказка.

Алла не переставала размышлять ни днём, ни ночью. И однажды её озарило: справедливое и даже гармоничное устройство общества мало чего даст, нужно гармоничное устройство всей вселенной. Вот для совершенства вселенной стоит совершенствоваться. Но каким образом совершенство личности взаи-

мосвязано с совершенством вселенной? Для вселенной ведь не существует времени, вселенная — это вечность. А человеческая личность смертна. И тем не менее личность как-то взаимосвязана со вселенной. Но вселенная — это же вечность! Беготня по этому замкнутому кругу терзала Аллу до тех пор, пока не снизошла к ней успокоительная мысль: значит, человек не смертен. Значит, рамки понятия «жизнь» раздвигаются беспредельно. В вечности заложено беспредельное совершенство, и человек избран в качестве орудия для его осуществления, Но кем избран человек? Задавшись таким неожиданным вопросом, Алла впервые всерьёз задумалась о Боге.

В весеннюю сессию экзамены за второй курс Алла сдала все на «отлично». Ей предложили работу в газете, но она отказалась, ей хотелось провести летние каникулы в Трёхреченске. Перед самым отъездом домой Алла поддалась на очередную авантюру Нинель: та разнюхала сенсационненькое в сфере мафиозных разборок и обещала увлекательное шоу. Разборка должна была произойти в полночь в глухом уголке в районе Сокольнического парка. Аллу заинтересовала не разборка сама по себе, а объект этой разборки. Нинель сказала, что решался спор относительно особняка, принадлежавшего спортивной организации. Столичные власти положили глаз на этот особняк и пытались выгнать спортсменов с помощью милиции, но потерпели неудачу: спортсмены милиции не подчинились. Тогда столичные власти втянули в дело «другие организации», пообещав, видимо, «кусочек от пирога». Все эти заинтересованные стороны и собирались ночью закрыть вопрос о «пироге».

В одиннадцать вечера Нинель и Алла подошли в тускло освещённом закоулке к объекту намечавшейся разборки. В одном из окон особняка на третьем этаже горел свет. Нинель заранее наметила наблюдательный пункт — это был соседний, готовившийся к сносу пустой дом с выбитыми в окнах стёклами. Подруги забыли взять с собой фонарь, в доме было темно, как в погребе. Они попытались ощупью подняться на второй этаж, но лестница была полуразрушенной, без перил, взбираться

по ней в крошечной тьме было рискованно. Пришлось занять наблюдательную позицию на первом этаже. Девушки сели на подоконник проёма, глядевшего в сторону особняка, и стали ожидать «представления». Нинель, как всегда, без умолку болтала.

Представление началось раньше, чем они рассчитывали, и совсем не то. Сначала послышались громкие голоса, потом из уличной темноты вышла в освещённое фонарём пространство пьяная компания юнцов, члены которой с хмельной оживлённостью изъяснялись меж собой на блатном жаргоне.

— Это что, одна из сторон конфликта? — тихо удивилась Алла.

— Эти-то? Да ты что! — во весь свой шумный голос крикнула Нинель. — У этих одна разборка: последний стакан водки поделить.

— Тише, — прошептала Алла.

Но несмотря на то, что юнцы были сильно пьяны, Нинелин крик они всё-таки услышали.

— Блин буду, там баба, — сказал один.

— Я тоже слышал, — подтвердил другой.

Компания двинулась к дому и скрылась за его углом. Спустя немного Нинель и Алла услышали, как захрустела щёбёнка у входной двери под чьими-то шагами. Кто-то чертыхнулся, вспыхнул свет фонарика.

— Бежим, — шепнула Алла. Они одновременно вскочили на подоконник, и тут световой луч их настиг.

— Смотри, проститутки! — раздался мальчишески восхищённый возглас.

Алла тут же спрыгнула с подоконника наружу, Нинель — следом. Они не успели скрыться в темноте, юнцы настигли их у края освещённого уличным фонарём пространства. Их пьяно облапили и повлекли к дому. Нинель завопила так оглушительно, что державший её юнец отступил и укоризненно произнёс:

— Чего орёшь, дура? Побалуемся и отпустим.

— Глазками побалуешься, носиком спустишь, — ответила Нинель.

Её ударили в лицо. Это сильно рассердило Нинель.

— Сосунки! — крикнула она так мощно, что будь работники правопорядка повнимательней, крик был бы без всякого радиотранслятора услышан во всех столичных отделениях милиции.

Нинель кинулась в драку. Аллу цепко держали двое, помочь Нинель она не могла. Вскоре Нинель упала с окровавленным лицом, но тут же поднялась и снова кинулась в драку. Один из юнцов ударил её по голове металлическим прутом. Нинель вскрикнула, на этот раз негромко, и упала. Алла с ужасом глядела на растущую в размерах лужу крови на асфальте вокруг едва заметно шевелящейся головы Нинель. Страх и чувство омерзения к подонкам удесятирили её силы. Внезапным рывком Алла вырвалась и побежала. Она слышала за спиной сопение преследователей. Её настигали. В отчаянии Алла впервые в жизни обратилась с мольбой к Богу: «Господи, спаси!» Бог сделал для неё, как для новичка в вере, исключение из правил: взвыли позади милицейские сирены, взвизгнули тормоза автомашин, разорвали ночную тишину выстрелы из автоматов. Оглянувшись, Алла увидела, что никто за ней уже не гонится. Но она не остановилась, бежала и бежала, задыхаясь, пока не показался впереди тормозящий у остановки трамвай.

2

В эту ночь июня 97 года, когда Алла от жуткого потрясения окончательно уверовала в Бога, в далёкой деревне Тимохино маялся от бессонницы Слава Левенцов. Видно, крик ужаса родственной ему души, её мольбу о помощи услышала его душа. В эту самую ночь не спалось кое-кому и в Беловодске. По притихшим улицам города с рёвом мчался чёрный «ягуар». Не сбавляя скорости, он выскочил с шоссе, взвизгнул тормозами и встал впритык к ступеням, подымавшимся к фасадным колоннам бывшего Беловодского кинотеатра «Восход». Из «ягуара» выпрыгну-

ли трое в кожаных чёрных куртках. Сидевший за рулём Миша Бровкин тоже вылез из машины. Трое, Константин Углов, Антон Анбоев и Стажёр, уже барабанили кулаками в дверь. Едва створож открыл им, они, сбив его с ног, ворвались внутрь. Стажёр остался у двери, Углов с Анбоевым кинулись по лестнице на второй этаж. Выглядело всё это впечатляюще — как налёт гестапо в фильмах про фашистов.

Снисходительная усмешка легла на Мишино лицо. Эти ребяческие игры в штурмовиков давно ему приелись. Не торопясь, поднялся он на второй этаж. Просторный холл здесь был заставлен иностранной мебелью: диваны, кресла, спальные и кухонные гарнитуры. В бывшем кинотеатре «Восход» располагался теперь мебельный магазин «Закат» — такое название дал магазину его владелец Константин Углов, у которого была склонность к меланхолии.

Углова в узком кругу именовали «Джеком-потрошителем». Он был лидером одной из городских бандитских групп и своё прозвище получил за свирепость при взимании «пошлин» с торгашей. Магазин Углову подарил отец, бывший секретарь горкома КПСС, а теперь чиновник мэрии. Даря магазин, отец, видно, думал, что беспутный сын прильнёт к узаконенному предпринимательству, но Константин предпочитал делать деньги иным способом. Магазин же, хотя и приносил одни убытки, служил надёжной ширмой для преступного бизнеса.

Ворвавшись в свой магазинный кабинет, Углов шлёпнулся в кресло у стола и, схватив трубку мобильного телефона, начал обзванивать своих людей. Он говорил в трубку языком загадочных полужраз, намёков, недомолвок, из которых можно было только понять, что у него связи с сильными мира сего. Это был один из его приёмов укрепления лидерского авторитета в группе.

Бровкин, развалившись в кресле, глядел на Углова с иронией: взрослое дитя! Бровкину было наплевать на высокие связи лидера. С некоторых пор ему на всё было наплевать. Он заболел чёрной меланхолией, как и Константин, только не агрессивной, как у того, а самоуглублённой, незаметной.

В группе Углова Бровкин оказался вскоре после того, как Кулагин закрыл магазин Наташи Фадеевой. Миша тогда по наивности бросился просить помощи у дяди Коли, которого Кулагин фамильярно именовал «Фемидычем». Дескать, обижают хорошую женщину, гнобят и разоряют только за то, что та отказалась стать любовницей партнёра по бизнесу. Узнав подробности дела, дядя Коля с недоумением посмотрел на Бровкина и сказал:

— Когда же ты повзрослеешь, племяш? Мышцы, вон, накачал, а мозги только дешёвыми детективчиками потчует. Оглянись вокруг, посмотри, как мир изменился. На родителей своих погляди. На какие шиши они шикуют? Сеструха моя, твоя мать, давно вообще нигде не работает, графиню из себя изображает, «великосветские» приёмы даёт таким же представителям нашей захолустной элитки. Да ещё тебе до недавнего времени деньги подкидывала. Ты хоть знаешь, какая у твоего отца официальная зарплата?

Бровкин ошеломлённо молчал. Он действительно никогда не задумывался о подобных вещах, воспринимал всё, как должное.

— А сам-то ты у Кулагина только шофёрскую зарплату получаешь? — неумолимо продолжал дядя Коля добивать Бровкина. — Сколько тебе Борис платит за то, что ты фальшивые накладные по его подставным магазинчикам и палаткам на подпись возишь?

— Почему это фальшивые? — не понял Миша.

— Эх ты, салага! — печально вздохнул Фемидыч. — А за что же по-твоему Кулагин тебе такие деньги платит? Это Фадееву Борька за красивые глазки решил собственным магазинчиком осчастливить, да та, дура, не поняла этого, за что и платит теперь. А вот о твоей кандидатуре твой нынешний хозяин сначала у меня проконсультировался, и я дал тебе самую лестную характеристику, цени.

— Значит, у меня теперь есть хозяин? — наливаясь яростью, сказал Бровкин.

— Почему теперь? — усмехнулся Фемидыч. — Хозяин всегда есть. Да ты зубами-то не скрежечи! У каждого из нас всегда

был, есть и будет хозяин, а уж в нынешние времена тем более! Кто тебе платит, тот и хозяин. И чем быстрее ты, племяш, повзрослеешь и поймёшь это, тем лучше.

— А как же Наташа Фадеева?

— Мы с Борькой Кулагиным ещё со школы корешимся, и ради какой-то дуры бабы, не пожелавшей ради собственного благополучия иногда раздвигать ноги, ссориться я не намерен. И тебе не советую!

Бровкин много тогда размышлял над словами дяди Коли и в результате пересмотрел и изменил свои отношения с окружающими его людьми. С Кулагиным они расстались мирно, Борис Павлович ни о чём Мишу не спросил, только сожалеюще покачал головой, подписывая тому заявление об увольнении по собственному желанию, и сказал, что в любой момент примет Бровкина назад, если тот передумает.

Наконец у Миши завелись деньги и немалые, в долларах и в иной валюте. Были у него и роскошные девочки, и кутежи в шикарных ресторанах. Были ежедневные, точнее еженочные, пьянки и весёлая «работа» с торгашами. Была возможность хоть завтра отправиться в заграничное путешествие и купить виллу на Средиземноморском берегу, о которой он мечтал когда-то. Но не было желания. С Бровкиным приключился дикий парадокс: безудержное стремление к радостям жизни через посредство денег привело его к утрате способности радоваться жизни. Он попал в ловушку.

Круг лиц, в котором Миша теперь вращался, весь поголовно страдал психическим расстройством — валютоманией. Ценность жизни измерялась количеством накопленной валюты, в ней был весь смысл, топивший саму жизнь в тумане. Тратить деньги на что-либо, не сулящее дохода, было для Бровкина уже непосильным делом. Он ещё был способен пойти на крупный риск, вкладывая деньги в сомнительное дело, но только если был шанс сорвать в случае удачи большой процент. Единственным его заведомо не сулящим дохода приобретением был «ягуар», но Бровкин считал, что скоростные качества «ягуара» необходи-

мы в его специфической работе. То есть «ягуар» был для себя. Что же касалось траты денег для других, Бровкину стоило уже усилий даже приятеля угостить из своего кармана.

С удивлением и тоской вспоминал Миша время, когда радостно было просто смотреть на звёзды в небе. Теперь звёзды не замечались, хотя Бровкин и вёл ночную жизнь. Тоску вызывали воспоминания о Любе, о замечательном чувстве, какое он испытывал от неуловимого движения её души, отображавшегося на её лице. Миша не мог уже вернуться к ней, запрещал себе и думать о возможности возврата. Он погряз в распутной жизни и мог с лёгким сердцем обманывать распутных девочек, но обманывать Любу — это значило бы наплевать на самого себя. И Бровкин предавался меланхолии. В отличие от Углова, он предавался меланхолии мужественно, наедине с собой. Скрывать меланхолию от других помогала Бровкину его непроницаемая, точно приклеенная к лицу, улыбка.

Углов вдруг бросил трубку и бешено закричал:

— Стажёр! — Остававшийся внизу у входа самый молодой член группы прибежал на окрик. — Неси! — скомандовал Углов.

Взяв у Бровкина ключ, стажёр кинулся к машине. Через минуту он принёс сумку с водкой и закуской. Началась, точнее, продолжилась начатая вечером тотальная попойка. Проклятием таких ночных попок был острый недостаток тем для разговора. По сто раз уже пересказано, у кого какая дома евромебель, какие сногшибательные особняки у каждого в экологически благонадёжном месте, какие сногшибательные девочки. Оскомину набило повторять про это. А больше не о чем поговорить. Оттого попойки делались раз от разу всё мрачнее.

Углов молчал, водка, как всегда, усугубляла его меланхолию. Внезапно на лице у него промелькнуло подобие какой-то мысли.

— Сторож где? — крикнул он и уставился хмельными красными глазами на Стажёра. — Привести его сюда.

Стажёр кинулся на первый этаж. Вернулся он со сторожем, мужчиной лет пятидесяти.

— Выпей, — сказал Углов мужчине.

Плеснув в стакан граммов сто водки, он подвинул его на край стола. Сторож выпил, закусил кусочком хлеба, сказал «спасибо» и повернулся уходить.

– Э-э, ты куда? – окликнул Константин. – Думаешь, за «спасибо» тебя звали? Садись, рассказывай.

– О чём? – удивился сторож.

– О том, как докатился до жизни такой. Ты ведь инженером был.

– Обычная история, – ответил мужчина. – Завод приватизировали, зарплату платить перестали, пришлось в сторожа податься, другой работы нет.

– Не стыдно инженеру в сторожах-то?

– Чего ж тут стыдного? Я ведь не ворую.

– Ишь, правильный какой: он не ворует! А если и из сторожей погоним? Скажешь, воровать не станешь?

Лицо мужчины осветилось снисходительной улыбкой.

– Не стану, – с мягкой убеждённой уверенностью ответил он.

– Так ведь сдохнешь с голоду! – удивился Константин.

– Не я первый. Право умереть честным, слава Богу, у нас пока не отобрали.

– Дурак! Надо жить уметь, а не умирать. Мы вот не работаем, а миллиардеры, тебе такие деньги и не снились. Хочешь, научу, как миллиардером стать?

– Нет, не хочу. Стыдно быть миллиардером, когда люди рядом голодают.

– Смотри-ка, какой стыдливый! – воскликнул Константин. – Ну-ка, пойдём выйдем.

– Перестань, – попытался остановить вожака Миша Бровкин, но тот уже вошёл в раж.

Сторож без возражений проследовал за Угловым в тёмный угол холла. Здесь они остановились, Углов повернулся и без лишнего слов ударил бывшего инженера кулаком в лоб.

– За стыдливость, – пояснил он.

– Я дал бы сдачи, – сказал мужчина, – да больно вы все рослые, и биомасса у каждого, поди, килограмм под сто, смысла нет.

Углов, свирепея, нанёс ему ещё два удара, затем, увидев, что избиваемый не показывает страха, собирался уже бить без остановки, но тут за руку его схватил Бровкин. Улыбка на лице у Миши была особенная, гипнотизирующая, под её воздействием вождь остыл и позволил себя увести.

Попойка продолжилась. Захмелевший Углов вдруг кинулся на первый этаж, объявив, что не закончил ещё разборку со сторожем. На лестнице он споткнулся и «пропахал» личиком все ступени сверху донизу. Личико у него картинно окровавилось. Забыв про сторожа, Углов направился в туалетную комнату. Умывшись и увидев рваные раны на лбу, на щеках и на носу, Константин опять вспомнил про сторожа. В поисках своего «обидчика» он попал в хозяйственное помещение, где не было электрического света. Впотьмах Углов заблудился среди старых реквизитов бывшего кинотеатра. Его изодранные ругательства заглушались толстыми каменными стенами, поэтому никто не приходил ему на помощь. Утомлённый гневом, Константин шлёпнулся в закутке между штабелями щитов с названиями кинофильмов и уснул, подложив под голову два своих больших, костистых, сложенных вместе кулака.

Пьяную компанию долгое отсутствие лидера не встревожило. Только Бровкин, беспокоясь, что Углов спьяну натворит что-нибудь непотребное, спустился на первый этаж. Сторож лежал на составленных вместе стульях, при появлении Бровкина он не встал, приподнял лишь голову.

— Ты чего, отец, в антисанитарных условиях отдыхаешь? — спросил Миша. — Наверху диванов тьма.

— Я там и отдыхаю, когда вас нет, — ответил сторож. — А при вас... Ни к чему гусей дразнить, как говорится. Этот бешеный...

— Он сюда не заходил?

— Пытался. Дверной ручки не нашёл. Из хозяйственного отсека гром был, видно, там гуляет.

Бровкин открыл дверь, собираясь уходить, но у порога о чём-то призадумался. Помедлив, он обернулся и неловко произнёс:

— Отец, ты не серчай на нас, прости.
— Прощаю, — ответил бывший инженер. — Быль молодцу не в укор, как говорится. Но простит ли небо за «миллиардерство»?

— Знаю, отец, небо нас не простит, у нас с небом свои счёты. Но ты прости.

— Разве прощение простого смертного важней небесного?

— До неба ещё дожить надо.

— Смотри как доживать...

— В этом-то и заковыка. Жить по-другому мы уже не можем.

Бровкин вышел, сильно хлопнув дверью. Сходяв к машине за фонарём, он направился в хозяйственное помещение. Обнаружив Углова спящим на полу, Миша не стал его будить. Он вернулся к пьяной компании. Анбоев спал в кресле. Стажёр ещё бодрствовал, но, судя по глазам, фактически уже отсутствовал. Бровкин принял в одиночестве два раза по сто грамм и пошёл спать на одном из фирменных диванов в холле.

В пять утра его разбудил Константин, злой, с разбитым и опухшим от соприкосновения с каменными ступеньками лицом.

— Похмеляться будешь? — спросил Константин.

Миша отрицательно помотал головой, он старался не принимать и малой доли алкоголя, если предстояло сесть за руль.

Через десять минут «ягуар» бешено мчался по Беловодским улицам.

3

Развезя налётчиков на бывший кинотеатр «Восход» по домам, Бровкин не заметил, как очутился на шоссе на райцентр. Это было не впервые. Внутренняя сила давала через подсознание команду, и он оказывался на этом шоссе возле Любиного дома. Знакомый до рези в груди палисадник с роскошными цветами... Крутнуть бы сейчас руль вправо и... Нельзя, это означало бы обман, а обмануть её, наивную его голубоглазку,

всё равно что переступить последнюю черту. Нельзя! Бровкин дал максимальный газ. «Ягуар» понёсся по шоссе. Водители обойдённых им впритык машин не успевали даже произнести ругательство от испуга, как рвущий шинами асфальтированную ленту «ягуар» оказывался уже далеко впереди.

Тяжёлые, остекленевшие Мишины глаза привычно скользили по асфальту в нужном фокусе – тридцати метрах впереди. Промелькнула дощечка с надписью: «Коростылёво», промчались избы. Миша машинально открыл окошко и врубил на всю мощь магнитофон. Свист встречного потока воздуха смешался с оступляющими ритмами поп-музыки. Стремительно наехала дощечка с надписью «Тимохино», белыми пятнами возникли на дороге гуси. «Ягуар» остановился в двух шагах от них. Гуси с важной неторопливостью спустились с дороги к пруду. Бровкин съехал за ними следом. Передние колёса «ягуара» замерли в десяти сантиметрах от берегового среза.

Миша вылез из машины и стал смотреть на воду. Оступляюще монотонные ритмы включённого им магнитофона уродовали первозданную утреннюю тишину, он этого не замечал, уйдя в созерцание водной глади.

Маявшийся от бессонницы Левенцов подумал: «Совсем крыша у соседки поехала с её кассетами». Он сунул голову под подушку, но ритмизованные звуки, вызывавшие ассоциацию с тупой и злобной силой, доставали и через неё. В раздражении Левенцов поднялся и выглянул в окно. В избе напротив окна были закрыты. Он поглядел по сторонам и увидел на берегу пруда машину и стоящего рядом парня, приобщавшего селян к музыкальным «перлам» цивилизованного мира. Левенцов оделся и пошёл к пруду.

– Послушайте, господин или товарищ, – сказал он, подойдя к заезжему молодцу. – Вы не совсем удачно выбрали время и место для концерта, вам не кажется?

Бровкин оглянулся, с удивлением спросил:

– Какого концерта?

– Да вот эти изысканные звуки, исходящие из вашей «тачки».

— А-а, — смутился Бровкин. — Я про них забыл.

Выключив магнитола, он взгляделся в Левенцова:

— Мы не встречались с вами раньше? То ли в ресторане...

— В ресторане я был в последний раз десять лет назад. Но ваше лицо мне тоже вроде бы знакомо.

— Я должен вспомнить, — пробурчал Бровкин. В задумчивости он повёл голову назад и вдруг совсем другим голосом воскликнул. — Наташа!

Наташа выглядывала из окна. К немалому удивлению Левенцова, заезжий молодец подошёл к окну и протянул Наташе руку, она ответила рукопожатием.

— Однако! — с неудовольствием пробурчал Левенцов и пошёл к своему дому неуверенными шагами. Наташа оживлённо разговаривала с молодцем, на Левенцова они не обращали внимания.

— Может, ты познакомишь меня с этим юношей, — обратился Вячеслав к жене.

— Это Миша, мы с ним работали вместе в магазине, — сказала Наташа. И голосом, и выражением лица она дала понять мужу, что ради приятного ей гостя «холодная война» на время отменяется.

— Что же ты держишь такого высокого гостя под окном, — с укором произнёс Левенцов. — Зови в избу да накрывай на стол.

Бровкин прошёл в дом, но от угощения отказался, сообщив, что не пьёт спиртного, когда за рулём. Наташа, соскучившаяся по разговору, стала с подчёркнутым оживлением рассказывать историю своего переселения в деревню. Бровкин, слушая её, вдруг воскликнул, повернувшись к Левенцову:

— Вспомнил! Знаешь, где я тебя видел? Ты подошёл ко мне у конторы хлебозавода спросить, где Продторг, а потом сказал, что ищешь Фадееву Наташу. Помнишь?

Левенцов улыбнулся:

— Спасибо, что напомнил. Хотя мне твой следователь тогда ничего толкового не сообщил, я тебе признателен. Участие — такая немодная штука у нынешней молодёжи, а ты...

– Я не молодёжь, – посуровел Бровкин. – У меня год за десять все эти годы. Я, Наташ, как ты ушла из магазина, в бизнес кинулся. С благословения Кулагина.

– Как он там? – внезапно покраснев, спросила Наташа. – Много ещё магазинов на своём содержании открыл?

– Он их закрыл, Наташ. По-крупному работает, мэром города метит стать.

– Мэ-эром, – рассеянно повторила Наташа. – Мало ему миллионов, ещё и власти захотел.

– Одно другому не мешает. Кулагин мужик умный. За своё хоть с дьяволом сцепиться может.

– Ему, по-моему, немножечко совести не достаёт.

– А те, кому её достаёт, лучше, что ли? – возразил Бровкин. – Обирают этих совестливых, грабят, в рожу им плюют, а они не блеют даже Плебеи – эти совестливые, я их презираю.

Наташа гневного Мишиного пафоса не поняла и промолчала. Зато Левенцов посмотрел на гостя с интересом.

– Ты полагаешь, силой в этом мире можно что-то изменить? – обратился он к нему.

– Инертное состояние можно изменить только силой, – ответил Миша. – Это я в школьном учебнике по физике прочёл.

– Резонно, – согласился Левенцов. – Подойдём тогда с другого боку. По современным научным воззрениям понятие силы вещь надуманная. Никаких сил, в сущности, в природе нет, есть ускорения. А понимаемое в классической механике под словом «сила» лишь частное проявление всеобщего Закона, неведь кем установленного. Мы просто привыкли к расхожему понятию силы, хотя оно не имеет никакого отношения к всеобщему Закону, понимаешь?

– Не очень, – признался с кривой улыбкой Бровкин.

– Попробую объяснить попроще. То, что люди именуют силой, под воздействием всеобщего Закона может оказаться слабостью. Священное писание об этом говорит: «... и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных, и незнатное мира,

и уничтоженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее...»

– Понял, – сказал Бровкин. – Последовательное смирение Идиота у Достоевского сильнее бунта, так?

– Отчасти.

– Это для девятнадцатого века, теперь другое время.

– В применении к столь важному вопросу времён разных не бывает. Время всегда одно, меняются лишь моды, настроения. И меняются они тоже по определённом закону, по спирали что ли, как у Гегеля. Но мы в своих частных проекциях Всеобщего как будто не в состоянии взглянуть на жизнь с позиций этого Всеобщего. Мы живём в отведённом нам измерении, за его пределы не умеем прыгнуть. Ты понял мою мысль?

– «Понял, чего не понять-то!» – улыбнулся Бровкин. – Это мужик так ответил писателю Пришвину, когда тот объяснял, что земля не плоская, а круглая. «Только я-то ведь по плоской земле хожу», – сказал тот мужик. Вот и я хожу по плоской. Я знаю, что сила – это Сила, а слабость – это Слабость. И не корми меня сказками про Всеобщее.

– Я с пониманием относился бы к такой точке зрения, если бы она не таила в себе угрозу человечеству. Каким-то образом необходимо переменить такой взгляд на вещи, иначе, по моему, человечество погибнет.

– Не погибнет, – возразил с уверенностью Бровкин.

– Думаешь, закон Всеобщего спасёт?..

Они с удовольствием углубились в отвлечённый разговор. Наташа скоро поняла, что ничего в их разговоре не понимает, и с разочарованным видом занялась домашними делами. Чтобы не мешать ей, они ушли в беседку, сооружённую Левенцовым во дворе. Через час они уже делились друг с другом самым сокровенным. Бровкин поведал о своей мечте порвать с незаконным бизнесом.

– Ты завязан с мафией? – сочувственно спросил Левенцов.

– Похоже, так, – ответил Бровкин. – Со стакана водки началось. Ненавижу водку. А пью...

- Перейди на сухое вино, раз денег куча.
 - В коллективе, где я работаю, сухое вино не в почёте.
 - Понятно. Тяжёлый случай. Я бы в такой ситуации убежал из Беловодска куда подальше.
 - А куда подальше-то? На Средиземноморское побережье?
 - Почему именно на Средиземноморское?
 - Не знаю. Когда-то мечтал виллу там купить. Романтика, конечно. Чего там делать-то? Ни знакомых, ни родных. Тоска...
 - Да, от тоски не убежишь. Хотя, если плюнуть на себя и повернуть себя ко всеобщему... Отводи каждый день по часу для начала размышлениям не о своём. Вечность, Время, Жизнь, Энергия – тут есть над чем подумать. Вещи вроде абстрактные, а если вдуматься, куда более реальные, чем такая вроде бы реальная вещь, как деньги. Деньги ведь, как и понятие силы, фетиш, их придумали недалёковидные, в совершенном обществе они будут не нужны.
 - Деньги не нужны, только когда их много, – возразил Бровкин.
 - Да, когда ходишь по «плоской» земле, без денег трудно, но когда их слишком много, гибнет, как правило, душа.
- Разговор начал давать сбои. Каждый ощутил, что оппонент – из другого мира. Бровкин объявил, что ему пора. Прощавшись с Левенцовым и Наташей, он сел в «ягуар» и умчался к своей «плоской» земле.

4

Наташа, проведив гостя, каменно бросила: «Завтрак на столе», и пошла в огород трудиться. Режим «холодной войны» возобновился. Левенцов воспринял это как должное, уже привык, но ощутил вдруг и в голове, и в теле тысячелетнюю усталость. Не хотелось ни завтракать, ни ехать к Ротмистрову в Беловодск, ни садиться к письменному столу. Он походил по двору, зашёл в мастерскую, поглядел на трактор – нет, ничего не хотелось. Вячеслав подумал, что это от умственного переутомления и бес-

сонной ночи. Соснуть бы часок, но он знал, что заснуть не сможет, на сердце была смутная какая-то тревога. Левенцов пошёл в огород к Наташе. Наигранно бодрым голосом спросил:

— Чего бы хорошенького сделать?

Наташа ответила через пять минут:

— Поезжай к своему «знакомому», без тебя управимся.

Левенцов глянул на неё с укором, но смолчал. Повернулся и пошёл со двора на волю. Час был ранний. В пруду плавали успевшие уже позавтракать гуси с утками. Бычок Мишка, как всегда, отбывал заключение на привязи. А взрослые коровы с козами и овцами уже ушли с пастухом щипать травку за околицей.

Левенцов побрёл по обочине шоссе. За околицей он свернул на грунтовую дорогу, приведшую к бывшей совхозной ферме. Перед ним поднялись бетонные останки пяти огромных корпусов. Когда-то здесь трудились многие из теперешних безработных жителей Тимохино. Была какая-никакая общественная жизнь, была фантастично высокая, по меркам нынешнего времени, зарплата, было дешёвое, доступное даже самым бедным людям в райцентре молоко, была уверенность и чувство правильности жизни. Какому-то бесу понадобилось всё это порушить.

Переименованный в акционерное общество совхоз дышал на ладан. Перед избирательными кампаниями в Тимохино наезжали представители различных партий. По речам этих представителей выходило, что каждая из партий самая правильная, неправильных и средних не было, все были наилучшие, все обещали поднять село с колен, как и всю Россию. Избирательная кампания проходила, партийные зазывалы уезжали, а совхоз, переименованный в акционерное общество, продолжал разваливаться в том же темпе. Те совхозные акции, что скупало у работников три года назад совхозное руководство, теперь ничего не стоили, как и всероссийский ваучер. Совхозное руководство прогорело со своими буржуазными задумками, смирилось и с удалой русской бесшабашностью принялось растаскивать

последнее уцелевшее от совхоза имущество по своим кормушкам. Тем же занимался и простой народ. Фермы и прочие производственные сооружения растащили по кирпичику люди, прежде работавшие на них. Тащили к своему корыту, оправдываясь перед совестью воплем инстинкта самосохранения: «Надо выжить!» А инстинкт коллективной безопасности почему-то спал, хотя во все предыдущие века Россия возрождалась после бедствий именно на всплеске народного инстинкта коллективной, а не личной безопасности.

Грунтовая дорога упёрлась в зияющий пустотой пролёт между бетонными опорами — бывшие ворота фермы. Левенцов машинально свернул на тропинку, уходившую в полевой простор. Он шёл и думал о народе. «Сила народная, воспетая в былинах и сказаниях, в творениях поэтов, где ты?» — вопрошал Левенцов, глядя в небо, окружавшее его со всех сторон. — Или и не было тебя, была лишь вера? Да хоть вера была, теперь и веры нету». Откуда взяться вере, когда глазам предстаёт совсем другой народ: убогий, нищий духом, безразличный к всплеску сатанинства, к политической борьбе. Это унижительное безразличие Левенцов ощущал и в самом себе. После распада СССР он даже не пользовался своим гражданским правом избирать властителей. Он не верил, что можно что-то изменить к лучшему путём голосования на выборах, не верил в саму разумность избирательной системы, основанной на подсчёте большинства. Большинство в Тимохино, например, отдавало на выборах предпочтение кандидатам, заведомо представлявшим интересы антинародного режима.

— Почему вы за этого хотите голосовать? — спрашивал сельчан Левенцов, и те отвечали:

— А про него по телевизору сказали, что он хозяйственник, а сейчас только хозяйственники помогут делу.

Левенцов пытался втолковать, что чем «хозяйственней» будет их хозяйственник, тем больше он при нынешнем режиме будет вредить народным интересам. Сельчане такой «заумной» логики не понимали, и голоса этих невежественных слепышей

ставились на один уровень с голосами образованных, разбирающихся в политической ситуации! Это был абсурд, равноправия здесь и близко не было. Вот если бы все без исключения избиратели перед выборами подвергались экзаменам! Получил на экзаменах высшую оценку – пользуйся полноценным голосом, получил среднюю – половинным, получил «неудовлетворительно» – лишаешься голоса совсем.

Но кто войдёт в состав экзаменационной комиссии? Войдут чинуши, угодные существующему режиму. И экзамены чинуши те будут чинить так, чтобы протащить к голосованию угодных режиму избирателей. В общем, сказка про белого бычка. Если даже вообразить невообразимое: в экзаменационную комиссию войдут кристально честные и компетентные в своём деле люди, которые допустят к голосованию самых компетентных избирателей и даже если обойдётся без фальсификаций при подсчёте голосов, то и тогда выборы не станут справедливыми, поскольку нет достоверной информации о кандидатах. Информацию о кандидатах, да и то далеко не полную, имеют лишь их жёны да приятели, да ещё чуть попопнее – ФБР. Довести хотя бы такую неполную информацию до избирателей невозможно. Поэтому и не ходил Левенцов на выборы голосовать – без пользы.

Тропинка шла среди высокой травы под уклон к пойме Белой. Взгляду открылись капустные и свекольные поля. У бывшего совхоза хватало ещё сил по весне засадить их. Из последних сил механизаторы поддерживали на протяжении лета приходившую в негодность гидросистему, качавшую воду из реки. А на осень сил уже не оставалось, последние деньги уходили на плату ОМОНу, охранявшему зреющий урожай от воров. На наём рабочей силы для уборки урожая денег уже не было. Убирали урожай своими жиденькими силами. Всё, что удавалось собрать, шло на оплату труда совхозной администрации. Неубранное перепахивали, чтобы не досталось посторонним.

Левенцов полез по крутому обрыву вверх, к опушке леса. Забравшись, отдышался и стал глядеть в неоглядное приволье, что раскинулось на другом берегу Белой. Луга, поля, рощи, сё-

ла, деревеньки, жёлтые ниточки просёлочных дорог — всё как на ладони. Во всём был покой и вера в право на существование. Селения выглядели издали так картинно, так ухоженно, что казалось, будто бы они смеются, радуясь солнцу и комфортной жизни на природе. Левенцову вспомнилось прочитанное о Голландии в «Былом и думах» Герцена: «Она вам покажет свои смеющиеся деревни на обсушенных болотах, свои выстиранные города...» Нет, здесь ощущалась всё-таки Россия.

«Радио России» каждый день твердило: «Россия — это мы». Они там, на «Радио России», заблуждались. Под словом «мы» они, конечно, понимали в первую очередь себя, и уже в этом крылось заблуждение. Но не в этом было главное. Россия — это не только люди. Россия — это судьба, традиции, это некий надчеловеческий Дух, неуничтожимый, вечный. Вечный дух есть и у Франции, и у Германии, и у Британии, и у многих ещё стран, но свой Российский ни на какой другой не променяешь.

Поймав себя на такой мысли, Левенцов смутился. А как же человечество? Он ведь веровал, что все страны и народы рано или поздно сделаются единым человечеством. Куда же тогда денется вечный Дух России?

Окна домов в разбросанных от горизонта до горизонта сёлах за рекой сверкали отражённым солнцем. Левенцов подумал было, как много солнечной энергии пропадает зря, но тут же прогнал прагматическую мысль, хотелось отдохнуть от этого. Селения манили тайной, но эта тайна лишь на расстоянии. В реальности тайны никакой нет. В тех селениях жили такие же, как в Тимохино, неинтересные, замордованные существа. В этот печальный факт не хотелось верить, да и не верилось при виде природной русской мощи. У природы и народа единый корень «род», только природа — при «роде», а народ — на «роде», значит, народ всё-таки главней. Почему же он тогда такой убогий?

Задумавшись, Левенцов двинулся по тропинке. Справа в отдалении синела в зелени берегового кустарника река, слева в трёх шагах опушка леса. Ему необходимо было разобраться с понятиями «человечество», «народ». Необходимо потому, что

цель жизни виделась в служении человечеству, а значит, и народу. Но что народу надо? Народ, судя по всему, хотел лишь хлеба, зрелищ, удовольствия. Ради хлеба люди шли на низости вплоть до воровства и грабежа, ради удовольствия и зрелищ предавались дорогостоящим утехам или с завистью смотрели на эти утехы по телевизору.

Служить такому народу было бесполезно. Положим, изобретёт Левенцов сверхмощный источник энергии, который избавит человечество от хлопот о пропитании и комфорте. Все получают то, что так усиленно и так бесплодно обещают государственные мужи: материальное изобилие и полную свободу. И чем тогда народ займётся? Да всё тем же: хлеба, удовольствий, зрелищ! Только при полной свободе эти вещи сделаются полным скотством, будут вкусно есть, пить, развратничать... Разум для таких вещей не нужен. В чём тогда ценность человека? В том, что на кладбище его будут относить, благодаря материальному изобилию, более упитанным? А может, и действительно не нужен разум? Служители церкви, вон, говорят, нужна лишь любовь и доброта, в отношении же разума Священное писание высказывается пренебрежительно: «Но бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых...» Зачем же тогда Бог дал людям разум? Ну пусть не Бог его дал, а эволюция, как считают дарвинисты. Пусть человеческий разум создавался природой на протяжении миллионов лет через обезьян, всё равно, разве созданный природой разум – случайное явление? Случайное природа с таким упорством бы не создала, и тем не менее народ отвергает разум в угоду низменным, грубым удовольствиям. А служить низменному не только бесполезно, но и преступно. Кому же тогда служить? Лучшим людям из народа, тем, которые умеют превозмочь гнёт животной плоти? Но такие люди сами бьются над вопросом, кому, чему служить. Вечно приходишь к этому заколдованному кругу!

Но ведь нельзя мириться с реальностью, коли уж тебе дано видеть её уродливые стороны, надо что-то делать, не обязательно изобилие изобретать. Можно заняться проблемой защиты человечества от смертоносных катаклизмов: землетрясений, на-

воднений. Сколько невинных душ гибнет каждый год от них! Или, раз народ духовно не готов к комфорту, направить силы в сферу его воспитания. В этом плане хорошо бы ввести экзамены для супружеских пар на право родить и, тем более, воспитывать детей: если супруги не умеют разговаривать без мата, или пьянствуют, или смотрят без малейших признаков аллергии телевизор, или, опять же без аллергии, читают «Московский Комсомолец» – лишать такие пары права на рождение ребёнка. И на образование выделять из государственного бюджета не один процент, а пятьдесят. Почему государственные мужи не понимают очевидной пользы таких постановлений, непонятно.

Непонятного много в этом мире. Вот, например, Кавендиш, загадочный английский учёный, сделал блистательные научные открытия и ни одного из них не опубликовал, спрятал у себя в столе, от людей подальше. Может, тоже считал, что народ не созрел ещё духовно для комфортной жизни? Бог весть. Но ведь через сто лет после его смерти спрятанные им открытия благополучно были сделаны другими. И такое случалось не раз в истории науки и изобретательства. Значит, изобретатели, сами по себе, ничего не значат. Творят не они, творит Время, использующее их лишь как инструмент. То есть действует тот самый Закон Всеобщего, о котором он говорил Бровкину. Может, Бровкин прав, считая, что этот закон упасает нас от неприятностей? Кто-то нас пасёт, выходит. Кто? Бог? Если так, то нечего печалиться, плыви себе по течению и не ломай голову, ибо, как говорит Евангелие, «не думай, что завтра есть и что пить, и во что одеваться». Одна только в этом случае забота: люби ближнего. То есть, если полюбишь бездуховных, пьянствующих жителей Тимохино, соседку-педагога с её сатанинскими кассетами, государственных мужей, обманывающих народ, и вообще всё окружающее тебя убожество, то спасёшься. Ибо, как говорит Евангелие, «спасись сам – и вокруг спасутся тысячи». Но куда в этом случае деть свой разум? Ведь зачем-то Бог его нам дал!

Левенцов вспомнил про учение Вернадского о мыслительной оболочке Земли – Ноосфере. Согласно этому учению ни од-

на человеческая мысль, ни одно усилие разума, воплощённое или не воплощённое в то или иное дело, ни одно переживание не пропадает, всё невидимыми волнами передаётся в информационный центр всечеловеческого сознания, окружающего Землю. По мере накопления информации, это всечеловеческое сознание делается всемогущим, способным влиять как на судьбы отдельных личностей, так и на ход всечеловеческой истории. Видимо, это и есть Закон Всеобщего.

Левенцов присел на ствол упавшего дерева, достал из кармана записную книжку, нашёл и стал перечитывать отрывки из записей Вернадского о 1920-ом годе: «Ибо наше время — время крушения государства, полного развала жизни, её обнажённого цинизма, проявления величайших преступлений, жестокости... время обнищания, голодания, продажности, варварства и спекуляции, — есть вместе с тем и время сильного подъёма духа... Я считаю эту духовную работу более важной, чем все те события, которые нам кажутся первостепенными... Не только реальные материальные разрушения и перемещения богатств, но ещё более реальны духовные переживания. Духовное восприятие событий более важно, чем столкновение материальных сил. Меня не смущает, что те лица, в глубине духовной силы которых совершается сейчас огромная, невидная пока работа, как будто не участвуют в жизни. На виду не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но всё это исчезнет, когда вскроется тот невидный во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет, время его придёт, а тёмные силы, всплывшие сейчас на поверхность, упадут на дно...»

«Какая точная характеристика нынешнего времени, хотя написано о 1920-ом! — уважительно подумал Левенцов. — Права, Алла, всё в истории повторяется. Перипетии российских революций 1905, 1917 годов — почти точная копия французских революций. А сейчас повторяется ситуация 1929-го. И прав Владимир Иванович Вернадский: материальные передраги — всего лишь декорация. Главное действие идёт в невидимом духовном,

которому служат незаметные, непритязательные люди. Надо лишь держаться в их рядах, больше ничего не требуется».

Придя к такому заключению, Левенцов ощутил внезапную усталость и желание поспать. На глаза как раз попалась копёшка сена у опушки леса. Сено было прошлогоднее, всё почерневшее, но сухое. Он лёг на него и некоторое время глядел в небо, думая о Наташе, об их нескладных отношениях. Вячеслав всё-таки любит её, дурочку, он остро это ощутил, и ему стало хорошо и в то же время грустно. И, точно откликаясь на состояние его души, откуда-то издалека, из-за реки, донёсся чуть слышный «Грустный вальс» Сибелиуса. Вслед за ним зазвучала прекрасная музыка из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». «Есть всё-таки люди в сёлах, понимающие подлинную музыку», — успокоительно подумал он, задрёмывая.

Левенцов проспал больше трёх часов. Проснулся с ощущением душевного покоя. В полудремотном ещё сознании вдруг стали всплывать картинки из пережитого в детстве, юности, в студенческие годы. Прошедшее представало так отчётливо, с такой пронзительностью ощущалась былая радость, что им овладел благоговейный ужас перед тайной памяти и одновременно светлая какая-то тоска, и осознание того, что радость тех счастливых лет по-прежнему с ним, что она суть его и что он вместе с нею вечен. «И чего я голову ломал: служить или не служить народу? — подумал Левенцов с весёлостью. — Какая, к лешему, там служба! Я живу и радуюсь, чего ещё? Эпикуреец Петроний мне ведь куда ближе по духу, чем стоик Сенека. По какому праву осуждаю тогда пьяниц, ловеласов, любителей хорошо поесть? Все равны перед Небом, каждый несёт свой, назначенный Небом крест. Надо просто радоваться, что всегда был, есть и будешь. Это не отречение от Разума, это, может быть, высшая его ступень».

Левенцов влюблённо посмотрел в простор полей. Было чувство, будто отворились окна в его душу, и она проветрилась и посветлела. В голове уже не крутились пессимистичные мысли о народе. Он вспомнил, что жители Тимохино выказывали порой

удивительную интеллигентность и хороший художественный вкус. Особенно такими взлётами отличались Тимохинские алкаши, они, например, в отличие от трезвенников, давно не смотрели неинтеллигентный телевизор, а неинтеллигентные «Радио России» или «Маяк» слушали, если верить их словам, раз в полгода, чтобы только удостовериться, что у власти ещё Сатана. Это говорило в пользу версии об истине, которая на дне бутылки.

Левенцов поднялся и пошёл домой. Он шёл в уверенности, что сегодня сумеет убедить Наташу, она должна его понять, должна с ним помириться. На подходе к околице Вячеслав услышал осточертевшую вульгарную песенку, её прокручивала на магнитоле, конечно же, его соседка. Светлый настрой души как корова языком слизала. Эту песенку больше года уже крутили ежедневно все обладатели магнитол в Тимохино. Она стала «шлягером» или «хитом», как обзывали теперь модные музыкальные поделки. Модной песенка сделалась, в общем-то, оправданно. Она не сопровождалась отупляющим ритмом метронома, у неё была мелодия, и одно это уже возвышало её на пять голов над другими современными поделками. Ещё когда она только входила в моду, Левенцов и сам слушал её без аллергии, хотя смысл словесного сопровождения, исполняемого приятным женским голосом, почти на нет сводил достоинства мелодии:

«Ты скажи, ты скажи,
Чё те надо, чё те надо,
Может дам, может дам,
Чё ты хошь».

И эти слова, и сама мелодия напоминали что-то. Через месяц после вхождения песенки в моду Левенцов наконец сообразил: да ведь это же откровенный плагиат с «Одинокой гармонии» Исаковского:

«Ты признайся, кого тебе надо,
Ты скажи, гармонист молодой...»

Рыночные плагиаторы рыночной своей обработкой испошили и мелодию, и особенно слова оригинала, но народ,

как бы ни был затюркан, всё же уловил отзвук подлинного искусства, и пошлая песенка сделалась любимой. И вот уже больше года она держалась в моде. Наивные почитатели прекрасного в Тимохино, к счастью своему, не обладали утончённым музыкальным слухом, поэтому могли прокручивать полюбившуюся песенку с утра до вечера без перерыва на обед. Левенцов, к несчастью своему, обладал утончённым музыкальным слухом, поэтому назойливое повторение не доставляло ему, мягко выражаясь, удовольствия. Поэтому, услышав очередное повторение на подходе к дому, Вячеслав нехорошо ругнулся, желание поговорить с женой по душам пропало.

5

Наутро, собираясь к Ротмистрову, Левенцов уложил в сумку бумаги на все свои законченные, готовые к сдаче в патентное бюро изобретения, Вениамин хотел попробовать протолкнуть их напрямую в производство: у него ещё сохранялись связи с предприятиями.

В десятом часу Левенцов подкатил на своём тракторе к дому Ротмистрова. Дверь ему открыла Катя, младшая сестра Вениамина. Она жила с мужем и семилетней дочерью в соседнем доме и навещала брата почти каждый день. Она его обожала. Белоснежные сорочки, которые Ротмистров позволял себе носить и дома, были делом её рук.

— Веня болен, — сообщила она Левенцову. — Он всегда схватывает простуду летом в самую жару, а в рождественский мороз может слечь от солнечного удара.

Ротмистров сидел в кровати, опираясь спиной на подушку, на нём был шерстяной свитер, поверх которого лежало одеяло. При виде Левенцова он радостно заулыбался и, здороваясь рукопожатием, посетовал:

— Катя не велит вставать, извини. Она считает, у меня больное сердце, и определённо запретит нам принимать сегодня мучки творчества.

– Определённо запрещу, – сказала Катя. – Поговорите сегодня о пустяках, ваши мозговые извилины, надеюсь, от этого не распрямятся, берите пример с женщин: они болтовнёй излечиваются от всех болезней.

– Ну что ж, лечиться так лечиться, – улыбнулся Ротмистров. – Достань, Катюша, ради такого случая лекарство из того вон шкафа. – Он косо глянул на ряд выстроенных на тумбочке пузырьков. – А то эти наш гость принимать для инициирования болтовни не будет.

Катя достала из шкафа бутылку коньяка. Поставив её на тумбочку рядом с пузырьками, она сказала брату:

– Тебе тоже можно рюмочку для болтовни, только одну, не больше.

– И тебе тогда только одну, – обиделся Вениамин.

– Мне нельзя совсем, – возразила Катя. – На урок сейчас идти.

Она работала учительницей в школе.

– Жалеть будешь потом, у меня это последний экземпляр, в магазине такого теперь нету.

– Ничего, доживём до лучших времён. Не болей только.

Напомнив правила поведения для болящих и график приёма лекарств, Катя ушла в школу.

Ротмистров по её уходе немедленно нарушил предписанные ею правила. Поднявшись и облачась в отглаженные до остроты лезвия брюки, он пошёл на кухню. Вернулся с готовым кофе и порезанным на ломтики лимоном. Левенцов откупорил бутылку и наполнил рюмки. Едва выпили, на Ротмистрова напал приступ кашля. Кашель был сухой, мучительный, лицо у Ротмистрова побагровело, он задыхался. Левенцову было известно, что не может ничем помочь. Приступ длился пугающе долго. Когда наконец отпустил, Ротмистров с виноватым видом произнёс:

– Я наверно единственный из породы «гомо сапиенс» умею среди лета так вот кашлять.

– Ничего, Веня, вот закончим наш проект, дадут нам за него

Нобелевскую премию, и поедем поправлять здоровье в западную цивилизацию, в Баден-Баден, например.

— Мне для поправки здоровья западная цивилизация не годится, — возразил с серьёзным видом Ротмистров. — Я там был, в командировки, когда работал, ездил. Во Францию, в Германию, Италию...

— Неужто хуже, чем у нас? — изумился Левенцов.

— На первый взгляд, там лучше. За счёт мелочных удобств. Дома лучше, дороги, магазины, туалеты, сервис. И люди, на первый взгляд, культурней. За счёт соблюдения правил поведения. Но при случае они могут культуру эту, как одежду, снять. А у нас культура в глубине, её не всегда на первый взгляд увидишь, зато она всегда при нас. В нашей жизни присутствует нечто не от мира сего, вот что меня больше всего привлекает. Как подметил Лев Толстой, русскому мужику необходимо иногда выпить и побить зеркала. Это потому что русский мужик подспудно брезгует животной жизнью.

— Спасибо за интересную мысль. А то я никак не мог понять, отчего это мужики у нас в деревне как напьются, так начинают бить, не зеркала, правда. Зеркала им жалко, вместо зеркал они бьют своих жён. Оказывается, и пьют, и бьют из самых благородных побуждений.

Ротмистров рассмеялся, потом сказал:

— Ты чистокровно русский, Слава. Чувство юмора в тебе так изящно сочетается со склонностью к хандре. Ведь русская хандра, в сущности, это тоска о возвышенном. Для западного человека такая вещь абсурдна, даже унижительна. Когда я заводил там об этом речь, меня не понимали: если есть престижная работа, шикарная квартира и машина, да ещё возможность ездить в отпуск на шикарные курорты, то «чего же боле»?

— Веня, ты преувеличиваешь. Хотя доля правды, может быть, и есть.

— А больше доли и не нужно. Вся правда у нас в подкорке разе, да и то навряд ли.

— И всё же разделение в духовном плане на русских и нерусских, на мужчин и женщин неоправданно, по-моему, хотя и зиждется на объективном факте. По-моему, есть просто люди и нелюди. Я всегда мечтал о времени, когда люди всех национальностей собьются в человечество.

— В этом-то и парадокс. Ты отвергаешь разделение по национальному и половому признаку и тем самым обнаруживаешь свою национальную черту. На западе людей с такими взглядами не густо. Мы первые готовы на слияние, только равноправное. Но равноправное, судя по всему, это утопия. Запад навязывает нам борьбу за главенство в так называемом «однополярном» мире. Запад искони наступателен, западный образ жизни представляется ему верхом совершенства. Тебя, я знаю, это беспокоит не меньше, чем меня, в противном случае разве мы трудились бы с таким пылом над проектом, хотя он и не обещает денег лично нам. Мы и свои последние отдадим, только избавьте нас от чересчур нерусского: от нерусского телевидения, кино, газет...

— От нерусской музыки ещё, — добавил Левенцов, вспомнив про свою соседку-педагога.

— Да, всё нерусское пусть убирают! Давай по рюмочке за это.

Они выпили, и на Ротмистрова опять напал приступ кашля. Прокашлявшись, он сказал:

— Жаль, что я такой хилый. Я бы хотел сражаться за русскую идею.

— Ты и так борец будь здоров какой, — возразил Левенцов. — Не так уж много в природе субъектов, столь плодотворно работающих на Россию.

— Плодотворно! — усмехнулся Ротмистров. — Бескорыстно, да, но невостребованно, увы. А хотелось бы ощутить плоть своего дела, живой накал борьбы, ярость врагов, собственную ярость.

— Какой ты, оказывается, кровожадный! А на вид аристократичный...

– И ленивый, – добавил Ротмистров. – К сожалению, я ещё и ленив. А то задал бы перцу русофобам.

– Люблю ленивых, сам такой. Лень – благородное качество, по-моему. Надели природа леностью всяких там наполеонов, гитлеров, насколько благородней был бы мир!

– Всё хорошо в меру. Я из-за лени, к примеру, не способен на активную гражданскую позицию, даже голосовать на выборы не хожу.

– Мы братья с тобой по духу, Веня. Я тоже не хожу голосовать и, как это ни стыдно, угрызений совести по этому пункту не испытываю. Утешаюсь мыслью, что политика – игрушка для немудрых. Мудрые сидят дома и ждут, когда мимо них пронесут головы их врагов.

– Позиция не новая: пусть всё идёт как идёт! Это же кредо либералов, Слава.

– Не совсем, Веня, так. Либералы держатся за такую концепцию только в экономике, здесь мы с тобой подложим им свинью в образе нашего проекта. В политике они те же ястребы и радикалы. А я считаю мудрым не вмешиваться как раз в политическую борьбу.

– Если честные «мудро» откажутся от политической борьбы, нечестные окончательно сядут нам на шею.

– Не сядут, закон Всеобщего нас спасёт. Как сказал один тип, явившийся мне не то во сне, не то в галлюцинации, всё решает совокупное желание. Превысит желание большинства предел, за которым необходимость, и оно делается реальностью вопреки логике политической борьбы. Точки над «и» расставляет нечто надчеловеческое, нематериальное.

– Бог-то Бог, да сам не будь плох, – возразил Ротмистров.

– Эта сентенция, Веня, не для политической борьбы. В политической борьбе самые благородные намерения оборачиваются изменой. Возьми, к примеру, вероотступников советского времени – диссидентов. Я с пониманием отношусь к их неприятию всего мерзкого, что было в тогдашнем политическом режиме, но на поверку-то вышло, что воевали они не с мерзостями,

как им казалось, а с «заколдованными» ветряными мельницами, как Дон Кихот. Вместо добра из «благородной» борьбы получилось куда больше зла, чем было, это теперь невооружённым глазом видно.

— По-твоему, лучше было бы видевшим те мерзости их не замечать?

— По-моему, лучше. Диссиденты ведь кроме мерзостей ничего не замечали. Ненависть их изуродовала. Они видели в родном отечестве одни гулаговские параши. Те из них, кто не лишён был художественных дарований, со смакованием расписывали это дерьмо. Михаил Пришвин в те же годы видел весну света. Думаешь, он о мерзостях не знал? Он попросту отворачивался от них, как отворачивается от неэстетичных явлений любой нормальный человек. И кто оказался прав? Пришвин сеял добро, и его имя вызывает благодарность у любого, прочитавшего в детстве его книжки. А диссиденты... Написал ли хоть один из них что-нибудь стоящее после того, как им перестали мешать писать? Нет, они банкроты. Они могли писать лишь о выгребных ямах, а теперь, когда таких ям благодаря их деятельности стало вдесятеро больше, они устыдились самоё себя. Разменяв творчество на политическую борьбу, они оказались ни на что другое не способны, кроме как на пасквили. То есть, я хочу сказать, творчество главнее политической борьбы и совмещать эти вещи трудно. Те, кто скулил, будто бы им не давали творить, попросту творчески несостоятельны. Не творить им мешали, а публиковаться, это же как небо от земли. Нам с тобой разве кто помешает сотворить наш проект? Пусть его не примут, не опубликуют, но ведь мы творим!

— Да, Слава, и это замечательно. Но ты уклонился от вопроса о политической борьбе.

— Разве? Я же сказал, что участие в политической борьбе ведёт к бесплодию в главном — в творчестве. Кроме того, это ведёт к бесчестию, поскольку для одоления бесчестного противника приходится применять такие же подлые приёмы. Добродетелью ведь зла не победишь, ибо зло хромое и ходит на костылях добродетели.

— Ты забываешь, что «надчеловеческая» сила расставляет точки над «и» через противоборство людей, честных там или нечестных. По-моему, вопреки опасности сделаться бесчестным, надо всё-таки бороться.

— Так ведь и борются, недостатка в борцах никогда не будет. Потому что одних Небо наказывает страстью к наживе, других — к женщине, третьих — к политической борьбе. Каждый несёт свой крест. Некоторые достаиваются всеми страстями сразу. Таким, я считаю, можно простить даже самые тяжкие политические грехи, потому что они невменяемы. А если серьёзно, то я считаю, неважно, на чьей стороне воюют одержимые, любая сторона нужна, одно подталкивает другое. То есть я хочу сказать, мировая конвергенция оправдывает и тех, и этих.

Левенцов выпил ещё рюмочку коньяка, решительно проигнорировав возмущение Ротмистрова подобным эгоистичным поступком.

— Веня, Катя меня в другой раз на порог не пустит, если нарушу её наказ, — пояснил он и продолжил диалог. — Мы с тобой корпим вот за бесплатно над проектом, тоже крест нелёгкий. А Бог вещь, благо это подлинное или нет, но мы работаем в надежде, что по крайней мере для России это благо. Кстати, меня всё же точит червь сомнения: через Россию ли придёт мир к совершенству? Что там ни говори, а пока и в науке, и в культуре впереди-то Запад. Наше превосходство в духовности, как ты заметил, где-то в глубине, а на виду обезьянье подражание самому низменному, уже отработанному и отвергаемому на Западе. Мы плетёмся у них в хвосте. Я лично поклоняюсь достижениям западной цивилизации. И знаешь, читая в детстве Майн Рида, Вашингтона Ирвинга, Марк Твена, я остро ощущал американскую жизнь как свою.

Ротмистров хватанул воздуха, видно собираясь возразить, и закашлялся. На этот раз приступ терзал его целых пять минут. Он измученно откинулся на спинку стула и закрыл глаза. На лбу у него выступила испарина.

— Извини, Слава, я прилягу, — сказал он. — Немного нехорошо, придётся перейти на Катино средство.

Левенцов накапал из пузырьков лекарство. Ротмистров, приняв его, в изнеможении откинулся на подушку. Глаза у него закрылись, лицо сильно побледнело, но дыхание было ровным. Левенцов решил, что он уснул, но Ротмистров вдруг открыл глаза и с мученической улыбкой произнёс:

— Не думай плохо о России, Слава.

— Да ты что, Веня, с чего ты взял?!

— Я знаю, ты это говорил с иронией по отношению к самому себе... — Ротмистров перевёл дыхание. — Но по отношению к России лучше быть серьёзным, особенно теперь. Если уж и такие, как ты, перестанут веровать в Россию — это всё, конец. Раздави своего «сомнительного червя».

Спустя некоторое время Ротмистров, не открывая глаз, спросил:

— Ты бумаги на изобретения свои привёз?

— Привёз, они у меня в сумке в тракторе. Сейчас сбегаю.

Когда Левенцов вернулся, Ротмистров спокойно спал. Вячеслав взял с полки книгу и сел с ней у окна. В пять вечера пришла из школы Катя. Он сдал ей дежурство и поехал на своём мини-тракторе домой.

За ужином Наташа, переглянувшись с матерью, сказала:

— Слава, к зиме надо бы скопить денег на обувку, ты не мог бы поменьше тратить на бензин для твоих поездок?

— Мог бы, — ответил Левенцов. — Я мог бы вообще на тракторе не ездить, даже в огород.

Ужин завершился в тягостном молчании.

Часть третья. Тупик

«Потому что надо ещё найти ту дорогу, что приведёт тебя к предсказанному да ожидаемому счастью. Ведь часто людям только кажется, что они сами дорогу выбирают. Много чаще сама дорога выбирает людей и заставляет идти в неведомое. И счастье находит не тот, кто о нём только думает, а тот, кто в неизвестность шагать не боится. Но это потом. Сначала надо найти её, свою дорогу, ту, что станет для тебя линией жизни и судьбы. И гложут сомнения: туда ли пошёл ты, сделав первый шаг, на ту ли дорогу вышел? Быть может, твоя не эта, а вон та, что бежит рядом, призывно маня, а потом исчезает в тумане? А может, другая, которая пересеклась с твоей и ушла в неизвестность?»

В. Веденеев, А. Комов «Премьера без репетиций»

ГЛАВА 9. 1998 ГОД

1

Утро вступало на территорию дачи Бровкиных. Солнечный луч отыскивал лазейку в густых побегах хмеля и, проникнув в садовую беседку, разбудил бестактно Мишу, отсыпавшегося после ночного кутежа. Беспричинной светлой радости, что сопутствовала пробуждению когда-то, он не ощутил. Взглянув на часы, Миша пробурчал нечто неодобрительное по адресу дневного светила, разбудившего так рано, не было ещё восьми. Не открывая глаз, он ощупью нашёл на тумбочке пачку сигарет. Бровкин курил уже два года, но его здоровый организм всё ещё отвергал отраву. От сигарет Мишу подташнивало, мутило, начинало порой сильно биться сердце. Ему, в сущности, курить и не хотелось, но он курил, потому что курили все в его компании. Не открывая глаз, Бровкин извлёк из пачки сигарету и сунул её в рот, нащупал на тумбочке зажигалку. Теперь пришлось открыть глаза, хотя открывать их не хотелось. Закурив, он сделал без всякого удовольствия несколько затяжек. Организму стало скверно. Миша загасил сигарету и сел в кровати. Дел сегодня не предвиделось. Искать встречи с кем-либо из компании для просто так не хотелось. Читать книгу не хотелось и по-прежнему. Хотелось вот поспать ещё, но сон теперь, Бровкин знал по опыту, не придёт. Впереди был чересчур уж длинный день. Можно было, конечно, скоротать его за водкой, но даже мысль о водке после недельной непрерывной пьянки вызывала тошноту.

Миша принял холодный душ в садовой кабинке. Маленько полегчало. Он пошёл в дом.

— Ой! — обрадованно всплеснула руками мать. — Я думала,

ты до двенадцати будешь спать. Сейчас приготовлю завтрак. Чего бы ты хотел?

– Осетрину в шоколаде, – хмуро ответил Миша.

Мать засмеялась.

– Нет, правда, чего? – переспросила она.

– Сделай кофе, ма. И яблоко. Больше ничего.

– Да нешто это завтрак для такого богатыря! – Подойдя к сыну, она нежно притронулась рукой к его плечу. – Это оттого, что слишком много пьёшь. Брось ты эту водку. Ты же совсем другой стал, как пить начал. Не пей, родной.

– Поздно, ма, – с ленцой ответил Миша. – Я уже не могу представить себе жизнь без выпивки.

– Ладно, я найду врача, который поможет тебе. Ты не будешь возражать?

– Только без кодирования. Посторонней воли мне не надо.

– Хорошо, сыночек. – Мать стеснительно обняла сына, прижалась щекой к его груди.

Выпив кофе, Миша отправился в город на прогулку. Отправился пешком. Он с некоторых пор заметил удивительную вещь: ему опостытели машины, даже такие скоростные, как его «ягуар»! Это странное явление беспокоило его. Бровкин подспудно чувствовал, что «ягуар» – одна из последних его привязок к жизни. Странно было ощущать себя идущим через мост по узенькой пешеходной полосе в близком соседстве с проносившимися мимо машинами. Не только странно, но и унижительно. Машины, казалось, норовили умышленно зацепить его, несчастного пешехода, и, наверно, зацепили бы, кабы не защитный барьер, отгораживавший пешеходную полосу от проезжей части. Бровкин чувствовал себя не в своей тарелке.

Одной чугунной секции в наружном ограждении моста по-прежнему не доставало. Бровкин постоял у оплётённого проволокой провала, поглядел вниз на воду, на отчётливо различимую под водой песчаную косу, вспомнил, что так и не осуществил мечту нырнуть с моста в глубину. Нырнуть сейчас, после недельной пьянки, было бы неразумно, Бровкин явно был

не в форме. «Может, правда, бросить пить?» — с апатией подумал он.

Его привлёк вид монастыря. Стены с башнями, сверкающий позолотой купол церкви, узенькая, остренькая, устремлённая ввысь колокольня, весь этот старинный облик, чуждый суетному миру, вызывал в душе не чувство покоя, нет, но желание покоя. Мальчишкой Миша облазил со сверстниками все монастырские закоулки. Тогда монастырь был запустелый, брошенный. Проржавелая табличка на полуразрушенной арке ворот гласила: «Архитектурный памятник старины, охраняется законом». Увы, не охранял его закон, и, может быть, именно поэтому так тянуло тогда к его камням, знавшим другую жизнь. Сейчас монастырь отремонтировался, заселился. Мише захотелось посмотреть, как теперь там, внутри.

Бровкин перешёл мост и двинулся береговой тропинкой, миновал пустынный пляж, поднялся в тихонькие улочки. Вот и монастырские ворота. Мише представилось, будто в воротах стоит незримый сторож, охраняющий духовную обитель от посторонних вроде него. Он превозмог робость и вошёл в калитку. Двор залит солнечным, весёлым светом. По песчаной чистенькой дорожке идёт неспешно пара: молодой священник и пожилая женщина в тёмном одеянии. В отдалении, у общежития, развешено на верёвках сверкающее белизной бельё, а возле хозяйственного сарая трудятся монашенки: складывают в стопку разбросанную кучу кирпичей. До его слуха донёсся сверху мягкий посвист. Бровкин поднял голову и увидел в проёме колокольни двух молодых девиц в монашеской одежде. Лица у них были озорные. Приглашающими жестами они звали Мишу к себе. В ответ он дружески помахал рукой.

Бровкин прошёл в еловую аллею, постоял перед распятием, мысленно посочувствовал Христу, умершему такой мученической смертью, потом решил войти в церковь. Его поразила тишина. Тишина была особенная, не такая, как в пустом доме или в заброшенном каком-то месте, звуки здесь были: потрескивали свечи, шелестели одежды молящихся, разговаривали в закутке

у входа женщины, одна из которых была за конторкой со свечами и священными писаниями, и всё-таки казалось тише, чем в пустынной пустоте. Тишина была уютная, одушевлённая как будто.

Миша от природы наделён был тонким художественным вкусом. Чересчур уж «светский» образ жизни, какой он вёл, притупил в нём природжённую художественность, но под влиянием церковной тишины она проснулась в нём, и, внимательно оглядев церковный интерьер, он заметил одну из причин одушевлённости. Она достигалась продуманным подбором красок. Обрамление евангельских изображений и икон, приглушённая позолота в украшении амвона и иконостаса, затемнённые ниши, даже огромная мягко-серого цвета занавесь на ремонтируемом участке стены — всё это вызывало чувство гармонии и уверенности в том, что суетный этот мир всего лишь временное пристанище.

Миша посмотрел вверх на свисавшую на цепи огромную люстру со свечами. Туда, вверх, понеслась его немудрёная мысленная молитва: «Господи, прости!» Ему показалось, будто эта стихийно выплеснувшаяся из его нутра молитва прозвучала вслух и чересчур уж громко. Он смутился и пошёл на выход.

У калитки в воротах стояли просившие подаяния. Вид был живописный: на одном разодранное зимнее пальто в пику лету, на другом разномастная обувь, третий босиком, но следов уродства или инвалидности не видно, разве что багровые, выдающие усердное поклонение Бахусу носы. Бровкин, не обративший на эту удалую братию внимания, когда входил, теперь вынул из кармана мелкие купюры и не глядя их пораздавал.

Выйдя на улицу, он посмотрел в одну сторону, потом в другую. Солнце уже ощутимо припекало. Бровкин решил освежиться купанием в реке. Пляж был пустынен. Миша стянул с себя тенниску и джинсы и быстро искупался, долго плавать не хотелось. Не ложась на песок, он стоя стал обсыхать на солнце. Из приречной улицы вышла молодая компания. Юнцы расположились на песке невдалеке от Бровкина, извлекли из сумки бу-

тылки с водкой, полиэтиленовый стаканчик, хлеб, соль, лукови. Один в компании был совсем ещё ребёнок лет четырнадцати. Мишу покорило от некрасивой речи: что ни слово, то грязный, неумелый мат. Юнцы щеголяли блатными выражениями, разыгрывали из себя «крутых». В наивном неведении своём они, видно, полагали, что убогая матерная речь — неременный атрибут «крутых».

Миша презрительно сплюнул: плебс! Соседство этой шантрапы было глубоко противно. Он стал одеваться, хотя плавки ещё не просохли. Полиэтиленовый стаканчик уже шёл у юнцов по кругу. Один из компании, похожий растрёпанностью одежды и волос на огородное чучело (судя по категоричности косноязычия, он был, видно, лидер), поднёс наполненный водкой стакан четырнадцатилетнему подростку. Тот, плаксиво покривив лицо, стал отказываться от подношения. Лохматый угрожающе настаивал. Бровкин быстро подошёл и сказал с улыбкой:

— Не приставай к ребёнку, чучело. Ему рано водку. Вам всем, кстати, тоже.

— Проваливай, пока не урыли, — злобно произнёс лохматый, добавив для выразительности мат.

— Ор-ригинально, — изумился Миша. — За такие невежливые слова, щенок, я тебя сейчас не то что урю, а как бы это тебе сказать помягче...

Лохматый растерялся, утращённый, видимо, не столько Мишиными словами, сколько его холодной, загадочной улыбкой. Но остальные вскочили на ноги и окружили Бровкина. Боевой озноб приятно взбудоражил Мишу. Он даже не сосчитал, сколько их против него одного, вроде, шестеро. Бровкин не сомневался, что расшвыряет эту шакалью свору за полраунда. Он забыл, что давно забросил тренировки и в атлетическом клубе, и в боксёрском зале, забыл, что былая великолепная физическая форма подорвана курением и водкой и что он перед этим пил семь дней подряд. Бровкин вспомнил всё это, едва началась драка. Он вдруг обнаружил, что в руке при ударе нет ощущения той лёгкости, что сопутствовала точности и быстроте. Рука была тя-

жёлая. От медлительных её ударов противники отлетали, точно пёрышки, шагов на пять, но оставались на ногах. Совсем не то бывало прежде. Бровкин умел бить играючи, раскованно, и сражённые его ударами не отлетали прочь, нет, они валились на месте как подкошенные.

Схватка продолжалась уже, наверно, более минуты, а на земле не лежало ещё ни одного противника, это обстоятельство раздражало Бровкина. Злило и другое обстоятельство: он, оказывается, разучился уклоняться от ударов. Эти недоумки-сосунки били его, били весьма чувствительно, вот что было глубоко противно. Били, в основном, по голове. Мишу уже беспокоило предощущение нокдауна. «Только не это!» – приказывал он себе, но получал всё новые и новые удары. Бровкин стал горячиться, его кулаки всё чаще поражали пустоту, а противников делалось как будто больше. Миша начинал понимать, что долго не продержится.

– Плебеи! – кричал он, задыхаясь. – Я вас научу культурному обращению, недоумки голозадые!

Но ярость его была, увы, бессильна. Ко всем неприятностям добавилась ещё усталость. Мышцы стали непослушными, Бровкин уже не бил прицельно, а махал руками, точно жалкий дилетант. Дело шло к печальной для него развязке.

Уходящим уже сознанием Миша вдруг отметил, что обстоятельства чудесным образом переменились. В дело на его стороне вступила невидимая сила. С глухим стуком шлёпнулся на землю да так и остался лежать один противник. Другой с коротким вскриком ткнулся в песок ничком, точно собака, учуявшая нечто интересное. Сознание у изумлённого Бровкина прояснилось, и он увидел ладно скроенного молодца, швырявшего сосунков, как в кино про суперменов. Миша даже руки опустил от восхищения. В калейдоскопичной быстроте мелькали подброшенные в воздух тела сосунков, но трудно было уследить, чем орудует его неожиданный союзник: то ли ногами, то ли руками, то ли всем сразу вместе. Так или иначе, но всё было кончено в полминуты. Юнцы лежали на земле: кто молча,

кто постанывая, лишь подросток стоял в стороне и с испугом глядел на происходящее.

– Они его, – кивнул Бровкин на подростка, – хотели насильно водкой напоить, я вступился.

– Да и так видно, на чьей стороне правда, – ответил молодец.

Взяв за донышко бутылку, он вылил её содержимое на землю, затем проделал то же с остальными бутылками. Поверженные им начали с кряхтением подниматься. Когда поднялись все, молодец сказал:

– Мотайте отсюда, пока целы.

Юнцы этому совету без возражений подчинились.

– Ты бы не ходил за ними, малый, – обратился Бровкин к подростку, двинувшемуся следом за компанией.

– А мы и не пустим, – сказал молодец.

– Меня зовут Миша, – сказал Бровкин.

– Андрей, – представился незнакомец.

Они пожали друг другу руки. Андрей улыбнулся:

– Да, личико они тебе изукрасили изрядно. На работу как теперь?

– С этим нет проблем. Обидно вот, от сосунков. Я сегодня не в лучшей форме... А ты работал, как... Это что, каратэ?

– Каратэ я тоже занимаюсь, но вообще-то обычный рукопашный бой.

– В городе есть такая секция?

– Хотелось бы наладить. Я здесь в гостях у бабушки, а живу в Москве. У нас несколько тренировочных баз в Подмосковье.

– Много бы дал, чтобы у вас позаниматься.

– Много не надо. Взносы мы платим небольшие: за аренду помещений, за ремонт, тренеру немного. У нас братство. Подражаемся всем коллективом на работу, деньги в общую кассу, помогаем, кому трудно.

– У вас организация?

– Про федерацию рукопашного боя слышал?

– Нет. А какая у вас цель?

– Служить отечеству. Тренировки для нас – подспорье в главном: учимся жить по правде.

– Да неужто правда? – изумился Бровкин.

– Приходи, посмотришь. У нас принцип: неважно, кто ты и какой, важно, что стремишься к лучшему.

Андрей написал в блокноте адрес, телефон и, вырвав лист с написанным, отдал его Бровкину.

– Тебя тоже приглашаю, – обратился Андрей к подростку. – Поживёшь у нас, понравится – останешься, не понравится – отпустим.

– Я согласен, – дрогнувшим в надежде голосом ответил подросток и покраснел.

– Родители тебя отпустят?

– Я у тётки живу.

– Тебя как зовут?

– Коля.

– Пойдём решать вопрос к твоей тётке, Коля.

Андрей пожал Бровкину на прощанье руку и сказал: «Буду рад, если придёшь», – потом двинулся с Колей по тропинке в город. Миша смотрел им вслед, пока они не скрылись за поворотом. В задумчивости повертев в руке листок с оставленным Андреем адресом, он уложил его в портмоне отдельно от других бумаг.

2

Беловодску не везло на мэров. Выбрали одного – он через полгода погиб в автомобильной катастрофе. Выбрали другого – застрелили «друзья» по коммерческому делу. Третий сам выпрыгнул с шестого этажа. Город собирался выбирать четвёртого. Одним из кандидатов на пост мэра в этот раз был Борис Павлович Кулагин. В связи с предвыборной кампанией его «волга» однажды утром остановилась невдалеке от ворот монастыря, монастырская стена в этом месте поворачивала в идущую перпендикулярно улице. За рулём сидел сам Кулагин, больше никого в машине не было.

Из «ягуара», стоявшего в проулке у противоположного угла монастырской стены, вышел Константин Углов. Он направился к воротам. Через несколько минут Кулагин проследовал туда же. Углов уже сидел на скамье в аллее. Кулагин прошёл мимо, постоял с видом смиренного прихожанина перед распятием, потом будто невзначай опустился на скамью с Угловым рядом. Оглядевшись, Борис Павлович негромко произнёс:

— Разведка донесла, мой главный конкурент на пост мэра имеет шанс меня переплюнуть. Надо против этого возможного мэра предпринять профилактические меры. — Он вынул из кармана пиджака листок. — Здесь список лиц, с которыми надо провести работу. Часть из его окружения, часть из избирательной комиссии. Городскую администрацию я беру на себя. Действуйте без риска, предпочтительно деньгами. Можете и пугнуть слегка, это ваше дело. На, прочти. Здесь только фамилии и должности. Номера телефонов, адреса, досье — тоже ваше дело.

Углов несколько секунд глядел на список, потом вернул лист со словами:

— Как оплата?

— Повременио-премиальная, согласно вашему отчёту.

— Идёт, — удовлетворённо произнёс Углов и поднялся.

— Да, ещё одно небольшое дельце, — остановил его Кулагин. — В городе, точно тараканы, расплодилось частные хлебопекарни. Пора их потравить. Мне они не конкуренты, а вот другу моему, директору Продторга, всю плешь уже проели своим постоянно свежим хлебом. Горожане клюют на эту свежесть, а напрасно, они имеют право на проверенный, надёжный хлеб — таковой поставляется моим заводом. Пуганите с улиц этих лоточников, а то они ещё магазины пооткрывают.

— Как оплата?

— По исполнению. Через пару дней проеду — чтобы ни одного таракана, то бишь лоточника, на улицах не видно было.

— Бу сделано, — сказал Углов и пошёл к калитке.

Кулагин постоял некоторое время со смиренно склонённой головой перед распятием. Со стороны можно было подумать, что он и вправду молится: Борис Павлович не был лишён артистических способностей.

Углов тем временем сел в «ягуар» и сказал Бровкину:

– Гони домой и приезжай на «москвиче», дельце есть. Запасной номер не забудь.

Бровкин не стал расспрашивать про «дельце», ему, во-первых, это было глубоко неинтересно, а, во-вторых, он знал, Углов любит поиграть в таинственность, пусть себе играет. Спустя полтора часа в пригнанном Мишей «москвиче» был уже комплект: Углов, Анбоев, Стажёр и Бровкин. К «москвичу» прилепили другой номерной знак.

– Готовность номер один, – объявил Углов и скомандовал Бровкину: – Давай на привокзальную площадь.

Волнение охватило Бровкина, когда Углов велел припарковать машину к Любиному лотку с хлебом. Волнение перешло в тревогу, когда Углов скомандовал: «За мной!» – и Мишины коллеги, рослые, во впечатляющей униформе – чёрные кожаные куртки, – выскочили из машины и, точно волки Красную Шапочку, окружили его наивную голубоглазку. Смутно сознавая, что сейчас он вступит в конфликт с лидером, Бровкин тоже выскочил из машины, но немного опоздал. Он предстал перед Любой в момент, когда Углов уже перевернул лоток. У Миши потемнело в глазах от Любиного взгляда. Она словно не замечала ни грозных молодцев, ни перевернутого лотка, ни рассыпанных на земле булок и батончиков, смотрела только на него. Поруганное возвышенное чувство на него смотрело. Бровкину казалось, он проваливается в бездну. Слово издалека донеслось до его уха обращённые к Любе слова Углова: «Ещё раз увидим здесь – пеняй на себя». Потом Бровкин услышал обращённые уже к нему самому слова: «Мотаем. Живо!» Как будто с некоторым чувством облегчения он кинулся за руль. Жутко было сознавать, что Люба провожает его взглядом. Какое движение души выражали сейчас её глаза? «Трус! Ничтожество!» – стучало в голове.

За спиной, казалось, выростала стена, отсекающая его навсегда от жизни. А впереди разверзалась пустота.

Сознание Бровкина осталось где-то позади, «москвич» шёл «на автопилоте». На обгоне он чиркнул правым бортом «таврию», потом вызывающе промчал на красный светофорный свет. Такие вещи при проведении операции чреватые были осложнениями.

– Ты что, пьяный, что ли? – зло спросил Углов.

– Хуже. Я, кажется, ничего не вижу, Костя. Заболел...

– Меняемся местами. – Углов сел за руль и отвёз его домой.

Две недели Бровкин пил водку с утра до ночи. Мать привела к нему врача, тот предложил закодировать его от пьянства. «Нет, я сам», – ответил Миша и слово своё сдержал. Он всегда держал слово перед матерью. Бровкин мужественно бросил себя в кошмар трезвого, лишённого смысла бытия. Месяц абсолютно трезвой жизни ничего не изменил, глаза у Миши оставались безжизненно пустыми. Он почти ничего не ел. На предложения матери пойти по врачам он отвечал, что врачи ему не помогут. Мать потихоньку плакала.

Но у Бровкина был могучий организм. Миша выздоровел. Через пару месяцев он почувствовал себя уже способным сесть за руль. И Бровкин сел в свой «ягуар» и укатил к Углову. Как это ни казалось ему противоестественным, он соскучился по своей компании. Мать опять плакала, теперь от радости: она лучше сына знала, как много значит для него снова сесть за руль.

– Ты очень кстати, – обрадовался ему Углов. – Ночью по-трошим одного должника по заказу. Ты в форме?

– В форме.

– А «ягуар»?

– И подавно.

– Замётано. Сбор в девятнадцать.

– В каком районе объект?

– Лесная улица, 338. Северная окраина, частный дом.

Миша побледнел: Любин адрес сидел у него в памяти и теперь яростно застучал в виски.

– Много должны? – спросил Бровкин, стараясь сохранить спокойствие.

– Не знаю. Заказчик тыщу баксов обещал.

– Костя, это дело надо отложить. – Бровкин уже не скрывал волнения. – Хоть кровь с носу, Костя! Там моя... хорошая знакомая, я не могу... Я оплачу их долг. Втрое, вчетверо больше заплачу!

– Дело пущено, – безразлично пожал плечами Константин. – Иди сам к шефу, если хочешь... Я так понял, на тебя рассчитывать не надо?

– Дела не будет, Костя. Я еду к шефу, жди отбой.

Но получить отбой оказалось не так просто. Шеф был неуловим. Бровкин бешено мотался с одной явки на другую – шеф был везде, но к моменту Мишиного приезда его на месте не оказывалось, и никто не знал, где его искать. Ночь неотвратимо приближалась. У Миши было чувство, будто он ребёнок, беспомощный и беззащитный, очутившийся по воле тёмных сил среди безжалостных зверей.

В десять вечера он поймал-таки шефа на одной из явок. Светловолосый гигант нордической наружности сидел в кресле, вольготно раскинув ноги, и рассматривал свои начищенные до блеска туфли. Бровкин с ужасом подумал, что готов броситься перед этим «суперменом» на колени. Изложив суть просьбы, он заключил её словами:

– Я оплачу их долг. Втрое, вчетверо заплачу.

Шеф взглянул на него с откровенной гадливостью. Шефу было отвратительно слюняйство этого видного вроде парня: выложить из своего кармана любые деньги за какую-то знакомую юбчонку! Превозмогая отвращение, он спросил:

– Деньги с собой?

– Да, то есть они дома, – обрадованно спохватился Бровкин. – Я мигом привезу.

– Жду один час, – металлически отчеканил шеф. – Опоздаешь на минуту, будет поздно.

Бровкин ринулся домой. «Ягуар» мчал по ночным улицам со скоростью спортивного самолёта. Через десять минут Миша

подъехал к дому. Не отрывая взгляда от часов, он взбежал на второй этаж. «Десять минут на обратный путь и здесь минут пять — успею!» — лихорадочно думал он. Родители уже спали, пришлось их разбудить.

— Ма, мне нужны три тыщи баксов, — объявил он матери. — Прямо сейчас. У меня всё в банке, завтра я тебе отдам.

Он зависил степень готовности матери на всё ради него. Мать действительно его любила больше жизни. Но не больше денег. Впрочем, дело было не в любви. Сказалось просто сидевшее у неё в генах чрезмерно уважительное отношение к деньгам. Выкинуть среди ночи неизвестно на какую цель три тысячи долларов было ей не по силам.

— Зачем они тебе? — строго спросила она и поджала губы.

— Надо, ма. Я потом скажу.

— Нет, скажи сейчас.

— Ну, одна знакомая долг должна вернуть, а у неё нет денег.

— Чего это приспичило твоей знакомой долг ночью возвращать? До света потерпеть не может?

— Не может, ма. Если она не уплатит через полчаса, у неё будут неприятности.

— Ничего, переживёт. Надо было думать, когда в долг брала.

— Ма, ты что? — пролепетал в растерянности Бровкин. — Я верну ведь завтра...

— Нет, сын, сейчас не дам, тебе, уверена, это не на пользу.

— Извини тогда, — сказал очень тихо Миша. — Я не знал, что... Извини.

Необычайно мягкая улыбка проступила на его лице, при виде неё мороз прошёл у матери по коже. Она нежно прикоснулась рукой к его плечу:

— Не сердчай, мой мальчик, ты ведь у меня мужчина. Ты, даже когда маленький был, никогда не плакал, если тебе отказывали в чём-нибудь. Я тебя очень прошу, никуда сейчас не езд. Ляг и поспи, утро вечера мудреней.

— Хорошо, мама, — сказал Миша, глядя не на мать, а на нечто отдалённое. — Я не поеду.

Он пошёл в свою комнату. Взял, телефонную трубку, набрал номер, попросил:

— Мне шефа.

Услышал в трубке холодное, нордическое «Да?», и виновато произнёс:

— Прошу меня простить, не нашёл денег.

Потом Бровкин лёг не раздеваясь на кровать и мгновенно погрузился в каменно-тяжёлый сон. Через три часа он очнулся с ощущением, будто только что прилёг. В сознании всё оставалось до жуткой боли свежим, и Миша чувствовал, что может сойти от этого с ума. Он подошёл к не занавешенному с вечера окну. Уже светало. Бровкин смотрел застылым взглядом на садовые деревья. Они являли собой жизнь и красоту, смотреть на них было больно. Миша зашторил окно, но легче не стало.

Через час Бровкин сел в «ягуар» и поехал. Он не задумывался над вопросом, куда едет, знал, что «ягуар» сам его куда надо привезёт. «Ягуар» привёз на высокий речной берег. Бровкин вылез из машины и долго смотрел на протянувшийся по противоположному берегу Беловодск. Пoblёскивала маковка монастырской церкви. Ярко желтела песчаная коса пляжа. В отдалении виднелись заводские трубы, здание железнодорожного вокзала, а поближе — приземистые домики, сады. Бровкин помнил, как всё это когда-то было мило. Теперь от всего была лишь боль.

Миша поехал в город. Остановился на привокзальной площади в том месте, где Люба раньше торговала хлебом. Теперь здесь стояла полотняная палатка с мужской обувью. На него навалилась вселенская апатия, не хотелось ничего, не возникло даже желания снести эту палатку. Бровкин сел в машину. «Ягуар» вымахнул на Лесную улицу и вдруг остановился. Бровкин знал, в каком месте он стоит. Миша глядел прямо перед собой на дорогу. Повернуть голову направо, к Любиному дому, было страшно. Наконец он всё же повернул.

Ограда палисадника повалена, цветы растоптаны. Бровкин вылез из машины, медленно подошёл к крыльцу и долго смот-

рел на два пулевых отверстия с паутиной трещин в Любином окне. По ним было видно, что стреляли не на поражение. Миша тронул дверь, она отворилась. В доме никого. Дверцы шкафов раскрыты, кругом раскиданные в беспорядке вещи. «Всё бросили, уехали налегке», – понял Бровкин. Ему вдруг пришло в голову, что он мог бы предупредить Любу. Но разве это изменило бы что-нибудь?

«Я мог бы увезти её! – сверкнуло в голове прозрение. – Увезти с родителями вместе!» Эта неожиданная мысль взволновала Мишу. «Но ведь я могу их разыскать, – подумал он. – Могу начать новую жизнь вместе с ними!» Отчаянная радость перехватила у него дыхание: он едет на их поиски, немедленно!

Документы были при нём. Бровкин снял со счёта всю валюту. Дома он объявил матери, что уезжает надолго, возможно, навсегда. Мать залилась слезами, потом сорвала с себя золотые серьги, кинулась за деньгами и драгоценностями, выложила всё на стол с криком:

– Забирай всё, плати долги за кого угодно, только не бросай меня, Мишенька, сыночек мой!

От её величавого облика русской боярыни не осталось и следа. Смотреть на её истерику было тошно. «Хорошо хоть, отец на работе», – с тоской подумал Миша.

– Поздно, ма, – произнёс он с нежностью. – Мне теперь деньги не нужны.

Мать, упав на диван, зарыдала. Миша метнулся прочь из комнаты и осознал себя уже мчащимся в «ягуаре» по асфальтовой дороге. Дорога, увы, не вдохновляла. Возбуждение от принятого решения уже схлынуло. В голове была предельная ясность мысли. Он не сможет начать новую жизнь, даже если разыщет Любу. Он уже не тот чистый Миша Бровкин, который мог так радоваться движению души на её лице. Такие вещи его уже не тронут. Потому что жизнь оказалась жестокой чересчур. Миша, оказывается, непригоден для такой жестокой жизни. Он только теперь ощутил в себе миллионлетнее засилье генов доброты и справедливости. Бровкин всё понял теперь. Его по-

слали в этот мир с задачей сделать всё, что в его силах, чтобы этот чувственный, вещественный, единственный во всей вселенной мир стал приспособлен для души, тоскующей о счастье. Он не справился с задачей, спасовал перед хитросплетениями удовольствий, низости и зла, перед подлостью и тупостью. Тёмные силы раздавили его, и начать борьбу сначала Миша уже не сможет. Чтобы начать сначала, надо вернуться и забыть. А сейчас в этом мире у него ничего больше не осталось. То, что у него якобы есть ещё Люба, мать, отец — самообман. У него нет ничего, кроме кучи денег в сумке, лежащей рядом на сиденье...

Звякнула под колёсами накладная мостовая железяка. Бровкин, очнувшись, посмотрел вперёд. На его лицо наплыла улыбка, былая, удалая, бесшабашная. На мосту работала ремонтная бригада. Левую половину пути закрыли для движения, отгородив барьером. Секции барьера стояли вкривь-вкось ещё не закреплённые. Барьер же, отделявший проезжую часть от пешеходной, вовсе сняли, видимо, собираясь заменить.

Миша сбавил скорость. У прогала в чугунном ограждении моста стояла прислонённая к ограждению свежечелитая чугунная секция. «Неужто литейные цеха заработали?» — машинально отметило у него сознание. Проволоку, оплетавшую прогал, ремонтники сняли — всё благоприятствовало Мише. Крутнув руль влево, он точно рассчитанным ударом сбил барьерную секцию так, что её отбросило в сторону. Остальное было делом техники. Бровкин с ювелирной точностью «вписал» машину в прогал в наружном ограждении.

Он о многом успел подумать, пока летел с тридцатиметровой высоты. Успел даже подумать, нырнёт ли его «ягуар» в глубину или промахнётся и ударится в песок на мелководье. «Ягуар» не промахнулся, нырнул точно в глубину. Всплеск инстинкта самосохранения заставил Мишу попытаться открыть дверь, но было уже поздно, давление воды намертво её заклинило. Вода хлынула в его могучие, так любившие сладость вдоха лёгкие. Последняя Мишина мысль в этом мире была о маме. Он раскаивался, что своим уходом принесёт ей боль.

3

В не столь далёком 91-ом году, вскоре после августовской победы «демократов» над ГКЧП-истами, когда взлелеянные причастностью к кормушке партноменклатуры перевёртыши уверовали в безнаказанность дальнейшего обогащения, одна полурусская «демократиха» заявила с высокой трибуны, что истинная ценность в этом мире — права личности. Она, видимо, имела в виду узаконение прав на наворованное. Для обеспечения этих прав, по её мнению, позарез необходимо было переселить в иной мир тех, кто к понятию «личность» не имеет никакого отношения, то есть совков и старцев, которые, будучи молодыми, имели глупость защитить от нацистского рабства цивилизованную Европу, откуда и почерпнула демократиха сведения о своих правах.

Демократихе недоставало художественного воображения, она не могла представить, что через какой-то миг, с точки зрения Вселенной, сама сделается старенькой, и усвоившие её мысли сосунки, уже и сегодня не считающие стариков за людей, к моменту её старости плюнут ей в лицо что-нибудь похлеще того, что плюнула она по адресу нынешних пенсионеров.

Закон о выселении стариков в иной мир официально, правда, принят не был, но в народе прошёл слух, будто в верхах уже решили предоставить пенсионерам дополнительные льготы, такие, например, как разрешение переходить улицу на красный свет светофора, отпуск по заниженным ценам просроченных лекарств и заражённого сибирской язвой мяса. Дух вымирания стал в стране необычайно модным. Он поразил, как показывала статистика, тех, в чьих генах была заложена потребность в осмысленном труде, а не в пришедшем ему на смену «праве личности». В тоске по осмысленному труду умирали даже и стяжатели, страдавшие от конфликта с благородными своими генами.

Вскоре после добровольного ухода в мир иной Миши Бровкина захворал и бывший его шеф Борис Павлович Кулагин. Ска-

залась, видно, лихорадка избирательной кампании. На выборах в мэры Беловодска Кулагина обошёл на пять процентов голосов директор городского рынка, занимавший при советской власти должность председателя горисполкома, а теперь откровенный вор. Борис Павлович воспринял своё поражение со странным безразличием, одно это уже свидетельствовало о нешуточном заболевании. Но были и ещё более грозные симптомы. Ему, например, показался вдруг сомнительным этот мир, в котором ложь на каждом шагу, в котором рука руку моет, в котором всё строится на праве грубой силы и несправедливости, то есть, тот самый мир, в котором он чувствовал себя, как рыба в воде. Более того, им овладела хандра и назойливо полезли в голову мысли о неправильно прожитой жизни.

Через четыре месяца такой хандры его вдруг стошнило от принятой перед обедом рюмки водки. Никаких фуршетов накануне не было, лишнего Борис Павлович не принимал уже неделю, и вдруг стошнило! Прополоскав горло, он тут же снова выпил, его опять стошнило. Борис Павлович выпил в третий раз — тот же результат. Кулагин оловянно посмотрел на початую, но недоступную бутылку. «За какие же это грехи такие?» — испуганно подумал он. — Чего же я теперь делать-то на досуге буду?» Испуг столь сильно поразил его, что он не решился на повторную попытку ни в этот день, ни в два последующие. Лишь на четвёртый день вечером Борис Павлович уединился для решающего эксперимента. Закуска была на столе, бутылка вскрыта. Кулагин наполнил рюмку, сказал: «С Богом!» — и мужественно выпил. Его вырвало через три секунды, он не успел даже добежать до туалета. Целый час после этого Борис Павлович сидел перед вскрытой бутылкой в отрешённости. Потом объявил самому себе: «Ну и что, брошу пить и всё. И меня тошнить не будет!»

Бросить пить оказалось не так уж сложно, но возникли трудности в отношениях с нужными людьми. Нужные люди приняли отказы Кулагина от участия в фуршетах за гордыню, и отношение к нему полярно вдруг переменялось. «Мэр несостоявший-

ся! — со злорадством заговорили о нём в его отсутствие. — Из „совков“ в люди вылез, а туда же...» Нужные люди стали его сторониться. А поскольку ненужных людей Кулагин в своём окружении не держал, то скоро оказался в полном одиночестве. Жена в счёт не шла, она, чем дольше жила с ним, тем больше превращалась в заурядный экземпляр из биологического вида хотя и позвоночных, но безмозглых млекопитающих. Говорить она, правда, умела больше прежнего, но слушать уже не могла.

При общительном характере одиночество оказалось для Кулагина нелёгким испытанием. Но он не сломался, нёс свой крест достойно. Тогда судьба нанесла ему ещё один удар. Его стало тошнить и от пищи. Сначала только тошнило, потом каждый приём пищи стал заканчиваться рвотой, причём, особенно яростно рвало почему-то от самой любимой его пищи. Кулагин загрустил. Он никому не говорил о своём наказании, старался сохранять былую бодрость на работе, и никто из подчинённых вроде бы не замечал в нём тайной грусти, но вскоре началось катастрофическое похудение. Худело, как нарочно, в первую очередь лицо. Кулагин обратился за разъяснением такого непонятного явления к знакомому врачу. Тот, обследовав его, оптимистично вымолвил: «Скорей всего, рак пищевода», — и дал направление в онкологический кабинет. Обследование в онкологическом отделении диагноз подтвердило. Кулагину предложили хирургическую операцию. Борис Павлович отказался. Он уволился с директорского своего поста, решив умереть в одиночку.

Однако смерть с заключительным аккордом не спешила, видно, смаковала удовольствие от агонии жизнелюбивого, самоуверенного человека. Смерть точно издевалась над Кулагиным. Она посадила его, такого тонкого гурмана, на унизительную диету: хлеб и воду — лишь такое пищевое сочетание проходило иногда через его большой пищевод не вызывая рвоты. Но сон по ночам был пока ещё крепкий, и днём Кулагина донимала потребность в действии. Выходить из дома он не решался, стеснясь страшной худобы. Приходилось с утра до вечера ходить

из угла в угол четырёхкомнатной квартиры. Безделье было самым тяжким наказанием. Смотреть телевизор Борис Павлович не мог по причине бесспорного над ним превосходства в интеллекте.

Кулагин попробовал обратиться к книгам, не к тем так называемым «бестселлерам» про секс и суперменов (он не хотел марать свой интеллект этой чушью), а к настоящим художественным книгам, проверенным временем и вкусами внушающих доверие людей. Увы, проверенные временем книги оказались недоступны, они подавляли не то, чтобы более высоким интеллектом, а каким-то неуловимо тонким превосходством в самом важном. В чём заключается это самое важное, Борис Павлович не мог понять, но ясно чувствовал, что книги издеваются над его директорской самоуверенностью. Кулагин оставил чтение. Из самолюбия он решил, что книги пишутся для детей и подростков, а он вышел из такого возраста.

Борис Павлович попытался занять оставшееся до выноса вперёд ногами время мыслями, но и здесь потерпел фиаско. Оказалось, за годы работы в должности директора мыслить Кулагин совершенно разучился. То, что он принимал за мысль, было, оказывается, всего лишь умственным упражнением, мало отличавшимся от упражнений на компьютере. Ни мыслить, ни жить воспоминаниями о прошлом Кулагин не умел. На какое-то время выручило разгадывание кроссвордов, но это бесплодное занятие не только не требовало мышления, но и отупляло, и по этой причине оно ему скоро надоело.

Время потянулось с убийственной медлительностью. Вдобавок по ночам стала донимать бессонница. «За какие же грехи-то, Господи!» — с мукой вопрошал Кулагин ночную тьму. Он молил Бога, чтобы тот послал скорее утро. Спустя тысячелетие утро и вправду наступало. Тогда Борис Павлович принимался молить Бога, чтобы тот послал скорее ночь. Но ночь приходила лишь спустя тысячелетие. Такая растяжка времени не могла не сказаться на внешнем облике. Кулагин избегал смотреть на себя в зеркало, но когда случалось ненароком увидеть в нём замо-

гильное обличье старика, у него возникало недоверие к физическим законам оптики: чересчур уж вызывающе непохож был тот старик на бывшего директора Бориса Павловича Кулагина.

Однажды утром Кулагин глянул в окно и замер в удивлении: за окном белым бело от снега. Оказывается, лето уж прошло, а он и не заметил, хотя каждый день и каждая ночь в отдельности тянулись бесконечно. Зимой в его болезни наступило облегчение: Борис Павлович перестал испытывать потребность в деятельности. Незаметно прошёл Новый год, где и с кем встречала его жена, Кулагина не волновало.

Время перестало тяготить, хотя ночами Кулагин по-прежнему не спал. Небо сжалилось над ним: Борис Павлович вдруг обнаружил в себе способность вспоминать ушедшее. Проблема заполнения бесконечного досуга разрешилась. Кулагин запоем вспоминал детство, юность, студенческие годы. Он безмерно удивлялся: жизнь в воспоминаниях представляла восхитительной реальностью, куда более реальной, чем сиюминутная реальность. И что особенно его удивляло, самыми прекрасными были воспоминания, никак не связанные с материальными успехами. Все его удачи в борьбе за место под солнцем, в продвижении по служебной лестнице, в завоевании высокого положения, в росте материальных накоплений — всё это или вовсе не поддавалось воспоминаниям, или воспринималось досадной пустотой, провалом в жизненном пути. Реальностью из прошлого было лишь то, что приходило помимо его воли, а всё, что Кулагин брал усилием, расплывалось в нечто неосязаемое, нереальное.

Пришла весна. Борис Павлович радовался ей, как ребёнок, хотя был уже фактически скелетом. Эта тихая радость смертельно больного человека несравненно больше нравилась ему, чем то сытое, горделивое директорское довольство, какое он испытывал будучи самоуверенным, здоровым кобелём (так величала его одна любовница). Ему, как никогда прежде, хотелось жить. Хотелось пожить ещё одно хотя бы лето. Это при том, что жизнь не могла уже дать ничего, кроме воспоминаний. Глядя в ванной

на скелет в зеркале, Борис Павлович сокрушался: «Нет, до осени не дотянуть».

Однажды в ясное апрельское утро Кулагина неудержимо потянуло прочь из стен. Он побрился, поодеколонился, надел любимый, ставший ему теперь великоватым, светло-коричневый костюм, бежевого цвета галстук и вышел на улицу. Едва вдохнув на улице весенний свежий воздух, Борис Павлович почувствовал головокружение. От слабости его шатнуло. Он оперся рукой о ствол дерева и подождал, пока головокружение пройдёт. Потом осторожно двинулся по тротуару. Слабость не проходила. Кулагин останавливался и отдыхал, опираясь о деревья, стены домов, ограды палисадников. Мысли повернуть назад у него не возникало. Весна на улице была так хороша, что возвращаться из неё в осточертевшие за долгую зиму стены было более чем трудно.

Кулагин направился в район окраинных улиц. Очутившись возле монастыря, долго с чувством умиротворения смотрел на его строения. Прирождённый атеист, Борис Павлович вдруг ощутил какую-то причастность к этой Божьей обители. Он вошёл во двор и поднялся по ступенькам ко входу в церковь. Здесь на него навалилась слабость, и он присел на верхнюю ступеньку.

— Вам плохо? — спросила его юная монашенка.

Кулагин смущённо мотнул головой и, поднявшись, вошёл в церковь. Он смотрел на иконы, не зная, какой из них следует помолиться. Помолился всем сразу, мысленно обратясь к Всевышнему: «Господи, прости мне заблуждения мои. Я ведь не желал никому зла, а если и творил его, то по недомыслию. Не такой уж я пропащий грешник, Господи. Прости».

Из монастыря Кулагин отправился вниз по улице к реке, потом пошёл вдоль берега по петляющей вдаль тропинке. Когда наваливала слабость, Борис Павлович садился на землю, а поднявшись, шёл дальше в полевой простор. В прошлогодней, бурой, просохшей уже траве по бокам тропинки пробивалась зелёная поросль, на ветвях кустарника набухали почки, а в небе, неоглядном синем небе, парил и самозабвенно заливался треля-

ми возрождающийся вечно жаворонок. Кулагин добродушно усмехался: никого в этом мире не опечалит скорый уход его, Борьки, неумолимого заводилы ребяческих игр на этой вот земле. Никто уж и не помнил того Борьку, все теперь видели в нём почему-то не его самого, а бывшего директора Бориса Павловича. «Странно устроен мир», – просветлённо думал он.

Кулагин удалился от города километров уже на пять, когда с севера налетел холодный ветер. Синяя туча напозла на солнце. Кулагин повернул назад. Ветер уже всю свистел по полю. Начавшийся дождь со снегом хлестал под порывами ветра то в спину, то с боков. «Плащ надеть не догадался» – подумал Борис Павлович с беззаботностью младенца. Ветер и колючий дождь не позволяли вдохнуть воздуха, ноги у Кулагина подкашивались от слабости, он шёл в полубморочном состоянии. До дома он не дошёл...

ГЛАВА 10. 1999 ГОД

1

Наташа вспоминала, как ждала когда-то Славу, мечтала, как рука об руку пойдут они в сказочную жизнь. И вот Слава пришёл, каким-то чудом нашёл Наташу, от поцелуев кружилась голова, и она верила, что эта сказка — правда. Увы, сказка только поманила, обманула, как всегда. Но какой может быть обман, когда вот он вечер, в точности такой же, и такой же свет в душе, и Слава рядом, кликнуть только. Наташа знала, что не кликнет. Бес в ней поселился. Ведь не верила, ни капельки не верила в его измену, о которой твердит мать. Слава не такой. Случись ему полюбить другую, он сказал бы. Зачем же она мучает себя своим упрямством?

Слава в ней разочаровался — в этом вся причина. Наташа верила, что муж по-прежнему любит её, но в то же время видела, что ему с ней скучно, она это давно заметила, почти с первых же дней их совместной жизни. Её интересы были скучны ему так же, как в своё время были скучны ей самой интересы первого её мужа. Роли поменялись. Теперь не Наташа в муже, а муж в ней видел низшее существо. Пусть бы её считал низшим существом первый муж, пусть кто угодно в мире считал бы её низшей, Наташу это не задело бы, она знала себе цену. Но Слава... Человек, которому она с радостью готова была поклоняться, как высшему из высших... Боже, как унижительно, как горько знать, что она ему скучна! Наташа не могла этого Левенцову простить, только ему не могла, единственному в мире. А он смиренной её гордости не понимал.

Наташа взяла со стола и ещё раз прочитала полученное днём письмо от Маши Вельмовой, с которой она когда-то в дру-

гой жизни работала в 43-м магазине. В Машином письме всё было так знакомо, близко. Сообщение о банкротстве 43-го магазина и других магазинов бывшего Продторга, не выдержавших конкуренции с набиравшими силу частными, вызывало грусть. Как быстро летит время! Жизнь сделалась совсем непохожей на ту, что была когда-то в Беловодске. Вот и Борис Павлович уже умер. Как ни странно, в памяти теперь всплывало хорошее о нём, плохое позабылось. И о Ларисе Гелиевне плохое позабылось, у неё ведь были и достоинства. Лариса Гелиевна всегда так старалась, чтобы зарплата у её подчинённых была больше, чем в других магазинах и премиальные распределяла справедливо. Теперь Наташе казалось, что можно было бы найти с ней общий язык, даже что она с радостью вернулась бы теперь под её начало. Вот и Маша то же говорит.

Наташе страстно захотелось вдруг бросить эту отупляющую, вне коллектива, суетню с коровой, огородом и бежать в свой Беловодск. В тот Беловодск, где по-прежнему живут надежды, где остаётся чистой любовь к Славе Левенцову. Чужда и непонятна была мысль о том, что того Беловодска больше нет, что тот Беловодск ей больше недоступен. Наташа отвергала жестокость этой правды, не разумом, а сердцем чуяла: эта правда лжёт.

Убрав письмо в шкатулку, подаренную когда-то сотрудницами в день её рождения, Наташа вышла на крыльцо и стала глядеть на дорогу, уходящую к Беловодску. Каким несказанным счастьем был тот миг, когда оттуда пришёл по этой дороге к крыльцу её родительского дома Слава! По странной прихоти сознания то счастье связывалось теперь не с Тимохино, а всё с тем же нереально реальным для неё Беловодском.

Наташа не услышала, как открылась и закрылась за спиной у неё дверь, но почувствовала вставшего сзади Славу. Расслабленность вмиг ушла, Наташа внутренне подобралась, готовясь к лживой холодности. За год с лишком постоянных упражнений эта её лживость научилась представляться правдой, но как же эта «правда» опостылела!

Слава встал рядом. Не отводя, как и жена, взгляда от дороги, он мягким баритоном произнёс:

— Вечер какой чудный. Как семь лет назад... Помнишь, как гуляли тогда в Беловодске по этой вот дороге?

Наташа едва не сорвалась в рыдание от хлынувшего в душу чувства. Неимоверное усилие потребовалось, чтобы преодолеть желание броситься Славе на грудь. Она сдержалась. Выработанная за год с лишком привычка сдерживаться оказалась сильнее душевного порыва.

— Давно это было, Слава, — притворно рассудочным, ровным голосом произнесла Наташа. — Было да прошло. Разве всё упомнишь!

— Я вот вспомнил, — дрогнувшим голосом заметил Вячеслав.

Наташа изо всех сил пыталась восстановить нарушившийся ритм дыхания. Она чувствовала, ещё одно его сердечное слово и всё, она уже не сдержится, бросится ему на грудь и облегчённо расплачется. Левенцов не уловил критического момента. Он молчал, не хотел, чтобы голос выдал его страстного желания просить пощады. Холодная война, которую они ведут с Наташей, смертельно его утомила, а этот апрельский чудный вечер так расслабил, что Вячеслав боялся в один миг сдать все свои позиции, то есть отречься от изобретательства, от поездок к Ротмистрову и дать слово, что попытается найти счастье в животной жизни с ней, Наташей, раз уж он жить без неё не может.

Молчание мужа позволило Наташе собраться с силами и наладить ритм дыхания. Не сводя глаз с дороги, она нарочито будничным голосом спросила:

— Ты в Беловодск завтра едешь?

— Не знаю, — ответил Вячеслав. — Может, и поеду. Утро вечера мудреней. А что?

— Мама говорит, огород пора пахать.

— А-а, это можно. Разбуди тогда пораньше.

— Во сколько пораньше?

— Ну как корову подоишь.

— Хорошо.

Некоторое время они молча глядели вдаль. Солнце скрылось за горизонтом, но реденькие, тощенькие облачка всё ещё светились прощальным, розоватым светом. Добрый голос шептал на ухо Наташе: «Скажи что-нибудь душевное». Но она не знала, что сказать. Что интересного может она сказать Славе, кроме как о корове или огороде! Лишний раз показывать ему, какая она скучная, не хотелось. Наташа перебирала в памяти деревенские события, разговоры, мысли — нет, ничего стоящего для утончённого Славиного ума не находилось. И чтобы только что-нибудь сказать, она бухнула не к месту:

— Ксюша невеста уж совсем. Одежку бы ей поприличней к осени в школу справиться...

Наташа тут же поняла, что сказала бестактность, Слава может подумать, будто она упрекает его за безденежье. А Левенцов так и подумал и не нашёл что сказать в ответ. Наташа, маскируя смущение, принуждённо зевнула и вошла в дом, а Левенцов прошёл к пруду, встал у берега, глядя в темнеющую воду. К нему бочком, несмело приблизился прогнанный за пьянство из пастухов 55-летний Ефим Бубнов. Трясущейся рукой Ефим извлёк из грязной тряпичной сумки старую простынь и зимнюю вязаную шапку.

— За десять рублей на полбутылки, — попросил он.

— Нету у меня, Ефим, — ответил с досадой Левенцов. — Без работы я, ведь знаешь.

— Жалко, — сказал Ефим и размазал по лицу набежавшие из глаз слёзы. — Жену, сегодня год, как похоронил, помянуть бы...

— Молитвой помяни, — посоветовал Левенцов.

Ефим кивнул машинально и поплёлся неуверенной старческой походкой по пустынной деревенской улице. Шансов помянуть жену сегодня у него, похоже, не было. Левенцов подумал, какая недюжинная сила воли нужна таким вот горемыкам, не знающим ни чтения, ни других занятий или развлечений, кроме выпивки, чтобы нести безропотно бремя жизни. Какую негибаемую силу духа проявляют они в неустанных поисках

десяти рублей на опохмелку! Поистине, велик человек в смирении своём.

Левенцов пошёл было в мастерскую с намерением опробовать готовность трактора к завтрашней работе, но одолела лень. «Завтра опробую, — подумал он. — Утро вечера мудренее».

2

Наутро погода резко переменилась, было пасмурно, дул холодный ветер. Наташа, разбудив Вячеслава, сказала, что едет вместе с матерью в райцентр за покупками для огорода. Вместе с ними уехала и Ксюша в школу. Левенцов побрился, принял душ, съел завтрак, оставленный ему на столе Наташей. Огород он вспахал за час. Можно было, конечно, найти ещё какое-нибудь дело, но без Наташиного руководства предпринимать что-либо на огороде не хотелось, да и погода не располагала. Вячеслав переоделся, сел на трактор и поехал в Беловодск.

Ротмистров с порога ошарашил Левенцова невероятной новостью: известное совместное предприятие готово подписать контракт на покупку сразу трёх изобретений Вячеслава.

— Поздравляю! — обнял друга Вениамин. — Ты теперь богач! Правда, расчёты фирмы с тобой по контракту ведутся в рублях, но сумма первой выплаты эквивалентна пятнадцати тысячам долларов. Пляши, говорю, богач! Это только, как я сказал, первое отчисление, потом побольше будут — фирма заинтересовалась и другими твоими разработками.

Левенцов некоторое время с удивлением смотрел на друга, потом сказал:

— Если это не галлюцинация, Вень, то это наши общие с тобой деньги, без тебя я их никогда бы не пробил.

— Нет уж, — возразил Ротмистров. — Вот когда миллион долларов за совместный проект отхватим, тогда это будут общие. А здесь автор ты один, я в вопросе соблюдения авторских

прав щепетилен, не посягай на мою гордость. Хватит и того, что я помог тебе пробить гонорар, помогать ещё и тратить его я не буду.

— Ладно, оставим пока эту тему, сначала надо получить, — заключил Левенцов.

Вечером за ужином Вячеслав объявил домашним, что ему приснился сон, будто бы он получил за свои изобретения пятнадцать тысяч долларов. Ксюша прыснула. Антонина Ивановна воинственно поджала губы, потом сердито молвила:

— Вам бы всё шуточки шутить.

Наташа промолчала.

— Прошу выделить мне из семейного бюджета сто рублей, — продолжил Левенцов. — Мне нужно срочно открыть счёт в банке.

— Это ещё зачем? — изумилась Антонина Ивановна.

— А вдруг и правда пятнадцать тысяч долларов пришлют!

Ксюша опять прыснула. Антонина Ивановна агрессивно двинула тарелкой.

— Можете позволить себе её разбить, — заметил Левенцов. — Я оплачу, когда пришлют пятнадцать тысяч.

Грозовую атмосферу разрядила ровным и спокойным голосом Наташа:

— Тебе серьёзно нужны сто рублей? — спросила она.

— Да, Наташенька, — признательно ответил он. — Я объясню потом.

Счёт Левенцов открыл в Беловодском банке. Через две недели на этот счёт поступила рублями сумма, эквивалентная пятнадцати тысячам долларов. В этот день они с Ротмистровым проектом не занимались, позвали Катю с мужем и отпраздновали событие на славу.

Возвратясь в Тимохино, Левенцов объявил домашним, что сон о пятнадцати тысячах долларов оказался пророческим. В подтверждение он вручил Антонине Ивановне подарок — кухонный комбайн. Отношение тёщи к зятю разительно переменялось.

На следующий день всей семьёй поехали в райцентр. Зафрахтовали автомобиль для перевозки покупок в Тимохино и отправились по магазинам. Приобрели отменное обмундирование Ксюше к осени, шикарный материал для занавесей, модерновую антенну на все программы для телевизора и ещё кучу вещей, а потом Левенцов стал выспрашивать, кому чего хотелось бы получить в подарок лично. Антонина Ивановна сказала, что она и так премного благодарна за комбайн, а Наташа, единственная из всех воспринявшая Славино обогащение без радости, понуро объявила, что ей ничего не надо. Зато Ксюша без излишней скромности воскликнула:

– Я бы хотела музыкальный центр.

– Это чтобы нас всех из дома выжить супермодерновой музыкой? – поинтересовался Левенцов.

Ксюша прыснула. Наташа грустным голосом сказала:

– Не те у тебя успехи в школе, Ксюша, тебе не музыкальным центром развлекаться, а над книгами побольше бы сидеть.

– Ладно, – заключил Левенцов. – Предлагаю компромиссный вариант: пока магнитола, а сделаешься отличницей, подумаем о музыкальном центре. Только уговор: не врубить мощнее тихого человеческого голоса, какой вот у твоей мамы.

– Идёт, – жизнерадостно отвечала Ксюша.

А Левенцову представилось, что она сейчас с аристократичным изяществом хлопнет пальчиками о ладошку, в точности так, как умела это делать Алла Скобцева.

3

Кончалось второе тысячелетие от рождения Христа. А Время этого как будто не заметило, чертило себе свои виртуальные зигзаги на зыбучем песке Вечности как две тысячи лет до рождения Христа, так и теперь, две тысячи лет после. Человечество по-прежнему являло собой трагикомическую мешанину поразительных взлётов духа и разума с не менее поразительной бездуховностью. Честные труженики по-прежнему

знали лишь несправедливость, несвободу, бесправие и нищету, а старинные социальные идеи, такие как «демократия», «гуманность», «права личности», по-прежнему сводились к вседозволенности для богатых и бесчестных. Какие-то сдвиги, правда, всё же были. Инакомыслящих наказывали уже не сжиганием на кострах инквизиции, а уничтожали с помощью экономических блокад или с помощью суперсовременного высокоточного оружия. «Выздоровевшим» после таких мер от инакомыслия швыряли кое-какую мелочёвку из вытянутого у них же через посредство рыночных хитросплетений. «Нет ничего более ценного, ничего, требующего большего бережения и уважения, как свободная человеческая личность», — об этом вспоминали, лишь когда дело касалось «бережения и уважения» преступников. Продавшиеся учёные мужи обосновывали во имя этих «священных» прав любую мерзость: всеобщую деморализацию, воровство, грабёж, цинизм, жизнерадостно подвигая таким образом человечество к самоубийству.

Ну а в России все эти ханжеские кренделя после победы доморощенных либералов заплясали, как всегда, по максимуму. Страна, совершившая из мрака дикого самодержавия гигантский скачок к свету, ставшая в сердцах честных тружеников всего человечества путеводной звездой, надеждой, скакнула вдруг назад во мрак. Зачем скакнула, не знали даже и «пророки», делали вид, что знают, только самые заумные из них. «Это она для разгона скакнула назад», — утверждали они.

Как и при всяком своём скачке, Россия перепрыгнула, то есть переплонула цивилизованные страны по всем их демократическим, гуманным и правовым параметрам. Россия опять играла в русскую рулетку, балансируя над бездной на изменчивом канате времени от деспотии к анархии и обратно. Время в яме, в которую она в конце концов свалилась, вытворяло чудеса. Что бы ни предприняли доморощенные проводники атрибутов западной цивилизации, всё оборачивалось «через попу» или «вверх ногами». Замыслили процветание — оно обернулось ни-

щетоЙ. Изобрели в форсированном режиме демократические законы — они расплодили беззаконие. Наштамповали денежных знаков видимо-невидимо — деньги уплыли в направлении «восток-север-юг-запад». Реформировали армию — она перестала существовать. Органы правопорядка усердно боролись с малейшими проявлениями правопорядка. Налоговая инспекция за километр обходила дома и офисы миллиардеров, но с усердием потрошила нищего производителя села.

В сфере материального приключилось всеобщее помешательство на благах. Одни жаждали должностей, другие — либерализации и без того до анархии приватизированных ценностей, третьи — повышения зарплат и пенсий хоть на пять рублей.

В сфере духовного творились ещё более поразительные вещи. Ничтожные шавки облаивали, очерняли, принижали с феноменальной неутомимостью поверженное Великое, которое даже будучи поверженным, видимо, устрасало их. Спекулировали безбожно на вере в Бога, обвиняя в безбожии весь советский образ жизни и забывая при этом, что при «безбожном» советском образе жизни большинство стремилось соблюдать все десять божьих заповедей, стремилось скромно, без притязаний на безгреховность, без выставления себя напоказ перед объективом телекамеры в церкви со свечой в руке. Любители либеральненького повернули набожность «вверх ногами». Мракобесам и даже простым бесам всех мастей достаточно было теперь раз в год принародно показаться в церкви, принять благословение патриарха, чтобы затем с лёгким сердцем в компании с Сатаной грабить свой народ и предаваться сомнительным удовольствиям, то есть вести либеральный образ жизни. Выходило в полном согласии с давнишними словами Гёте: «Тот, кто талантлив и умён, тот набожен и так, и набожность возводит в культ бездарный и дурак».

Тем временем помыкаемый, униженный, ограбленный реформаторами народ продолжал со стойкостью оловянного солдатика избирать этих реформаторов во власть вместо того, чтобы вышвырнуть их в столь любезные их сердцу цивилизо-

ванные страны. В связи с этим затруднительно было бы сказать, где причина и где следствие той ямы, в которую занесло Россию: в бессовестности реформаторов или в тупости когда-то сообразительного народа. Казалось, даже нестяжательство, это коренное качество русской жизни, захлебнулось в этой яме, ибо даже самые честнейшие из притесняемых уже не стеснялись завидовать тем, кто сумел пробиться в притеснители. Нестяжательская энергия малоимущих и порядочных, взметнувшаяся в 91-ом, видимо, выпустила последние пары в 93-ем и теперь под влиянием поверхностного «умягчения» уродств начального периода реформ, казалось, окончательно уснула.

Энергия романтиков-либералов тоже выдыхалась. После 93-го года самыми энергичными сделались стяжатели всех рангов. Но и они в зигзагах Российской жизни как-то потерялись, даже можно сказать, тоже увязли в общей яме.

Будущее России, казалось, строить уже некому. В толще народных масс, правда, вёл ещё какую-то борьбу Дух справедливости. В атмосфере торжества Сатаны, задушившей уже как будто всякую надежду, пробивались всё-таки ростки сопротивления. Чуждые номенклатурным интересам, эти ростки поражали неколебимой верой в победу светлых сил. Они не замечались в тьме властолюбцев, сластолюбцев и прочих всяких «любцев», но Дух России, видно, всё ещё не терял надежды выстроить на них свою извечную, родниково-чистую основу.

Одним из таких ростков стал Егор Агапович Сорокин. Его, рядового винтика, бездумно и бесплодно крутившегося в тепличных условиях советской жизни, загадочный поворот Времени обратил в Сатанинской яме в развитого, самостоятельно мыслящего человека, свободного от партноменклатурных догм. Сорокин и сам видел, как он вырос, и порой изумлялся такому чуду. Ведь разве не чудо, что человеком сделало его то самое зло, против которого он боролся! Если бы не это зло, он, видно, так и не задумался бы никогда о глубинном смысле жизни. Зло подвигло Сорокина к самообразованию, к переоценке на-

вязанных властителями ценностей и, наконец, к критическому взгляду на святая святых партийной жизни — на устав и программу партии, на её стратегию и тактику в борьбе со злом.

Получался парадокс: зло, ставшее для России бедствием, лично для Сорокина обернулось благом. Почему тогда он против личного своего блага так яростно боролся? Потому что для России оно было злом. Егор Агапович знал, что в основе этого парадокса лежит Гегелевский закон единства и борьбы противоположностей, но искренно не мог понять, почему всё-таки выступает против своих личных интересов. Ему и в голову не приходило, что интересы народа, страны, родного образа жизни для него куда важнее личного. Сорокин просто подсознательно ощущал, что пресловутые права личности на животную вседозволенность, составлявшие суть вожделиний реформаторов, ему лично были ни к чему. Девизом Егора Агаповича были слова из песни его юности: «Жила бы страна родная, и нету других забот...»

Самообразованием Егор Агапович занимался каждую свободную минуту, а таких минут в его распоряжении было много, поскольку на свою сторожевую службу он ходил только на вечернее и ночное время, да и всего раз в трое суток, к тому же и на службе его никто не отвлекал от чтения и размышлений, часы ночных дежурств были даже наиболее плодотворными в умственном труде. Изучая экономику, социологию, политологию, психологию, логику, Сорокин параллельно освежал в памяти институтские свои знания по математике, физике, английскому языку. Всерьёз готовясь к деятельности политика-профессионала, Егор Агапович во время сторожевых дежурств тренировался перед зеркалом в произнесении речей, они тяжело ему давались. Ещё тяжелей давалась юриспруденция, заумные хитро-сплетения этой ханжеской науки вызывали у Сорокина аллергическое неприятие, даже отчаяние порой. И всё-таки он уже знал наизусть основной закон, Конституцию, и упорно постигал дочерние законы. При этом Сорокин оставался самым деятельным членом городской партии.

Отношения с Первым секретарём горкома сделались с некоторых пор натянутыми, Егор Агапович не мог простить Николаю Семёновичу Лещинскому заискивания перед городскими властями. Лещинский даже кичился тем, что сам мэр города удостаивает его расположением, хотя этот мэр — самый натуральный буржуй и ярый сторонник антинародного режима. Не мог Сорокин простить Первому секретарю и его некоммунистического лицемерия. Выступая на митингах перед народом, Лещинский пел тому дифирамбы, а в горкоме среди своих называл народ биомассой, быдлом.

Лещинский в свою очередь не мог простить Сорокину его посягательства на стратегические вопросы, на сугубо его, Первого секретаря, прерогативы, тем более что посягательства эти были обоснованны, поскольку Сорокин явно перерос Лещинского по всем параметрам: по деловым качествам, знанию основополагающих документов партии, активности, инициативе. Николай Семёнович прекрасно видел это, как видел, что и другие это видят. Такое ненормальное положение его тревожило. Когда в твоём подчинении работник, превосходящий тебя по всем показателям, это по меньшей мере ненормально. Допустишь роковую ошибку — и прощай карьера. Правда, по образцу руководящих органов КПРФ иерархическая структура низовых организаций воспринималась рядовыми членами такой же незыблемой, но чем чёт не шутит.

Заумных целей Лещинский перед собой не ставил. Когда-то он, правда, был романтиком и искренно верил в высокие идеалы коммунизма, но теперь думал лишь о том, как бы удержаться на посту Первого секретаря до возвращения советской власти. Удержишься — и всё будет замечательно: завидный оклад, завидные связи, номенклатурные льготы, престижные санатории, в общем, как «при бабушке Екатерине», выполняй только распоряжения вышестоящих органов. Именно в этом, в скрупулёзном исполнении директив обкома, видел Лещинский гарантию сохранения своего чина Первого секретаря. То, что выше обкома, не его ума дело, для него царь и Бог — обком.

Для Сорокина же авторитетов не существовало. Он постоянно приставал к Лещинскому с требованиями направить запрос в вышестоящие структуры то по одному, то по другому какому-нибудь вопросу. Егор Агапович бил во все колокола по поводу близорукой стратегии руководства КПРФ, которое как будто не желало видеть ничего дальше задач ближайших выборов. Он хотел знать, почему лидер КПРФ Зюганов высвечивается на вражеском канале НТВ и в посольствах враждебных России государств, почему поддерживает олигарха-вора Гусинского, гуляет с ним в одной компании? Почему лидеры сплошь и рядом нарушают программу и устав партии, а рядовые её члены не могут? Почему программа-максимум КПРФ по антибуржуазной направленности едва дотягивает до программы-минимум «Трудовой России»? Почему среди руководства КПРФ есть предприниматели-богатеи, ведь коммунист и миллионы – несовместимые совершенно вещи? И почему думская фракция КПРФ ведёт себя порой так бессовестно: требует, например, отставки президента, инициирует вынесение этого требования на голосование в Думе, а голосует против или от голосования уклоняется?

На требования Сорокина о направлении запросов Лещинский отвечал всегда одно и то же:

– Партийная дисциплина – прежде всего. Дискредитировать городскую партийную организацию глупыми запросами не будем. Направляйте ваши запросы от своего имени.

И Сорокин направлял. В вышестоящие организации, в думскую фракцию КПРФ и даже в ЦК партии. Ответов на свои запросы он, естественно, не получал. Лещинский по этому поводу ехидненько хихикал: «Правдоискатель нашёлся!» Бесстрашие Сорокина перед авторитетами было, по мнению Лещинского, самым уязвимым местом потенциального претендента на его пост. Надо было держать это место под прицелом, случай ударить по нему непременно когда-нибудь представится, Лещинский верил в это и видел в этом главную свою партийную задачу.

Сорокин же видел главную свою задачу в изменении к лучшему всей жизни, для начала хотя бы в родном городе. Узнавая

из местной прессы о бедах трудовых коллективов, школ, больниц, отдельных граждан, он включался в работу по их устранению. Если что-то мешало их устранить, Егор Агапович писал в газету или обращался в суд. Он уже неплохо разобрался в юриспруденции и считал своей обязанностью помочь защитить права тем, кто этих своих прав не знал. Работники городского суда панически его боялись. Такому не повесишь на уши «лапшу», Сорокин знал законы лучше судей, ему не требовалось, как им, при случае лезть в толстенный свод законов, он знал их наизусть.

4

Однажды в буржуазной местной газетёнке, которую Сорокин читал, преодолевая отвращение, чтобы только знать, чем дышит враг, он обратил внимание на пространное интервью с известным бизнесменом Кулаковым. Этот Кулаков намеревался облагодетельствовать Трёхреченск строительством перспективного по части прибыли завода. В мажорных тонах сообщалось, сколько миллионов рублей даст строительство и эксплуатация завода городской казне, сколько рабочих мест подарит безработным. У Сорокина был обострённый нюх на замаскированное коварство в замыслах врага. Впрочем, в особом нюхе не было необходимости, ибо в том, что восхваляла буржуазная газета, всегда таилось зло. Мажорный тон статьи насторожил Егора Агаповича. В городе у него уже были довольно обширные связи, и ему не составило труда выяснить суть упомянутого вскользь в статье химического процесса, отвечающего «самым высоким требованиям» технологии производства. Суть оказалась криминальной. Помимо сопутствующих процессу вредных выбросов в атмосферу и в реку, эксплуатация завода предполагала ещё забор воды из подземного озера под Трёхреченском, а эта чистейшая вода, как выяснил Сорокин, при советской власти оберегалась в качестве неприкосновенного запаса для столицы на случай экологического бедствия.

Сорокин основательно подготовился к борьбе. Он перелопатил кучу законоведческих томов и нашёл-таки закон, запрещающий строительство в черте города завода подобного типа. Егор Агапович заготовил бланки всевозможных судебных исков, подписных листов, воззваний, обращений и других бумаг. Он заранее заручился поддержкой наиболее активной части горожан. Надо было бы ещё подумать о личной безопасности, но такие вещи в голову ему не приходили, да если бы и пришли, денег на охрану не было.

И вот Сорокин ринулся в бой. В горсуде его заявление-протест приняли, как всегда, с кислой миной, но Егор Агапович «подбодрил» работников суда, сказав, что на случай предвзятого разбирательства и волокиты у него заготовлены обращения во все вышестоящие суды вплоть до генерального прокурора. Разбирательство началось.

Вскоре Сорокин обнаружил пристальное внимание к себе со стороны противной стороны. Он стал получать анонимные письма, настоятельно рекомендовавшие Егору Агаповичу отозвать своё заявление из суда. Некие лица стали дежурить у дверей его подъезда, а когда Сорокин выходил из дома в город, следовали за ним, точно почётный эскорт. К счастью, в квартире у Егора Агаповича не было телефона, а то его замучили бы телефонными звонками. Однажды на автобусной остановке к Сорокину подошёл спортивного сложения незнакомец и сказал, что если письменные послания недостаточно убедительны, придётся применить меры физического воздействия. Сорокин незнакомцу не поверил. Он думал, что противная сторона, зная о его известности в городе, вряд ли решится на огласку, и, не страшась, продолжил вечерами обходить один жилой квартал за другим с призывом начать всеобщую борьбу против строительства вредного завода.

Однажды, когда Сорокин возвращался в позднее время с одного из таких рейдов, двое неизвестных попросили у него закурить. Егор Агапович честно ответил, что не курит. Незнакомцы без лишних слов стали его избивать. Сорокин с трудом смог

дойти до дома после этого. Ни денег, ни одежды, ни часов избивавшие у него не взяли, и Егор Агапович отметил это в заявлении, поданном в милицию, настаивая на акценте в пользу версии о заинтересованности избивавших. Милиция эту версию упрямо отвергала, твердя, что случай с ним – простое хулиганство. У Егора Агаповича возникло подозрение, что городская милиция симпатизирует противной стороне. Эта крамольная мысль подтвердилась вскоре после организованного Сорокиным митинга протеста.

Митинг проходил на площади перед зданием мэрии. Народу собралось немного, но это были, как увидел потом Сорокин, настоящие бойцы, многие из которых сделались его активными помощниками. Митинг был санкционированный, Сорокин заранее оформил в мэрии разрешение, но среди плакатов, выражавших протест против незаконного завода, оказался один, не относящийся к делу: «Долой буржуев, власть – советам, заводы – рабочим, земля – крестьянам!» Милиция сочла это удобным поводом для вмешательства. Двое из милицейского оцепления подошли к Сорокину и попытались отобрать у него мегафон, едва Егор Агапович начал речь. На помощь Сорокину кинулись трое мужчин. Милиционеры стали угрожать статьёй уголовного кодекса за сопротивление органам правопорядка. Сорокин в ответ пообещал, что добьётся увольнения их с работы за незнание законов, ибо их дело охранять санкционированный городскими властями митинг, а не совершать противоправные действия против его участников. Милиционеры отступили, однако плакат с лозунгом «Власть советам...» потребовали убрать.

В своей речи Сорокин ввернул-таки и политические требования, и митингующие за это ему дружно аплодировали. Прозвучала первая политическая речь Егора Агаповича перед народом. Это была его звёздная минута. Сорокин видел понимание, уважение, поддержку, он ощутил себя признанным лидером, ему ничего теперь не было страшно.

Один из тех мужчин, что кинулись защищать Егора Агаповича от милиционеров, был его соседом по дому, их квартиры

располагались на одной лестничной площадке. Соседа звали Николай, он был могучего сложения и работал в частной строительной организации прорабом. После митинга Николай сказал Сорокину, что тот может при случае рассчитывать на него и двух его товарищей как на свою охрану.

Возвращаясь на следующий день после митинга домой из агитационного рейда, Сорокин увидел у подъезда две машины: «москвич» и милицейский «джип». Возле машин стояли пять человек, один из которых был одет в милицейскую форму. Все они дружно двинулись к Сорокину. У наружной металлической двери в подъезде недавно был установлен замок с кодом. Егор Агапович рассчитывал благодаря ему оторваться от преследователей, но оказалось, код тем известен, и они без помех вошли в подъезд следом за ним. Двое кинулись вверх по лестнице, остальные трое вместе с Егором Агаповичем вошли в лифт. Когда лифт поднял всех на этаж, где проживал Сорокин, двое убежавших по лестнице уже стояли у двери его квартиры.

— Можно к вам? — с глумливой улыбкой обратился к Егору Агаповичу одетый в милицейскую форму.

— Можно, — ответил Сорокин. — Только сначала предъявите документы. Кто у вас старший, вы?

Одетый в форму пробурчал что-то невразумительное и в замешательстве оглянулся на товарищей. Один из одетых в штатское достал удостоверение и, раскрыв его, тут же опять захлопнул.

— Вы как будто стесняетесь своего документа, — сказал Сорокин. — Не скромничайте. — И он протянул за удостоверением руку.

Владелец документа послушно его отдал. Полистав книжку, удостоверяющую личность старшего лейтенанта следственного отдела милиции, Егор Агапович не торопясь выписал данные из неё в свой блокнот и только после этого вернул владельцу.

— А что вам от меня надо? — поинтересовался он.

— Вы подозреваетесь в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Егор Агапович давно уже не смотрел на мир наивными глазами.

— Ордер на обыск у вас есть?

— М-м-нет, но... Вы могли бы быть повежливей с представителями органов правопорядка. Что вы держите нас на лестничной клетке, как чужих? Пригласите в дом, побеседуем...

— Мотив вашего визита к беседе не располагает, — возразил Сорокин.

— Хорошо, скорректируем мотивировку: в связи с некими, требующими выяснения обстоятельствами нам надо задать вам несколько вопросов.

— Одну минуту. — Сорокин нажал кнопку звонка у двери в соседнюю квартиру. Увидев показавшегося в двери Николая, Сорокин представил его визитёрам: — Это мой личный телохранитель. Николай, — обратился он к нему затем, — будь добр, позови свою жену, посидите у меня в качестве понятых, а то вот гости из милиции расспросить хотят чего-то.

Визитёры в растерянности переглянулись, дело шло явно в разладе с их сценарием. А Егор Агапович поддал жару:

— И захвати, Коля, магнитофон на всякий случай, вдруг беседа интересная.

Обескураженные пришельцы тут не выдержали:

— Никаких записей!

— Почему? — спросил, сделав наивные глаза, Сорокин.

— В интересах следствия мы...

— Вы что, законов, что ль, не знаете? — удивился Сорокин. — Меня интересы следствия не интересуют. Меня интересуют интересы моей личности, а права личности у нас теперь главной всего! Спросите, если таких вещей не знаете, у прокурора, он вам подтвердит.

Вид у блюстителей порядка сделался таким беспомощным, что Егор Агапович сжалился:

— Ладно, может, и не будем ещё записывать. Заходите.

Жена Сорокина при виде толпы здоровенных мужиков утратила дар речи, встала как столб и на обращённые к ней вопросы

никак не реагировала. Пришельцы повели себя развязно: шныряли по всей квартире, чего-то высматривали, вынюхивали, обменивались многозначительными взглядами. Егор Агапович с Николаем старались за всеми сразу угледеть, но не угледели. Один из визитёров как бы невзначай на глазах у них задел рукой висевшую в прихожей куртку и, наигранно удивясь, пощупал её карман, а затем вынул из него настоящий боевой пистолет.

— Ваша куртка? — спросил он торжествующе.

— Куртка моя, — подтвердил Сорокин. — Только зачем вы свой пистолет в неё засунули? У меня таких игрушек не бывает.

— А вы посмотрите как следует, может, всё-таки признаете? — Держа пистолет за ствол, милиционер протянул его рукояткой вперёд Сорокину. — Возьмите, возьмите, не стесняйтесь.

— Автограф у меня хотите взять? — улыбнулся Егор Агапович. — В виде отпечатков пальцев на вашем пистолете?

— Там разберёмся, чей он: наш или ваш. Собирайтесь.

— Куда?

— В СИЗО, наверно, не знаю, куда вас там начальство определит.

— Дешёвенький приём, уважаемые. Я ведь законы знаю, никуда вы меня не отвезёте, потому что в противном случае я возбужу против вас уголовное дело за подлог.

Визитёры глубокомысленно помолчали. Жена Сорокина, глядевшая с зачарованностью на лежавший на столе пистолет, вдруг трижды подряд чихнула. Старший лейтенант посмотрел на неё в недоумении, потом как-то сломленно, устало произнёс:

— Ладно, не хотите сейчас ехать, пришлём повестку в ходе следствия.

И компания, не попрощавшись, удалилась, прихватив с собой пистолет.

Повестку из милиции так и не прислали. Сорокин продолжал усиливать давление на городскую власть. Горсуд явно не торопился с вынесением решения о незаконности строительства в черте города вредного завода, но Сорокин представил в мэрию подписанное тысячами горожан требование запретить пла-

нируемое строительство. Организуемые им митинги с этим требованием делались всё многолюдней. И тем не менее противная сторона вдруг перестала интересоваться Сорокиным. В городе начались выборы кандидата от их округа в Госдуму.

5

Сорокина неожиданно вызвал к себе Первый секретарь горкома КПРФ Лещинский.

— Егор Агапович, учитывая вашу активную жизненную позицию, мы решили поручить вам организацию агитационной кампании в поддержку нашего кандидата на выборах в Государственную думу.

— А разве мы уже выбрали нашего кандидата? — удивился Сорокин. — И кто же он?

— Выдающийся предприниматель Трёхреченска Кулаков Ефим Абрамович.

— Тот самый, что хотел подсунуть нашему городу вредительский завод?! — не поверил своим ушам Сорокин.

— Да, он.

— Но Кулаков же явный антикоммунист! Поддерживать того, с кем ассоциируется представление о классовом враге, — это же плевков в собственную душу! Вы шутите, Николай Семёнович? — произнёс Сорокин дрожащим голосом.

— Я не цирковой клоун, шуточки шутить, — возмутился Лещинский. — Я Первый секретарь горкома, прошу не забывать.

— Я это помню, Николай Семёнович. Только думаю, сначала не надо забывать, что мы с вами соратники в борьбе против буржуазного режима. Хотелось бы знать мнение об этой обкомовской «шутке» не Первого секретаря, а товарища по партии.

— Вы неисправимый романтик, Егор Агапович. — Лещинский сменил начальнический тон на отечески снисходительный. — Ну что вы всё чего-то суетитесь, беспокоитесь, пытаетесь докопаться до правды, которая на поверхности лежит! Ну какое вам дело до обкомовских решений? Ваше дело не обсуждать их, а испол-

нять, партийная дисциплина — прежде всего. Есть устав, программа, всё за вас продумано, чего вам волноваться-то?

— Я в партии не для того, чтобы исполнять губительные для неё решения, — возразил Сорокин. — Кроме устава у меня ещё есть голова. А если завтра обком спустит нам решение направить работу в поддержку антинародного режима? Тоже, что ли, исполнять?

— Конечно! Раз вышестоящая организация так решит. Но вы утрируете. Такого решения обком не примет.

— А поддерживать одного из столпов антинародного режима разве не то же самое, что поддерживать сам режим? Ведь этот толстощёкий буржуй именно столп режима. Я познакомился с его биографией, это же сплошное предательство интересов родины начиная с 91 года.

— Я так понял, вы отказываетесь принять к исполнению данное решение?

— Нет, я не просто отказываюсь. Я призову рядовых членов нашей организации бойкотировать его.

В глазах у Лещинского сверкнул хищный огонёк рыбака, увидевшего, что рыбка тронула наживку. С интимно-вкрадчивым понижением в голосе он произнёс:

— Но это ведь будет нарушением Устава партии, Егор Агапович, а за такие вещи...

— Устава я не нарушу, я буду бороться не против партии, а внутри. В связи с этим я бы хотел до конца выяснить вашу позицию по этому вопросу как руководителя городской организации КПРФ. Вы кандидатуру коммуниста на рассмотрение обкома предлагали?

— Нет, не предлагал.

— И не намерены предложить как альтернативу их решению?

— Не намерен.

— Но почему, Николай Семёнович? Разве в нашем избирательном округе нет достойных коммунистов?

— Я не стану отвечать на ваш вопрос, Егор Агапович. Вышестоящей организации виднее, кого предлагать.

— Но ведь обком спускал нам указание растить политическую смену в своих рядах.

— Всё зависит от конкретного времени и конкретной ситуации. То, что было хорошо вчера, неприемлемо сегодня и наоборот. Диалектика говорит, что истина конкретна.

— А как быть с мнением о партии народа? И как с совестью? Она тоже должна меняться в зависимости от конкретной ситуации?

— Это уже из области оголтелого идеализма, а у нас марксизм. Есть ещё вопросы?

— Нет, лично к вам вопросов больше нет.

В поисках поддержки Сорокин оглянулся на стол Алевтины Владимировны, той за столом не было. В последнее время Скобцева приходила в горком лишь по самым неотложным делам. Продолжая мысленно диалог с Лещинским, Сорокин вышел в коридор, медленно спустился вниз по лестнице, вышел в скверик. Он постоял здесь, вспоминая зимний вечер, когда Алевтина Владимировна впервые привела его сюда. Какое женственное обаяние было в её облике в тот вечер! И каким он был тогда котёнком! Егор Агапович и сейчас почувствовал себя беспомощным котёнком, но лишь постольку, поскольку углубился в воспоминания. В суровой действительности этот дом с уютным сквериком делался ему чужим, и лишь ассоциация со Скобцовой привязывала к нему по-прежнему. Но Алевтина Владимировна тоже изменилась.

В голове у Сорокина зрела мысль организовать нечто вроде партийного съезда снизу. Такой неофициальный «съезд» мог бы принять альтернативное обкомовскому решение. Егор Агапович полагал, что бескомпромиссно-честная Алевтина Владимировна станет первым его союзником в этом деле. В тот же вечер он решился по собственной инициативе прийти к ней в гости.

Скобцева обрадовалась визиту Сорокина, он это ощутил, но вместе с тем апатия и усталость ясно проступали у Алевтины Владимировны во взгляде, вопреки улыбке. Егор Агапович вдруг заметил, как осунулось её красивое лицо.

— Давайте попьём чаю, — предложила она. — И поужинаем заодно. Одной мне есть не хотелось.

Скобцева усадила Сорокина за стол. С лица у неё не сходило несвойственное ей выражение потерянности. Егор Агапович наконец понял, что её томит какое-то несчастье.

— У вас беда, Алевтина Владимировна? — решил он спросить. — Вы в последнее время невесёлая.

Скобцева взглянула на него признательно.

— Дочь у меня, Егор Агапович, погибла.

Вилка выпала из руки Сорокина. Он глянул ошарашенно:

— Алла?

Скобцева утвердительно кивнула, глаза у неё увлажнились, покраснели. Сорокин машинально отодвинул от себя тарелку, поставил на освободившееся место локти и бухнулся лицом в ладони.

— Она не физически погибла, Егор Агапович. Алла ушла в монастырь. По мне, лучше бы уж умерла физически.

Сорокин поднял голову, глаза у него светились счастьем.

— Как же вы меня напугали! — произнёс он облегчённо. — Алла такая замечательная... У меня прямо сердце остановилось.

— Для меня она погибла, — повторила Скобцева, и уже металлическое упрямство зазвучало в её голосе.

— Напрасно вы так переживаете, — возразил Сорокин. Простодушная доброта и мягкость его лица выражали неназойливый укор. — На наш с вами взгляд, активная борьба предпочтительней, и мне странно, что Алла, такая сильная и энергичная, спасовала, но всё же уход от борьбы ещё не гибель. Вот если бы она пошла на службу к нынешним буржуям, тогда другое дело. А в монастыре она может творить добро.

— Это вы говорите так, чтобы просто меня утешить.

— Нет, я искренно так считаю.

— Ну ладно. Хоть вы меня не переубедили, а всё немножечко полегче.

— А я-то голову ломал, чего это вы к партийным делам как будто охладели. Это пройдёт, Алевтина Владимировна, вы же

сильная, вам просто надо как следует встряхнуться. Я как раз с этим и пришёл. Может, то, что я сообщу, растормошит вас.

И Сорокин рассказал о своём разговоре с Лещинским. Он думал, его сообщение возбудит в Скобцовой благородную злость, был уверен, она, как и он, загорится желанием борьбы против абсурдного решения обкома. Сорокин не знал, каким непререкаемым был для Скобцовой авторитет партийного руководства, это была своего рода закостенелость, сложившаяся в ней за годы советской власти. Осведомлённость о тёмных сторонах партийной жизни не мешала Скобцовой свято верить в замечательное будущее того гибрида, что возник в результате поглощения пороков советской власти природной интеллигентностью народа. Теперь, когда основания той веры пошатнулись, ей не на что было больше опереться, кроме как на застарелое представление о всемогуществе компартии.

Выслушав Сорокина, Скобцева с холодным спокойствием сказала, что указание поддержать на выборах Кулакова было спущено ещё полмесяца назад, и она не видит в нём ничего абсурдного. Сорокину был потрясён. То, что Лещинский умышленно держит его на голодном пайке по части наиболее важной информации, Егор Агапович и раньше замечал, и подтверждение этого факта из уст Скобцовой задело его не сильно. Но спокойное принятие тою жуткого обкомовского решения... Сорокин был ошеломлён её спокойствием.

— Да это же капитуляция перед режимом, неужели, Алевтина Владимировна, вы этого не понимаете? — воскликнул Егор Агапович в сердцах. — Ведь такие космополитические толстосумы, как этот Кулаков, попирают наши исконные традиции вовсе не для того, чтобы утвердить что-то новое и конструктивное. Их задача — утвердиться самим, дальше собственного благополучия они ничего не видят. Он же враг народа, неужели вы не понимаете?

— Это ничего. Ленин тоже шёл на временный союз с классовым врагом, когда этого требовала ситуация, — с прежним спокойствием возразила Скобцева. — Классовый враг — это науч-

ная абстракция. В конкретной ситуации конкретный капиталист может оказаться таким, как сочувствовавший партии большевиков фабрикант Савва Морозов. Ему, кстати, подпевалы нынешнего режима никак не могут простить, что он помогал большевикам. Конкретный капиталист может оказаться даже товарищем по партии, как, например, фабрикант-миллионер Шмидт, большевик, член Московского городского комитета РСДРП (б). И потом, Егор Агапович, на сегодняшний день мы имеем наряду с программой-максимум также и программу-минимум, а она предусматривает путь к социализму через капиталистические категории, кстати, этот путь в сложившихся обстоятельствах, видимо, более реальный. Программа-минимум носит такой же научный характер, как и максимум, обе основаны на диалектике...

Скобцева, увлѣвшись, преподносила Сорокину теорию и практику марксизма-ленинизма, точно учительница несмышлёному ученику. Егор Агапович оставался в её представлении всё тем же «первоклашкой», каким он по её рекомендации вступил в городскую организацию КПРФ. Она и мысли не допускала, что благодаря упорному труду он может сравняться с ней в уровне научных знаний. А Сорокин не только сравнялся с ней, он давно на голову перерос её в познаниях. И на три головы перерос в умении критически осмысливать познанное. Егор Агапович слушал преподносимый ему «урок» и с ужасом начинал сознавать, что власть возведѣнного им над собой кумира пошатнулась. Ему впервые было и скучно, и досадно слушать Скобцеву. В связи с высказыванием о диалектике как научной базе партийной программы она так долго «разжѣвывала» Сорокину положения диалектического развития через единство и борьбу противоположностей, что он наконец не выдержал и деликатно перебил:

— Алевтина Владимировна, я чего-то не пойму. С одной стороны, партийная программа носит научный характер, а с другой, вы говорите, нужно отличать научную абстракцию от живой жизни. Чем же всё-таки руководствоваться: программой или живой жизнью?

Некоторое время Скобцева ошеломлённо молчала, потом сердито проговорила:

– Вы, я вижу, нарочно не желаете понять. Абстракция – это абстракция, а живая жизнь – это живая жизнь.

– Вот это вы хорошо сказали, просто и понятно, – восхитился Сорокин, не сознавая даже, что впервые возвысился до иронии в адрес своего кумира.

Скобцева, однако, иронии в его словах не уловила, слишком уверена она была в непререкаемости своего авторитета для него и продолжила с серьёзностью:

– В живой жизни толстосум, которого мы должны поддерживать на выборах, не классовый враг, а наш союзник.

– Неужели? – изумился Сорокин. – Я познакомился с его биографией, он начиная с 91 года только и делал, что нас предавал.

– Тем не менее на данном этапе он союзник. Вы познакомились с его программой?

– Нет, я только сегодня узнал, что он кандидат в Думу. По моему, с его программой и знакомиться не надо, она ясна из биографии. Кулаков – закоренелый собственник, и его программа – рекламный трюк. Ему бы только пролезть в Думу, а там, как только он увидит, что положения его программы расходятся с собственными интересами, он тут же её предаст. Подлинная его программа – взять от жизни всё для себя: власть, комфорт, роскошь.

– У вас слишком предвзятое мнение. – Скобцева посмотрела на Сорокина с покровительственной улыбкой, как на неразумного ребёнка. – Не такой уж страшный зверь ваш «закоренелый» собственник. Его программа-максимум на сегодняшний день почти во всём совпадает с программой-минимум КПРФ, этого вполне достаточно для заключения с ним соглашения на выборах. Всё равно результат этих промежуточных выборов никак не повлияет на расклад сил в Думе, она при любом исходе останется буржуазной.

– Зачем же идти на компромисс с совестью, заключая соглашение с буржуем, если Дума всё равно останется буржуаз-

ной? — изумился Сорокин. — Вот если бы этот буржуй помог превратить Думу в социалистическую, тогда ещё куда ни шло. А так совесть только марать... Думаете, народ таких вещей не замечает? Замечает, Алевтина Владимировна, и в памяти хранит. Поддержкой противного народу кандидата КПРФ нанесёт удар по собственному авторитету. И во имя чего? Вы же сами сказали, что при любом исходе всё останется по-прежнему. Какая логика в поддержке Кулакова? Куда логичней поддержать лидера «Трудовой России», раз уж из рядов КПРФ достойных не нашлось.

— У лидера «Трудовой России» шансов на победу, как показывают рейтинговые опросы, нет. Если бы популярность Анпилова росла, тогда, возможно, встал бы вопрос о пересмотре программы и тактики КПРФ, а так поддерживать его нет смысла.

— Но я не понимаю! — почти закричал в отчаянии Сорокин, схватившись за голову руками. — Я не могу понять, почему при одном и том же исходе лучше всё-таки поддерживать не своего брата коммуниста, а буржуя!

— «Трудовая Россия» за нашу поддержку ничем не сможет отблагодарить. А у этого толстосума достаточно и средств, и связей, чтобы отплатить как материально, так и политически. За ним ведь стоят влиятельные силы: областной губернатор, мэр столицы, мэры городов, входящих в округ. Вам не приходится в голову, что наша партия под давлением обстоятельств вынуждена привлекать на свою сторону в первую очередь колеблющихся? Убеждённые наши сторонники и так никуда от нас не уйдут.

— А вам, Алевтина Владимировна, не приходит в голову, что такая позиция до жути близко напоминает продавшегося за 30 сребреников Иуду? Только в данном случае оплата вряд ли состоится, этот буржуй сам Иуда будь здоров какой.

На лице у Скобцевой проступили пятна гнева, она сделалась каменно-суровой.

— Это вы так о партии, устав и программу которой обязаны, по крайней мере, разделять?! — проговорила она, чеканя сдер-

живаемой яростью каждый слог. — Я раскаиваюсь, что дала вам рекомендацию.

— Но Алевтина Вла...

— Довольно! Я не желаю с вами на эту тему разговаривать. И вообще... не желаю.

Сорокин почувствовал себя раздавленным нелепой несправедливостью, но он нашёл в себе силы удалиться молча и с достоинством.

Разрыв с Алевтиной Владимировной был для Егора Агаповича ударом, сопоставимым с исключением в 91 году из КПСС. Но сказались качества бойца, приобретённые им за прошедшее с тех пор десятилетие. Через неделю он, преодолев хандру, послал от своего имени запрос в ЦК КПРФ относительно правомерности обкомовского решения. Запрос, как всегда, остался без ответа. Попытка Сорокина созвать собрание рядовых членов городской парторганизации тоже потерпела неудачу. Рядовые члены поголовно недоумали застарелым комплексом неполноценности, они не могли представить, как это можно обсуждать вышестоящее решение, да ещё без санкции Первого секретаря Лещинского.

Сорокин продолжил борьбу в одиночку. Он ходил по домам и агитировал голосовать на выборах против всех кандидатов. С особой страстностью он призывал не допустить прохождения в Госдуму Кулакова. Его усилия не остались незамеченными. Противная сторона приняла против Егора Агаповича решительные меры. Из милиции в парторганизацию поступила бумага, сообщавшая, что Сорокин неоднократно был забираем по причине беспробудного пьянства в городской медвытрезвитель. Лещинский, решив действовать наверняка, убрал до поры до времени эту бумагу в сейф и одновременно отправил в вышестоящие партийные органы донос на Сорокина, в котором указывал на несовместимость его поведения с уставом и программой партии. Ответ пришёл незамедлительно. Предлагалось рассмотреть недостойное поведение Сорокина на общем собрании городской парторганизации и вынести соответствующее решение. Ле-

щинский ликовал: в его распоряжении теперь было всё необходимое, чтобы с чистой совестью устранить из организации лицо, несущее угрозу его креслу Первого секретаря.

Сорокин немало удивился, получив по почте повестку с приглашением на партсобрание: он ведь каждый день бывал в горкоме и знал, что никаких собраний не планировалось. Егор Агапович пришёл раньше указанного времени и всё же, к стыду своему, увидел, что опоздал: все уже были в сборе и ждали лишь его. Он хотел присесть где-нибудь сзади, но Лещинский указал на отдельно стоящий стул впереди. Сорокин заподозрил, что над ним собираются сотворить судилище.

Так оно и вышло. Лещинский зачитал бумагу из милиции, обличающую Егора Агаповича в беспробудном пьянстве, потом бумагу из вышестоящих партийных органов, призывающую сурово покарать его за систематическое нарушение партийной дисциплины. Прения были недолгими. Как в кошмарном сне, Егор Агапович услышал жуткие слова Лещинского:

– Кто за то, чтобы исключить Сорокина Егора Агаповича из КПРФ, прошу поднять руку.

Сорокин с испугом смотрел на Алевтину Владимировну, которая подняла руку первая.

– Принято единогласно, – донеслось до его слуха. Ему подумалось, что приговор о расстреле он, пожалуй, воспринял бы не так болезненно. Но дело было сделано: Егора Агаповича исключили из партии во второй раз.

Для Сорокина настало мучительное время. Он даже на сторожевую свою службу перестал ходить. Лежал на диване, не разбирая дня и ночи, и бессмысленно глядел своими добрыми, простодушными глазами в потолок. Брюзжание жены его не трогало, он просто не понимал смысла её слов.

Однажды вечером Сорокин увидел перед собой могучую фигуру своего соседа. Николай, радостный, сияющий, возбуждённо что-то говорил. Егор Агапович никак не мог сообразить, с какой это победой поздравляет его сосед: неужели на дворе уже 9 мая? Наконец сообразил. Николай, оказывается, сообщал

о победе над противной стороной в деле о заводе. Он ходил днём в мэрию и своими глазами увидел там официальную бумагу, гласившую, что на основании решения суда городские власти запрещают строительство в Трёхреченске вредного завода.

Егор Агапович воспринял это сообщение как нечто чрезвычайно давнее и не имевшее касательства к нему. Но Николай был мужиком упрямым. Увидев, что растормошить Сорокина по-трезвому не удаётся, он сбежал в магазин и заставил Егора Агаповича принять три рюмки залпом «просветляющего». Неординарная мера возымела должное воздействие: Егор Агапович вышел из ступора. А приняв затем ещё пару рюмок, он вдруг сообразил, какой был дурень, что потратил так много дней на бесполезное лежание. Он ещё поборется! Он сам исключит из партии Лещинского!

С этого вечера началось выздоровление Сорокина. Ко дню выборов кандидата от их округа в Госдуму он выздоровел уже настолько, что с живейшим интересом начал ожидать сообщений о результатах голосования. Но радио на следующий день ничего про них не говорило, хранил на этот счёт молчание и телевизор. Тогда Сорокин пошёл в городскую мэрию. Там сказали, что ненавистный ему буржуй Кулаков победил, набрав более 50 процентов голосов уже в первом туре, но поскольку число проголосовавших оказалось меньше 25 процентов от общего числа избирателей, выборы признаны несостоявшимися. Такое сообщение Сорокин получил в два часа дня, а в пять вечера по радио объявили, что буржуй всё-таки прошёл в Думу – число проголосовавших якобы перевалило 25 процентный рубеж. На лицо была наглая фальсификация.

Сорокин, взбодрясь благородной яростью, принялся за расследование, как частный детектив. Узнав, что один из проигравших кандидатов подал иск в суд на «победителя» за допущенные в ходе избирательной кампании нарушения закона, Егор Агапович сверхактивно включился в работу по сбору данных, подтверждающих эти нарушения. Вскоре он наладил контакт с людьми, представлявшими сторону истца. Сорокин передал им

собранные данные и стал ездить на все заседания суда. Цинизм, с которым изворачивались на суде защищавшие Кулакова члены избиркома, прижатые к стенке неопровержимыми фактами противозаконных нарушений, возбуждал в Сорокине ярость и желание борьбы. Он снова ощущал себя бойцом и жил опять насыщенной, интересной жизнью.

ГЛАВА 11. 2001 ГОД

1

Татищев, сидя за столом, на котором стояла початая бутылка водки, разговаривал с женой, точнее, с её портретом. Из всех реальностей жизни её портрет, возникший в минуты алкогольного подъёма на стене, был для него единственно подлинной реальностью. Когда Татищева навещали воспоминания о безалкогольном прогале, якобы имевшем место в его жизни, он бывал обескуражен. В реальность красивенькой этой чуши он уже не верил. Это была, по его мнению, или пьяная фантазия, или нечто из другой какой-то жизни. А вот портрет жены — реальность. К великой радости Татищева, портрет научился разговаривать.

Бы апрельский вечер. Разговор с «реальностью» длился уже больше часа. Вдруг Вера озадачила:

— Зачем ты пьёшь?

У Глеба Ивановича даже сигарета из губ выпала, так поразил его ребром поставленный вопрос. Он долго смотрел на жену, собираясь с мыслями, чтобы ответить грамотно. Начал издали.

— Понимаешь, Веронька, ты, может, и не поймёшь, потому что ты уже неживая, а я ещё живой. А раз я живой, то живым живое, понимаешь? А в какие моменты живой человек живёт? Сейчас скажу. Человек живёт только в трёх моментах: в кресле у стоматолога — раз, с любимой, как вот я сейчас с тобой, — два, и когда выпьет — три. Ага. Про то, когда выпьет, ещё Омар Хайям писал, вот послушай:

«Когда я трезв, нет радости ни в чём,

Когда я пьян, темнеет ум вином.

Но есть меж трезвостью и хмелем то мгновенье,

Которое люблю за то, что жизнь лишь в нём...»

Вот. В остальных случаях мы не живём, а существуем. Я, может, и не пил бы, мне с тобой и так хорошо, но ты ведь приходишь, только когда я выпью... А ещё знаешь, почему я пью? Сейчас скажу. Из-за похмельного страдания. Ага. Оно мне необходимо.

– Ты разве мазохист, Глебушка? – удивилась Вера.

– Нет, с психикой у меня в порядке. Понимаешь, с похмелья всё видишь, как есть на самом деле. Видишь, какая это бестолковщина – так называемая жизнь. Если не страдаешь, кажется, что жизнь не бестолковщина, поэтому все трезвенники – жизнерадостные, самодовольные тупицы. Почему, спросишь? Потому что только тупицы могут радоваться жизни, ради которой надо убивать других. Мы ведь постоянно кого-то убиваем, чтобы жить самим. Так уж погано в этом мире, Веронька. Ага. Даже вегетарианцы убивают, учёные это доказали. Растения, оказывается, живые, боль чувствуют и страх. Представляешь! А есть такие люди, что не только других людей, а и собственную совесть убивают. Почему, спросишь? Тупицы потому что. Чтобы не стать тупицей, надо принимать похмельное страдание. Ага. Похмельное страдание ведь тяжёлая болезнь, а любая тяжёлая болезнь, разрушая тело, очищает душу. Ага. Кто тяжело не болел, тот не познал ни себя, ни мира...

На чём я остановился-то?.. А, вот. В похмелье розовая пелена с глаз долой, и сразу видишь гадости. Тяжело, конечно, хоть вешайся! Зато до скотства не дойдёшь. Знаешь, каково, когда без передыха месяц «кушаешь»? Как вот если новорождённого из материнского тела сразу в ледяную воду. Ага. Примерно так я себя чувствую с похмелья, Веронька. А впереди, как подумаешь, день ото дня всё хуже будет, хуже... Я тогда вот что, таблеток достану, чтобы помереть. Хотя, знаешь, я вроде не трусливый, а боюсь. Не смерти боюсь, а процесса, понимаешь? Почему? Не знаю. Ну их, эти таблетки!

Я вот что, я бутерброды стану есть. Ага. Я прочитал, что это всё равно, что самоубийство. Оказывается, мясо можно есть

только отдельно от хлеба, а кашу – от молока. Представляешь! Вот жизнь прожил, и таких основополагающих вещей не знал! Некоторые давно уже так едят. И пьют тоже по-научному. И дышат. И разговаривать могут только про мочу, про стул и про самочувствие. Про секс ещё, он, оказывается, улучшает обмен веществ. Больше ни о чём разговаривать не могут. Тупицы потому что. Ага. А нормальные люди, Веронька, материальную жизнь не приемлют. Вот скажи, какие книжки и кинофильмы нормальные люди любят? Которые о душе, а не о материальных гадостях с мордобоем, сексом и жратвой. Ага. Я тоже материальное теперь не приемлю, потому и выпил. Пожалуй, ещё полстаканчика приму. За твоё здор... Прости, Веронька, царствие тебе небесное... Помнишь, как у Бёрнса?

«Тихо запер я двери
И один, без гостей,
Пью за здоровье Веры,
Милой Веры моей...»

Ой, прости, Веронька, опять забыл. Царствие тебе небесное, и что не в рифму спел, прости. У Бёрнса вместо тебя Мери. Видишь, как нам с тобой хорошо? Никакого радио не надо. Ох, и словоблуд это радио, Веронька. Ты даже не представляешь. Вы, женщины, молодцы, вы внимания не обращаете. А я так не могу. Вот знаю, что для всякого времени своя гадость должна быть, а не могу. Ну разве стерпишь, когда то долдонят: «Мы идём правильным путём, товарищи!», то: «Мы идём верным курсом, господа!» А в отечестве только один исправный станок остался, это который бумажки денежные шлёпает. Больше мы ничего почти уже не шлёпаем. Ага. Высшая ценность теперь человек, долдонят. В 93-ем, знаешь, сколько этих «высших ценностей» отправили на тот свет? И после этого про свободу лапшу на уши кладут. И про цивилизованную жизнь. Прямо разжёвывают и в рот пихают. А зачем нам, спрашивается, их цивилизованная жизнь? Нам бы человеческую. Не могу понять, почему радио этого не понимает. Словоблуды потому что. По словоблудию все застойные годы, вместе взятые, переплюнули. То есть самих се-

бя. Ага. В застойные годы врать хоть и ввали, но всё же считали это дело неприличным, а теперь сами себе свободу объявили на этот счёт. Всё на свободу списывают, ага. Спасибо хоть, когда врут, оговорку делают: «как считают», «как полагают», «по его словам», «как сказали»... Бухнут, к примеру: «Президент считает, что у нас всё замечательно», и попробуй скажи, что неправда! Это президент, мол, так считает, а у нас свобода: хочешь считать по-другому – считай, пожалуйста...

– Хватит, Глебушка, языком молоть, – услышал он вдруг ясный Верин голос. – Ты не будешь больше пить. И страдать не будешь.

– Правда, Веронька? – обрадованно изумился он. – Веронька! Ты где? Ну вот, пропала. Дурак я, опять ей про политику. Ну-ка мы ещё полстаканчика махнём.

Выпив ещё полстаканчика, Татищев заснул на табуретке, потом перебрался на кровать. Наутро он поднялся со странным чувством ожидания чего-то важного. Глеб Иванович подошёл к окну. На ветвях берёзы, единственной уцелевшей под окном от нашествия рыночных автомашин, чирикала стайка воробьёв. Татищев глядел на них с улыбкой. Он живо вспомнил снежную полянку, снегирей на фоне синего неба в кружеве ветвей, накатанную санную дорогу, петляющую в берёзово-сосновом хороваде, раскрасневшуюся Алевтину на лыжах. Возникшая с поразительной ясностью картина не оставила места для сомнений – это, несомненно, было. И значит, действительно была Алевтина: Глеб встретился с ней как раз в тот далёкий зимний день, когда запало в память это диво. Он вспомнил, что так и не добрался тогда до чего-то нужного, ожидавшего впереди на лыжне за поворотом, куда убежала от него юная Алевтина.

Татищев побрился, надел офицерские брюки, свежую сорочку, ботинки. Уходя из комнаты, задержал взгляд на бутылке, в ней оставалась водка. Нет, пить больше не хотелось.

Апрельское солнце на улице припекало, точно уже лето. Дворники собирали у домов накопившийся за зиму мусор в кучи и поджигали, острые, пряные дымки приятно ударяли в ноздри.

На очищенных от прошлогодней листвы газонах уже зеленела травка, а по тротуару шли с весенними улыбками молодые женщины в летних платьях. Татищев вдруг поймал себя на том, что заглядывается на них. Ему стало совестно, и он смутился, но смущение было молодым, лукавым. Глебу Ивановичу было хорошо, никаких похмельных синдромов он не ощущал. «Весна потому что», — светло подумал Татищев, и ещё подумал, что эта первая весна XXI-го столетия лично для него знаменует возрождение: он подспудно ощущал, что мрак пьянства больше не вернётся, что-то повернулось в нём, навсегда отвергая власть алкогольного дурмана.

Татищев шёл по улице с ощущением заново родившегося человека. Волнение не унималось. Возвращаться с таким настроением в унылую пещерку не хотелось. Очутившись у железнодорожного вокзала, Глеб Иванович стал глядеть на табло с расписанием электричек, ближайшая уходила через пять минут. Татищев кинулся на платформу. Сойдя с электрички на знакомой станции, он двинулся через поле к лесу. В лесу было сыро, ботинки быстро промокли, но Глеб Иванович этого не замечал. Та прежняя зимняя дорога долго не отыскивалась посреди апреля. Но Татищев не торопился, брёл себе тихонько, уверенный, что никуда дорога от него не денется, и набрёл-таки на знакомую полянку. Глеб Иванович узнал её по берёзам в серединке. Постояв здесь, он сориентировался и вышел на искомую дорогу. Она показалась чужой вначале, но, дойдя до первого поворота, Глеб Иванович увидел уличавшую её приметку — согнувшийся над ней аркой ствол берёзы.

Татищев по-прежнему шёл не спеша. Даже когда на небо набежала тучка, и начало дождить, он не прибавил шагу. Зачем спешить, когда уверен, что дорога верная? Он шёл несколько часов. Дождь кончался, снова было солнце. И вдруг Татищев услышал впереди петушиный крик. «Наконец-то!» — с необъяснимой радостью подумал он. Перед ним открылся живописный песчаный спуск к жердяным мосткам через речушку. На противоположном берегу вновь прокукарекал невидимый петух. Татищев

перешёл мостки и в нетерпении чуть не бегом стал подниматься вверх по косогору. Сверху, точно с неба, шла навстречу молодая женщина с бельём в тазу. Увидев её, Татищев едва не задохнулся в ликовании: пришёл!

В голову как будто кто ударил, перед глазами встала явная стена из света. Потом свет погас, и в густеющей черноте стали уходить все звуки, осталось лишь неприятное гудение. Мир привычных ощущений отделился от Татищева и понёсся с жуткой скоростью куда-то прочь. В гудящей тишине его терзала мучительная потребность вспомнить что-то, терзала, казалось, уже вечность. Потом снова вспыхнула стена из света, и Глеб Иванович почувствовал, что этот свет – разгадка. Ему стало хорошо.

Когда женщина, бросив таз с бельём, подбежала, Татищев, лёжа на земле с закрытыми глазами, пытался улыбнуться левой стороной лица, в то время как правая каменно застыла.

2

Заглянув в ординаторскую, Алевтина Владимировна поздоровалась с подчинёнными и, мельком оглядев всех, пригласила к себе Строева.

– Что у тебя с глазами? – спросила она, едва он вошёл к ней в кабинет.

– У меня-я? – притворно удивился Строев.

– Да. Студень. Пил вчера?

– Было. Как это вы заметили? Вы давно таких вещей не замечали.

– Ещё раз замечу, худо будет.

– Намёк понял. А знаете, Алевтина Владимировна, у вас у самой с глазами не в порядке. Хотите, я секрет открою? Глаза у вас варьируют цветовую тональность в зависимости от настроения. Когда они у вас отдают голубизной, медсёстры в нашем отделении летают, как на крыльях, больные про болячки забывают. К сожалению, голубизной они у вас давно не отдают. Они у вас хоть и блестят по-прежнему, да не голубизной, а сталью.

— Балабол, — смягчилась Скобцева. — Ладно, хватит лирики, пошли к больным.

Они вышли в коридор. Рядом с богатырём Строевым фигурка Скобцовой выглядела изящной, даже хрупкой. Белые, накрахмаленные до хруста халат и шапочка очень ей идут, и всё же с этим медицинским обликом никак не вяжется представление о ней как о хирурге. Трудно поверить, что красивая эта женщина, источающая вместе с тонким запахом духов обаяние извечной женской слабости, способна хладнокровно резать человеческое тело пусть хирургическим, но всё-таки ножом.

В детской палате на первой от входа койке двухлетний мальчик с тяжёлой формой гнойного аппендицита. После операции у него жар и частое, судорожное дыхание, и матери, просидевшей возле него всю ночь, каждую секунду кажется, что он умирает.

— Он не умрёт ведь, доктор? — с мольбой обращает она к Скобцовой воспалённые глаза.

— Не знаю, — подчёркнуто холодно сказала Скобцева, щупая у ребёнка пульс. — Смеялся бы уже, если бы не ваша, мягко выражаясь, халатность. Кто вас просил ставить ему грелку? Почему так поздно вызвали врача?

— У нас телефона нет, а телефоны в городе все без трубок. Я думала...

— Ах, вы думали! Думали, ребёнок мой, и что хочу, то с ним и делаю. Я, мол, мать. А вы не мать, вы преступница, вы понимаете?

— Перестаньте, — женщина в отчаянии зажала уши.

Проблеск голубизны проступил в глазах у Скобцовой, но она это быстро погасила. На соседней койке флегматичный, тихий мальчик. Распухшая половина лица, где вскрыт нарыв, с марлевой подушкой и пластырем крест-накрест придавала ему залихватски-грустный вид.

— Бандитская пуля? — обратилась к нему с улыбкой Скобцева.

Мальчик, вопросительно посмотрев, тяжело вздохнул и про-

изнёс со стариковской рассудительной апатией:

— Зарезали меня.

— Ещё разрежут, — вырвался у Скобцовой неуместный каламбур, но она тут же спохватилась. — Всё будет хорошо, малыш.

Следующий — любимец нянечек и медсестёр Женька Воробьёв, буян с любознательными карими глазами, в которых никогда не потухает ровная, спокойная готовность к взрыву. Ему пять лет, но он не по годам развитой, и у него сильная нервная система. Малыш презирает страх перед болью и может постоять за себя перед кем угодно, но и у него есть слабость: он панически боится клизм.

— Как спал, Евгений?

— Хорошо. — В бодром голосе у мальчика нотка недовольства. — Я не люблю спать, а засыпаю.

— Не слушается он, Алевтина Владимировна, — заметил Строев притворно строгим голосом. — Бегает с утра до ночи. Может, ему клизму сделать?

В табели о рангах Женька отлично разбирается. Взглянув на ябедника с неодобрением и без тени страха, на Алевтину Владимировну он переводит уже заискивающие глаза.

— Рано тебе бегать, — говорит она. — Шов может разойтись, тогда и сам бегать не захочешь.

— А клизму делать не будете?

— Не будем.

— Тогда не буду. А клизму только с аппендицитом ставят?

— Не только. Ты их лучше не бойся.

— А я и не боюсь.

В соседней палате на первой от двери койке больной предпенсионного возраста с растерянными, беспокойными глазами. У него подозрение на аппендицит, и он откровенно трусит перед операцией. При появлении врачей его руки нервно начинают двигать одеяло по груди, а лицо принимает угодливое выражение. С воодушевлением труса старик принялся рассказывать про свою болезнь.

— Мне кажется, у меня не аппендицит, — объявил он, многозначительно понизив голос. — Температура невысокая и тошноты уже вроде нет. Мне кажется, у меня...

— Если вам кажется, я вас выпишу, — неприязненно перебила Скобцева. — Подпишите только отказ от госпитализации, чтобы за вас не отвечать. — Она сделала движение уйти, но больной, изогнувшись, схватил полу её безукоризненно отглаженного халата цепко скрюченной, потной пятернёй.

— Я не соглашусь на операцию, пока... Вы должны...

— Я должна надеть на вас смирительную рубашку, раз вы пускаете в ход руки.

Резким движением Скобцева выдернула из его руки халат, больной, побледнев от испуга, спрятался под одеяло. Его сосед по койке, двадцативосьмилетний парень с недельной бородой поминутно сплёвывал в поставленный у кровати тазик: прорвалась флегмона. Шесть дней зрел у парня травматический горловой нарыв, и уверенности в том, что прорвётся он благополучно, у врачей не было. Парень от боли не мог ни есть, ни пить, ни спать, ни говорить, а обезболивающее из-за недостатка приходилось экономить для ещё более тяжёлых случаев. Строев рвался сделать операцию, но флегмона была трудная, пришлось бы резать шею и лицо, и Скобцева со дня на день откладывала оперативное вмешательство. Риск оправдался. На небритом, исхудалом лице парня изумлённо-недоверчивое выражение вернувшегося к жизни человека.

— Как дела? — спросила Скобцева.

— Хорошо, — просипел с натугой парень. — Когда вы меня выпишете?

— Через неделю, если всё и дальше будет хорошо.

— Мне бы раньше надо. Мать болеет. Она в другом городе, одна.

— Нельзя тебя сейчас выписывать, — возразил Строев. — Дежурная сказала, ты сознание потерял, в туалет идучи, куда тебя такого!

У парня виноватая улыбка.

— Через неделю выпишем, — заключила Скобцева, затем, помедлив, обронила. — А побриться надо.

После обхода Алевтина Владимировна села в своём кабинете за рабочий стол, придвинула рабочие бумаги. Её длинные пальцы слегка дрожали. Было беспокойно на душе, а отчего, она не понимала, и поэтому резкий телефонный звонок её напугал. Звонила дежурная сестра: кто-то по городскому телефону просил позвать начальство.

— Переключи на меня, — приказала медсестре Скобцева.

Взяв трубку, Алевтина Владимировна с трудом поняла, что звонит начальник отдела, в котором работает парень с прорвавшейся флегмоной. Закончив телефонный разговор, она в задумчивости попросила дежурную сестру позвать к ней в кабинет больного парня, а также срочно разыскать доктора Строева.

Больной вошёл в кабинет уже побритый. Почти сразу же вслед за ним появился и озадаченный Строев.

— Садитесь. — Скобцева уводила в сторону глаза. — Покажите горло. Так... Хорошо. Теперь побольше ешьте. Так вы хотите выписаться?

— Да, — оживился больной.

— Выпишем, Виталий Юрьевич?

— Как скажете, — не стал возражать Строев.

— Звонил начальник отдела, где вы работаете, — произнесла Скобцева скороговоркой, — сказал, ваша мама умерла. Сейчас должна подъехать машина, начальник сказал, водитель в вашем распоряжении, можете ехать... к маме. Доктор Строев срочно оформит вам все документы.

— Спасибо, — ответил машинально парень, не сознавая чувовищной сейчас бессмысленности этого вежливого слова, и встал.

Строев вышел за ним следом. Скобцева подвинула к себе кипу карт с историями болезней, но её глаза, расслабленные проблеском голубизны, смотрели в собственную подсознательную глубину. Отодвинув кипу на прежнее место, Алевтина Владимировна направилась в детскую палату.

Измученная страхом и бессонной ночью женщина по-прежнему обмирала при каждом судорожном вдохе своего ребёнка. Скобцева, взяв стул, присела рядом. Женщина, встрепенувшись, посмотрела на неё с испугом. Пощупав у ребёнка пульс, Алевтина Владимировна тронула руку женщины и сказала мягко:

– Всё будет хорошо.

Женщина вскинула на неё вспыхнувшие безмерной благодарностью глаза.

– Идёмте со мной, – позвала Скобцева. – Идёмте, не бойтесь, ничего с ним не случится.

Приведя женщину в свой кабинет, она после долгих уговоров заставила её перекусить с ней бутербродами и кофе.

– Дай бог вам счастья, – сказала растроганная женщина, уходя.

Скобцева взялась за истории болезней. Вскоре, постучавшись, вошёл Строев. Сел на стул напротив и, странно посмотрев, сказал:

– В экстренное четверых сразу привезли. У одного, юнец ещё совсем, ранение в живот в упор из пистолета. Милиционер в приёмном весь испрыгался вокруг него: подай ему данные о стрелявшем, и всё тут. Ты, говорит, умрёшь, а который в тебя стрелял, смеяться будет.

– Господи, жестокость какая. – Глаза у Скобцевой сделались тёмными, стоячая вода в глухом лесу.

– А юнец ни слова, – продолжал меланхолично Строев. – Может, из страха перед мезьтвю, а может, сил уж не было. Во время операции скончался. И мужчина один помер, до операции не дотерпел. Шофёр. Рулевая тяга у него разорвалась на повороте, ничего не мог поделать. Машина врезалась в витрину магазина, а там на тротуаре ребёнок был в коляске.

– Господи! – Глаза у Скобцевой снова потемнели.

– В лепёшку бы, конечно, не оказался рядом хороший человек, его тоже привезли. Оттолкнуть успел коляску. С матери бутылка. Нет, бутылки мало. Пять переломов, ушибы, крови уйму

потерял – стеклом от витрины жакнуло. В реанимационной, в общем. Четвёртого на дороге с инсультом подобрали...

Скобцева поднялась:

– Пойду погляжу на спасшего ребёнка.

В реанимационной, остановясь у койки с забинтованным с ног до головы мужчиной, Алевтина Владимировна взглянула на соседнюю и замерла. Её побледневшие внезапно губы чуть слышно прошептали: «Господи...» Непроизвольно вскинутой вверх рукой она сдавила собственное горло. На койке лежал Татищев. Правая сторона его лица оставалась каменной, другой половиной он всё ещё пытался улыбнуться.

Ночь Скобцева провела у койки Татищева. Глеб Иванович не приходил в сознание, но его левая рука время от времени слабо шевелилась, и тогда Алевтина Владимировна прикасалась к ней своими пальцами и шептала: «Всё будет хорошо».

Утром Татищев скончался. Побледневшая от бессонной ночи Скобцева вернулась в свой кабинет. Зазвонил телефон, её приглашал к себе заведующий поликлиникой Лев Яковлевич Прицкер. Вкрадчиво нежным говорком он расспросил о проблемах её гнойного отделения, потом будто невзначай промолвил:

– Что это вы не позволяете своим подчинённым брать с пациентов плату за операции? Закон ведь разрешает...

– С богачей брать не запрещаю, – устало возразила Скобцева. – Но с людей, живущих на грошовую зарплату, брать по меньшей мере безнравственно.

– А, по-вашему, нравственно отказывать в приработке врачу, живущему на грошовую зарплату?

– На то он и врач, для него закон – клятва Гиппократата.

– Я бы порекомендовал вам выбросить романтику из головы, сейчас другое время. Если будете упорствовать, я...

– Пока я заведу отделением, всё останется, как было.

– Тогда нам с вами лучше, видимо, расстаться.

– Моё заявление об увольнении занесёт вам медсестра, – сказала Скобцева.

Татищева хоронили в пасмурный, дождливый день. Провожавших было мало: две его дальние родственницы, Скобцева, бывший сослуживец Миша Кузнецов, четыре солдата с лейтенантом, выделенные военкоматом для салюта, несколько любопытных да оркестр. Прощальную речь сказал Миша Кузнецов. Солдаты трижды дали залп из автоматов. При каждом залпе они вздрагивали и болезненно морщились, далеко им, хилым, было до крутых одногодков, предпочитавших служить Меркурию. Оркестр грянул гимн. Гимн был советский, прежний. По бледному лицу Скобцовой катились слёзы.

3

Левенцов и Ротмистров возвращались из очередной поездки в столицу. В первом часу дня поезд остановился у давно не обновлявшего окраску здания с разбросанными по фасаду буквами, слагавшими слово «БЕЛОВОДСК». Друзья вышли на платформу. Оба были налегке, хотя провели в гостинице в Москве целую неделю. Спустя четверть часа они были уже в квартире Ротмистрова. Пока Левенцов принимал душ, Ротмистров отварил сардельки. Потом они поменялись: Ротмистров пошёл принимать душ, а Левенцов отправился на кухню приготовить кофе.

Поели за журнальным столиком у окна. После еды, не убирая посуды, глядели на вокзал, на железнодорожные пути, на бездымные заводские трубы. Обоим было грустно. Они так привыкли к работе над проектом, что теперь, по завершении её, испытывали чувство, похожее на утрату друга. Проект был закончен четыре месяца назад, но были ещё поездки в Москву, где они пытались пробить своему творению дорогу. Эта последняя их недельная одиссея в столицу завершила совместную работу окончательно, авторитетная госкомиссия, рассмотрев «отфутболенный» ей правительственными органами проект, вывела заключение о его практической несостоятельности.

Соавторы понимали, что на положительный отзыв шансов не было в силу как раз реальной состоятельности их проекта, ведь одним из следствий его реализации стало бы низведение государственных мужей до уровня обычных операторов, обслуживающих компьютерную систему, то есть государственные мужи не на словах, а на деле сделались бы слугами народа. Вообразить такое, конечно же, было не по уму государственным мужам. Идеи, заложенные в проекте, видимо, не по уму даже простому люду, на благо которого он сотворён. Слишком уж вызывающе не отвечают эти идеи нынешнему мировосприятию. Люди в упованиях на счастливую жизнь по-прежнему наивно веруют в возможность справедливого руководства со стороны себе подобных. Одни видят идеал в единовластии, другие – в парламентском правлении, третьи – в ЦК партии, но суть одна: без руководства со стороны себе подобных жизнь людьми не представлялась, как не представлялась она когда-то без царей, королей, князей, герцогов, маркизов, графов и прочей непонятной шушеры. Лишь единицы в этом мире сознавали, что любого вида государственная власть, составленная из людей с их людскими слабостями, справедливой никогда не будет.

Именно в расчёте на поддержку этих одиночек Левенцов и Ротмистров обосновали в своём проекте идею защищённости государственных структур от влияния слабостей власть имущих, то есть от их склонности к стратегическим и тактическим ошибкам, к недальновидности, наживе, воровству, коррупции, семейственности, жестокости, коварству, хитрости, обману. Разработанная ими компьютерная система представляла собой готовый инженерный механизм, гарантирующий благосостояние народа и государственную безопасность на всех уровнях. Гарантия обеспечивалась не предвыборными клятвами государственных мужей, а заложенными в бесстрастную компьютерную память объективными законами общественного бытия и дублированной системой защиты от ложной информации. Любое отклонение от непреложных, как земное тяготение, законов система пресе-

кала. Она брала максимум от возможностей экономического и социального прогресса и не допускала ничего паразитного. То есть их система обеспечивала жизнеспособный социализм, защищённый как от левых, так и правых искажений.

Соавторы понимали, что когда-нибудь их творение непременно будет человечеством востребовано. Левенцов лелеял надежду до этого дожить. Ротмистров такой надежды не имел.

— Знаешь что, Слава, — произнёс он с задумчивым видом, прервав молчание. — Проект необходимо всё-таки зарегистрировать как изобретение. Вернее, как открытие. Это должен сделать ты. Я, кажется, отпрыгался. Единственное, чем смогу помочь, — это оформить юридически отказ от притязаний на соавторство, что облегчит тебе хлопоты. Не жалею денег на оформление и поддержание патента хоть до конца дней своих. Превозмоги лень. Я понимаю, какая это неблагодарная суетня, но надо. Нельзя допустить, чтобы проект попал в руки тёмных сил недружественного нам государства. Уж сколько раз так было...

— Ты как будто помирать собрался, Вень, — не удержался от иронии Левенцов.

— У меня и вправду, Слав, такое чувство, будто я сделал уже всё, что было на роду написано. Я уже в этом мире не ко двору, пора в ином поискать работу.

— Найдёшь, меня пригласишь потом.

— Нет уж, семейственность разводите не буду, — улыбнулся Ротмистров.

— А правда, чего-то грустно, Вень. Может, пройдемся?

— Пойдём.

На улице было солнечно, на деревьях распускались первые листочки, хотя ещё и май не наступил, весна спешила. На небольшом спортивном стадионе возле школы, в которой работала сестра Вениамина, шли соревнования, толпа школьников азартными возгласами подбадривала бегунов. Левенцов и Ротмистров подошли к барьеру, ограждавшему беговую дорожку. По дорожке весьма резво бежал мальчик в противогазной мас-

ке. Завершив круг, он на ходу сорвал с головы маску и передал её другому мальчику, тот, облачась в неё, помчался, подбадриваемый криками болельщиков. Руководивший эстафетой мужчина с секундомером в руке записывал результат первого. Выглядело это, несмотря на противогазную маску, жизнеутверждающе.

— А я думал, о военной подготовке в школах и думать позабыли, — заметил Левенцов.

— Правильно думал, — апатично отозвался Ротмистров. — Катя говорит, у них эти жалкие начатки военной подготовки ввели два года назад после Натовских бомбардировок Югославии, да и то под давлением преподавателя физкультуры — офицера-отставника. У нас ведь шевелиться начинают, когда петух в попу клюнет. Катя говорит, учителей-патриотов у них в школе раз-два и обчёлся. Преподаются детям русофобское видение мира.

— Не все же такие, — возразил Левенцов. — Я уверен, многие из них что-то делают и для России.

Ротмистров махнул рукой с безнадёжным видом:

— Не верю в пользу таких разрозненных деяний, они лишь создают иллюзию вместо подлинного дела. Таких подвижников у нас всегда в избытке было. В царской России они боролись на земском уровне с провинциальными несправедливостями, жертвовали свои денежки на земские больницы, школы и кичились: мы, мол, делаем полезное, а не разглагольствуем, как всякие там смутьяны. Не полезное они делали, а лишь продлевали агонию царского режима. То же и теперь. Ты посмотри, у них же один противогаз на всю школу! По меньшей мере это негигиенично, а по большей... плакать хочется. Пойдём отсюда.

— Веня, — Левенцов заглянул в действительно плачущие глаза товарища, — ты что, так близко принял неудачу нашего проекта?

— По правде сказать, да. Я так надеялся дожить до возрождения России. На Руси никогда особенно сладко не было, даже при Владимире-Красном Солнышке. Народ стонал и при бездарных правителях, и при одарённых. Но при всех этих столах и нескладностях у нас всегда ощущалось присутствие порыва

к совершенству. Я это остро чувствовал ещё до школы, до того, как прочёл первую книжку по истории. Слово «Россия» означало для меня суть мира, я веровал в неё, как в самое святое божество. Веровал, Слава... Теперь у меня такое чувство, будто моя вера пошатнулась.

– Пройдёт, Вень. Не пророками влочена в тебя вера, она твоя, никуда тебе от неё не деться.

– Дай бы Бог...

– Вень, давай помянем «надежду» на реализацию нашего проекта.

– Давай, Слав.

Они взяли в ближайшем магазинчике две бутылки «Изабеллы», заплатили за них 250 рублей – треть среднемесячной зарплаты по Беловодску. Помянуть «надежду» друзья решили на природе. Приобрели в разливочной разовые стаканчики и отправились на городскую окраину. Неподалёку от монастыря набрали на грубо сколоченную скамью у глухого дощатого забора, место для поминок было идеальное: пустынно, тихо и дивный вид на реку. И вино оказалось неплохое. Не сравнить, конечно, с «Изабеллой» дореформенного времени, но аромат по крайней мере «Изабеллу» напоминал. Под воздействием вина настроение у друзей пошло вверх.

– Рано нам терять веру в Россию и русский народ, – сказал Левенцов. – Я унаследовал как раз от тебя, Веня, ту часть веры в Россию, которую ты, как тебе кажется, утратил. И потом, из вывода академика Вернадского о единстве человеческого общества и биосферы я позаимствовал ещё одну веру – веру в то, что идея России вопреки реформаторам и либералам в конце концов составит стержень общепланетарной нравственности. Об этом говорит и интуиция.

– Понимаю твой упрёк, Слав, но смириться с космополитизмом выше моих сил.

– А разве Вернадский космополит? Ему просто дано было остро чувствовать связь всех народов со всеобщим разумом человечества и вечностью. Но в то же время он признавал, что

наука — единственная форма общественного сознания, объединяющая страны и народы, а всё остальное разъединяет. — Левенцов достал из кармана уже весьма потрёпанную записную книжку. — В дневнике за 1920 год Вернадский писал: «Я не могу себе представить и не могу примириться с падением России, с превращением русской культуры в турецкую или мексиканскую».

— Любопытно, что бы он относительно русской культуры написал теперь? — усмехнулся Ротмистров. — Он же украинец, Россия с её русской культурой была бы для него теперь иностранным государством, тем же турецким или мексиканским.

— Вень, а ты и впрямь серьёзно захворал, тебе даже «Изабелла» не помогает, — расстроился Левенцов. — Знаешь что, приезжай ко мне в Тимохино. У нас там замечательно: никаких намёков на интеллектуальные расстройства — любой психоз излечивается за неделю. Взамен, правда, заболеваешь меланхолией. Чтобы предупредить этот побочный эффект, мы с тобой ежедневно будем принимать пятиминутную порцию интеллектуальной беседы. Если покажется утомительным, будешь переключаться на беседу с моими домашними или с коровой — это равноценно.

Ротмистров принуждённо рассмеялся.

— Видишь, я только образ лекарства нарисовал, а у тебя уже симптомы выздоровления. Серьёзно, приезжай, Вень. За сморчками ходим в лес, с огородом нашим познакомлю. И домашним моим приятно будет, а то они думают, будто я один интеллигент на свете. Приедешь?

— Непременно. Только напрасно ты, Слав, так о своих близких, нехорошо это. Ладно, через пару дней закончу для городской администрации одну бумагу и приеду к вам.

— Не обмани. Я в райцентре познакомился с одним виноделом, дивное вино prepares, выше магазинного на пять голов, бочоночек к твоему приезду обеспечу.

В полшестого друзья двинулись к вокзалу. В полседьмого поезда повёз Левенцова в Тимохино.

4

Наутро Левенцов отправился автобусом в райцентр к ку-деснику-виноделу. В автобусе были сплошь пенсионеры – дедули и бабули. Везли молоко, картошку, первую огородную зелень на продажу. Водитель включил для утончённого слуха Левенцова такую «утолщённую» поп-пародию на музыку, что Вячеслав порывался выскочить из автобуса и идти в райцентр пешком. Поп-пародия сама по себе уже разрушала психику, но куда интенсивнее разрушало её то обстоятельство, что этот «музыкальный» долбёж не оказывал ну абсолютно никакого воздействия на психику бабулей и дедулей. Они этот долбёж забывали собственными голосами. С «коровьим» благодушием на лицах монотонно орали друг другу под ухо про то, как болело под ребром до полвторого ночи и как выше ребра – до полтретьего, и чего от этого принимали, и чего помогало, а чего нет. Кричали также про то, чего говорили друг другу персонажи из киносериала вчера по телевизору, и чего говорили – уже не по телевизору, – внуки, дочери, снохи, зятя и соседи, и чего в огороде выросло, а чего не растёт, хотя в прошлом году на этом самом месте росло не хуже, чем на том месте, где сейчас выросло, а заодно и чего было куплено вчера к ужину на пенсию, и чего от пенсии после этого осталось, в то время как от купленного на ужин к утру уже не осталось ничего. Не смолкающий ни на секунду крик-жужжание под аккомпанемент «музыкального» долбежа из водительской кабины выливался в нечто непостижимое уму. У Левенцова не было и капли сомнения, что окажись в автобусе инопланетянин из взаправдашнего цивилизованного мира, его через десяток минут пришлось бы отправлять в психушку. Поэтому он опасался в отношении самого себя.

У винодела Левенцов подорванную психику залечил двухчасовым сеансом дегустирования винодельческой продукции. Наполнив выбранным вином шестилитровую ёмкость, он, никуда более не заходя, отправился на автобусную станцию. Автобуса

пришлось ждать полчаса. Левенцов со сложным чувством смотрел на процесс посадки пассажиров в автобус у соседнего турникета. Дедули и бабули там смиренно дожидались, пока все сидячие места в автобусе займёт лезущая без очереди с внешней стороны турникета молодёжь.

Пружинные устройства, обеспечивавшие мягкий контакт турникетов с автобусами, были всюду сломаны. Эти устройства Левенцов сконструировал и изготовил сам. Их назначение было не допускать проникновения в автобус лезущих без очереди с внешней стороны. Вячеслав сделал их по собственной инициативе и за собственные деньги, поскольку у райцентровского автохозяйства денег на такие вещи не было. От поступлений за эксплуатацию в различных фирмах его изобретений у Левенцова в банке накопилась уже приличная сумма, и он полагал, что потратить некоторую её часть на защиту престарелых от хамской молодёжи — благородное дело.

Однако эти турникеты сломали через неделю после установки сами же бабули и дедули, им невтерпёж было дожидаться подхода автобуса взаперти. Именно тогда Левенцов переписал в свою записную книжку слова из дневника Вернадского о 1920 годе: «Я не принимаю основного — равенства всех людей. Низы здесь ждут большевиков. Так же, как и русские новые буржуи, пролетарии видят всё в еде, любви и вине. Человеческое свинство во всей красе». Сломанные турникетные приставки являли собой наглядное свидетельство бессмысленности творческих усилий во имя материальных благ для человечества. Человечество ещё надо воспитывать.

Ротмистров через два дня не приехал. Не приехал он и через неделю. Левенцов отправился утренним поездом в Беловодск. Дверь открыла Катя. Она была в чёрном платье.

— Веня написал вам письмо, — сказала Катя. — Я забыла отправить. Он написал его за день до... — Она заплакала.

— Вениамин... — Левенцов судорожно перевёл дыхание. — Он умер?

— Да. Четыре дня назад, вчера похоронили. Вы проходите.

Левенцов прошёл в комнату, которая была для него вторым домом, в растерянности встал посреди неё, обвёл глазами полки с книгами. «Неужели всё?» — звенело у него в голове.

— Вы присядьте, Слава, — сказала Катя. — Давайте помянем.

Она наполнила две рюмки. Они молча выпили. Глядя в окно на не дымящие заводские трубы, Левенцов спросил:

— Он тяжело умирал?

— Ни на что не жаловался, просто лежал. Я думала, это обычное недомогание и не осталась дежурить ночью, а утром прихожу, а Веня... — Катя опять заплакала. — Лежал на боку, как будто спал, я даже не поняла, что он умер. Врач сказал, от сердечной недостаточности.

— Вы мне покажете, где его похоронили?

— Пойдёмте, автобус через десять минут.

Могилы Ротмистрова была на новом кладбище, старое уже не вмещало всех желающих перебраться в мир иной. На этом новом не было ни деревца, ни кустика, одни уныло прямые суглинистые дорожки с голыми бугорками по бокам. У бугорка Ротмистрова стандартный деревянный крест был заставлен свежими венками. С овала цветной фотографии Вениамин глядел не то с аристократичной мягкостью, не то с мудрой русской простотой.

— Надо поставить Вене хороший памятник, — сказал Левенцов.

— Надо, — вздохнула Катя. — Но...

— Деньги не проблема! — отнёс возражения Вячеслав. — Вы заказывайте, я всё оплачу. Благодаря бескорыстной помощи Вени у меня сейчас достаточно средств на счету. При жизни ваш брат отказывался брать от меня деньги, вашего же отказа я не приму.

— Спасибо, Слава...

Попрощавшись с Катей, Левенцов пошёл по городу. Очуться на окраине, нашёл скамью у забора, где разговаривал с Веней в последний раз. Вячеслав сел на эту скамью и стал глядеть за реку. Подошла бездомная собака, понюхала его ноги, виновато

то повиляла хвостом, села рядом. Он погладил её, она благодарно прижалась к его ноге. Вспомнились слова Ротмистрова: «У меня такое чувство, будто я сделал уже всё, что было на роду написано». Левенцов такого чувства ещё не испытывал, но и не знал теперь, что делать. Жизнь отваливалась кусками. Недавно ещё он планировал изобрести что-нибудь, способное приблизить автотрофность человечества, а теперь, кажется, и самые блистательные идеи уже не вдохновят. Всё представлялось не стоящим усилий.

Левенцов пошёл на монастырский двор к скамье, где встретил Веню в первый раз. Собака, следовавшая за ним, постеснялась войти во двор, осталась у калитки. Сидя на скамье в аллее, Вячеслав вспомнил, каким интеллигентно-виноватым было выражение у Вени, когда с ним приключился здесь сердечный приступ.

По асфальтовой дорожке к церкви шли монашенка и священник. В облике монашенки Левенцову ещё издали почудилось знакомое. Когда монашенка приблизилась, Левенцову вдруг померещилось, будто это Алла Скобцева. Сходство было так разительно, что он подумал, это мистика. Когда же монашенка сделала небрежное движение рукой, которое могло принадлежать только Алле, Вячеслав решил, что это, скорее, галлюцинация. Но совсем уже необъяснимым было то, что, когда их взгляды встретились, монашенка изумлённо вздрогнула и приостановилась, а потом, поднявшись на крыльцо церкви, оглянулась и впечатляюще пристально и долго на него глядела. Потом она перекрестилась и скрылась в церкви.

Левенцов поднялся с безотчётным намерением последовать за галлюцинацией, но вовремя опомнился: суетное любопытство представилось кошунственным в день траура по Вене. Он вышел со двора, раздав у калитки все имевшиеся мелкие деньги горемыкам с сизыми носами. Собака дожидалась его. Левенцов купил для неё колбасы в ларьке, самому ему есть не хотелось. Собака принялась было за еду, но увидев, что он уходит, оставила угощение и кинулась за ним, она показывала, что дружба с ним для неё дороже.

– Глупая, – сказал Вячеслав ей, – я не спасу тебя от одиночества, меня бы самого кто спас...

Возвратясь в Тимохино, Левенцов сообщил домашним о смерти друга.

– Теперь мне в Беловодске делать больше нечего, – сказал он.

Антонина Ивановна поохала, потом взяла подойник и ушла к корове. Наташа посмотрела ему в глаза и, не произнеся ни слова, вдруг заплакала. Вячеслав видел её слёзы впервые.

– Почему ты плачешь? – спросил он.

– Не знаю, – ответила она.

Так было всегда. Не было случая, чтобы Наташа открылась даже в минуты сильных потрясений. Левенцов всегда вынужден был выстраивать гипотезы относительно мотивов её поступков, порой с точки зрения логики необъяснимых. Ужинать он не стал. Взял половину привезённого из райцентра вина и пошёл к вдовому горемыке-пьянице Ефиму Бубнову. Они выпивали за упокой души то Вениамина, то Ефимовой жены.

От Ефима Левенцов ушёл за полночь. В ночной тишине из клуба доносились звуки безобразной музыки. Клуб восстановили на деньги Левенцова, он дал пятьдесят тысяч рублей, полагая, что они послужат делу возрождения культуры на селе. Вышло наоборот, на культурные мероприятия молодёжь в клуб не ходила, посещала только дискотеки, которые сопровождались пьянством и драками. Было загадкой, где молодые бездельники доставали деньги на водку.

Левенцов приближался к клубу. Музыка смолкла, вместо неё теперь неслись грубые выкрики и брань. В приближающемся гуле говора Вячеслав различил голос Ксюши. Этой весной она заканчивала школу и считала себя уже взрослой. «Повзросление» выразилось прежде всего в изменении круга чтения. Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский, признанные классики зарубежной литературы, не говоря уже о классиках советских, стали для неё синонимом слов «совок» и «недотёпа». Показателем же принадлежности к культурной элите было теперь в её глазах знакомство

с либерально-сексуальными газетёнками и так называемыми «бестселлерами» того же направления. В ответ на укоры матери Ксюша однажды в присутствии Левенцова снизошла до разъяснений:

– Ты отстала от жизни, мам. Старые ценности переигрались, понимаешь?

Ошарашенная Наташа не нашлась как возразить, за неё ответил Левенцов:

– Ценности, Ксюшенька, не игра в поддавки или в дурака, они не переигрываются. Я имею в виду подлинные ценности, такие как совесть, честь, стыд, скромность, почтение к старшим. Переигрались не ценности, а отношение к ним тех газетёнок, которые ты по необразованности своей приняла за верх образованности.

Ксюша спорить с Вячеславом не стала, но дружба её с ним с этого момента кончилась. Ксюша поняла, что образованный дядя Слава такой же «непроходимый совок», как и её необразованная мама.

Молодая компания была уже рядом. Левенцов отступил к обочине под прикрытием кустов сирени. Ксюша шла в окружении кавалеров и подруг. По уверенному тону её голоса чувствовалось, что быть центром внимания ей не привыкать. Она рассказывала о робком поклоннике-«недотёпе», не догадавшемся пригласить её в кафе в райцентре. Циничная обрисовка «недотёпской» роботости вызвала у её молодых слушателей неестественно громкий смех. Внезапно Левенцов услышал изошрённую матерную брань, сопроводившую рассказ. Он не сразу сообразил, что эта грязь исторгнута «невинными» девичьими устами Ксюши. И до этого Вячеславу приходилось слышать, как скверно выражаются в деревне девушки, при всём неприятии этого уродливого явления он его сносил, но чтобы ругалась вот так Ксюша... Как будто чистый ночной воздух дохнул вдруг смрадной вонью, от которой он почувствовал приступ отвратительного душевного удушья.

В эту ночь Левенцов не мог заснуть. Он с тоской ощущал, как из темноты подкрадывается одиночество. Вячеслав не знал,

что лежащая рядом Наташа тоже не спит и без слёз тихо плачет от удвоенной тоски одиночества: и за него, и за себя.

5

На рассвете Левенцов вспомнил о переданном ему Катей письме Ротмистрова. Он тут же поднялся и прочёл его:

«Слава, я завтра умру, я знаю. Прими на прощанье мою благодарность за нашу с тобой встречу, за работу над проектом, за дружбу, за то, что ты есть на свете, хороший, славный человек. Жаль, не успел оформить юридически отказ от своей доли авторских прав на проект. В случае чего, при оформлении патента покажи это письмо, пусть его рассматривают как завещание. Во всяком случае, никто из моих родственников претендовать на разделение с тобой авторских прав не будет, в этом можешь быть уверен.

Меня другое беспокоит. Вот что, не верь, будто пошатнулась моя вера в Россию. Я не мог сказать такого, это зловредный мой оппонентик буркнул из меня. Ты прав, вера в Россию во мне не от пророков, она суть моя, и мне не страшно умирать. И за тебя я не боюсь, по размышлению я понял, что твоя увлечённость идеей единого человечества идее России не вредит. Я понимаю твои сомнения, в нынешнем разгуле национальных инстинктов так хочется уйти во что-то более возвышенное. Но ведь и любовь к единому человечеству тоже не ахти какая всеохватывающая идея, когда живёшь в беспредельном космосе. Только Россия-то в беспредельности одна, одна единственная. И это не догма, не застылость. Россия, конечно, будет развиваться. Но в какую сторону?

Сейчас все помешались на курсе доллара, инвестициях, кредитах, в общем, на экономике. Лишь немногие понимают, что вся эта денежная дребедень к подлинно научной экономике не имеет никакого отношения. Путь к благу лежит не через примитивную экономику, а через науку, творчество, технический прогресс и труд. И всё-таки я верю, что не на западные мерки

Россия будет ориентироваться, а на такие, как, например, арабский халиф Умар, правивший Аравией в середине VII века. Он, будучи царём, не позволял себе тратить на питание, одежду и прочие нужды больше, чем зарабатывал личным своим трудом, он делал из пальмовых листьев опахала.

Из двух подходов к даруемой изобилием свободе — первый: теперь вы свободны, развлекайтесь, а второй: теперь вы свободны, работайте, — Россия изберёт второй. Так что твои сомнения, стоит ли изобретать что-либо приближающее к изобилию, когда народ к изобилию духовно не готов, излишни. Россия от изобилия не раскиснет. Тебе не следует опасаться творить для изобилия ещё и потому, что в твоих изобретениях присутствует благородная революционность куда более революционная, чем все вместе взятые программы-максимум самых левых супербольшевиков. Твои изобретения революционизируют сам взгляд человечества на мир. Продолжай творить в том же духе, Слава, и не ломай голову над вопросом, для кого творить, твори для России, чего мудрить-то? Даже в такой глобальной твоей задумке, как автотрофность человечества, ориентируйся всё же на Россию, и всё будет хорошо.

А всё же грустно, Слава, умирать. Только теперь в полной мере чувствуешь, как мимолётна, как мгновенна жизнь. Но страха не испытываю. Ощущение мгновенности жизни это ведь и ощущение её вечности, — так, кажется, писал Вернадский. Это высшее — чувствовать, что как личность я не случаен в этом мире.

Низкий поклон твоим домашним, жаль, что так и не довелось познакомиться. Хотелось бы закончить письмо живым: «До свидания», но не буду искушать двусмысленностью даже такой свободный, открытый всепрощающему юмору ум, как твой.

Твой друг Вениамин Ротмистров».

Левенцов перечитал письмо в четвёртый раз и, не убирая его, принялся ходить по комнате. Шёл девятый час утра. Наташа, не сумев убедить его в необходимости позавтракать, ушла трудиться в огород. В голове у Левенцова, несмотря на бессонную

ночь, была болезненная ясность. И, несмотря на эту ясность, он никак не мог уяснить для себя простую вещь: Вени Ротмистрова в Беловодске больше нет.

Прошло три дня. Левенцов продолжал ходить вперёд-назад по комнате. Ночью он лежал, но продолжал так же напряжённо думать, голова уже тупела от гвоздившего её вопроса: неужели Вени Ротмистрова больше нет? Наташа молчала и даже перестала напоминать о необходимости поест. «Всё равно что и нет её», – отмечал Вячеслав краешком сознания.

Вечером накануне 1-го мая Антонина Ивановна предложила отметить праздник на её половине. Левенцов отклонил это предложение, сказав, что поедет в Беловодск. С тех пор, как он стал поставлять в семейный бюджет значительные деньги, вопросов о мотивах поездок в Беловодск ему уже не задавали. Не задала Антонина Ивановна вопроса и в этот раз, лишь обиженно поджала губы. А Наташа отвернулась, скрывая подступающие слёзы. Только Ксюша жизнерадостно воскликнула:

– К людям потянуло, дядя Слав?

Это притязание на юмор замечание осталось без ответа, Левенцов не простил Ксюше ночного сквернословия. Примирению с ней далеко не способствовало и чрезмерное увлечение Ксюши модными музыкальными побрякушками, которые она крутила на подаренной магнитоле день и ночь.

Беловодск на следующий день встретил Левенцова праздничным весенним оживлением. Было солнечно. Улицы, украшенные разноцветными флагами, удивляли обилием праздно гуляющих людей. Неподадалёку от вокзала собралась толпа с красными знамёнами, портретами Ленина, Сталина и транспарантами: намечалась первомайская демонстрация.

В окружении празднично настроенных людей чувство собственного одиночества у Левенцова обострилось, но подействовало это благотворно, одиночество вылилось в ностальгическую грусть по тем временам, когда первомайские праздники дарили чувство единения. Вячеслав остро ощутил утрату, ту горькую

и поучительную утрату, которую понёс весь неразумно щедрый и доверчивый в поисках истины народ. «Почему мы замечали прежде только недостатки? — спрашивал он себя. — Почему не ценили главного, того, что тогдашние недостатки не задевали светлых, коренных устоев? Ведь это по нашей вине они рухнули. Нет, они не рухнули, их разложили. Разложили с такой иезуитской изощрённостью, что мы не успели сообразить как, что и почему».

В голову неотступно лезла созвучная идеям Вернадского мысль, что советское общество — не власть, не ставшие теперь денежными мешками перевёртыши, а именно общество, то есть целеустремлённо шедшее к свету единение, сложившееся под влиянием замечательных идей — было всего в трёх шагах от воплощения идеала русской жизни. Дури, конечно, и в том обществе хватало, но та дурь не была злокачественной, достаточно было её без всяких перестроек выдрать, как нездоровый зуб. Народ почему-то поленился это сделать. С поразительным небрежением проморгал народ тот шанс.

Левенцов дождался открытия митинга. Городская площадь вся была запружена, хотя в дальних концах её разобрать смысл произносимых через мегафон речей было невозможно. Левенцов пробрался вплотную к грузовой автомашине, на открытом кузове которой стояли организаторы. Выступавшие сходились в одном: пора начинать спасать Россию. Такое наивное единодушие Левенцова в конце концов развеселило. Вспомнилось высказывание критиковавшей руководство КПРФ ведущей радио «Свободная Россия»: «Почему через 60 лет нам опять надо спасать Россию, если так хороши были коммунисты?» Она была, конечно, маленько неправа. Спасать Россию надо не уставать каждый день, каждую минуту, ибо, как Левенцов осознал теперь, Россия так же ненавистна тёмным силам, как подлинная всенародная Свобода.

После митинга Левенцов до вечера бродил по Беловодску, навещая близкие душе места. Постоял у дома Ротмистрова, у Наташиного дома, посидел во дворе монастыря. Возвратясь в Ти-

мохино, он впервые после известия о смерти Ротмистрова поужинал с ощущением вкуса пищи.

6

Накануне Дня Победы в Тимохино приехал импозантный гость. Левенцов читал «Трёх товарищей» Ремарка, когда Антонина Ивановна, придя со двора, сказала, что его там спрашивает какой-то иностранец. Гость оказался мужчиной среднего роста и средних лет с маленькими чёрненькими усиками, похожими на галстук-бабочку. Одет он был в изысканного покроя серые брюки и пиджак, белоснежную сорочку, белый джемпер и серый галстук. У ворот стояла тёмного цвета «альфа ромео», блестящая, будто только что помытая.

— Вы кто? — спросил Вячеслав не без удивления.

— Родственная вам душа, господин Левенцов, — ответил незнакомец по-русски, но с акцентом. — То, что я немец, а вы русский, не имеет значения, по склонностям мы с вами из одной породы.

— Интере-есно! Ну что ж, проходите.

Они сели у стола.

— Я познакомился с вашими изобретательскими идеями, господин Левенцов, — продолжил гость, — и нахожу, что...

— Простите, я не господин, во-первых. А, во-вторых, каким образом вы познакомились с моими изобретательскими идеями?

— По разным каналам, госпо... простите, товарищ Левенцов. По рекламным проспектам запатентованных вами изобретений, в первую очередь. Ещё по публикациям о ваших работах в журнале «Изобретатель, рационализатор». Кроме того, у меня есть кое-какие связи с вашей Академией Наук и с другими организациями, в которых рассматривались ваши предложения. Так вот, познакомясь с вашими идеями, я нахожу, что все они имеют одно замечательное свойство: они сотворены без оглядки на конъюнктуру. Вы творите не для денег, не для замкнутого объединения или государства, вы творите для человечества.

– Благодарю за комплимент.

– Не стоит благодарности, это не комплимент, а факт. И этот факт роднит нас с вами. Я хотя не изобретатель, но располагаю некоторым капиталом и влиянием у себя в стране и все свои силы и средства отдаю воплощению в жизнь именно вот таких, служащих всему человечеству изобретений. Имею честь предложить вам свою помощь и сотрудничество.

– Весьма вам признателен, но...

– Ваши личные интересы будут соблюдены, я гарантирую.

– Какие личные интересы? Как вы сами же заметили, мои личные интересы совпадают с интересами человечества.

– Конечно, конечно, госпо... простите, товарищ Левенцов. – Лицо гостя покривилось лукавенькой улыбкой. – Но и личное вознаграждение не повредит. Во сколько вы оценили бы, например, вашу самую блистательную идею – компьютерную систему, обеспечивающую государственную безопасность?

– Вы и с этим знакомы? Но ведь эта система рассчитана пока не на единое человечество, мы с моим другом разрабатывали её в расчёте на условия России.

– Убеждён, она сработает и в условиях другого государства, Германии, например.

– А, вон оно что... Вы хотите, чтобы я продал её вам для реализации в Германии, так я понял?

– Уважаю понятливых людей, госпо... простите, товарищ Левенцов. Вы, надеюсь, прекрасно понимаете, что в России вам не удастся её реализовать. Германия же к этому вполне готова. Кстати, у нас уже возрождают кое-что по части изобретательства из вашего советского прошлого, например «ВОИР». А поскольку вы бескорыстный служитель человечества, какая вам разница, где, в Германии или в России, будет реализована идущая на благо всему человечеству идея? Мы можем рассмотреть также и ваши наработки по части электромобиля. В общем, – гость лучезарно улыбнулся, – готовы к всеобъемлющему сотрудничеству.

Некоторое время Левенцов задумчиво глядел в лицо гостя, потом облегчённо вздохнул и раскованно, с весёлостью промолвил:

– Благодарю за лестную оценку моего творчества и за приглашение к сотрудничеству, но я к такому сотрудничеству не готов.

– Если не секрет, почему? – удивился гость.

– У меня нет уверенности, что наше с вами сотрудничество пойдёт человечеству на пользу.

– Но почему? В вашем проекте...

– Давайте о чём-нибудь другом... Хотите кофе?

– Спасибо, у меня есть в термосе. Но вы напрасно...

– Прошу, не будем об этом. Всё равно, что касается проекта, мы говорили бы на разных языках.

Лицо у гостя несимпатично покривилось, он поднялся. Левенцов проводил его на улицу. Перед тем, как сесть в машину, гость извлёк из портмоне свою визитную карточку с московским адресом и, вручив её Левенцову, примирительно сказал:

– Всё-таки подумайте. У вас есть шанс обойти Билла Гейтса по размеру суммы, которую вы получите за реализацию вашего проекта.

– Доброго вам пути, – ответил Левенцов.

Чёрная «альфа ромео» мягко тронулась и укатила. Вышедшая со двора Антонина Ивановна одобрительно сказала:

– Правильно, что не стал с ним связываться, ну их, этих иностранцев.

Левенцов улыбнулся и подумал: «Вот, простой человек, а понимает», – а вслух сказал:

– Не продадимся, Антонина Ивановна. Лучше упрячем свои проекты куда подальше, как Кавендиш. Лет на сто!

За ужином Левенцов объявил, что ему хотелось бы провести День Победы в Беловодске.

– И мне, – сказала неожиданно Наташа, и лицо у неё слегка порозовело.

Неожиданность была ошеломляющая. Не было ещё случая в их совместной жизни, чтобы Наташа проявила инициативу в чём-либо, затрагивающем их близость, а тут вдруг сама навязывает своё общество на целый день!

– Поедем, – обрадовался Вячеслав, хотя к радости примешивалась толика досады: он предчувствовал, что в компании с Наташей планируемая им ностальгическая грусть обратится в утомительную скуку.

Так оно и вышло. Они смотрели парад ветеранов войны и курсантов Беловодского училища ВДВ, потом стояли рядом на митинге оппозиции, потом на кладбище возле могилы Ротмистрова, и вместо того, чтобы осмысливать и ощущать душой увиденное, Левенцов, вследствие упорного Наташиного молчания, принуждён был думать лишь о её присутствии, о тайных её мыслях. Ни ностальгической грусти, ни весёлости. Наташа всем поведением давала понять, что и не пытается скрыть тот факт, что что-то от него скрывает. Это настроения Левенцову не улучшало, и она это, конечно, видела. В конце концов, так и не попытавшись найти общий язык, они вернулись домой, как чужие.

На следующее утро Левенцов поднялся с мыслью, что без Вени Ротмистрова он остался совсем один. К деревенской жизни Вячеслав, закоренелый горожанин, так и не привык. Сельчане с их «коровьими» интересами оставались для него чужими, чужой оставалась деревенская тишина с её непредсказуемыми звуками, с матерным косноязычием сельчан. Чужим был даже вид на все четыре стороны: такая открытость убивала всякую фантазию, позволявшую в заслонявшемся от горизонта городе рисовать, что хочется душе. Чужими сделались и Наташа с Ксюшей. Телевизор же и радио, с их неинтеллигентной фальшью и откровенно иностранным направлением, давно уже не просто чужды, но враждебны. Телевизор с радио обладали поразительной способностью подносить даже исконно своё так, что воспринималось как чужое. Невольно вспоминалось советское время, когда классически интеллигентное радио умело даже чужое подавать как своё.

Единственным окошком в мир были для Левенцова передачи оппозиционной радиостанции «Резонанс», это был орган КПРФ. Некоторое время Вячеслав слушал также и оппозиционную «Свободную Россию», но скоро под внешней красотью её антиправительственных лозунгов распознал мелкотравчатость старинного буржуазного национал-патриотизма. Позитивного в её передачах не было, была лишь оголтелая критика всех и вся, особенно компартии. Тем не менее из этой оголтелой критики Левенцов извлёк неожиданную пользу для себя. Он проанализировал причинно-следственную цепочку и, к немалому для себя удивлению, увидел, что КПРФ, оказывается, не только освобождается от старых штампов, но и ведёт умную и тонкую политическую игру. Случился парадокс: очернительство КПРФ «Свободной Россией» возбудило в Левенцове симпатию к КПРФ.

КПРФ-овская станция «Резонанс» работала в диапазоне средних волн, который в магазинных приёмниках отсутствовал. Вячеславу пришлось собрать самодельный радиоприёмник с фиксированной настройкой на «Резонанс». Когда он слушал эту станцию, то был не одинок. Её передачи своим оптимизмом, комсомольской боевитостью и живым материалом возбуждали в нём надежду.

Под рубрикой «Русский узел» на «Резонансе» звучал фрагмент из музыки Васильева — это были чудные мгновения для Левенцова. Всякий раз он изумлялся: как удалось Васильеву с такой ошеломляющей реальностью воплотить в музыке саму суть России. Вячеслав слушал этот фрагмент стоя, ему совестно было сидеть при явлении такого волшебства. Являлось нечто вечное, родное, и душа очищалась от сомнений. Однажды в момент прослушивания этой музыки Левенцов не заметил, как рядом встала Ксюша. Когда музыка отзвучала, Ксюша посмотрела ему в глаза каким-то новым для неё, глубоким и словно бы материнским взглядом. Она коснулась пальцем его щеки и сказала:

— У тебя слезинка на щеке, дядя Слава.

И такое безграничное уважение и нежность были в её словах, что он в один миг простил ей ту ночную брань. Музыка Васильева их помирила.

К удивлению и радости Наташи, выпускные экзамены Ксюша сдала почти все на «отлично». Она тут же списалась с одной из своих Беловодских подружек, переехавшей на жительство в Москву, и вскоре объявила, что та с радостью готова принять её у себя и вместе готовиться к поступлению в институт на юридический факультет. Через день после выпускного школьного бала Ксюша уже отправилась в Москву. В доме стало чересчур уж тихо.

После холодного, дождливого июня трава в полях вымахала в рост человека, как и в дождливое лето 94-го, когда Левенцов пришёл в Тимохино в первый раз. «Природа намекает», — невольно думал он. На смену дождливому июню пришёл неслышанно знойный июль. В эти изнурительно жаркие, душные дни «вся королевская рать» первого государственного мужа протасила в Государственной думе закон о продаже Российской земли. Левенцов был ошеломлён. Это было явное безумие, всё равно как если бы, например, средневековая Франция, добившаяся ценой жестоких страданий и крови объединения французских земель в единое государство, вдруг приняла бы закон об их распродаже. Государственные мужи с лёгким сердцем наплевали на вековую мудрость и совесть, не говоря уже про здравый смысл. Лишь одна политическая партия, КПРФ, пыталась воспрепятствовать этому безумию. Впервые пришла в голову Левенцову мысль вступить в её ряды, чтобы бороться с перешедшим все пределы мракобесием.

В сентябре государственные мужи планировали принятие закона о продаже земли в последнем, третьем, чтении. Срок близился, а газеты, радио и телевидение про этот коренной вопрос жизни как будто позабыли. Писали, говорили и показывали о сексе, об убийствах, о бесящихся с жиру миллиардерах, принцах, киноартистах и певицах, а о коренном вопросе жизни — ни полслова. На Левенцова наваливалась хандра. Вдоба-

вок от короткого замыкания у него вышел из строя радиоприёмник, и он остался без «окошка в мир». Вячеслав выходил на улицу, но видел лишь одну деревенскую тоску. Это делалось невыносимым. «Бежать! – стучало в голове. – К людям. И бороться!» Левенцова по-настоящему охватывала потребность политической борьбы.

Последней каплей к перемене его видения мира стал террористический акт, совершённый 11 сентября против ни в чём не повинных людей в США взрывом зданий торгового центра и Пентагона. Тысяча убитых и изуродованных жизней во имя мести чему-то абстрактному и неживому – это было не просто безумие, не просто злодейство, это было зловещее проявление уродства, вплетённого какими-то тёмными надчеловеческими силами в жизнь Земли. «По плечу ли простому смертному бороться с этими надчеловеческими силами и победить?» – спрашивал себя Левенцов. Сознание ответа на вопрос не знало, но подкорка, интуиция с уверенностью отвечали: «По плечу!» Сознание с таким ответом согласилось. Не следует только пытаться объять необъятное разом. Мечту о едином человечестве придётся на время отложить. Надо начинать с азов, с разрозненных пока формирований. Наиболее обещающим формированием была Россия, и именно с неё, с России, надо начинать борьбу со вселенской гадостью. Левенцов уверовал теперь в это твёрдо. И начинать надо, как это ни претит его благородной лености, всё-таки с политической борьбы, спор с Вениамином Ротмистровым на этот счёт он проиграл.

До конца сентября утрясались в голове у Левенцова такие мысли. Думать никто не мешал. Наташа совсем отдалилась, она жила теперь письмами от Ксюши, поступившей в институт. В первый день октября Левенцов покидал в сумку документы, деньги, оделся по-дорожному и объявил Наташе, что жить в деревне ему больше не по силам. Втайне он надеялся, что его демарш всколыхнёт её наконец, побудит раскрыться. Но жена лишь согласно кивнула головой и не молвила ни «да», ни «нет». Левенцов, зло хлопнув дверью, вышел, но тут же возвратился.

— Я в Трёхреченск, — сказал он виновато. — Посмотрю там... Потом сообщу...

Наташа с возмущившей его индифферентностью чуть приметно наклонила голову, большего Вячеслав не дождался от неё.

7

Внезапно ушёл муж, любимый её Славочка. Собрал в спортивную сумку документы, деньги, ещё какие-то вещи, оделся по дорожному и уехал в город, сказав, что не знает, когда вернётся назад и вернётся ли в эту опостылевшую деревенскую жизнь вообще. Смысл произошедшего дошёл до сознания Наташи лишь на следующий день. Сначала она заметила, что ничего вокруг не замечает. Потом почувствовала, что не хочется ничем заниматься, глядеть даже ни на что не хочется, всё тошно. Потом Наташа отстранённо как-то подумала, а зачем, собственно, ей чем-то заниматься, когда Слава начислил на её счёт в банке сумму, достаточную для безбедной жизни без коров и огородов. И тут-то её и осенило, что самого-то Славы с ней уже не будет. Осознание этого факта ударило в голову так остро и внезапно, что Наташа почувствовала резкую боль в сердце. Она тихонько вскрикнула и присела. Боль то уходила, то опять пронзала. В голове и груди делалось что-то жуткое, Наташе казалось, она сейчас умрёт. Но смерть не приходила, и тогда ей стало страшно. «Так и жить теперь до конца?» — в ужасе подумала Наташа, ей нет ещё и сорока лет, а она теряет уже второго мужа! Но в первый раз, двенадцать лет назад, когда погиб Николай, всё было не так, как сейчас, не было особых переживаний и даже слёз. Наташа решила разобраться, почему уход Вячеслава, живого и невредимого, она восприняла тяжелее, чем смерть Николая.

Наташа росла обычной деревенской девчонкой, не лучше и не хуже других. Помогала матери по дому, на огороде и в уходе за домашней живностью. Средне училась в школе, ничем не выделялась в компании подружек, была, что называется, тихоней. Мать не хотела, чтобы её единственная дочь тоже пошла

работать в совхоз и по окончании школы отправила Наташу в Беловодск, где та без особого желания, но довольно легко поступила в торговое училище при местном Продторге.

Вырвавшись из-под надзора властной матери, Наташа не ударилась во все тяжкие, как некоторые её соседки по общежитию, ошалевшие от внезапной свободы. Училась столь же средне, как и в школе, общественной работы избегала, буйных компаний чуралась. В свободное время Наташа сидела в Красном уголке общежития перед телевизором или читала библиотечную книгу, лёжа на своей койке в комнате. И фильмы, и книги были, конечно, «про любовь». На выходные и праздники Наташа всегда уезжала в родное Тимохино к маме, где привычно включалась в повседневную работу по дому и огороду.

По окончании училища Наташу направили в отдел кадров Продторга, а оттуда она уже в качестве продавца прямиком отправилась в продовольственный магазин №43, за прилавком которого вскоре и познакомилась со своим первым мужем. Магазин этот находился в двух минутах ходьбы от центральной проходной Машиностроительного завода, многие работники которого по пути на работу раскупали свежую выпечку и пакетики-пирамидки с молоком, которыми тут же на ходу завтракали. А после работы ещё больше заводчан толпилось у прилавков, быстро раскупая необходимые им продукты.

Николай Фадеев был родом из далёкой Мордовии. Он рассказывал, что там густо перемешаны мордовские и русские деревни и сёла, а самым массовым развлечением являются кулачные бои деревня на деревню. Поэтому, когда в их село приехал вербовщик рабочих «по лимиту» на предприятия центральной России, Николай даже раздумывать не стал. Он приехал в Беловодск и подписал с Машиностроительным заводом договор на работу формовщиком в «горячем» Чугунолитейном цеху, за что завод обязался по окончании пятилетнего срока выделить Николаю Фадееву отдельную двухкомнатную квартиру в новом строящемся девятиэтажном доме.

Сначала Наташа не замечала этого молодого парня в толпе других покупателей. Она вообще не поднимала глаз, едва успевая рассмотреть поданный чек, отыскать и выдать нужный товар, свернуть из куска заранее нарезанной бумаги кулёк, насыпать в него нужное количество крупы или сахарного песка, взвесить, добавить или убавить, сбегать в подсобку, чтобы пополнить кончающийся товар, и всё это под непрерывный гул возмущающейся медлительностью продавцов и дефицитом тех или иных продуктов толпы покупателей, в которой непременно находились не стесняющиеся громко материться и скандалить особи.

Поэтому о молчаливом парне с копной рыжих нечёсанных волос, «запавшем» на молоденькую продавщицу, Наташа впервые услышала во время затишья между наплывами покупателей. И только когда смешливая толстушка Ольга из хлебного отдела спросила её напрямую, до каких пор она собирается мучить безразличием симпатичного парня, Наташа поняла, что речь ведут о ней. С того дня она сначала из любопытства, а потом и с непопнятым нетерпением стала ожидать прихода и высматривать в толпе неожиданного поклонника. Принимая от него чек и выдавая стандартный набор продуктов для нехитрого ужина одинокого мужчины, Наташа краснела под его жадным взглядом, а Николай, наоборот, бледнел, и на его и без того белоснежной, как у всех рыжих, коже лица и части груди в распахнутом вороте рубашки особенно чётко проявлялись россыпи веснушек.

И вот настал вечер, когда Николай впервые дождался Наташу после работы и проводил до общежития. Через полгода он осмелился сделать ей предложение, а ещё через два месяца они поженились, и завод выделил молодожёнам отдельную комнату в семейном общежитии. Через год после свадьбы 2 сентября 1984 года Наташа родила дочь, названную в честь матери Николая Аксиньей. Ксюша теперь, когда выросла, внешне стала вылитая мама, только не русая, а рыжая, в отца.

Наташа с Николаем жили дружно, ссорились редко. Но счастье их длилось недолго. Николай по натуре был добрым, мягким

и застенчивым, но, как и многие другие недавно переехавшие из деревни в город парни, в компании сослуживцев петушился и любил прихвастнуть, показать, что ничем не уступает местным беловодским уроженцам. И однажды попался на «слабо». В Чугунке на одном из мостовых кранов работала молодая шлюшка по имени Лилька. Ей и было-то в ту пору всего девятнадцать лет, в цеху почти не осталось мужиков, кто бы хоть раз с ней не «переспал». Достаточно было в обеденный перерыв подняться к ней в кабину крана с бутылкой вина или после работы предложить стакан водки. В одной бригаде с Николаем работал его друг Васька, с которым они вместе росли в далёком мордовском селе, дрались в кулачных боях с парнями соседних деревень и, поддавшись на уговоры вербовщика, решили пойти в «лимитчики». У обоих подходил срок получения квартиры по договору с заводом, но у Васьки с женой пока не было детей, а квартира распределялась только одна. Понятно, что администрация завода решила отдать её Николаю, а Василия попросила подождать ещё год до сдачи следующего дома. И вот лучший друг смертельно обиделся на Николая и подло его подставил. Отлично зная «петушинный» характер друга детства, Василий начал постоянно на глазах сослуживцев подначивать Николая, что тот остался единственным мужиком в цеху, не побывавшим в кабине крана у Лильки.

— Высоты боишься или Наташки своей? — насмеялся Василий. — И правильно: с такой горячей девкой, как Лилька, тебе слабо совладать!

И Николай ожидаемо поддался на провокацию. Случайно всё произошло или Васька пошёл дальше простых подначек, но в цех вдруг пожаловало начальство как раз в тот момент, когда Николай доказывал свою «мужественность» в кабине крана. Лилька получила очередной выговор, а Николай лишился уже почти полученной квартиры. В Договоре, оказывается, имелся соответствующий пункт о нарушении трудовой дисциплины и вообще наличии каких-либо проступков. Квартира досталась Ваське. Не желая каждый день встречаться с бывшим другом, Николай перешёл из Чугунки в Автотранспортный цех и стал ра-

ботать слесарем-ремонтником, вскоре он начал прикладываться к бутылке. Домой Николай с каждым днём приходил всё позже. Он застревал после работы во дворе в компании таких же пьяниц. Устроившись на детской площадке за столом, на котором днём местные пенсионеры «забывали козла» полустёртыми от частого употребления костяшками домино, мужики сначала степенно выпивали по первой, не торопясь закусывали и начинали обсуждать «политику». Что такое «перестройка», правда ли, что недруг Горбачёва Борис Ельцин в пьяном виде выступал в США или, как он сам говорит, просто был под действием снотворного? Большинство склонялось к тому, что скорее всего Ельцин сильно пьёт, потому и сверзился с моста в речку. Нужна ли народу КПСС? И до каких пор Россия будет кормить и содержать прочие республики? Домой Николай практически приползал в десятом часу, плюхался на диван перед телевизором и отрубался до утра, когда Наташа будила его, чтобы накормить завтраком и отправить на работу, привычно сунув мужу в карман пятерку на обед в заводской столовой и опохмелку. Через несколько лет такой жизни в конце лета 1989 года Николай попал в ЛТП, где и был вскоре убит ополоумевшим от трезвой жизни собратом-алкоголиком. Тот, по словам очевидцев, неожиданно взбесился, услышав от напарника совершенно безобидное замечание, и проломил Николаю голову молотком.

Лишившись мужа-алкоголика, Наташа почувствовала облегчение. Она не считала себя виноватой в его падении и смерти. Да, предательство друга и потеря квартиры были сильными ударами для Николая, но мужчина, считала Наташа, не должен ломаться и сдаваться от первых же трудностей. В конце концов, Коля сам поддался на провокацию Василия, никто не заставлял его изменять жене с цеховой шлюхой. Для Наташи всё это явилось не меньшей бедой, чем для Николая, но она же не распустилась, не озлобилась в обиде и не опустила руки. У неё на руках была маленькая дочь, Ксюше едва исполнилось два года, а вместо помощи от мужа приходилось терпеть его пьянство, матерную брань и сочувственно-насмешливые взгляды соседней.

К Николаю Наташа тогда, что уж кривить душой, сильно охладела, но сцен не устраивала, не «пилила» за измену и потерю квартиры, просто муж ей стал вдруг совершенно безразличен. Она продолжала привычно заботиться о нём: кормить, обстирывать и молча терпеть ночные ласки, становившиеся всё более редкими, пока их Николаю в конце концов полностью не заместила водка. Муж сравнялся в глазах Наташи с сиамской кошкой Ксюши, превратился в ещё одно домашнее животное. Вот только, в отличие от кошки, развлекавшей дочку, от мужа в доме не было никакой пользы.

«Нет, как тогда, так и сейчас я не считаю себя виноватой в том, что Коля, став моим мужем, из хорошего доброго парня превратился в озлобленного опустившегося алкаша! — решила Наташа. — Все его беды случились не из-за меня, я не была ему плохой женой. Наверно, он спился потому, что постоянно мысленно казнил себя за всё случившееся, а как исправить ситуацию, не знал. Может, ждал от меня какой-то подсказки, поддержки, но какой? Я не бросила его, не подала на развод и даже ни в чём не упрекала! Продолжала жить с ним, как будто ничего не произошло. Что ещё я могла сделать? Утешать мужа, говорить, что не сержусь на него за измену и потерю квартиры? Убеждать, что всё будет хорошо? Мы бы оба прекрасно понимали, что это враньё. Понять и простить, как советовали подружки? Поняла, но не простила, потому что сам муж своими все усиливающимися пьянством и свинством увеличил вину передо мной и дочкой. Коля быстро и легко сдался, оказался слабаком, а не „каменной стеной“, ограждающей семью от невзгод».

8

Окончательно закончив разбираться с первым мужем, Наталья задумалась о втором. С Вячеславом она, как это ни странно, познакомилась тоже в 43-м магазине. Вернее, он почти столкнулся с ней, когда тёплым июньским вечером 1989 года она вышла с Ксюшей из дверей магазина, чтобы по окончании своей

смены пойти домой. Обе руки Наташи были заняты тяжеленными сумками с продуктами. Двенадцать лет с тех пор прошло, но Наташа постаралась как можно лучше и полнее припомнить все подробности той встречи. Она тогда застыла на пороге магазина, потому что дверь за спиной уже захлопнулась под действием сильной пружины, и отступить назад Наташа не могла, да и с какой стати ей было это делать? По всем правилам уступить ей, женщине, дорогу должен был этот молодой парень, с откровенным восхищением уставившийся весёлыми светло-голубыми глазами ей в лицо. Они стояли почти вплотную друг к другу, поэтому Наташа могла видеть только лицо парня и светлые курчавые волосы в распахнутом вороте голубой рубашки. Ещё она успела разглядеть длинные ресницы и лёгкую небритость. Коротко стриженные вьющиеся крупными кольцами русые волосы незнакомца могли вызвать зависть любой девушки, вынужденной регулярно пользоваться бигуди.

— Цыганка не соврала, — сказал парень. — Она мне встречу с вами сегодня утром нагадала, вон там, за акведуком, на вокзале.

Наташа смутилась под его пристальным взглядом и потупилась. Незнакомец ей почему-то сразу понравился, хоть она и не любила нахалов. Наташа сделала шаг в сторону, освобождая ему вход в магазин.

— Нет-нет, — остановил он её, — мы теперь не можем так просто расстаться.

Наташа сердито взглянула на него, и парень вдруг изумлённо произнёс:

— Какие у вас глаза!

— Какие?

— Удивительные! Жаль, я не поэт и не художник. Неземные какие-то...

— Извините, — сказала Наташа, — я очень устала, весь день на ногах.

— И я с раннего утра на ногах, — возразил парень. — Да ведь, как говорится, от судьбы не уйдёшь! Как вас зовут?

- Наташа.
- А фамилия?
- Фадеева.
- А я Вячеслав Левенцов.

Он отступил на шаг, повернулся, присел на корточки перед её дочкой, глядевшей на него во все глаза и, как взрослой, протянул ей руку:

- Меня зовут дядя Слава. А вас как?
- Ксюша, – улыбнулась та, вкладывая свою ручонку в его.
- Мне тридцать лет, а вам?
- А мне пять!

– Да вы совсем взрослая барышня! – Вячеслав поцеловал Ксюше пальчики и, кивнув в сторону стоявшей в растерянности Наташи, спросил: – Это ваша мама?

- Моя.

Очнувшись, Наташа обошла их и пошла по аллее, ведущей к акведуку через железнодорожные пути. Ксюша и незнакомец догнали её.

– Давайте ваши сумки. – Вячеслав решительно выхватил их у неё и пошёл вперёд.

Наташа молча шла за странным парнем, ей продолжало всё в нём нравиться: высокая спортивная фигура, широкие плечи, сильные руки, узкие бёдра и длинные ровные ноги, затянутые в поношенные, но явно фирменные джинсы, потёртые местами от долгой носки до белизны. Наташа невольно сравнивала Славу Левенцова с мужем, окончательно опустившимся и выглядевшим, несмотря на все её старания, бомжеватым. «А я-то сама, – спохватилась Наташа, – как выгляжу?» Она почувствовала жар от охватившего её стыда. Платье на ней было старенькое, не раз перешитое, с вонючими пятнами пота в подмышках. Слипшиеся в пряди неделю не мытые волосы схвачены резинкой в «лошадина хвост», концы их неровные, посечённые. Ногти на руках Наташа давно уже не красила, но они были хотя бы ровно подстрижены буквально накануне вечером. А на ногах растоптанные матерчатые тапочки! Не в туфлях же на высоких каблуках

таскать тяжёлые сумки с продуктами. Ксюша радостно скакала рядом, крепко уцепившись за освободившуюся руку матери, не замечая её переживаний.

Спустившись на другом конце виадука, Вячеслав вопросительно обернулся. Наташа, глядя себе под ноги, остановилась. Не поднимая глаз, она с неловкостью произнесла:

– Не провожайте меня дальше. Я замужем.

– Ну и что? – удивился Вячеслав.

– Не надо, – решительно сказала Наташа и протянула руки за сумками. Он с неохотой отдал их ей.

– Ладно, идите кормить мужа. Желаю вам счастья.

– И вам, – ответила Наташа с облегчением.

Подскочила Ксюша, протянула на прощанье руку. Вячеслав поцеловал ей пальчики и, заговорщицки подмигнув, сказал:

– Пока.

Наташа не помнила, как дошла до дома. По дороге она непрерывно мысленно пересматривала удивительное знакомство, разбирала каждое слово, запоздало находила более удачный или остроумный, как ей казалось, ответ. Ксюша что-то непрерывно тараторила о дяде Славе, но Наташа уловила эти крамольные, на её взгляд, слова, только войдя во двор дома и увидев на детской площадке уже основательно пьяного Николая в обычной теперь ему компании местных алкашей.

– Молчи! – одёрнула она дочь. – Никому ни слова о дяде Славе, поняла?

– Поняла, – кивнула удивлённая Ксюша. – А почему?

– Папа рассердится, – нагнувшись к уху дочери, тихо пояснила Наташа, кивнув в сторону громко матерящихся пьяниц. Поняв по растерянному лицу дочери, что та по-прежнему ничего не понимает, она добавила: – Пусть дядя Слава будет нашей с тобой, и только с тобой, тайной, хорошо?

– Хорошо! – повеселела Ксюша. – Я никому не скажу, только и ты, мамочка, тоже никому не говори.

Когда, наигравшись с кошкой, дочка, наконец, уснула, а пьяный Николай громко захрапел на диване перед работающим те-

левизором, Наташа, раздевшись догола, подошла к трёхстворчатому шкафу и долго рассматривала себя в большом зеркале, прикреплённом к внутренней стороне одной из дверей. Она с удивлением отметила, что действительно для своих двадцати пяти лет выглядит очень даже неплохо. Вскоре после родов Наташа сильно пополнела, что её сильно смущало, но Николай только довольно смеялся, повторяя где-то слышанную им фразу, что мужчины не собаки, а потому на кости не кидаются.

— Что ж ты на мне, когда я была кожа да кости, женился? — спрашивала Наташа.

— Дурак был! — притворно сокрушался Николай. — Ты меня, наверно, глазами своими ведьмовскими заморозила...

После того, что случилось, особенно когда муж стал горьким пьяницей, Наташу перестало волновать её отражение в зеркале. На неё столько навалилось и горя, и забот, что хватало времени и сил следить только за тем, чтобы у всех членов её семьи была всегда опрятная одежда и сытная еда на столе. Она практически ежедневно стирала, гладила, штопала, что-то зашивала, ушивала или подшивала. Рушилась страна, на смену социализму вновь пришёл капитализм, а Наташа крутилась в колесе ежедневных забот, равнодушная ко всему происходящему вне её семьи. Видимо, работа и заботы сработали гораздо действенней модных диет и превратили бесформенную толстушку в стройную, привлекательную женщину. Замуж за Николая Наташа выходила худенькой, даже тощей и несколько сутуловатой девушкой. Теперь из зеркала на неё глядела зрелая стройная женщина с классической фигурой, характерной для древнегреческих и римских статуй языческих богинь. Послеродовая полнота и девичья сутулость исчезли, увеличилась и налилась грудь, расширились и обрели объём бёдра, узкая талия с небольшой выпуклостью животика только подчёркивали притягательную «рюмочность» фигуры. «Как же я ничего этого не замечала? — удивилась Наташа. — Сама же ведь перешивала не только Ксюшины, но и свои платья, а даже в голову не пришло задуматься, почему вдруг одежда стала

велика. Смотрела в зеркало, а заботило только то, как сидит ушитое платье, не топорщится ли где, не морщит. Совсем отупела, видать, не зря Коля меня иначе как „дура“ последнее время не называет».

С этого дня Наташа стала уделять внимание не только мужу и дочери, но и себе, заново вспомнив, что существуют парикмахерская, косметика и маникюр, купила на рынке очень шедший ей цветастый сарафан и удобные босоножки на низком каблучке. Соседки и подруги на работе были заинтригованы, шептались за её спиной, а Николай погрузился в жуткий запой, приведший его в ЛТП.

Вскоре после гибели Николая Вячеслав вновь встретил Наташу после работы, она позволила ему проводить их с Ксюшей почти до самого дома, а потом попросила, чтобы в следующий раз он пришёл не раньше, чем через год. Но Вячеслав позвонил в дверь их коммунальной квартиры, в которую превратилось заводское общежитие, лишь в апреле 1992 года. Он жил в то время в другом городе и в Беловодск приезжал то ли в командировку, то ли по каким-то личным делам. Наташа слушала его объяснения, но не слышала, она ждала его два с лишним года, почти потеряла надежду, и теперь в голове у неё билась, заглушая всё остальное, только одна мысль: «Он приехал!»

Они долго гуляли по улицам Беловодска, оба замёрзли и устали, но зайти к Наташе в гости Вячеслав не захотел, хоть она сама его приглашала. Слава тогда много говорил, стараясь понравиться ей, а Наташа больше слушала и в основном молчала. Просто она понимала далеко не всё, о чём рассуждал Вячеслав. С Николаем они всегда были на равных, оба сравнительно в одно время приехали в Беловодск из деревни, их возраст, кругозор и уровень образования почти не отличались. А Вячеслав родился и вырос в городе, был старше Наташи лет на пять, закончил институт и работал инженером-конструктором. Наташа боялась ляпнуть что-нибудь, с его точки зрения, глупое, после чего он разочаруется в ней, уйдёт и больше не вернётся. А ей хотелось, чтобы Слава остался с ней навсегда. Расставаясь, он

попросил у неё ещё один год на завершение всех дел в его родном городе, и Наташа пообещала обязательно его дожждаться.

Прошёл год, затем второй, а от Славы не было никаких вестей. Наташа за это время окончила бухгалтерские курсы, ушла из магазина, попыталась открыть собственный, быстро прогорела, продала, чтобы расплатиться с долгами, всё, что смогла, в том числе и свою приватизированную комнату в коммуналке, и уехала с дочкой из Беловодска в Тимохино к маме. Здесь её и нашёл в начале июня 1994 года Вячеслав. Они наконец поженились и поначалу, первые год-полтора, были вполне счастливы, пока не подошли к концу деньги: Вячеслав, оказалось, тоже продал в родном городе что-то из имущества и получил за всё про всё три миллиона рублей.

В бывший совхоз, а ныне акционерное общество, Вячеслава не взяли, никакой другой работы, кроме как на собственном огороде, в Тимохино не было. С помощью местных мужиков Вячеслав соорудил шлакоблочную пристройку к избе для себя и Наташи, Ксюша осталась жить с бабушкой. Потом он провёл от уличной колонки воду в дом и в огород, построил теплицу. Что делать дальше — Вячеслав не знал. Помощь его Наташе на огороде сводилась к копанию грядки и окучиванию картошки, но это же не каждодневный труд! Доверить мужу прополку было невозможно, потому что Вячеслав не мог отличить петрушку, укроп, салат и прочие нужные растения от сорняков. Он знал только, как выглядят капуста и лук. А уж с коровой, курами и прочей домашней живностью женщины в Тимохино всю жизнь управлялись без помощи мужчин. Так что волей-неволей Вячеслав занялся любимым делом — изобретательством. Это поначалу, пока были деньги, никого не волновало. Но когда миллионы зятя закончились, Антонина Ивановна, Наташина мама, начала недовольно ворчать.

— Мы с тобой, доча, с утра до вечера впахиваем на огороде, тягаем неподъёмные сумки с молоком и овощами на рынок в райцентре, а твой муженёк с умным видом только и делает, что сидит за столом и что-то там пишет или книжки читает! Наша сокровище, нечего сказать!

– Он изобретает, мама, – пыталась возражать Наташа. – Слава инженером в городе был...

– Изобретает! – язвительно шипела Антонина Ивановна. – За два года ни одной копейки в дом не принёс, паразит!

– Ну нет же в Тимохино для него никакой работы! – обижалась за мужа Наташа. – Половина мужиков на селе, вон, спивается от безработицы.

– Не хватало ещё, чтобы и твой запил! – непреклонно гнула своё Антонина Ивановна. – Раз уж он у тебя такой городской, пусть поищет работу в райцентре или в Беловодске.

– Если Слава на работу в город ездить будет, то у него на одну дорогу полдня уйдёт, – возражала Наташа. – Автобус то до райцентра ныне три раза в день ходит, рано утром, в обед да поздно вечером, детей в школу возит, нашу-то закрыли. А до Беловодска от райцентра ещё и на электричке полчаса ехать надо. Не хочу я мужа только по выходным при свете дня видеть.

– А чего тебе на него любоваться-то? Ты, вон, сейчас его и днём, и ночью видишь, а детей у вас что-то так и не предвидится! И слава Богу, при таком-то муже-бездельнике!

Чем дальше, тем громче становились такие разговоры, их уже стало невозможно скрывать от ушей Вячеслава. Он перестал улыбаться, стал нервным, раздражительным, его начала мучить бессонница. Наташа после таких разговоров тоже спала плохо, тайком плакала. Особенно горек ей был упрёк матери в отсутствии у них со Славой общего ребёнка. Она понимала, что муж корит в этом себя, потому что наглядным доказательством его вины является Ксюша. Но сама-то Наташа помнила тот роковой аборт, который ей пришлось сделать, потому что рожать ребёнка, зачатого от находившегося в пьяном угаре Николая, она не захотела. И слова врача после операции не смогла забыть, как ни старалась.

И однажды Вячеслав не выдержал упрёков тещи и поехал искать работу. В райцентре, как и ожидалось, ни инженерных, ни рабочих вакансий не оказалось, пришлось попытать удачи в Бело-

водске. В заведении для безработных Вячеславу по его специальности ничего предложить не смогли. Прочие же имеющиеся варианты сопровождались настолько мизерными зарплатами, что мотаться пять раз в неделю ради таких грошей из Тимохино в Беловодск стало бы себе дороже. Обескураженный Вячеслав, побродив по городу в ожидании электрички, ни с чем вернулся домой.

Через неделю он повторил попытку с тем же результатом. И ещё через неделю, и ещё. Но вот однажды Вячеслав вернулся из Беловодска весёлым, и от него пахло вином. Сказал, что познакомился с человеком, который тоже занимается изобретательством. У Вячеслава с Вениамином оказалось много общих интересов, они решили попробовать объединить усилия, поработать вместе.

— А деньги-то вам за это кто будет платить? — недоверчиво спросила Антонина Ивановна.

— Причём здесь деньги? — отмахнулся Вячеслав. — Мы с Вениамином как специалисты в разных областях отлично дополняем друг друга и теперь сможем закончить несколько важных проектов, моих и его, которые зависли у нас из-за недостатка знаний и опыта. Но мне придётся теперь ездить в Беловодск чаще, чем раз в неделю, у моего нового друга гораздо лучшие условия для творчества.

С этого дня отношения между Наташей с Вячеславом начали стремительно ухудшаться. Антонина Ивановна не поверила в появление у зятя новоявленного друга.

— Твой в городе себе какую-то богатую бабу завёл, — уверенно заявила она.

— С чего ты взяла? — не поверила Наташа.

— Денег мы ему только на проезд даём, а от него кофею и вином разит, как ни вернётся из Беловодска, — ответила мать. — Мужик бы его водкой угощал.

— Слава не любит водку! — возражала Наташа. — Сколь раз ему наши мужики предлагали водки выпить или самогону, он всегда отказывался, а когда ещё были деньги, ездил в райцентр за вином.

— Э-э, милая! — качала головой мать. — Вчера, может, не любил, а сегодня на безрыбье и рак — рыба: вино-то дороже водки стоит. Какой это мужик будет нашего нищеврода дорогим вином и кофеем поить? Баба это, точно тебе говорю! Что сама пьёт, то и ему наливает. Он хоть спит с тобой или все силы на городскую тратит?

И всё же Наташа верила словам мужа, а не матери. Она понимала, что Вячеслав рвётся в город не к новой женщине, а к недостающему ему общению с равным по интеллекту и интересам человеку, к привычным разговорам о достижениях науки, новинках литературы, о политике, в конце концов. Городской житель, он задыхался в деревне. Наташа и никто в Тимохино не могли возместить Вячеславу потерю привычной среды. Но Антонина Ивановна продолжала твердить своё, и у Наташи стали зарождаться сомнения в искренности мужа. Она даже тайком осматривала и нюхала перед стиркой его одежду, но никаких признаков посторонней женщины не обнаружила.

Так прошёл год, потом другой, Вячеслав регулярно ездил к другу в Беловодск, и даже иногда зимой ночевал там, объяснив это тем, что они с Вениамином заработались допоздна. Антонина Ивановна привычно бурчала, а Наташа замолчала, практически перестав разговаривать с мужем. Её грызли недоверие и обида, но высказать всё откровенно мужу не позволяла гордость. Она столько лет ждала его, больше, чем ждали жёны мужей с Отечественной войны, а ведь она тогда даже не была Славой невестой! Она обещала ждать и ждала, даже когда прошли все назначенные сроки. Как была счастлива, когда он наконец пришёл к ней в Тимохино, ни разу не упрекнула за лишние годы ожидания. Но счастье продлилось всего лишь два первых года их совместной жизни, а потом целых три года Наташа прожила в настоящем аду: мать ежедневно пилила и зятя, и дочь — Вячеслава за нахлебничество, Наташу за потакание бездельнику и коварному изменщику.

Слава не считал нужным оправдываться и каждый день, как на работу, с утра уезжал в Беловодск, а Наташа просто замолча-

ла, замкнувшись в своей обиде. Она ни в чём не упрекала мужа, но и перестала оправдывать его перед матерью. Вячеслав возвращался домой поздно вечером, Наташа молча кормила его, он так же молча ел, благодарил и шёл спать. Нет, первое время Вячеслав пытался за ужином рассказывать Наташе о Вениамине, о том, что они изобретают, но скоро понял, что той все его успехи и трудности либо непонятны, либо неинтересны. Вот в такой жуткой обстановке они прожили три года!

В один из дней лета 1999 года Вячеслав вернулся из Беловодска непривычно рано и объявил, что его друг Веня нашёл покупателя на их изобретения, какое-то совместное с французами предприятие. Антонина Ивановна тут же переменяла мнение о зяте, когда тот предложил поехать всей семьёй в райцентр или даже в Беловодск и купить на полученный аванс то, что каждый из них пожелает. Ксюша прыгала от радости, тормошила каменно молчашую мать, но Наташа не проявила какой-либо радости. Да, ей и всем остальным членам семьи стало легче, напряжение между зятем и тёщей значительно ослабло, а вот взаимное отчуждение Наташи и Вячеслава продолжилось. Ведь причиной их конфликта были вовсе не деньги, никто из них не ходил в лохмотьях и не голодал. Но никто из них не хотел или не мог сделать первый шаг к примирению. И даже когда внезапно умер Вениамин и Вячеслав перестал ездить в Беловодск, отношения между супругами не изменились, каждый из них остался в своём замкнутом мире.

Так прошло ещё два года, Ксюша закончила школу и поступила в московский институт. Вдруг оказалось, что Вячеслава удерживала в Тимохино именно дочь. Как только он понял это, убедился, что без Ксюши жизнь с Наташей потеряла для него какой-либо смысл, то задумался о будущем. Вячеслав так и не вписался в деревенскую жизнь, все его интересы остались в городе. Наташа воздвигла между ними стену молчания. Она не порвала с мужем окончательно, делала для него всё, что полагается: готовила, стирала, поддерживала чистоту и порядок в доме, словом, поймала себя на том, что вновь превратилась в ту распол-

невшую клушу, какой была при пьянице Николае. Скандалов и истерик не закатывала, по огороду летом ходила в стареньком, выцветшем на солнце закрытом купальнике, а по дому в столь же заношенном халате. А Вячеславу была нужна любимая женщина, а не бессловесная неряха-прислуга.

И вот вчера, в первый день октября 2001 года, муж попытался в последний раз достучаться до жены, пробить стену молчания. Вячеслав сказал, что денег у них теперь хватит на то, чтобы купить квартиру в городе, что жизнь в деревне для него невыносима, а для Наташи городская жизнь вполне привычна, что пора им, наконец, начать настоящую совместную жизнь без ежедневного надзора и советов Антонины Ивановны, но Наташа в ответ продолжала мёртво молчать. Она ждала от мужа слов любви и извинений за её многолетние страдания, но их так и не последовало. И вот Слава ушёл. Пока не совсем, оставил проблеск надежды, только кому: себе или ей? Сказал напоследок, что осмотрится в городе и сообщит. Что сообщит? Свой адрес или о подаче на развод? В любом случае окончательное решение он предоставил ей. Что она выберет: капитуляцию и переезд к мужу в город или окончательный разрыв?

9

Незадолго до возвращения из райцентра Антонины Ивановны Наташа привела лицо в порядок и предстала перед матерью внешне спокойной. Но Антонина Ивановна её полубоморочное состояние учуяла.

— Попринимай успокоительного, — посоветовала она и достала из своей аптечки упаковку amitriptilina.

— Не хочу успокоительного, я и так спокойная, — возразила Наташа.

— Да уж вижу, какая «спокойная»... Он тебе сказал, куда поехал?

— В Трёхреченск, сказал.

- Насовсем или как?
- Уехал, видно, насовсем.
- Он так и сказал, что уезжает насовсем?
- Что ты, мам, все: «он сказал, он сказал»! Какая разница, что он сказал!
- Ну вот, а говоришь, спокойная.
- Прости. Мне никогда не было так плохо.
- Смирись, пройдёт. Скажи спасибо, что деньгами обеспечил. Не ты первая, не ты последняя...
- Но почему? – Глаза у Наташи блеснули страстным, искренним протестом.
- Бог терпел и нам велел. Такая уж бабья доля наша, доченька.
- Но почему?
- Не дано нам знать.
- Почему, почему? – повторяла в иступлении Наташа.

Вечером, после ужина, она осталась с матерью у телевизора, страшно было уходить в свою пустую половину. Наташа смотрела на экран и не могла понять, что там происходит. Какая-то полоумная раздражающая мельтешня. Отвратительные вопли и телодвижения певичек, барабанный грохот вместо музыки, фальшивый восторг ведущего, провозглашавшего чей-то крупный выигрыш за просто так, без всякого труда, обезьяньи кривляния смазливых девочек, изображающих наслаждение от рекламируемой вещи – всё это, спокойно воспринимаемое ею прежде, представилось теперь издевательством над человеческими чувствами. Наташа стала смотреть не на экран, а на мать, на лице у той было выражение животного довольства. Это Наташу возмутило. И тут же в памяти возникла гримаса на Славином лице, с которой он смотрел на неё саму, когда она оставалась по вечерам на половине матери у телевизора. «Это ведь он с презрением, даже хуже, с жалостью на меня смотрел», – осенила Наташу внезапная догадка. Она запоздало покраснела от стыда. И она ещё возмущалась, что Слава видит в ней низшее существо! Сама ви-

новата. Наташе стало тошно от позднего раскаяния. Она сказала матери: «Спокойной ночи!» — и ушла к себе.

Наташа легла в постель, но заснуть и не пыталась, лежала с открытыми глазами и впервые в жизни пыталась анализировать собственную жизнь. Она вспоминала, какой была в детстве, юности, во взрослой жизни. Наташа никогда не притязала на какие-то особенные блага, довольствовалась малым. Она умела переносить любую напасть без жалоб, её богобоязненная мать поощряла в ней природное смирение. Наташа привыкла думать, будто это смирение и сдержанность, умение молчать, когда реветь от душевной боли хочется, красит её как женщину. Она полагала, это уберёжёт от более страшных душевных потрясений. А вышло, не только не уберёгло, а, напротив, ввергло в потрясение. Если бы не эта её замкнутость, Слава, может быть, понял бы и простил.

Наташа вдруг отчётливо увидела, как недомолвки между ними, виновницей которых всегда была она, накапливались в нём досадой. Её сдержанность была, оказывается, не смирением, а гордыней, делавшей её в его глазах бесчувственной пустышкой. Но почему, почему она так безропотно принимала всё: и незаслуженный дар, и наказание, почему не пыталась своей волей противостоять судьбе? Наташа роптала теперь на своё смирение, в грош она не ставила его теперь.

Под утро Наташа заснула. Проспав как убитая три часа, она пробудилась совсем другой Наташей. Первое, на чём остановился её взгляд, когда она открыла глаза, были Славини книги. Они были аккуратно расставлены на книжной полке, а две стопкой лежали на журнальном столике. «Странно, я как будто только сегодня их заметила, — с изумлением подумала Наташа. — Сколько раз убирала пыль с полки, а книг как будто не видела...»

Поднявшись и отодвинув занавеску на окне, Наташа присела в ночной сорочке к журнальному столику. «Академик В. И. Вернадский» была надпись на обложке верхней книги. Какие, оказывается, учёные книжки читал Слава! Наташа раскрыла книгу на одной из закладок и прочла: «Для будущего теперь нужны

не политические споры и не экономические фокусы, нужна глубинная духовная работа. Нет сейчас вопроса более грозного и важного, чем вопрос о народном образовании... Ибо в том, что произошло, мы все виноваты и мы все обязаны понять урок жизни и найти выход из того положения, в каком мы сейчас находимся — из междоусобной войны, из царства нищеты, голода, морального издевательства, диктатуры, не оставившей человеку ни одной свободной стороны жизни...»

Наташа подумала, как правильно академик Вернадский написал про теперешнюю жизнь, но, полистав книгу и взглядевшись в даты, поняла, что написано это ещё в 1920 году. Оказывается, тогда было так же плохо, как теперь. Это поразило Наташу. Закрыв книгу, она уважительно поставила её на полку и взяла с журнального столика вторую. Это, к удивлению Наташи, оказался сборник стихотворений Владимира Маяковского. Маяковский со школьной скамьи был для неё «певцом Революции», стихи которого о советском паспорте она с огромным трудом выучила тогда наизусть, но сейчас в её памяти почему-то остались только неизвестно кем сочинённые хулиганские строки:

«Я достаю
из широких штанин
широкий,
как консервная банка —
Глядите,
завидуйте:
я — гражданин,
а не какая-то там
гражданка!»

Как же доставали мальчишки девчонок на переменах этими виршами! Интересно, какие стихи Маяковского так понравились Славе, что он держал эту книжку на журнальном столике вместе с дневником академика Вернадского? Открыв сборник на первой закладке, Наташа увидела, что Слава отметил карандашом некоторые стихи из стихотворения «Лиличка!». Она прочла первые подчёркнутые строки:

«Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступлённый, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День ещё —
выгонишь,
может быть, изругав».

— Господи, да это же обо мне! — воскликнула поражённая Наташа. — О нас со Славой...

Она нетерпеливо выхватывала взглядом и читала следующие отмеченные куски текста:

«Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Всё равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.

Кроме любви твоей,
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг».

Наташа сидела и плакала. У неё было чувство, будто она прочла дневник самого Славы. Прочитанное было откровением для неё. Как Маяковский смог так точно описать то, что произошло между нею и Славой? Это ведь она, Наташа, заковала своё сердце в железо! Это не Слава ушёл от неё, а она своим молча-

нием и отчуждением, почти враждебностью, заставила его уйти и теперь не знает, где он и с кем.

Наташа бережно закрыла книгу и положила её на журнальный столик. Она подумала, как много потеряла, не читая книг, и как неправ Слава, что не приохотил её к чтению. Наташа, правда, тут же его извинила, сообразив, что насильно не приохотишь, нужно было потерять его, чтобы понять всё самой. Наташа вдруг представила, как было бы замечательно хорошо вести со Славой разговор на-равных обо всём, что он знал один, без неё. От одного только представления об этом сделалось легко на сердце. «Самое главное приходит в голову, когда ничего уже изменить нельзя!» – подумала она и вдруг ясно ощутила, как нечто новое в ней с уверенностью возразило: «Можно!» Она прочтёт все Славины книги, что стоят на полке, но начнёт не с академика Вернадского, а с Владимира Маяковского.

Вечером Наташа сообщила матери, что хочет готовиться к поступлению в институт. Антонина Ивановна, минут пять смотрела ошарашенно, потом, собрав всю волю в кулак, спросила:

– В твои-то годы? И в какой же институт?

– Не знаю пока, да это и не важно, просто хочу получить высшее образование, надоело серой быть.

– А как же... А жить где будешь?

– На первое время комнату сниму, деньги есть ведь.

Антонина Ивановна заплакала:

– Вот уж не думала-не гадала, что одинёшенькой придётся доживать.

– А я потом в город к себе тебя возьму.

– Нет уж, из своего дома никуда не поеду.

– Там видно будет, мама. Можно же и на заочный поступить.

10

На вокзале в Беловодске Левенцов в последнюю минуту переменил намерение ехать сразу в Трёхреченск, решил сначала утрясти дела в столичной организации, с которой был завязан

эксплуатацией его изобретения. В Москве он поселился в скромной частной гостинице, где останавливались они прежде с Веней Ротмистровым. С делами было покончено в два дня, но Вячеслав решил задержаться в столице до 4 октября, когда должен был состояться митинг протеста в память жертв октября 93-го.

4 октября в пять вечера Левенцов вышел из метро на станции «Улица 1905 года». Митинг ещё не был открыт, но народ уже собрался, площадь у памятника героям Красной Пресни была вся запружена. В центре благородно струилось от еле заметного ветерка красное знамя с траурной чёрной лентой. Под знаменем стояли молодые парни в советской военной форме и камуфляже. А вокруг неоглядное многолюдье, красные, чёрно-жёлто-белые знамёна, флаги, транспаранты.

Левенцов пробирался вдоль толпы, вглядываясь в лица. Лица, даже у молодых, были строгими, серьёзными. Проходя мимо стоявшей особнячком группы женщин с портретами погибших, с гвоздиками и хризантемами, он боковым зрением успел заметить, как к нему метнулась девушка с цветами. Едва он успел к ней повернуться, как она с разбега обняла его и поцеловала в щеку. «Ксюшенька!» – обрадованно воскликнул Левенцов. Выпустив его из объятия, она горделиво сказала стоявшей рядом девушке:

– Это мой отец! – Потом повернулась опять к нему. – Папа, это Ирина, моя подруга, я у неё живу...

Ксюша продолжала что-то щебетать, а Вячеслав в блаженной расслабленности не слышал ничего, кроме так непринуждённо молвленного ею в первый раз «папа». Собравшись с духом, он назвал её «в отместку» в первый раз не Ксюшей и не барышней, а дочерью.

– Дочь, – сказал Левенцов, – какими судьбами вы оказались с подругой здесь? Вы же ведь студентки!

– Да, но мы ещё и комсомолки, папа, – улыбнулась Ксюша.

– Как комсомолки?! – воскликнул он.

– Очень просто. Уже две недели, как мы с Ириной вступили в ряды Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

- Ты не шутишь, дочь?
- Честное комсомольское, не шучу, папа.
- Тогда дай я тебя за это поцелую.

И Вячеслав расцеловал Ксюшу, затем её подругу Ирину, потом изумлённым голосом спросил:

- Кто же вас надоумил?
- Ирину – отец, а меня она сагитировала, одна стесняется на собрания и мероприятия ходить. – Ксюша покровительственно приобняла подругу, та смущённо потупилась. – А я бойкая, компанейская! Ты же знаешь, я не умею сидеть дома и ждать «принца на белом коне», как мама, мне нужна компания, движуха, чтобы всё вокруг бурлило! Комсомол мне это даёт. А какая у меня альтернатива?

- А как же убеждения, дочь?
- Ну ты-то как-то ведь живёшь без убеждений!
- Я-а!? – удивился Левенцов. – С чего ты взяла?
- Никогда не видела, чтобы ты интересовался политикой.

Разве ты состоишь в какой-то партии?

– Всё это вовсе не значит, что у меня отсутствуют убеждения, – усмехнулся Левенцов. – Я верю, что единственным светлым будущим человечества является коммунизм, но не верю, что какая-либо нынешняя политическая партия сумеет нас к нему привести. Я также верю в существование некой Высшей силы, Демиурга, создавшего наш мир и человека в том числе, религии называют его Богом, но не признаю Церковь посредником между Создателем и людьми. Поняла?

- А почему ты мне об этом раньше никогда не говорил?

Левенцов не успел ответить, потому что над площадью разнёсся голос из микрофона, открывший митинг, Ксюша с Ириной, как и все вокруг, сразу посерьёзтели и смолкли. Они не проронили ни слова, слушая поэта Сопротивления Александра Харчикова, читавшего свои стихи о том, как в 93-ем расстреливали лучших парней страны. У Ирины на глазах блестели слёзы. Левенцов тоже молчал. Слушая призывы: «Нет прощения палачам!», «Руки прочь от земли Российской!», «Рос-

сия, бей в набат!» – он проникался ощущением причастности к борьбе. И когда над головами взметнулись сжатые людские кулаки, в том числе и Ксюшин, и Иринин, Вячеслав, поколебавшись долю секунды, поднял и сам свой грозный, протестующий кулак. Это было первое его политическое выступление.

Митинг завершился исполнением «Священной войны». Эта незабвенная песня-гимн прозвучала для Левенцова как собственная клятва. После шествия к мемориалу героев нового времени Ирина и Ксюша пригласили Левенцова к себе в гости. Почти до полуночи чаёвничал он с ними, наслаждаясь происшедшей с Ксюшей переменой. Как будто ни следа не осталось от той деревенской серенькой девчушки, что всерьёз принимала пошлые буржуазные газетёнки и книжонки и верила телевизору, утверждавшему, что человеческие ценности «переигрались». Перед ним теперь была неизмеримо более симпатичная девушка: скромная, думающая, хорошо понимающая происходящее в России, в общем, его дочь. Левенцову представлялось, будто перемена в ней произошла мгновенно, это было чудо. «Видимо, не только биологическое, но и социальное заложено в наших генах», – удовлетворённо думал он.

Проснувшись наутро в номере гостиницы, Левенцов почувствовал, что хандры его как не бывало. Он побрился, позавтракал и отправился в Трёхреченск. Электричка пришла в город в десять утра. Левенцов двинулся к концу платформы, где был нештатный переход через рельсовые пути, и обнаружил, что этого перехода уже нет. Пологий спуск платформы срезали, у края поставили символическую ограду из решётки. «Челноки» и огородники с тележками и мешками штурмовали этот срез с оградой, точно Зимний Дворец в семнадцатом году.

Левенцов, прикинув расстояние до виадукта, спрыгнул с платформы на рельсовый путь и перебежал к вокзалу. Привокзальную площадь он не узнал: на месте базарного балагана ларьков стояли блистательные дворцы-магазины. Удобные подъезды для автомашин, цветочные клумбы, ёлочки, фонтанчики,

мощёные фигурной керамикой тротуары — прямо натуральный евро-лоск. И при этом почти ни одного иностранного названия на фасадах! Даже шумовое оформление было уже не совсем американским: прокручивались под западного образца музыку кассеты и на родном языке. После срезанной платформы это был второй сюрприз Трёхреченска.

Третий «сюрприз» ожидал на пороге старой доброй «пещерки» в знакомом девятиэтажном доме. Сначала Левенцов обошёл дом по периметру, подивился, как выросла возле бывшего его окна единственная уцелевшая от нашествия автомашин берёзка. Рынок тоже преобразился. Обширную территорию вокруг крытого здания опоясали ряды торговых палаток и всевозможных защитных оград от автомашин. По фасаду рыночного здания сверху вниз шла выполненная славянской крупной вязью надпись: «Кафе „Боярин“». А первый этаж угловой части его дома занимал теперь магазинчик тоже с сугубо русским наименованием: «Извольте водочки-с». Левенцов зашёл в него и приобрёл две бутылки дорогого вина. «Славно бы изобреталось здесь теперь, — подумал он. — Всё необходимое под боком».

Предвкушая радость встречи со старым добрым Глеб Ивановичем, Левенцов подошёл к двери подъезда. Дверь оказалась металлическая, с кодовым замком. Он ругнулся и стал ждать, когда появится кто-нибудь из жильцов. Подошедшая старушка поглядела на него кисло, как на протухшее яйцо, и некоторое время колебалась: открывать при нём дверь или не открывать.

— Здесь приятель мой живёт, — сказал Левенцов и назвал квартиру.

Старушка, заслонив от него табло кода, надавила кнопки, дверь открылась. Но на пути к квартире встала ещё одна металлическая дверь, решетчатая, тоже с кодом. Раскодировав её и приоткрыв, старушка юркнула в образовавшуюся щель и тут же под носом у Левенцова дверь захлопнула.

— Нажимайте кнопки с номером квартиры, если код не знаете, — сказала она через решётку на прощанье, заходя в вызванный ею лифт.

– Семь футов вам под килем, – успел ответить он.

Набрав кнопками номер квартиры Татищева, он услышал прозвучавший из вмонтированного в стену микрофона хриплый незнакомый голос:

– Кто?

– Я к Глебу Ивановичу Татищеву, – отозвался Левенцов.

– Он здесь теперь не живёт, – сказал угрюмый голос.

– А где он теперь живёт, не знаете?

– На новом кладбище. От входа по правой дорожке пятая могила слева.

Благодарить за информацию Левенцов не стал. В оглушённости выйдя из подъезда, он отправился на автовокзал и сел в полупустой автобус, идущий до нового кладбища. Это «новое», как и в Беловодске, походило на старый большой пустырь: ни деревца, ни кустика, одни бугорки с крестами. Больше часа грустил Левенцов у могилки Татищева, вспоминая ушедшие невесть куда годы. Потом помянул товарища вином, которым хотел угостить его живого.

Выйдя с протоптанной между могилами узкой тропинки на дорогу, ведущую к выходу с кладбища, Левенцов увидел одетую во всё чёрное женщину, медленно бредущую впереди. Что-то знакомое почудилось Вячеславу в этой старушке, и он, поравнявшись с ней, неожиданно для самого себя вдруг сказал:

– Простите, вы не подскажете мне...

Женщина остановилась, подняла опущенную голову, и из-под надвинутого на лоб платка на Левенцова вопросительно глянули знакомые глаза.

– Людмила! – поражённо воскликнул он. – Это ты?

– Я, – ничуть не удивившись ответила она. – Ты вернулся в Трёхреченск?

– Нет, я здесь проездом. Хотел повидаться с Глебом, а он...

– Ясно, – печально усмехнулась Людмила. – Конечно, с Глебом...

– Я и к тебе звонил, да тебя дома не было, – соврал Левенцов.

– Видела я, как ты звонил, – укоризненно посмотрела на него Людмила. – Я как раз стояла у окна, такси ждала.

– Так ты что, за мной сюда приехала?

– Как был эгоцентристом, так и остался! – покачала головой Людмила и, обойдя Левенцова, неторопливо пошла дальше по дороге.

Раздираемый обидой и смущением, Вячеслав колебался недолго, потом, в несколько широких шагов догнав Людмилу, сказал:

– Прости меня, Люда! Я действительно хотел с тобой повидаться, но услышав о смерти Глеба...

– Ладно, чего уж там. Столько лет прошло с нашей последней встречи, раз уж у меня всё перегорело, то ты изначально меня ни капельки не любил...

– Ну что ты говоришь, Люда!

– Правду, Славочка, правду! Тебе от меня только секс был нужен. А вот я тебя любила и за то тебе благодарна.

Левенцов решил сменить неприятную тему и спросил:

– А что ты здесь... я вот Глеба могилку навещал...

– Сегодня очередная годовщина смерти моего мужа. Я всегда в этот день сюда приезжаю.

– Ты была замужем? – с неожиданной для себя ревностью спросил Левенцов.

– Ещё студенткой выскочила за однокурсника. Родители наши, конечно, были не в восторге, хотели, чтобы мы сначала закончили учёбу, но мы настояли на свадьбе. Четвёртый курс, впереди диплом, а там и распределение. Семейных в разные города не пошлют.

– И что потом?

– Потом нас распределили в Трёхреченск, на машиностроительный завод. Дали комнату в семейном общежитии. У Вити, мужа моего, карьера сразу задалась, он вообще был очень способный. А я, отработав, а вернее, отсидев в конструкторском бю-

ро положенные по закону три года, уволилась и пошла по торговой линии. Как ты помнишь, и моя карьера на новом поприще была вполне успешной.

Они пришли на автобусную остановку и сели на обшарпанную лавочку. День был рабочий, и на остановке никого больше не было.

– Значит, у вас с мужем всё было хорошо? – спросил Левенцов, подталкивая Людмилу к продолжению рассказа.

– Всё было замечательно, пока Витя не стал начальником электроцеха. Эта должность его сгубила...

– Как это? – удивился Левенцов.

– Это же было в советские времена: всё по плану, всеобщий дефицит и, как результат, взяточничество.

– Не понимаю!

– Представь, сломался в каком-нибудь механическом цеху станок: электродвигатель сгорел или катушка реле. На складе таких, конечно, нет. План цеха под угрозой срыва. Бегут к Вите: перемотай, дескать, обмотку электродвигателя или катушку реле. А в электроцехе на такие работы очередь, и Вите суют взятку, чтобы протолкнуть свой заказ вне очереди. Кто-то деньги предлагает, но большинство расплачиваются тем, что имеется под рукой – спиртом. Стал мой Витя после работы задерживаться, приходил пьяным. Добрый он был, но слабохарактерный, никому отказать не мог. Так и сгорел, и однажды ночью захлебнулся рвотными массами. Осталась я одна-одинёшенька в полученной от завода двухкомнатной квартире, обставленной барахлом, купленным на взятки.

– Ты могла бы опять выйти замуж, родить детей...

– В том-то и дело, Славочка, что не могла! – с надрывом воскликнула Людмила. – Сначала Витю забыть не могла, любила его несмотря ни на что. К тому же оказалось, что детей у меня никогда не будет, кому нужна такая жена? А потом я встретила тебя, влюбилась, как девчонка! Книжки начала читать, чтобы тебе было со мной о чём поговорить, но тебе это было не надо, у тебя было твоё проклятое Дело. С пьянством твоим я могла

смириться, как терпела когда-то алкоголизм Вити. Что не стерпишь ради любви? Но соперничать с Делом я не могла. Однажды у Александра Герцена я прочла и запомнила такую фразу: «Не проще ли понять, что человек живёт не для совершения судеб, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился». Жаль, что к тому времени мы уже окончательно расстались, и я не могла показать её тебе. Или Герцен для тебя не авторитет?

— Герцен для меня не авторитет, — кивнул Левенцов.

Они помолчали несколько минут.

— У меня тоже своих детей нет, — неожиданно признался Вячеслав. — У жены есть дочь от первого мужа, так что дело, очевидно, во мне. И я тоже ужасно одинок, Люда! Есть любимая жена, дом, пусть не родная, но дочь, а я одинок...

Подошёл пустой автобус. Левенцов с Людмилой вошли, сели рядом на одно сиденье и всю дорогу до города молчали, думая каждый о своём. На автовокзале они расстались, как просто случайно встретившиеся давние знакомые, спешащие по своим делам: Левенцов в гости не попросился, а Людмила не пригласила.

Простившись с Людмилой, Левенцов направился к дому Скобцевых. У него почему-то была мистическая убеждённость, что и здесь его ждёт какой-то оглушающий сюрприз. Дверь открыла Алевтина Владимировна. Левенцов не узнал её. Перед ним стояла худая женщина с поникшими плечами, с тусклым взглядом, с признаками близкой старости в лице. Особенно поражала худоба. Лишь когда она, посветлев лицом, тихо молвила: «Ой, Слава!» — и суетливо посторонилась, приглашая его войти, он поверил, что это всё-таки Алевтина Владимировна. Голос был по-прежнему её: женственный, красивый. Застенчиво улыбнувшись, она сказала, что может угостить только чаем, ни вина, ни коньяка, ни даже кофе в доме нет.

— Я теперь работаю в продовольственном магазине, — пояснила Алевтина Владимировна и тут же с тронувшей Вячеслава поспешностью добавила: — Не продавщицей, конечно, фасов-

щицей. Из поликлиники пришлось уволиться из-за конфликта с руководством.

Левенцов достал из сумки бутылку вина, фрукты, конфеты. Ему было немного не по себе при виде сломленности, жалкости этой женщины, остававшейся в его памяти гордой, властной, победительной, красивой.

Разговор не получался. Алевтина Владимировна как будто вместе с красотой утратила и былой свой интеллект. Она беспорядочно перескакивала с одной темы на другую, обрывалась на полуфразе, забывая, о чём хотела сообщить. Левенцову показалось, она умышленно избегает говорить об Алле, и он спросил:

– С Аллой всё в порядке?

На глазах у Алевтины Владимировны мгновенно выступили слёзы. Она взглянула искоса жалобно и страдальчески произнесла:

– Алла ушла в монастырь.

Вячеслав не понял, он подумал, что Алла ушла в монастырь по какому-то минутному делу, как ходят за хлебом в магазин. Поэтому задал неуместный и бессмысленный вопрос:

– Она не замужем?

– Нет, она ушла в монастырь, – потерянно повторила Алевтина Владимировна. Внезапно блеснув глазами и напомнив себя прежнюю, она добавила с сарказмом. – Зачем ей замуж, она Христова невеста теперь.

Левенцову показалось, будто у него волосы на голове зашевелились от такого сообщения. Когда же он узнал, что Алла теперь настоятельница Беловодского монастыря, реальность вообще представилась ему фантазмагорией. Попрощавшись с Алевтиной Владимировной, Левенцов кинулся на вокзал и успел на поезд. Ему необходимо было своими глазами увидеть, что Алла уже не Алла, а монахиня.

Под перестук колёс Вячеслав смотрел в вагонное окно, вспоминая, как двенадцать лет назад этот же поезд мчал его по этой же дороге в первый раз. Он ещё не подозревал тогда

о существовании в природе такого замечательного явления, как Беловодск, ехал просто в неизвестность. В нём играла молодая, жаждущая приключений сила. Странные вещи вытворяло время. Разве поверил бы Левенцов в то время, что юная чертёжница Алла, отличающаяся таким светским жизнелюбием и острым умом, сделается настоятельницей монастыря в том самом городе, с которым так переплелась собственная его судьба.

Всё ещё погруженный в воспоминания Левенцов вышел на платформу. Спустя час он был в монастыре. На монастырском дворе было, как всегда, уютно и покойно. На скамье в аллее у распятия сидел молодой, могучего сложения священник. Волосы на непокрытой голове и борода у него были чёрные, как и ряса, но, несмотря на этот чёрный фон и мощную фигуру, облик священника излучал как будто свет, а во взгляде синих глаз была возвышенная отрешённость.

Левенцов залюбовался им. Присев на крайнюю скамью, он искоса поглядывал на священника и думал: «Экая силища! Такому все тринадцать подвигов Геракла по плечу, а он только Богу молится, искренен ли он в отречении от жизни? Если искренен, то почему не брезгует жизненными благами, которые даруются не молитвой, а трудом? Электричество вон к храму подвели, молниеотводик на всякий случай... А может, молитва тоже труд? Прихожане платят ведь, значит, молитва — ценность более даже высокого свойства, чем материальное, раз платят бескорыстно».

Левенцову всегда были симпатичны люди, отдающие последний рубль не на потребу плоти, а за книгу, за картину, за познание. Но молитва... «В чём, например, смысл молитвы о спасении души? Не сопряжена ли она с эгоистичным тайным упованием заполучить в загробной жизни преимущество перед теми, кто, храня достоинство, ничего у Господа не просит? И сколько в мире отъявленных мерзавцев, творящих гадости со словами: „Господи, прости!“ Иные же из них с лютой злобой убивают и мучают инаковерцев. Слава Богу, православная церковь на Руси терпима. Ну сожгли там протопопа Аввакума, ну держали в голоде непокорных в монастырских подземельях на цепи, это всё в прошлом».

Поймав себя на сарказме, Левенцов устыдился. Против воли в мысли вкрадывалась идущая от пионерско-комсомольского воспитания предвзятость. Но священник был Вячеславу симпатичен, вызывал сочувствие и интерес. Привлекало таинство характера, отринувшего радости светской жизни. Левенцов подумал, что, хотя и сам он сознаёт, какая это химера – удовлетворение материальным, уйти от жизни ещё при жизни было бы ему самому всё-таки не по плечу. А Алла вот ушла...

Левенцов встал и подошёл к священнику.

– Простите, – обратился он к нему, – вы не подскажете, как увидеть настоятельницу монастыря?

– Она в церкви, – приветливо ответил тот. – Её посвящают святой Ксении. – Увидев недоумение на лице Левенцова, священник с улыбкой пояснил: – Именины её справляют.

– Но её не Ксения зовут, – пришёл Левенцов в ещё большее недоумение. – Её зовут Алла.

– Была Алла! – Священник улыбнулся совсем по-свойски, по-мирскому. – Теперь Ксения она.

Поблагодарив, Левенцов пошёл к церковному крыльцу, поднялся по ступенькам к входу. Из открытой двери доносилось светло-грустное чарующее пение женских голосов. Не то взволнованность, не то тоска подступила к сердцу Вячеслава. Превозмогая это, он переступил через порог. Алла, храбрая, умная, жизнелюбивая его подруга Алла, вся украшенная цветами, стояла на возвышении, на самом видном месте. Окружавшие её женщины пели что-то, напоминавшее хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь».

Неожиданная красота Аллы и всего обряда навели на Левенцова гипноз: он проваливался в неземное измерение. Нечто похожее он испытал, отдыхая у дороги на Тимохино, когда шёл туда в первый раз. Вячеслав забыл, в каком он веке, где он, кто он. Он ощущал себя не самим собой, а другим каким-то человеком, куда более сильным и глубоким и в то же время таинственно родным. Этот другой испытывал боль: венчали не с ним его невесту. Эта вселенская боль была так реальна и необъятна, что

Левенцов почувствовал удушье, глаза у него стало заволакивать серой пеленой.

11

Левенцов не помнил, как вышел на крыльцо. Облокотясь о перила, он понемногу приходил в себя. Потом спустился с крыльца церкви и вновь подошёл к сидящему на скамье священнику.

— Зачем? — с недоумением и болью воскликнул Левенцов.

— Что зачем? Вы хотите знать, зачем настоятельнице дали новое имя?

— И это тоже. Скажите, зачем люди уходят в монастырь?

— На этот вопрос нет однозначного ответа, у каждого человека имеются свои причины. Да вы присаживайтесь, а то мне неудобно с вами разговаривать сидя. Я отец Сергей, а вас как зовут?

— Вячеслав.

— Вы верующий?

— Все мы верующие, — криво усмехнулся Левенцов. — Даже атеисты живут верой, что никаких богов не было и нет. Я тоже был таким совсем недавно, а теперь мне ближе учение агностиков.

— А почему не православие?

— А почему мне должно быть ближе православие?

— Но мы же в России живём! Или вы не русский?

— Русский, так и что из того? У нас в России все основные мировые религии разрешены и вроде как равноправны. Почему изначально еврейская религия должна быть мне, русскому, ближе других?

— Вы что-то путаете, Вячеслав, — нахмурился отец Сергей, — еврейская религия — это иудаизм, а православие...

— Знаю! — прервал собеседника Левенцов. — Интересовался когда-то этим вопросом. Если хотите оспорить мои слова об изначальном еврействе христианства, ответьте честно и от-

кровенно на следующее. — Вячеслав на мгновение замолчал, мысленно формулируя вопросы. — Основой христианского, а значит, и православного учения является Библия? Кем же написан был Старый завет, являющийся по сути основой иудаизма? А Новый завет? Русскими? А для кого они были написаны? Старый завет — часть Библии? Зачем он там, если к христианству не имеет отношения? Бог Старого завета и Бог Нового завета — разные или это один и тот же Бог? В какого Бога верил Иисус Христос? Были ли христианами апостолы-евреи? Была ли христианкой еврейка Мария из Магдаллы? И последнее: почему Библия до 18 века в России была запрещена?

— Ого! — удивлённо воскликнул отец Сергей, с неподдельным интересом глядя на Вячеслава. — Вы, я гляжу, действительно интересовались этими вопросами. И к каким же выводам пришли?

— Ловко! — усмехнулся Левенцов. — Вместо того, чтобы отвечать самому, вы любезно предоставляете это мне. Что ж, приём не нов, но, как говорится, отсутствие ответа — тоже ответ.

— У меня есть ответы на ваши вопросы, Вячеслав, — вздохнул отец Сергей, — но они не помогут вам ответить на мой вопрос: почему агностицизм вам ближе православия? Без честного ответа на него, вы никогда не сможете понять, почему люди уходят в монастырь.

— Ответ прост: я с уважением отношусь к любой Вере, но мне неприятны все монотеистические религии и их атрибуты.

— Даже так! — поразился отец Сергей. — А почему, позвольте спросить, именно монотеистические? Язычество у вас не вызывает отрицательных чувств?

— Язычество — нет, зверские обряды — да. Почему именно монотеистические? Потому что все они только называют себя таковыми, а по сути являются теми же языческими культурами многобожия, а что это, как ни лицемерие?

— Любопытно! Примеры можете привести?

— Легко! — Вячеслав всё больше втягивался в спор, потому что бессознательно желал спрятаться за ним от мыслей о про-

исходящем сейчас в церкви обряде превращения Аллы в Ксению. — Христианство, а также ислам и иудаизм — это поклонение исключительно Творцу. Бог в монотеизме должен быть один. А как прикажете понимать поклонение всевозможным «святым»? Может, вы скажете, что в христианских церквях и монастырях висят исключительно иконы Творца? А церковные обряды? Так ли уж они отличаются от языческих ритуалов? Бить поклоны перед иконами, ставить свечи и молиться перед ними — разве не поклонение изображённому, то бишь — идолу? Почему прихожане должны «отведать плоть и кровь Его»? Христиане что — людоеды? При всём при этом монотеисты всегда беспощадно преследовали и до сих пор преследуют представителей всех прочих религий, чего никогда не делали официальные язычники.

— Так уж и не делали? — вздохнул отец Сергий. — Первых христиан в языческом Риме травили на аренах дикими зверями.

— Это приказал делать римский император, которого те христиане отказались признавать богом, что являлось в то время и в том месте преступлением, — усмехнулся Левенцов. — Или вы не согласны с пословицей, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят?

— Это все ваши претензии к христианству?

— А вам мало? Вот ещё: почему мы, люди, как сказано в любом Завете, и в Старом, и в Новом, созданные по образу и подобию Его, во славу Его, и в каждого из которых Он вдохнул частичку себя, являемся Его рабами? Ведь вы, отец Сергий, — раб Божий? Лично я не желаю быть вечным рабом ко-го бы то ни было!

— Неужели вы видите в христианстве одно только то, что считаете отрицательным? — с горечью покачал головой отец Сергий. — А как же огромное влияние христианской культуры на русский народ? А объединение и укрепление Руси Святым князем Владимиром под сенью православия?

— Бросьте повторять эти мифы, отец Сергий! — махнул рукой Левенцов. — Римская империя была сильна и обширна, когда го-

сударственной религией в ней было язычество, как и дохристианская Русь, к стати. А вот когда римский император Константин, так его вроде звали, принял христианство и сделал его основной религией, вот тогда и начался закат Римской империи. Я не могу сказать, что это были взаимосвязанные события, но уверен, что для стабильности любого государства совершенно не важно, какую религию исповедует его народ, христианство или язычество. А вот отказ от собственной религии и насильственное внедрение чужой вряд ли способствуют укреплению государства.

Что же касается культуры, то как насчёт инков или ацтеков? А Древняя Греция, Индия, Китай? Или если не христиане, то уже и не культура? Вам не кажется странным и неестественным, отец Сергей, что мы, русские, прекрасно знаем мифы и языческую культуру Древней Греции или Рима, но совершенно не знаем свои собственные? Кто в этом виноват, если не насильно внедрённое на Русь православие? Такое влияние на русскую культуру вы считаете положительным явлением?

Отец Сергей не успел ответить Левенцову, потому что в этот момент хор в церкви смолк, и на крыльцо стали выходить монахини. Они поворачивались к двери и крестились, потом степенно спускались по ступеням. Вячеслав, забыв поблагодарить за беседу и попрощаться с отцом Сергием, вскочил со скамьи и подошёл к крыльцу, ожидая, когда выйдет Алла. Она вышла после всех. Перекрестилась и с опущенными глазами направилась к ступеням. Он окликнул:

— Алла!

Она вздрогнула и остановилась. Спустя несколько секунд повернула голову, в глазах испуг и мольба.

— Слава, — тихо произнесла она с такой любовью и страданием, что казалось, сейчас кинется к нему в объятия.

Но Алла не кинулась, стояла неподвижно и рассматривала его широко раскрытыми глазами. Потом спросила мягко:

— Откуда ты?

— Из Трёхреченска. Алевтина Владимировна дала мне твой новый адрес.

- Ты здесь в первый раз?
 - Нет, бывал и раньше, только не знал, что ты тоже здесь. Однажды увидел тебя, но подумал, померещилось.
 - Я тоже подумала тогда, что блазнится. А сейчас ты?..
 - Приехал, чтобы увидеть тебя.
- Они сели на скамью в аллее на приличной дистанции друг от друга.
- Никогда бы не поверил, если бы не увидел тебя сам в таком обличье, — сказал Левенцов. — Когда ты ушла из КОПА в бизнесмены, и то я не так был поражён.
 - А мне уже кажется, будто я от рождения была монахиней.
 - Странно...
 - Осуждаешь?
 - Говорят, не судите да не судимы будете. Но неужели ты сама не сожалеешь?
 - Дело не в этом. Я искренно уверовала в Бога. Он спас меня, когда я попросила об этом в минуту смертельной опасности, хоть я и была тогда жуткой грешницей...
 - Искренность твоих поступков никогда не вызывала у меня сомнения. И всё же... странно. Ты всегда жила реальной целью, видела счастье в достижении.
 - Я ошибалась. Счастье не в достижении, а в образе пути, каким идёшь. Если чего-то достигаешь, когда вокруг страдают, разве это счастье? Стремиться к счастью вообще недостойно, пока есть хоть один несчастный в этом мире. Надо просто быть счастливым.
 - Легко сказать. Мне вот, чтобы быть счастливым, необходимо, с одной стороны, иметь чистую совесть, а с другой — легко относиться к жизни. Как это совместить, не знаю.
 - Чтобы иметь чистую совесть, надо усердно над собой и для других трудиться, а чтобы легко относиться к жизни, достаточно быть пустым, никчёмным человеком. Но ты ведь не такой.
 - Однако ты крепко изменилась... Значит, надо просто быть счастливым. Самовнушением, что ли, заниматься по системе йогов?

– Преодолей соблазн к удовольствиям из солидарности к страдающим – и будешь счастлив.

– Зачем же отвергать дарованное жизнью? Если жизнь имеет смысл, то и удовольствия его имеют, без удовольствий жизнь не жизнь, а она так коротка. Помнишь песню из «Земли Санникова»: «Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одним, только мигом одним».

– Не мигом мы рискуем. Вечностью.

– Иногда я верю в это. Но почему-то именно в минуты, когда вижу, что всё так непрочно, так изменчиво. В такие минуты приходит в голову, не сон ли жизнь и не кроется ли в смерти пробуждение.

– У Алексея Константиныча Толстого есть такая мысль: «Время – ложная или недостаточная идея, происходящая от ограниченности нашего ума, не способного воспринять мир как целое. Возможно, со смертью откроется вид на все четыре стороны, – а может быть, их больше, чем четыре, – и всё представится одновременно, тогда не будет больше времени – будет вечность».

– Неплохая мысль. Согласуется и с научной теорией относительности, и с ненаучной теологией.

– Теология тоже научна, Слава. А вот ещё у Алексея Константиныча: «Люди, которые смотрят на эту жизнь, как на конец и цель существования, обычно ограничены...» И ещё: «Работать только для материального благосостояния человека – значит отнимать у него лучшую его половину, низводить его на уровень животного, которому хорошо, если его не бьют и сытно кормят».

– Замечательно! Я и сам бы так сказал, если бы текучка не заела. Но всё-таки и жизненные удовольствия, по-моему, имеют смысл.

– Удовольствия – иллюзия, от них ничего не остаётся на потом. Спроси у стариков, чем они живут. Удовольствия не дарят ощущения правильно прожитой жизни.

– Я не старик и не могу без удовольствий. И не могу понять, как обходишься теперь без удовольствий ты. Я же помню твою страстность.

Лицо у Аллы порозовело, она потупила глаза и, помолчав минуту, сказала:

– Самоограничение так же страстно, как и покорность страсти.

– И ты не сомневаешься, что достанет силы самоограничиться до конца? Тебе не кажется, что здесь привкус фанатизма? Как сказал Декарт, а за ним Карл Маркс, для того, чтобы познать истину, необходимо подвергнуть всё сомнению. Даже веру в Бога! Я всегда считал, веру надо совершенствовать помалу, каждый день, через сомнение. Если не так, для чего жизнь, опыт. И вообще, церковь, по-моему, не имеет к вере никакого отношения. Подлинная вера глубоко интимна, а церковь выставляет её напоказ.

– Тебе не нравятся разве храмы?

– Нравятся, но это совсем другое.

– Почему же? Храмы – напоминание нам, что человек не животное, которому хорошо, если его не бьют и сытно кормят. Церковь, как сказал один далёкий от религии писатель, есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Земля без церкви обесмыслилась бы, похолодела.

– Не осмеливаюсь отрицать, хотя мне кажется, не последнюю роль здесь играет воспитанная столетиями привычка. А где истина, Бог вещь.

– Вот именно: Бог вещь. Бог и есть Истина.

– Не лукавь, Алла. Истина в высшей инстанции – это Совершенство, которое Богу, судя по земной жизни, пока не по плечу. Об этом говорит нам благородный разум.

– Разум – светоч, но он может ослеплять.

– Согласен, но в поисках Истины риск оправдан. Разве не к разуму взывал Христос? Кстати, он не запирался в монастырь со своей Истиной, как некоторые, а шёл с ней в народ, он мирского не страшился.

– Христос – Божий сын, он совершенен, а нам, простым смертным, страшиться не зазорно.

– Значит, всё же признаёшь, что отшельничество ничего общего с Совершенством, а значит, с истиной, не имеет?

Алла, резко поднявшись, взглянула жёстко. Тут же её взгляд смягчился, она кротко попросила:

— Не искушай меня, Слава, прошу, и... уходи.

Левенцов поднялся. Надо было уходить, но он медлил, нелегко уходить от родственной души. Вячеслав двинулся только когда увидел слезу на ресничке Аллы. Через несколько шагов он услышал её похожий на стон возглас: «Сла-ава!» Левенцов оглянулся. У Аллы был просветлённый взгляд. Она вдруг стала декламировать стихотворение Алексея Константиновича Толстого:

«Но не грусти, земное минет горе,
Пожди ещё, неволя недолга,
В одну любовь мы все сольёмся вскоре,
В одну любовь, широкую, как море,
Что не вместят земные берега...»

Затем, помедлив, Алла сказала:

— Я буду просить Бога, чтобы он дал мне встретить тебя за гробом.

— Премного благодарен, — грустно улыбнулся Левенцов. Потом с серьёзностью добавил. — Я тебя и без спроса там найду.

Алла перекрестила его. Левенцов повернулся и, не оглядываясь, пошёл на волю. Алла проводила его печальным взглядом до калитки. Когда он скрылся за ней, она, забывшись, досадливо хлопнула пальчиками о ладошку и тут же испуганно перекрестилась.

Левенцов шёл по улицам Беловодска в великом сомнении, есть ли такое место, куда ему следует теперь идти? На площади возле городской церкви его внимание привлекла знакомая автомашинка, в которой сидела его бывшая ученица в управлении мини-трактором Света. Левенцов и прежде видел её здесь в машине, она озвучивала записанные на магнитофонной ленте проповеди. Обычно он не вслушивался в слова, но тут его привлёк произносивший, точнее напевавший, их голос, а ещё больше музыкальное сопровождение. Голос явно принадлежал певице Жанне Бичевской, известной ему благодаря Тимохинским «по-

клонникам искусства», прокручивавшим одну и ту же кассету по сто раз в день. Музыкальное сопровождение несло в себе фривольные мотивы песенки из революционного далека: «Крутится, вертится шарф голубой...».

Левенцов подошёл и вслушался в слова. Ему стало жутко. В песенке-проповеди сообщалось о «красных шакалах – понимамай большевиках, – сбежавшихся на падаль», упоминалось также о том, что «народ под погребальный звон колоколов хоронит собственную совесть» и многое ещё другое, с неприкрытой злобой унижающее русский народ. Левенцов прослушал эту музыкальную проповедь ненависти до конца. Его ученица Света была, конечно, невиновна, но Алла, пославшая её сюда с кассетой... Неужели приказание высокого духовного начальства она исполнила слепо, не вникнув в смысл? А если не слепо, а сознательно? О таком страшно было и помыслить. «Да простит тебя Бог, Алла, – с горечью подумал Вячеслав. – Да ниспослёт Он всё-таки встречу нам с тобой за гробом».

Левенцов ещё мог успеть на поезд на райцентр. Два часа пути – и он увидел бы Наташу. До душевного стога подступало желание её увидеть, но ехать в осточертевшее Тимохино... Вячеслав крутнул монетку, выпало возвращаться в Трёхреченск. «Придётся подождать, Наташенька, – мысленно сказал он жене. – Приеду, видно, через год, не раньше». В первом часу ночи поезд привёз его в Трёхреченск. Левенцов решил пешком прогуляться до ближайшей гостиницы.

12

Левенцов проснулся в десять утра. Открыв глаза, он с чувством нереального в реальном разглядывал стандартный гостиничный набор: стол с телефоном, стул, шкаф. Телефон навёл Левенцова на мысль позвонить в КОПА. Его не покинула ещё застарелая иллюзия: он полагал, что, если поступить опять на работу в старый добрый свой отдел, жизнь вернётся на круги своя. Поднявшись, Левенцов порылся в бумагах. Нет, ни од-

ной записи с трёхреченскими телефонными номерами не сохранилось. Побрившись и позавтракав, Вячеслав пошёл на улицу.

Знакомый трёхэтажный корпус с табличкой у дверей «Конструкторский отдел промышленной автоматики» показался Левенцову родным, он позабыл, что называл его в своё время осточертевшим. Вышедший из проходной старик, столкнувшись с Левенцовым, в удивлении воскликнул:

– Слава! Каким ветром?

Левенцов с трудом узнал в старике заместителя начальника бывшего своего отдела.

– Иван Фёдорыч! – откликнулся он радостно. – Всё ещё работаешь?

– А куда денешься? На пенсию теперь нешто проживёшь? На одну квартплату половина пенсии уходит, криминал!

– Как сын, устроился после института?

– Устроишься теперь! По специальности работы нету, а работать в частной фирме клерком он не хочет, говорит, хватит того, что в студенчестве их охранял. Шесть лет и учился, и работал, самые лучшие годы изуродовал – и всё псу под хвост. Скажешь, не криминал?

– Криминал, Иван Фёдорыч. А как в КОПА, всё по-старому?

– Какое там по-старому! Наш контрольный пакет акций, будь они неладны, «денежный мешок» один тут хапнул. Платит мизер, делает что хочет, рабами, в общем, стали. Ушёл бы куда, да где теперь старика возьмут!

– А обстановка как?

– Хуже некуда. Даже не верится, что ещё хуже будет, когда примут этот ихний кодекс о труде.

– Я-ясно, – разочарованно протянул Левенцов. – А кто-нибудь из старого состава кроме тебя есть?

– По пальцам перечесть. Кто до пенсии дотягивает, кто, как вот я. Хозяин молодёжь нашёл, как на подбор. На всё им наплевать, в голове одни деньги, в душе ни стыда, ни совести. Не на-

ши люди, в общем. Сидю в отделе, как среди волков, утром на работу иду как на каторгу.

— А сейчас куда?

— В поликлинику еле отпросился. Стыдно сказать, сорок лет предприятию отдал, а новый начальник, как школяра, пытал: так ли уж мне нужно в поликлинику?

— Пойдём, провожу, Иван Фёдорыч. Я ведь, грешным делом, думал на работу в отдел опять устраиваться.

— Да ты что, Слава, спятил? Беги, беги отсюда, пока на ногах.

— Да уж бегу. Спасибо за информацию. Не знаю только вот, куда бежать.

— Это верно. Вроде родная страна на тыщи вёрст в любую сторону, а бежать и некуда. Криминал!

Проводив бывшего своего начальника до поликлиники, Левенцов завернул в городской парк, сел здесь на скамейку у неработающего фонтана и закручинился. Надежда на устроенную жизнь в Трёхреченске рухнула. «Не возвращайтесь туда, где вы были счастливы», — долбило в голове. Левенцову предлагали работу на предприятиях, с которыми он был завязан своими изобретениями, предлагал даже один столичный НИИ, но начинать в сорок семь лет новую жизнь в местах, немилых сердцу, тем более в теперешней Москве, приобретшей совсем не русский облик, не было ни малейшего желания. Хотелось устроиться в уголке, где сохранилось хоть немного из прежнего, родного. Где такой уголок теперь найдёшь? Томил и вопрос с Наташей. Без неё устроенности не будет, Левенцов это понимал, но захочет ли она покинуть ради него Тимохино?

Парк был безлюден. В былые годы в это время у каждой скамьи в аллеях стояли детские коляски, а у работающего фонтана постоянно резвилась детвора. Теперь пусто. Зато на месте снесённой закусочной выросло шикарное кафе. Левенцов заглянул в него. Чистота, холодный блеск бутылок в баре, за стойкой презентабельная официантка, за столами никого. Вячеслав посмотрел меню. Цены лишь для «новых русских». На закуску к выпивке бутерброды с осетриной. Скучно. То ли дело в допе-

рестроечных чепках: столы неубранные, пол неподметённый, стойка чисто символическая, зато за стойкой доступная всем, недорогая и обильная закуска и молодое натуральное вино, хоть залейся! Всего полтинник за стакан!

Левенцов вышел из парка и побрёл куда глаза глядят. Привлёк внимание к себе симпатичный двухэтажный домик с парадным портиком и надписью под козырьком: «Дом детского технического творчества». Вячеслав не сразу узнал в здании бывший дом юных техников, в котором в 94-ом нашёл покупателя его изобретательского инструмента. Переменилось не только название. Дом заново оштукатурили, покрасили, навели лоск. И главное, через окно Левенцов увидел множество занятых делом ребятишек, а на полках вдоль противоположной стены — модели ракет и самолётов. Пророчество Володи, купившего его железки, не сбылось: детский дом не только не продали «крутым ребятам», но и заново вдохнули в него жизнь. «Что-то всё же делается, хотя и не по тому направлению, по которому ведёт власть», — вспомнилась цитата из записей Вернадского.

На подходе к гостинице Левенцова заинтересовала приклеенная к торцевой стене дома листовка. Крупным чертёжным шрифтом, выполненным от руки тушью с помощью рейсфедера, листовка призывала: «Товарищ, приходи! Возродим Коммунистическую Партию Советского Союза снизу!» Далее шрифтом помельче следовал адрес, где состоится организационное собрание. Адрес Левенцова заинтриговал — это был дом с бывшей его «пещеркой». Заканчивалась листовка подписью: «Орггруппа».

В шесть вечера Левенцов подошёл к соседнему с бывшим своим подъезду и увидел былого коллегу по КОПА Егора Агаповича Сорокина, тот стоял в компании с рослым мужчиной.

— Сколько лет, сколько зим! — приветствовал Сорокина Левенцов. — Как выживается, дружище?

Егор Агапович, вытаращив глаза от удивления, ответил вопросом на вопрос:

— Ты откуда взялся?

— Из гостиницы, гощу в Трёхреченске. — И Левенцов поведал о заинтересовавшей его листовке. Из последовавшего разговора он узнал, что листовка — дело рук и разума Сорокина, а орггруппа — это он сам и стоящий с ним мужчина.

— Это Николай, — представил Сорокин мужчину. — Мы с ним соседи и соратники.

Левенцов оказался первым пришедшим на призыв листовки. И последним. Ждали до семи вечера, никто больше не пришёл. Николай отправился куда-то по своим делам. Левенцов постоял с разочарованным Сорокиным ещё некоторое время. Егор Агапович с фальшивым оптимизмом произнёс:

— Ну что ж, ты да я, да Николай — уже организация. — И пригласил Левенцова к себе в квартиру на оргсобрание.

— Да нет, Егор Агапыч, я просто из любознательности пришёл, — окончательно разочаровал его Левенцов. — Я хотел узнать, зачем это понадобилось возрождать КПСС снизу, когда она и сверху организованная есть. Зачем дробить сопротивление тёмным силам? Это ведь всё равно, что на руку им играть. Есть мощная организация — КПРФ. У неё свои подразделения везде, свои идеологи и специалисты по государственным вопросам, опора на таких столпов науки, как Алфёров, Глазьев, своя фракция в Госдуме, свои признанные лидеры, своё готовое правительство, и, самое главное, поддержка семидесяти процентов населения. Захвати КПРФ завтра власть, и послезавтра же жизнь без всяких потрясений повернётся к лучшему. Если бы все ручки сопротивления влились в неё вместо того, чтобы плодить беспомощные разрозненные группки, Сатана недолго бы ещё торжествовал. Чем тебя-то не устраивает КПРФ, Егор Агапыч?

— В КПРФ пришли к руководству люди, неправильно понимающие задачу партии, — уныло ответил Сорокин. — Они думают о престиже партии, а не о народе, партия у них самоцель, они превращают её в номенклатурную верхушку, приводят на заседания Госдумы молодых студентов, готовят из них на случай своей победы таких же чиновников-номенклатурщиков. Они беспринципны в политической борьбе.

— А что им остаётся делать, Егор Агапич? Где ещё они наберут кадры, случись им победить? Молодёжь, которая не в студентах, поголовно вся или охраняет наших и ненаших бизнесменов, или вообще без царя в голове. Отступление от принципов тоже можно понять. Бороться с Сатаной, придерживаясь принципов, всё равно что старинными трёхлинейками против танков воевать. Против зла добродетель не оружие. Если бы все сочувствующие КПРФ не ленились ходить на выборы за неё голосовать, она могла бы позволить себе роскошь блюсти принципы, а так... Спасибо и на том, что она последняя надежда у народа.

Сорокин глядел ошеломлённо. Он попытался защитить свою позицию:

— Ты знаешь, что Зюганов — свой человек в буржуазных кругах на Западе? Он постоянный участник форума в Германии, о котором пишут, что одна из его задач — не допустить возникновения в Европе коммунистических режимов. На этих форумах он заявляет, что ведёт КПРФ к социалдемократии и ещё кое-что почище. Это ведь предательство!

— Слышал я такую версию, Егор Агапич. Радиостанция «Свободная Россия» любит о таких вещах вещать. Ты тоже, поди, от туда эту информацию принял? Если это даже и правда, никакое это не предательство, на мой взгляд. Это в существующей ситуации самая верная стратегия. Если бы Зюганову не удалось войти в доверие к буржуазным кругам, кто знает, сохранилась ли бы КПРФ.

— А зачем тогда руководство КПРФ проталкивает буржуя в Думу, а он там голосует за принятие закона о продаже земли?

— Вводя сатанинские законы о земле, труде и пенсиях, режим сам роет себе яму, руководство КПРФ прекрасно это понимает. Чего в такой ситуации копыя-то ломать? Полагаю, были веские основания для поддержки этого буржуя, руководят КПРФ не дураки.

Сорокин не нашёл, что возразить. Он смотрел растерянно. Егор Агапович чувствовал, как обратное сомнение устраивается

у него в голове. Под наплывом слабости он рассказал Левенцову всё как было, о своём конфликте с Лещинским и об исключении из КПРФ. Для Сорокина это была освободительная исповедь, тайне он давно уже мечтал о возвращении в партийные ряды, и теперь ждал поддержки и получил её. В ответ на его исповедь Левенцов исповедался и сам.

— Я с некоторых пор внимательно слежу за КПРФ, — сказал он. — Согласен, не всё в ней благополучно. Но не судите, да не судимы будете. Руководят ведь ею живые люди, а живым людям свойственны житейские пороки, ничего тут не поделаешь. Я никогда не обольщался надеждами на беспорочность политических вождей, будь то даже Ленин. Я и теперь не обольщаюсь. Но если бы вступил в КПРФ, то беспрекословно выполнял бы постановления её вышестоящих органов, пусть и заведомо ошибочные. Потому что в сто раз худший бардак получится, если каждый рядовой член начнёт ковыряться в ошибках руководства. Не это сейчас нужно, Егор Агапыч. Это — на потом. Сейчас нужен единый, не ослабленный сомнением кулак. Беспорочность такого кулака нереальна, но он единственная сейчас надежда.

Я тут с одним хорошим человеком сделал разработку компьютерной системы, способной обеспечить в России подлинно народный социализм. Так вот с КПРФ я связываю надежду на внедрение этой системы в жизнь, хотя сама по себе КПРФ, как и любая организация, состоящая из людей с их людскими слабостями, обеспечить гармоничное устройство общества, на мой взгляд, неспособна. И плевать мне на её ошибки! Они у живых людей если не те, так эти. Ты можешь сказать, что это эгоизм. Не возражу. Но ведь не стяжательский это эгоизм, а во имя общих интересов. Если бы в партии все преследовали такие эгоистические цели, она никогда не унизилась бы до солдафонских штук, типа лозунга: «Партия — ум, честь и совесть эпохи». Это солдафонство, слава Богу, перехватило теперь нероссийское «Радио России». Оно, что ни фраза, твердит, как попугай: «Настоящая музыка на настоящем радио», «Настоящее

искусство на настоящем радио», «Настоящий детектив на настоящем радио», слушать тошно.

Так что смири гордыню, Егор Агапыч, и возвращайся в КПРФ. Не обращай внимания на её недостатки, а делай потихоньку своё «эгоистическое» дело, ты ведь, я знаю, плохого не сделаешь, ты хороший человек.

Сорокин ошарашенно молчал. Левенцов попытался перевести разговор на другие темы, но Егор Агапович в глубокой задумчивости отвечал невпопад. Левенцов ещё раз пожелал ему вернуться в КПРФ и пошёл в гостиницу.

Сорокин вернулся домой. Присев за стол, он взялся за газету. Егор Агапович только держал её перед собой, тогда как глаза его смотрели не в неё, а дальше. Через час такого отстранённого сидения Сорокин простодушно сам себе сказал:

— Вот и пойми тут, что к чему. Всю жизнь учишь и дураком помрёшь. Видно, не гожусь я в политические деятели.

Небо обделило его чувством юмора, но не отказало в даре признавать с лёгким сердцем свои ошибки и ни на кого не помнить зла за прошлое.

13

Наутро Левенцов поднялся в гостиничном номере с невесёлой мыслью о необходимости решаться на какой-то поворот. Чувство подвешенности между небом и землёй утомляло. Без удовольствия позавтракав, Вячеслав вышел в город.

Странно было сознавать себя заезжим гостем в городе, где прошли составившие фундамент жизни годы и где ещё вчера Левенцов рассчитывал остаться насовсем. Сегодня город был уже чужим. Он и вправду был совсем не тем Трёхреченском, к которому так тянуло из Тимохино. Левенцов хорошо помнил уютную утреннюю тишину на его улицах, наступавшую, как только проходил поток идущих на работу. Где та тишина теперь? Откуда взялось столько автомобилей? Их стало в сто раз больше. Носятся туда-сюда с сумасшедшей скоростью и оглу-

шающей поп-музыкой. Зачем? И почему в машинах в основном молодые люди? Почему они бездельничают в рабочие часы? Неужели так много стало «новых русских»? Это для них он изобретал электромобиль? «УАЗы», «ГАЗы», «Нивы», «волги», «жигули», «таврии», «москвичи», «фольксвагены», «фиаты», «форды», «мерседесы», «ауди», «опели», «тойоты», «БМВ»... Для этой убившей тишину и чистый воздух своры выросли на месте скверов и детских уголков автостоянки, а на месте тихих прежде дворики и зелёных городских окраин — неприглядные бетонные и металлические коробки гаражей. Что это, временное затмение или и впрямь будущее человечества?

А центральные улицы прилизаны под «евро». Левенцов смотрел на шикарные фасады магазинов, на блистательные торговые комплексы, торговые дворцы и думал, как недоставало обилия красиво оформленных магазинов в советской жизни, как пришёлся бы этот магазинный лоск в то время ко двору. И какой душевный неуют вызывал он теперь! Ибо теперь этот лоск служил для маскировки сути, заключавшейся в смене Дворцов Культуры культовыми сооружениями Жратвы. Лакировка животного начала за счёт него и во имя него. Об этом напоминали и зарешеченные окна, сводившие на нет весь лоск.

Левенцов с непониманием смотрел на толпу молодых бездельников, животным рёвом приветствовавших автомобиль, в котором ехала какая-то заезжая певичка. Восторженно-тупые лица, испуганно глядящие на это сборище старики, втопанная в грязь обывательского довольства надежда на выход к свету... Несчастные, угрюмые, довольные, улыбочивые лица. Что-то было в них не так. Не доставало той идущей из нутра живой, интеллигентной веселинки, что без всякого показного лоска так украшала прежде жизнь. Какая-то бездуховная унылость, о которой так точно сказал в своё время Михаил Лермонтов: «И скучно, и грустно, и некому руку подать...» Потерянное поколение. Опять потерянное поколение...

Но эти, которые возомнили себя элитой, которые из кожи лезут вон, торопясь законодательно закрепить разделение лю-

дей на господ и чернь, неужели они настолько слепы, что не видят, в какую яму тянут себя самих? Неужели не помнят из истории, что при таком разделении господам выпадает не меньше чёрных дней, чем черни? Вспомнили хотя бы, какой ямой обернулась для российских господ жизнь в эмиграции в недалёком прошлом.

Левенцов пристально оглядел Трёхреченск. Торговые комплексы, торговые дворцы, торговые ряды, палатки, комки, лавки, холодная лакировка, маски вместо лиц, беспросветность, скука. Но отчего вопреки этой унылости душа как будто лучится молодым и благодарным, загадочно оптимистичным ощущением? От предчувствия борьбы? Только борьбы, самой по себе? В чём сладость её конечной цели? В счастье народа? Да ведь вот он, народ, вокруг. Один видит счастье в машине, другой — в возможности ходить по этим вот Дворцам Жратвы, выискивая, где, что купить на десять копеек подешевле, третий — в очередном плевке в своё лицо от правительства в виде прибавки к зарплате десяти рублей с одновременным увеличением квартплаты на две сотни.

«А сам-то я чего хочу — спросил себя Левенцов. — И что делаю практически? Решил осчастливить народ своими изобретениями, мечтатель! Где бы я сейчас был, если бы не Веня Ротмистров? Сидел бы до сих пор в вымирающей деревне на шее у жены и тётки. Надо, наконец, признать, что боец за счастье народное из меня никакой. Я обычный эгоист. Народ состоит из людей, а что я знаю о той его мизерной частичке, что окружает меня? Разве меня когда-нибудь интересовала жизнь Людмилы, хоть раз возник в моей пьяной или протрезвевшей наутро башке вопрос, почему она одинока? А метания Аллы? Разве я попытался вникнуть в их причины? Зато с великим усердием и самомнением старался наставить её на путь истинный. А сам-то я уверен, что вижу этот путь, что он истинный? А мой единственный трёхреченский друг Глеб Татищев? Я даже не постарался его спасти, когда он вдруг ударился в беспробудное пьянство. Да что там спасти, я до сих пор не знаю, что же такое с ним

случилось, пока я отлёживался в квартире Скобцевых, просто брезгливо отстранился, а потом вообще уехал в Беловодск в поисках Наташи. А как я вёл себя с Наташей? Опустил любимую женщину на уровень коровы! А самая настоящая скотина-то, оказывается, я сам! — продолжал бичевать себя Левенцов. — Мне выпало небывалое счастье встретить женщину, которая безропотно столько лет сносила мои эгоизм и высокомерие, а меня волновали исключительно собственные чувства и желания, ни разу я не задумался над тем, каково приходится ей. Как же, я ведь тружусь на благо народа, а она всего лишь домохозяйка, доит корову и копошится на огороде. Идиот! А ведь ещё Иван Тургенев писал: «Я бы отдал весь свой гений и все свои книги за то, чтобы где-нибудь была женщина, которую беспокоила бы мысль, опоздаю я или нет к обеду». Прав Лев Толстой, написавший: «Большая часть мужчин требует от своих жён достоинств, которых сами они не стоят». Ушёл из дома, гордо задрал нос, бросил жене, как подачку, сберкнижку на предьявителя, скотина! Правда, Толстой тоже ушёл из дома, но чем это для него кончилось? К тому же, я далеко не Лев Толстой.

Как можно бороться за счастливое будущее страны и народа, не умея построить своё собственное и своей семьи? Нет, за счастье народа бороться я не буду, — решительно подумал Левенцов. — Я буду бороться за своё личное, собственное счастье, ибо оно в том, чтобы и я сам, и мой родной народ стал другим, достойным называться русским. Но это погода немного. А пока надо поискать место поприличней, где можно отдышаться. А потом... Потом — за дело!»

Левенцов не знал ещё, за какое именно теперь возьмётся дело, но верил, что дни торжествующего пока что мракобесия его дело непременно сократит. Он отправился в гостиницу, забрал вещи, расплатился и поехал на вокзал.

14

Наташа чистила картошку, когда стукнула калитка.

— Никак, твой идёт, — сказала Антонина Ивановна, глянув в окно веранды.

У Наташи всё обмерло внутри. Аккуратно положив на стол нож, она сполоснула и вытерла полотенцем задрожавшие вдруг руки и повернулась к двери, оставаясь сидеть на табуретке — ноги у неё тоже предательски тряслись. Вячеслав вошёл, румяный то ли от волнения, то ли от небольшого ноябрьского морозца на улице, и с улыбкой произнёс:

— Вечер добрый! Не прогоните позднего гостя?

— Заходи, зятёк, коли пришёл, — спокойно ответила Антонина Ивановна. — Аккурат к ужину поспел.

Вячеслав снял и повесил на вешалку чёрную кожаную куртку, переобулся в свои домашние тапочки, которые так и оставались всё это время его отсутствия на обувной полке у входа в дом.

— Чем угощать будете? — наигранно весёлым голосом спросил он, проходя к столу и садясь напротив жены.

— Картошка у нас сегодня, — тихо ответила Наташа. — Тебе как: пожарить или отварить?

— Пожарить, если не трудно. Очень я уважаю вашу жареную картошечку, Антонина Ивановна! — повернулся к теще Вячеслав. — Нигде больше такой вкуснятины не едал.

— Сделаю, мне не трудно, — довольно улыбнулась та. — Щас только за капусткой и солёными огурчиками в погреб схожу. Может, и самогоночки прихватить за ради встречи?

— Это у меня с собой, — оживился Вячеслав и, открыв сумку, начал выставлять на стол высокие и узкие бутылки с импортным вином, плитки шоколада, большую коробку конфет, пакеты с печеньем и вафлями, баночки с красной икрой. — Десерт! — пояснил он застывшей в недоумении Антонине Ивановне. — А к жареной картошечке, конечно, больше подойдут сало, квашеная капуста, солёные огурчики и грибочки, водочка или самогон.

Только я больше хорошее вино уважаю, а вы с Наташей, если хотите, можете самогонкой нашу встречу отметить. Вам помочь всё с погреба принести?

— Сама справлюсь, — отмахнулась Антонина Ивановна и вышла. После её ухода в доме некоторое время было тихо. Каждый ждал, что разговор начнёт другой. Наташа, не поднимая глаз на мужа, продолжила сосредоточенно чистить картошку.

— Даже поздороваться со мной не хочешь, Наташа? — наконец с горечью произнёс Вячеслав.

— Здравствуй! — сдержанно откликнулась та. — Ты как: в гости или насовсем?

— Я за ответом. Что ты решила? С кем собираешься дальше жить: с мамой или со мной? Месяц у тебя был на раздумья, больше я ждать не могу.

— А что случилось? Другую нашёл?

— Мне другая не нужна, я тебя люблю. Просто не хочу больше по чужим съёмным углам ютиться, нашёл в Беловодске несколько продающихся квартир. Меня-то любая из них устроит, ты знаешь, я в бытовых вопросах неприхотлив, но если ты решила ко мне в город переехать, то лучше тебе самой те квартиры посмотреть и выбрать ту, что больше понравится.

— И правда, доча, поезжай, посмотри, — сказала неслышно вошедшая Антонина Ивановна. — Свой-то глаз, он завсегда надёжней.

Она поставила на стол принесённые из погреба две миски: в одной, побольше, исходила соком квашеная капуста, поверх которой лежали солёные огурчики и помидоры, в другой — солёные грибы, и села рядом с дочерью.

— А как же ты, мама?

— А что я? Сколь лет одна жила, когда отец твой погнался за длинным рублём и подался на Севера, оставив меня с трёхлетним ребёнком на руках, да так и не вернулся. Потом ты подросла и стала мне помогать по хозяйству до тех пор, пока в город не уехала учиться и работать. Даст Бог, проживу и теперь.

— А может, вам, Антонина Ивановна, тоже переехать в город? — спросил Вячеслав. — Наташа права, тяжело вам будет одной с таким хозяйством управляться.

— Нет уж, живите дальше сами, без меня, своим умом. — Антонина Ивановна утёрла кончиком фартука выступившие слёзы. — Корову продам, зачем мне она теперь: внучка в Москве, вы в Беловодске...

— Мама, мы будем приезжать, помогать...

— Э-э, милая, — покачала головой Антонина Ивановна. — ты, когда с Колькой жила, много ко мне ездила? То-то! Ничего, самогонка в погребе есть, понадобятся мужские руки, только свистну, сразу прибегут и всё, что надо, сделают, не впервой.

— Есть и другой вариант, — продолжал закреплять победу Вячеслав. — В частном секторе Беловодска сейчас продаются несколько домов. Старики померли, а молодёжь хочет перебраться в отдельные квартиры со всеми удобствами. Участки у дома под сад и огород там, конечно, много меньше, чем здесь, но вам, Антонина Ивановна, и ни к чему теперь такой большой. Будем все рядом и в то же время отдельно жить. Корову и уток там держать будет затруднительно, но кур вполне можно перевезти.

— А денег-то у тебя на всё хватит, зятёк?

— Это моя забота, не ваша! Вы главный вопрос решите.

— Не обо мне сейчас речь! — всплеснула руками Антонина Ивановна. — Мне пока торопиться некуда. Сами-то вы что решили?

Наташа застыла под вопросительными взглядами матери и мужа. Она положила нож, благо картошка была уже давно очищена, и впервые прямо посмотрела на Вячеслава.

— Я правда нужна тебе?

— Очень! — с серьёзным видом ответил тот. — Я на днях, после праздников, открываю малое предприятие, так потребовали мои партнёры по бизнесу, чтобы уменьшить некоторые налоги. Так что мне сейчас до зарезу требуется свой надёжный бухгалтер...

– Ах ты негодяй! – воскликнула Наташа, вскакивая на ноги и замахиваясь на мужа мокрым полотенцем.

Вячеслав, смеясь, поймал её в объятия и крепко прижал к себе.

– Я же уже всё в этой бухгалтерии забыла, – сказала Наташа, счастливо улыбаясь.

– Отправлю тебя на курсы повышения квалификации, – целуя жену в зардевшую румянцем щеку, ответил Вячеслав.

– Ну, вот и решили, – со вздохом сказала Антонина Ивановна и пошла жарить картошку.

Послесловие соавтора

Владимир Фёдорович Соловьёв родился в апреле 1940 года в городе Егорьевске. Закончил вначале танкостроительный техникум, а затем МВТУ им. Баумана. В 1968 году Соловьёв переехал в Коломну. Здесь он начал заниматься литературным творчеством. Учился на заочном отделении Литературного института им. Горького, писал рассказы и повести, некоторые из которых были напечатаны в газете «Грань» и ежегоднике «Коломенский альманах». В 2003 году в Москве вышла единственная книга прозы Владимира Соловьёва «Федина жизнь».

Когда 5 сентября 2011 года Владимир Фёдорович Соловьёв умер, архив его рукописей в большой картонной коробке был передан в редакцию ежегодника «Коломенский альманах». Я в то время был членом редколлегии этого журнала. Главный редактор ежегодника Виктор Семёнович Мельников достал из коробки весьма потрёпанную толстую папку с рукописью романа Владимира Соловьёва под условным названием «Дорога» и поручил мне проверить её на возможность публикации в «Коломенском альманахе». К сожалению, оказалось, что в папке находится не готовая к публикации рукопись романа, а только черновой вариант, да и тот не полный. Почему-то отсутствовали целые главы и отдельные страницы, общим числом 132 из 407 листов, практически треть романа. Некоторые листы рукописи носили следы основательной правки, имена нескольких персонажей были в одной из глав изменены, словом, автор явно пытался кардинально переписать роман, но не успел. Я рассказал об этом Мельникову и предложил проверить коробку с архивом рукописей Соловьёва: вдруг недостающие листы романа вывалились из папки или перемешались с другими черновиками. Мельников обещал это сделать, но, видимо, в текучке дел позабыл. Через четыре года я покинул редакцию «Коломенского альманаха», и папка с рукописью осталась у меня, потому что никто о ней не вспомнил. И только в начале 2023 года, наводя порядок в собственном архиве, я вдруг наткнулся на папку с рукописью романа Владимира Соловьёва. Я написал Виктору Мельникову, спросил, не обнаружили ли недостающие листы романа? Мельников мне не ответил.

Я объяснил ситуацию двум коломенским писателям, близким к редакции альманаха и регулярно публикующим на его страницах свои произведения, и попросил их продублировать мой вопрос Мельникову. Безрезультатно!

Как человек пишущий я прекрасно понимаю трагедию автора неоконченного произведения. Человек работал, вкладывал душу, а весь его труд оказался напрасным, потому что болезнь или смерть не дали его завершить. Я не был лично знаком с Владимиром Соловьёвым, но не смог спокойно отправить папку с неполной рукописью черновика его романа в макулатуру. Мои попытки найти родственников Владимира Соловьёва, чтобы согласовать с ними дальнейшую судьбу рукописи романа, не принесли результата, и я начал работу над ней без их разрешения или запрета. Скажу прямо, текст Соловьёва был очень «сырой», пришлось проделать огромную редакторскую и корректорскую работу, написать отсутствующие главы и заполнить многочисленные лакуны, исходя из имеющегося текста и собственной фантазии, чтобы сохранялась непрерывность сюжетных линий и логика поступков персонажей. Кроме того, мне пришлось придумать биографии почти всех главных персонажей романа, чтобы у них появилось не только «настоящее», но и «прошлое», и их образы и поступки стали более понятны читателю. Часть этих придуманных мною эпизодов я ещё до окончания работы над романом «Пути-дороги» опубликовал в виде самостоятельных рассказов, изменив имена персонажей.

Владимир Соловьёв хотел в своём романе «Дорога», как я понял, показать трагедию России девяностых годов двадцатого века, крах страны и слом устоев жизни её граждан на примере жителей двух провинциальных городов. Многие приметы в тексте позволяют угадать в этих городах нашу подмосковную Коломну, разделённую в романе Соловьёвым на отдельные самостоятельные города Беловодск и Красногвардейск. Учитывая воцарившуюся в России после распада Советского Союза антисоветскую и антикоммунистическую вакханалию со сносом памятников и переименованием улиц и городов, я посчитал

некорректным название города «Красногвардейск» и изменил его на «Трёхреченск», ведь наша Коломна стоит на трёх реках.

Некоторые страницы романа больше похожи на текст публицистической статьи, отражая и выражая мнение Владимира Соловьёва на то, что происходило с нашей страной в «лихие девяностые». Не со всеми его высказываниями я согласен, но оставил их без изменений, преобразовав кое-где из авторского монолога в диалог, добавил свои монологи и диалоги на спорные темы, чтобы по возможности не выбиваться из стиля, и пусть читатель сам решает, какая точка зрения ему ближе.

Абсолютно не понравилась мне явно нереалистичная авторская концовка романа, и я её заменил на мой собственный вариант. Кому интересна изначальная версия Владимира Соловьёва, тот может ознакомиться с ней в Приложении.

Изменил я и название романа, потому что дорога – это путь, по которому люди вынуждены идти в одном общем направлении, а в романе показаны судьбы нескольких разных людей, которые шли к финалу разными «путями». Поэтому роману, на мой взгляд, более подходит название «Пути-дороги».

Сергей Калабухин

Приложение

ОКОНЧАНИЕ РОМАНА «ДОРОГА» ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА

ЛXV

Наутро Левенцов поднялся в гостиничном номере с невесёлой мыслью о необходимости решаться на какой-то поворот. Чувство подвешенности между небом и землёй утомляло. Без удовольствия позавтракав, он вышел в город.

Странно было сознать себя заезжим гостем в городе, где прошли составившие фундамент жизни годы и где вчера он ещё рассчитывал остаться навсегда. Сегодня город был уже чужим. Он и вправду был совсем не тем Красногвардейском, к которому так тянуло из Тимохино. Левенцов хорошо помнил уютную утреннюю тишину на его улицах, наступавшую, как только проходил поток идущих на работу. Где та тишина теперь? Откуда взялось столько автомобилей? Их стало в сто раз больше. Носятся туда-сюда с сумасшедшей скоростью и оглушающей поп-музыкой. Зачем? И почему в машинах, в основном, молодые люди? Почему они бездельничают в рабочие часы? Неужели так много стало «новых русских»? Это для них он изобретал электромобиль? «УАЗы», «ГАЗы», «Нивы», «волги», «жигули», «таврии», «москвичи», «фольксвагены», «фиаты», «форды», «мерседесы», «ауди», «опели», «тойоты», «БМВ»... Для этой убившей тишину и чистый воздух своры выросли на месте скверов и детских уголков автостоянки, а на месте тихих прежде дворики и зелёных городских окраин — неприглядные металлические коробки гаражей. Что это, временное затмение или и впрямь будущее человечества?

А центральные улицы прилизаны под «евро». Он смотрел на шикарные фасады магазинов, на блистательные торговые

комплексы, торговые дворцы и думал, как недоставало обилия красиво оформленных магазинов в советской жизни, как пришёлся бы этот магазинный лоск в то время ко двору. И какой душевный неуют вызывал он теперь! Ибо теперь этот лоск служил для маскировки сути, заключающейся в смене Дворцов Культуры культовыми сооружениями Жратвы. Лакировка животного начала. За счёт него и во имя него. Об этом напоминали и зарешеченные окна, сводившие на нет весь лоск.

Он с непониманием смотрел на толпу молодых бездельников, животным рёвом приветствовавшим автомобиль, в котором ехала какая-то заезжая певичка. Восторженно тупые лица. Испуганно глядящие на это сборище старики. Втопанная в грязь обывательского довольства надежда на выход к свету... Он вспомнил прочитанный в библиотеке Скобцевых Герценовский отрывок из «Былого и дум»: «...Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которой Европа начинает сидеть, — на Голландию: где её великие государственные люди, где её живописцы, где тонкие богословы, где славные мореплаватели? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятётся, не бунтует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: „Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели завещали мне это богатство, мои великие художники украсили мои стены и церкви, мне хорошо, — чего же вы от меня хотите?..“»

Теперь уже и в Голландию ходить не надо, достаточно взглянуть вокруг. Несчастные, угрюмые, довольные, улыбчивые лица. Что-то было в них не так. Не доставало той идущей из нутра живой, интеллигентной веселинки, что без всякого показного лоска так украшала прежде жизнь. Какая-то бездуховная унылость, о которой так точно сказал в своё время Михаил Лермонтов: «И скучно, и грустно, и некому руку подать...» Потерянное поколение. Опять потерянное поколение...

Но эти там, которые возомнили себя элитой, которые из кожи лезут вон, торопясь законодательно закрепить разделение

людей на господ и чернь, неужели они настолько слепы, что не видят, в какую тянут себя самих яму? Неужели не помнят из истории, что при таком разделении господам выпадает не меньше чёрных дней, чем черни? Вспомнили хотя бы, какой ямой обернулась для российских господ жизнь в эмиграции в недалёком прошлом. Или горькие слова Марк Твена о времени самого высшего подъёма самого западного, самого цивилизованного, по их мнению, государства:

«Бесконечно поражает, что мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую, смехотворную канитель...»

Или слова самого современного из современных Антона Павловича Чехова о времени подъёма капитализма:

«Ну хорошо, пусть через сто лет наши потомки достигнут счастья, но должны же они задуматься над вопросом, почему мучались мы, их предки...»

Диапазона логики, отпущенного им, романтикам капитализма, похоже, хватало лишь на то, чтобы поставить с ног на голову любую категорию, любую ценность.

Он пристально оглядел Красногвардейск. Торговые комплексы, торговые дворцы, торговые ряды, палатки, комки, лавки, холодная лакировка, маски вместо лиц, беспросветность, скука. Но отчего вопреки этой унылости душа как будто лучится молодым и благодарным, загадочно оптимистичным ощущением? От предчувствия борьбы? Только борьбы, самой по себе? В чём сладость её конечной цели? В счастье народа? Да ведь вот он, народ, вокруг. Один видит счастье в машине, другой — в возможности ходить по этим вот Дворцам Жратвы, выискивая, где, что купить на десять копеек подешевле, третий — в очередном плевке в своё лицо правительства, в прибавке к зарплате десяти рублей с одновременным увеличением квартплаты на две сотни...

«Нет, за счастье народа бороться я не буду, — решительно подумал он. — Я буду бороться за своё личное, собственное

счастье, ибо оно в том, чтобы мой родной народ стал другим, достойным называться русским. Но это погода немного. А пока надо поискать место попрличней, где можно отдышаться. А потом... Потом – за дело!»

Он не знал ещё, за какое именно теперь возьмётся дело, но верил, что дни торжествующего пока что мракобесия его дело непременно сократит.

Он отправился в гостиницу. Забрал вещи, расплатился за ночёвки и поехал на вокзал. Подойдя к окошку билетной кассы, он вежливым и мягким баритоном попросил:

– Один билет на любой ближайший поезд в любую сторону.

Пожилая кассирша устало подняла глаза и увидела в окошке симпатичную русоволосую мужскую голову, посаженную на крепкой шее. Ироничные светло-серые глаза мужчины излучали весёлую взрывную силу и одновременно мягкий интеллект. Кассирша улыбнулась:

– Через десять минут должен подойти поезд в сторону Москвы.

– Это то, что нужно.

Взяв билет, Левенцов вышел на платформу. Поезд подошёл ровно через десять минут. Подплыла и остановилась дверь вагона. Он шагнул к ней и вдруг, потрясённый, отступил. В двери была Наташа. Величественно опустясь по ступенькам на платформу, она приторможенно подняла к нему свой инопланетный взгляд. Нечто новое увидел он в этом взгляде. В нём сквозило осознание извечной женской мудрости. Была и веселинка. Была открытая, вселенской глубины любовь.

– Коварный! – произнесла она с такой интеллигентно игривой интонацией, что на миг ему почудилось, будто это Алла. – Думал улизнуть, – продолжила Наташа, играя взглядом. – Не выйдет. Я в газете в гороскопе прочитала, тебе до конца со мной придётся маяться. Газета кристально честная была.

Он обнял её и при всём честном народе начал целовать.

– Люблю, – шептала она в промежутках. – Я всё поняла. Я поступлю в институт, не буду смотреть телевизор, буду читать книги... Тебе будет не скучно со мной, правда.

Он признательно заглянул в её глаза и с весёлостью промолвил:

– Ну если правда, тогда поехали искать наш с тобой Сказочногвардейск. Поехали?

– Поехали! – с весёлостью ответила Наташа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. Беспутье	5
Глава 1. 1989 год	8
1	8
2	19
3	30
4	40
5	43
6	50
7	56
Глава 2. 1991 год	61
1	61
2	66
Глава 3. 1992 год	73
1	73
2	78
3	85
Глава 4. 1993 год	89
1	89
2	95
3	102
4	109
5	118
6	127
7	133
8	139
Часть вторая. Распутье	147
Глава 5. 1994 год	150
1	150
2	157
3	164
4	173
5	184
6	189

7	194
8	199
Глава 6. 1995 год	206
1	206
2	215
3	217
4	221
5	229
Глава 7. 1996	237
1	237
2	243
3	253
4	260
5	268
Глава 8. 1997 год	275
1	275
2	283
3	290
4	295
5	305
Часть третья. Тупик	313
Глава 9. 1998 год	316
1	316
2	323
3	332
Глава 10. 1999 год	339
1	339
2	343
3	345
4	352
5	358
Глава 11. 2001 год	370
1	370
2	375
3	382

4	388
5	394
6	398
7	405
8	410
9	421
10	426
11	438
12	446
13	453
14	457
Послесловие соавтора	461
Приложение	467
Окончание романа «Дорога» Владимира Соловьёва	469
LXV	469

Сергей Калабухин
Владимир Соловьёв

Пути-дороги

Корректор Наталья Ковалёва
Дизайнер обложки Наталья Ковалёва